



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Stanford University Libraries

3 6105 119 179 922



92866



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES





СОЧИНЕНІЯ

В. БЪЛИНСКАГО.



Belinskii, V. G.
" А. И.
СОЧИНЕНІЯ

В. БѢЛИНСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Изданіе второе.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р. СЕР.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. ГРАЧЕВА И КОМП.

1863.

ПК

PG2933
B4
1860
v. 4

Одобрено Ценсурой. Москва, 16 января, 1863 года

(Печатано съ изданія 1859 г. безъ измѣненія).

1840.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

II.

БИБЛИОГРАФІЯ.



СЕКРЕТАРЬ ВЪ СУНДУКЪ (I) ИЛИ ОШИБСЯ ВЪ РАЗСЧЕТАХЪ.
Водевиль фарсъ, въ двухъ дѣйствіяхъ. М. Р. Спб. 1839.

ТРИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВОДЕВИЛЯ: I. НОВИЧКИ ВЪ ЛЮБВИ.
II. ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, ИЛИ СРЕДСТВО ИРВАТЬСЯ.
III. ТАКЪ ДА НЕ ТАКЪ. Соч. Н. А. Коровкина. Спб. 1840.

Водевиль не принадлежитъ къ сферѣ высшей поэзіи, высшего искусства. Онъ не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ, но онъ можетъ быть поэтическимъ произведеніемъ, какъ арабескъ, какъ виньетка Тонни Жоано къ «Донъ-Кихоту». Еслибы великій художникъ низомель, спустился до водевиля, его водевиль, былъ бы шалостью генія, граціозною улыбкою прекрасной женщины. Предметъ водевиля — страстишки и слабости, смѣшныя предубѣжденія, забавно оригинальные характеры, анекдотическіе случаи частной и домашней жизни общества. Словомъ, когда водевиль не выходитъ изъ своихъ предѣловъ и не заходитъ въ чуждыя ему сферы, когда онъ забавенъ, легокъ, остроуменъ, живъ, онъ можетъ доставлять очень пріятное, хотя и минутное удовольствіе и въ чтеніи и на сценѣ. Таковъ водевиль французскій, этотъ едва ли не самый вкусный и ароматическій плодъ французской поэзіи, французскаго ума, французской фантазіи и французской жизни, послѣ пѣсни, которой представитель Беранже. Если же въ этому присовокупить французское умѣніе и французскій талантъ владѣть сценою и дѣлать ее живымъ зеркаломъ дѣй-

ствительной жизни, то исключительное владычество водевиля на всѣхъ сценахъ Европы будетъ очень понятно.

Однакоже водевиль хорошъ только на французскомъ языкѣ и на французской сценѣ, хотя онъ и овладѣлъ всѣми языками и всѣми сценами. Это очень естественно. — Чтобы усвоить себѣ французскую кухню, достаточно выписать изъ Парижа повара Француза и отдать ему на выучку нѣмецкихъ или русскихъ поварятъ; но, чтобы усвоить себѣ французскій водевиль, надо сперва усвоить себѣ французскую національность, а это такъ же невозможно, какъ заставить курицу плавать съ цыплятами по свѣтлому пруду, а утку, съ ея утятами, рыться въ кучахъ сора. Не знаемъ, право, каковы англійскіе и нѣмецкіе водевили, но знаемъ, что русскіе рѣшительно ни на что не похожи. Это какіе-то космополиты, безъ отечества и языка, какія-то тѣни безъ образа, клетушки и сарайчики (зѣмкамі грѣшно ихъ называть), построенные изъ ничего на воздухѣ. Въ нихъ рѣдко встрѣтите какое-нибудь подобіе здраваго смысла, объ остротѣ и игрѣ ума и словъ лучше и не говорить. Мѣсто дѣйствія всегда въ Россіи, дѣйствующія лица помѣчены русскими именами; но ни русской жизни, ни русскаго общества, ни русскихъ людей вы тутъ не узнаете и не увидите. Въ этихъ водевиляхъ, большею частію передѣлкахъ и сколкахъ съ французскихъ водевилей, Россія такъ-же похожа на самое себя, какъ русскіе нравы похожи на то, что рассказывали въ русскихъ «нравоописательныхъ романахъ». Вотъ, напр., въ «Секретарѣ въ Сундукѣ» есть лице подъячаго, которое говоритъ подъяческимъ языкомъ временъ «Ябеды» Капниста, котораго вы теперь нигдѣ не найдете, и которое явно взято цѣликомъ изъ общихъ мѣстъ рыночнаго драматическаго искусства. Въ «Новичкахъ въ Любви» представлены двѣ дѣвушки-невѣсты, одна 16, другая 17 лѣтъ, которыя такъ невинны, что упрашиваютъ взаимно уступить другъ другу жениха, одна

предлагаетъ за то коробочку съ облатками, за исключеніемъ впрочемъ одной облатки съ корабликомъ, а другая какую-то печатку или другую игрушку. Женихъ же ихъ, будто-бы кандидатъ философіи какого-то университета, а въ самомъ-то дѣлѣ неудачный сколокъ съ Кутейкина въ «Недорослѣ» Фонъ-Визина. Гдѣ видѣли «творцы» сихъ и оныхъ водевилей подобныя лица въ современномъ русскомъ обществѣ?

Впрочемъ, справедливость требуетъ исключить изъ числа подобныхъ драматурговъ господъ Полеваго и Коровкина, людей съ истиннымъ дарованіемъ. Жаль только, что послѣдній упрямо держится, на зло своему дарованію, водевиля, тогда какъ первый давно уже понялъ, что намъ нужно не водевиль, а русская драма. И удивительно, что убѣжденія въ этой истинѣ г-ну Полевому достаточно было для того, чтобъ упасть на сценѣ только съ однимъ плохимъ водевилемъ, — кажется «Черезполосныя Владѣнія», — тогда какъ г-нъ Коровкинъ еще не можетъ удовольствоваться такимъ огромнымъ числомъ водевилей. Право, жаль!... Оставь г. Коровкинъ водевиль и возьмись за трагедію, драму и комедію, онъ явился бы достойнымъ соперникомъ г-на Полеваго не по одной многоплодной дѣятельности, но и по таланту, а русская литература гордилась бы не однимъ «Уголино» и не однимъ «Ужаснымъ Незнакомцемъ», но цѣлыми дюжинами такихъ прекрасныхъ произведеній въ драматическомъ родѣ.

ПРИЗВАНІЕ ЖЕНЩИНЫ. Съ англійскаго. Спб. 1840.

Всякая истина можетъ доказываться двоякимъ образомъ: мыслительно и непосредственно. Первый способъ требуетъ діалектическаго развитія идеи изъ самой себя, изложенія живаго, одушевленнаго, но и строго логическаго, послѣдователь-

наго и яснаго. Второй способъ требуетъ пламеннаго, увлекающаго краснорѣчія, возвышающагося до поэзіи, облакающаго самыя отвлеченныя понятія въ живые образы, или, по крайней мѣрѣ, выражающаго ихъ въ предметной и чувственной очевидности. Первый способъ даетъ читателю разумное и отчетливое сознаніе доказываемой истины; второй непосредственно наполняетъ его внутреннимъ созерцаніемъ той же истины. Первый способъ требуетъ отъ писателя ума, развитаго въ школѣ мышленія, какъ науки, ума строго систематическаго, обнимающаго цѣлое чрезъ углубленіе даже въ малѣйшія части его организаціи; второй способъ требуетъ отъ писателя живой, полной и поэтической натуры, хотя и совѣмъ не художественнаго дара. Отсутствіе показанныхъ нами условій при обоихъ этихъ способахъ развитія истины дѣлаетъ изъ нея или рядъ парадоксовъ, противорѣчій, путаницы безсильнаго ума, или сухое, скучное и пошлое резонѣрство.

Въ поименованной книгѣ разсматривается назначеніе женщины въ обществѣ, и разсматривается первымъ способомъ — *мыслительно*. Авторъ смотритъ на свой предметъ съ истинной точки зрѣнія, признавая великое вліяніе женщины на общество, въ качествѣ супруги и матери, и порицая глупыя бредни сенсимонистовъ, требующихъ непосредственнаго вліянія женщины на общество, какъ гражданина, исправляющаго общественныя обязанности наравнѣ съ мужчиною. Вообще въ этой книжкѣ много правды, много истиннаго и умнаго, но совѣмъ тѣмъ видно, что автору неизвѣстно, что такое мысль, діалектически изъ себя развивающаяся, въ самой себѣ заключающая все свое содержаніе, свою причину, свои результаты и свое оправданіе, — и потому его разсужденія легки, поверхностны, исполнены повтореній и резонѣрства. Такъ какъ онъ не обладаетъ и силою убѣжденія, истекающей изъ глубокаго и горячаго чувства, — то его языкъ и лишенъ увлекающей

силы живаго, поэтическаго изложенія. Впрочемъ, при настоящемъ запустѣніи нашей литературы и особенной бѣдности книгъ догматическихъ, «Названіе женщины» многими можетъ принести большую пользу, а инымъ даже и наслажденіе, потому что, повторяемъ, въ немъ много высказано истинъ. Кромѣ того, книжка эта прекрасно переведена и изящно издава.

ОЧЕРКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Соч. Н. Полевого. Сиб. 1839. Двѣ части.

Г. Полевой не поэтъ и не ученый, но писатель и литераторъ, и притомъ замѣчательный въ полномъ значеніи этого слова. Слишкомъ двадцать лѣтъ дѣйствовалъ онъ на литературномъ поприщѣ, и участіе его въ литературѣ было чувствуюемо, видимо и даже богато результатами, которые имѣютъ видъ бѣльшей или меньшей заслуги. Теперь поприще его почти кончено: онъ самъ говоритъ это въ предисловіи къ своимъ «Очеркамъ» (стр. XIV). Продолжая дѣйствовать вновь и часто новыми и особенными противъ прежняго образомъ, онъ однако отсталъ отъ новаго поколѣнія. Слѣдовательно, для него настало время суда и оцѣнки, словомъ—сознанія.

Ничего нѣтъ труднѣе, какъ судить о произведеніяхъ писателя, разбросанныхъ по журналамъ, или появившихся въ разсѣдненныхъ изданіяхъ, по-штучно: только полное собраніе ихъ даетъ возможность обозрѣть дѣятельность писателя въ ея общности и совокупности и произнести ей сужденіе, подѣ влияніемъ полнаго и цѣлостнаго впечатлѣнія. Самъ г. Полевой понималъ это, — и, сознавая конецъ своего поприща, предпринялъ изданіе своихъ критическихъ статей, разсѣянныхъ по «Телеграфу», «Библіотекѣ для Чтенія» и «Сыну Отечества».

Его предупредительность въ этомъ отношеніи такъ велика, что онъ даже озаботился познакомить публику съ своею частною жизнію, произнести себѣ полную оцѣнку. «Въ романѣ, въ драмѣ, въ исторіи, критикѣ, я всегда былъ одинъ и тотъ же (говоритъ онъ въ предисловіи). Мечтатель въ повѣсти, безпристрастный изслѣдователь въ исторіи, иногда строгій критикъ чужаго произведенія, я ошибался и думалъ, можетъ-быть невѣрно, но никогда не измѣнялъ добру, и никогда не подымалась рука моя сорвать вѣнокъ съ заслугъ, никогда голосъ мой не возвышался противъ дарованія истиннаго» (стр. XIII) Всему этому мы охотно вѣримъ—и какъ не вѣрить, когда насъ увѣряетъ въ этомъ самъ г. Полевой, который себя знаетъ лучше другихъ?—Но мы въ то же время думаемъ, что судъ о себѣ принадлежитъ другимъ, а не самому себѣ, и что подобныя увѣренія очень похожи на оправданія въ винѣ, въ которой насъ никто не уличалъ. Особенно интересны и умилительны увѣренія г. Полеваго въ чистотѣ его души и незлобїи сердца—въ томъ, что ему всегда были чужды низкія чувства, каковы зависть, противорѣчіе съ своимъ убѣжденіемъ; что это подтверждаютъ втайнѣ самые враги его; что многіе изъ бывшихъ его врагами, узнавъ его покороче, крѣпко жали ему руку и дѣлались его искренними друзьями, и пр. и пр. (стр. IX). И этому всему мы охотно вѣримъ—изъ вѣжливости, но все это прїятнѣе было бы намъ услышать о г. Полевомъ отъ кого-нибудь другаго, чѣмъ отъ него самого. Не говоря о томъ, что судъ о самомъ себѣ не всегда бываетъ чуждъ пристрастія,—законы приличія запрещаютъ занимать публичное вниманіе своею особою, а тѣмъ болѣе похвалами ей... Въ одномъ мѣстѣ предисловія откровенность г. Полеваго передъ публикою дошла до того, что онъ признался ей по секрету, что, простивъ всѣмъ своимъ врагамъ, никакъ не могъ простить *четверыхъ*... (стр. XI). Чтò сказать обо всемъ этомъ? Гѣте безъ зазрѣнія совѣсти

говорилъ о себѣ, какъ о гениі—и всѣ вѣрили ему, слушали его съ благоговѣніемъ. Та же исторія была и съ Суворовымъ... Позвольте, позвольте!... Вспоминаемъ... Въ IV N «Сына Отечества» за прошедшій годъ было напечатано умиленное и дружеское посланіе г. Полеваго къ г. Булгарину, въ которомъ г. Полевой говоритъ о себѣ, между прочимъ, слѣдующее: «Великій Гёте говорилъ, помнится, Эккерману, что надобно дѣлать что можно и никогда не разсчитывать на великое и огромное, ибо великое и огромное явится само-собою, если только Богъ далъ намъ для него способность. Великій Суворовъ отвѣчалъ кому-то, кто спрашивалъ (его?), какъ онъ могъ одержать столько побѣдъ и сдѣлаться столь великимъ полководцемъ? «Помилуй Богъ, просто: я всегда воображалъ себѣ, что я прапорщикъ и несу голову за первый крестикъ; другіе осторожны, помилуй Богъ—ретирады, деплояды—а оттого они хорошіе полководцы, а я великій полководецъ!» Я всегда былъ увѣренъ въ истинѣ словъ Гёте и Суворова, и потому бросался страху прямо въ глаза, увѣренный, что если Богъ далъ мнѣ средства на великое, великое явится само-собою» (стр. 111 и 112). Не забудьте, что г. Полевой, упоминая о Гётѣ и Суворовѣ, говоритъ о своихъ драматическихъ піесахъ... Что жъ тутъ удивительнаго?—Сознаніе собственнаго величія свойственно всякому великому человѣку... Это еще довольно скромно, а—вотъ былъ на святой Руси человѣкъ, который печатно сказалъ о себѣ: «я знаю Русь, и Русь меня знаетъ». Кто бы, вы думали, былъ этотъ великій человѣкъ?... Конечно, Петръ Великій, который мощною рукою вдвинулъ Россію во всемірную исторію, указалъ ей въ будущемъ всемірное и первое мѣсто, и тѣмъ измѣнилъ грядущія судьбы цѣлаго міра, цѣлаго человечества?... Или Суворовъ, этотъ чудо-богатырь, выигравшій столько же побѣдъ, сколько давшій сраженій, опора и рушитель царствъ, онъ, котораго видѣвшіе еще живы, и который сталъ

уже какимъ-то мнѡмъ, какимъ-то фантастическимъ героемъ фантастической поэмы?... Или, можетъ-быть, Пушкинъ, въ художественныхъ созданіяхъ котораго бьется пульсъ русской жизни, и котораго поэтический геній, еще въ его колыбели, крылатая молва народнаго сознанія нарекла великимъ и національнымъ?... Нѣтъ, не они сказали о себѣ эту громкую фразу, а все онъ же, все-господинъ же Полевой... Повторяемъ, тутъ нѣтъ ничего страннаго—тутъ одно только сознаніе своего величія... Намъ, можетъ-быть, возразятъ, что когда подобное сознаніе выговариваетъ о себѣ геній, то выговариваетъ его какъ «власть имѣющій», и потому его сознаніе не только не оскорбляетъ чувства другихъ, но еще возвышаетъ его; но что, когда въ отвѣтъ ему раздаются смѣхъ и свистки, оно означаетъ неумѣстное самохваленіе; что не всякій—великій человѣкъ, кто только показывается публикѣ съ небритою борою и въ халатѣ на распашку, и говоритъ съ нею запросто, какъ свой своимъ, и что геніемъ себя сознавалъ не одинъ Гёте, но и Александръ Петровичъ Сумароковъ... Чтобы не заходить далеко, мы не будемъ отвѣчать на это возраженіе, а приступимъ къ дѣлу...

Въ числѣ причинъ, побудившихъ г. Полеваго издать собраніе написанныхъ имъ журнальныхъ статей, было еще и желаніе—оправдаться передъ публикою въ тѣхъ изъ сихъ статей, которыя были напечатаны въ «Библіотекѣ для Чтенія», и которыя были до того измѣнены произволомъ редактора этого журнала, что г. Полевой не можетъ признать ихъ своими. Редакторъ «Библіотеки» своевольно поправлялъ статьи г. Полеваго, урѣзывалъ ихъ, дѣлалъ свои приставки и вставки, которыя состояли въ брани на Гоголя и потѣхахъ надъ всѣмъ, что не нравилось г. редактору. (стр. XV—XIX). Тяжело и грустно говорить о дѣлахъ будто-бы литературныхъ, а между тѣмъ принадлежащихъ вовсе не къ литературѣ, а къ другому вѣдомству!

Во всякомъ случаѣ, «Очерки Русской Литературы» г. Полеваго—книга въ высшей степени интересная, достойная полного вниманія и стоящая оцѣнки важной и безпристрастной. Г. Полевой можетъ назваться представителемъ истинной объ искусствѣ и наукѣ цѣлаго періода нашей литературы. Онъ имѣлъ сильное вліяніе на свое время, произвелъ переворотъ въ мертвой журналистикѣ того времени, оживилъ литературу, далъ быстрое теченіе обмѣну истинной, сбавилъ цѣны со многихъ авторитетовъ, не совѣтъ по праву стоявшихъ слишкомъ высоко, уничтожилъ множество знаменитостей по преданію и на-кредитъ. Его дѣятельность была многостороння и неистощима; какъ понималъ, онъ передавалъ русской публикѣ все новое въ Европѣ; ни одно примѣчательное явленіе не ускользнуло отъ его недремлющаго вниманія. Чтѣ же онъ въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ состоятъ его заслуги, до какой степени простирается важность сдѣланнаго имъ, какіе были результаты его дѣятельности, гдѣ его начало и предѣлы, какое мѣсто долженъ онъ занимать въ нашей литературѣ?—вотъ вопросы, которые мы задали себѣ для рѣшенія при библиографическомъ отчетѣ о книгѣ г. Полеваго. Постараемся рѣшить ихъ безпристрастно — *sine ira et studio*, какъ говорятъ записные ученые.

Лучшія и примѣчательнѣйшія изъ критическихъ статей г. Полеваго суть—о Державинѣ, Жуковскомъ и Пушкинѣ, представителей русской поэзіи. На эти три статьи можно смотрѣть какъ на сводъ истинной и понятій ихъ автора объ изящномъ и русской поэзіи. Въ нихъ онъ высказался весь; это его литературное и критическое *profession de foi*, въ которомъ онъ вдругъ и разомъ сказалъ все, о чемъ говорилъ каждая двѣ недѣли на пестрыхъ страницахъ своего журнала въ продолженіе слишкомъ семи лѣтъ. Статья о Державинѣ — лучшая, о Жуковскомъ — изъ лучшихъ; ихъ и теперь можно читать съ

услажденіемъ и пользою. Онѣ отличаются если не всегда глубокимъ, то часто вѣрнымъ и, потогдашнему, новымъ взглядомъ, множествомъ замѣчаній тонкихъ и дѣльных, изложеніемъ мастерскимъ, увлекающимъ, одушевленнымъ. Никто до г. Полеваго не судилъ лучше о Державинѣ и Жуковскомъ, никто до него не былъ ближе къ истинѣ при оцѣнкѣ этихъ двухъ великихъ представителей русской поэзіи. Особенно въ Державинѣ подмѣтилъ онъ много сторонъ, которыхъ въ немъ никто прежде не подмѣчалъ, указалъ въ немъ на многое, на что прежде никто не смотрѣлъ, и прошелъ основательнымъ молчаніемъ многое, на что дотолѣ всѣ указывали (по привычкѣ и преданію), какъ на самыя могущественныя проявленія великаго генія Державина. Но, со всѣмъ тѣмъ, выполнѣ ли вѣренъ его взглядъ на Державина и Жуковского, опредѣлилъ ли онъ положительно ихъ цѣну, мѣру ихъ заслуги, указалъ ли ихъ настоящее мѣсто въ исторіи русскаго творчества?... Нѣтъ, далеко нѣтъ! Все, что ни сказалъ онъ о нихъ истиннаго, вѣрнаго,—все это понято имъ было его непосредственнымъ чувствомъ, и передано какъ непосредственное чувство: мысль осталась для него недоступною, и потому все, что ни говоритъ онъ, должно принимать на вѣру, увлекаясь живостію и силою изложенія. Слѣдовательно, всѣ его опредѣленія—не больше, какъ личныя мнѣнія человека, основанныя на личномъ его чувствѣ, а не опредѣленія, основанныя на самомъ предметѣ изслѣдованія чрезъ постиженіе и развитіе выраженной ими мысли. Поэтому, замѣчая и вѣрно схватывая одну сторону, онъ пропускаетъ безъ вниманія другую, впадаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою, и, слишкомъ много приписывая Державину, не отдаетъ должной справедливости Жуковскому. По этому же самому, вы безпрестанно встрѣчаете у него ложныя опредѣленія, вслѣдствіе предубѣжденій, которыя заключаются не въ личныхъ отношеніяхъ, но въ убѣжденіяхъ и мнѣніи эпохи. Такъ, напр., онъ

очень вѣрно подѣлѣтъ въ Державинѣ сторону народности, которой до него не подозрѣвали въ этомъ поэтѣ. Это заслуга, и заслуга важная! Но сколько упущено имъ изъ вида другихъ сторонъ въ Державинѣ и другихъ вопросовъ о немъ! Онъ говоритъ, что вся жизнь Державина была—борьба между непонимавшимъ себя поэтомъ и мнимо-дѣловымъ человѣкомъ. Прекрасно! но вѣдь это еще только фактъ: какая же мысль скрывается въ этомъ фактѣ? Еслибы эта борьба не отрицалась въ произведеніяхъ Державина—она была бы явленіемъ эпохи, въ которую онъ жилъ, и въ которую не понимали ни поэта, ни человѣка, а только чиновника; но какъ эта борьба повредила его призванію и отразилась въ его твореніяхъ (совсѣмъ не въ пользу ихъ),—не значитъ ли это, что Державинъ не имѣлъ самостоятельнаго и сильнаго генія творчества, который разрываетъ всѣ стѣснительныя узы временныхъ понятій?... Отчего языкъ Державина такъ недалеко ушелъ отъ языка Ломоносова? Отчего у Державина риторика составляетъ такой основной и необходимый элементъ поэзіи, что у него нѣтъ ни одной вполне выдержанной піесы, но каждая представляетъ какую-то смѣсь алмазовъ поэзіи съ стразами риторики?... Намъ скажутъ: «тогдашнія понятія объ искусствѣ, піитика Буало, Баттѣ» и пр. Милостивые государи, да развѣ во время Шекспира понятія объ искусствѣ были лучше, чѣмъ во время Державина? развѣ тогда также не было непремѣнныхъ требованій толпы отъ поэта? И что же?—только люди, неспособные проникнуть въ организацію художественнаго произведенія и понять значеніе философской мысли, могутъ говорить, что Шекспиръ, изъ угожденія вкусу времени, испортилъ хотя одно изъ своихъ созданій ненужною вставкою, или выкинулъ изъ него необходимое въ цѣломъ. Геній всегда остается вѣренъ законамъ разума, нисколько не думая и не стараясь имъ слѣдовать. Онъ не слѣдуетъ ничѣмъ и никакимъ

правиламъ, но даетъ ихъ своими созданіями. Геній всегда начинается собою новую эпоху, являясь съ твореніями въ столь новыхъ формахъ, что никто и не подозрѣвалъ ихъ возможности, — и онъ дѣлаетъ это смѣло, не справляясь съ мнѣніемъ вѣка и толпы. Не для сравненія, а для примѣра, укажемъ на два явленія нашей литературы. Теперь многіе пишутъ и романы и повѣсти въ такъ называемомъ комическомъ родѣ; изъ множества пишущихъ въ немъ есть даже люди съ большимъ дарованіемъ: ихъ всѣхъ, даровитыхъ и бездарныхъ, называютъ подражателями Гоголя, до котораго, дѣйствительно, никто не писалъ у насъ и даже никто не подозрѣвалъ и возможности такого рода поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите «Вечера на хуторѣ» и «Миргородъ» — и укажите въ европейской, или въ русской литературѣ, хоть что-нибудь похожее на эти «первые опыты молодого человѣка», хоть что нибудь что-бы могло натолкнуть его на мысль писать такъ. Не есть ли это, напротивъ совершенно новый, небывалый міръ искусства?... Что въ русской литературѣ могло бы предсказать появленіе «Руслана и Людмилы» и «Кавказскаго Платника»? — Да и самъ Жуковскій, насчетъ котораго критикъ такъ возвышаетъ Державина, — не началъ ли онъ писать языкомъ такимъ правильнымъ и чистымъ, стихами такими мелодическими и плавными, которыхъ возможность до него никому не могла и во снѣ пригрезиться? Не ринулся ли онъ отважно и смѣло въ такой міръ дѣйствительности, о которомъ если и знали и говорили, то какъ о мірѣ искаженномъ и нелѣпномъ — въ мірѣ нѣмецкой и англійской поэзіи? Не былъ ли онъ для своихъ современниковъ истиннымъ Колумбомъ?... А Державина еще могъ предрекать Ломоносовъ, потому что, если Державина нѣтъ въ Ломоносовѣ, то весь Ломоносовъ въ Державинѣ... Почему г. критикъ не обратилъ всего своего вниманія на то, что народнаго Державина теперь никто не читаетъ, кромѣ записныхъ литерато-

ровъ? Почему такъ странно было бы увидѣть женщину, читающую Державина? А вѣдь истинно-глубокая женщина можетъ читать и понимать Шекспира!... Не правда ли, что это вопросъ — и очень важный?... Мы думаемъ, что Державинъ былъ великій и могучій талантъ, но отнюдь не міровой геній, какимъ называетъ его г. Полевой. Въ созданіяхъ Державина вы безпрестанно встрѣчаете могучіе проблески великаго таланта, дивно-роскошныя красоты поэзіи, — но все это порывы, вспышки, перемѣшанные съ рифмованною прозою и риторикою; цѣлаго, которое одно дѣлаетъ произведеніе художественнымъ, никогда нѣтъ. Да и какъ ему быть, когда Державинъ лирическія произведенія — эти мгновенные плоды горячаго чувства — писалъ по планамъ, заранѣе составленнымъ и обдуманымъ?... И чтó міроваго сказалъ Державинъ? Развѣ мысль о тлѣнности всего въ мірѣ, — мысль, которая особенно вдохновляла его, какъ человѣка XVIII вѣка, и еще Русскаго XVIII вѣка?... Державинъ одно изъ самыхъ могучихъ проявленій русскаго духа, чудо-богатырь русской поэзіи; изучать его и отрадно и необходимо — и его изучаютъ тѣ, для которыхъ искусство и исторія искусства есть предметъ изученія. Все, чтó ни говорить о немъ г. Полевой, не есть сужденіе, а только факты для сужденій, факты богатые, дѣлающіе честь критику, но еще ожидающіе сужденія. Критикъ какъ-бы чувствовалъ недоступность для себя мысли, на самой-сѣбѣ основывающейся и изъ себя развивающейся, и потому безпрестанно мѣшалъ поэта съ человѣкомъ, стараясь одного объяснить другимъ, и отъ воззрѣній отправлялся къ жизни Державина, требуя отъ нея помощи... Вотъ его слова о Державинѣ, въ родѣ заключительнаго вывода изъ критики: «онъ всюду могущъ, богатъ, звученъ, самобытенъ, великъ и въ самомъ паденіи, поучителенъ въ самыхъ ошибкахъ, необходимъ историку, изучающему Россію XVIII-вѣка, поэту, соревнующему славу его, юношѣ,

который тревожится вдохновеніемъ, ужасается прозы нашей жизни и пустоты нашей поэзіи, старцу, который живетъ воспоминаніями» (стр. 83). Неужели это оцѣнка, опредѣленіе поэта, а не риторическія фразы? неужели это мысль, а не наборъ словъ?...

Еще менѣе удовлетворительна статья о Жуковскомъ. Вообще г. критикъ не благоволяетъ къ Жуковскому, но потому что этотъ поэтъ не соотвѣтствуетъ его личнымъ убѣжденіямъ объ искусствѣ, а не по какому-нибудь чувству личности, ибо тонъ всей статьи самый благородный, а во многихъ мѣстахъ видна горячая любовь къ поэту, которою критикъ какъ-бы невольно, вопреки своимъ воззрѣніямъ, увлекается. И какъ не любить горячо этого поэта, котораго каждый изъ насъ съ благодарностію признаетъ своимъ воспитателемъ, развившимъ въ его душѣ всѣ благородныя сѣмена высшей жизни, все святое и заветное бытія? Это непрерывное стремленіе куда-то, это томительное порываніе въ какую-то туманную даль, за которою тускло мерцаетъ заря лучшей жизни; эта вѣчная грусть по какомъ-то недостижимомъ идеалѣ блаженства, тоскливое воспоминаніе о миломъ «прежде», въ которомъ жизнь была такъ прекрасна, такъ полна надеждъ и удовлетворенія; это всегдашнее недовольство настоящимъ, которое богато только утратами и страданіемъ; эта благородная покорность волѣ провидѣнія; эта гордая и твердая вѣра въ вѣчность любви и жизни — непреходащность того, что выражается въ преходящихъ явленіяхъ міра; это грустное наслажденіе роскошью прекрасной природы, это всегдашнее прощаніе съ обаятельными радостями земнаго и перенесеніе всѣхъ упованій по ту сторону жизни, туда, гдѣ свершеніе всѣхъ обѣтованій души и мистическихъ предчувствій полного любви и страданія сердца, гдѣ вѣчная весна, неувядающіе цвѣты радости, гдѣ нѣтъ разлуки съ милымъ: — что это такое, какъ не первое

пробужденіе духа, сознаващаго себя духомъ?... И въ какихъ дивныхъ образахъ, прозрачно сотканныхъ изъ волнующихся тумановъ, вечерняго сумрака и алой зари, въ какихъ мелодическихъ звукахъ, — похожихъ то на звуки золотой арфы, пробуждаемые дуновеніемъ зефира, то на ропотъ гремучаго ручья, — передалъ намъ ихъ нашъ унылый пѣвецъ?... Есть въ жизни человѣка моментъ, когда онъ вырывается изъ объятій матери природы, отвергается ея упоительныхъ наслажденій — и душа его груститъ безъ всякой причины къ горю, сердце сжимается страданіемъ, безъ всякой внѣшней причины, — и сладка ему грусть его, и любитъ онъ свое страданіе, и лелѣетъ его, и жаль ему разстаться съ нимъ... Юному человѣку скучно и тѣсно на землѣ, и крыльевъ бы, крыльевъ ему — онъ полетѣлъ бы за ея таинственный занавѣсъ, облетѣлъ бы всѣ эти лучезарныя звѣзды, такъ привѣтливо, такъ родственно манящія его къ себѣ своимъ алмазнымъ блескомъ!... Можетъ-быть, тамъ онъ увидѣлся бы съ какою-нибудь родною ему душою, съ милымъ сердцу, утраченнымъ на землѣ... Чтѣ же такое эта кроткая грусть, чтѣ же такое это сладкое страданіе? чтѣ же такое эта унылая мечта о тихомъ снѣ въ хладныхъ нѣдрахъ земли, — когда же? въ порѣ кипящей надеждами и силами юности, въ порѣ веселія и наслажденія? чтѣ же такое это недовольство землею, это томительное, безконечное стремленіе въ ту сторону, которой нѣтъ имени, нѣтъ предѣловъ? Это пробужденіе юнаго духа, переставшаго быть тѣломъ; это порывъ къ безконечному, это стремленіе къ тому, чтѣ скрывается за дѣйствительностію?... Но-развѣ оно, это таинственное искомое, развѣ оно не въ дѣйствительности, если скрывается внутри ея же явленій? зачѣмъ же эта ссора съ дѣйствительностію, это добровольное отрываніе себя отъ полноты ея прекрасныхъ и полныхъ жизни явленій?... Увы! горе тому, кто не перешелъ черезъ эту

добровольную ссору, кто не испыталъ этой тихой грусти, не извѣдалъ этого сладкаго страданія, и не зналъ этого тоскливаго, страстнаго порыванія туда, туда, выше и дальше отъ земли! ... Горе тому, кому не мила была мысль о смерти, кто не любилъ, для того, чтобы только любить, чья любовь къ женщинѣ не была только грустію, только молитвою, робкая, стыдливая, дѣвственная, безмолвная, чуждая всякаго желанія, смущающаяся отъ встрѣчи съ милымъ взоромъ, отъ тихаго пожатія руки! Да, горе ему: онъ никогда не будетъ человѣкомъ, онъ никогда не узнаетъ дѣйствительности, какъ откровенія тайнства жизни, какъ ощущенія безконечнаго блаженства: его дѣйствительность будетъ грубая, матеріальная, практическая, полезная, понятная какъ $2 \times 2 = 4$, сухая и пошлая, какъ эта аксіома! ... Дѣйствительность не постигается вдругъ и вполне: она открываетъ сначала только свои стороны, какъ крайности и противоположности, — и юный человѣкъ сперва отвлекаетъ отъ нея ея же собственные стороны, переживаетъ полную жизнь въ ихъ отвлеченныхъ крайностяхъ, а потомъ уже, въ порѣ мужества, мощными объятіями созрѣвшаго разума охватываетъ ее во всей ея слитной полнотѣ и единствѣ. И въ жизни человѣчества былъ такой же моментъ, который длился двѣнадцать столѣтій: — мы говоримъ о среднихъ вѣкахъ, о романтической юности человѣческаго рода, когда запасался онъ романтическими элементами на будущую богатую жизнь. Жизнь есть великое таинство, начиная отъ рожденія и смерти человѣка, отъ сферы его чувствъ и понятія, до явленій природы, до развитія изъ зерна малѣйшей былинки. Для юнаго человѣка вся природа жива, всѣ ея явленія олицетворены, и то благосклонны, то враждебны ему, и онъ то любитъ, то страшится ихъ. Съ ними слиты для него и таинственные силы, управляющія его судьбами. Онъ олицетворяетъ и природу, и собственные страсти и чувства, онъ олицетворяетъ и самыя

случайности своей жизни, — и милая, прекрасная дѣвушка, найденное дитя, воспитанное среди дикой природы, въ отчужденіи отъ міра и людей, является ему Ундиной, сердитый потокъ — ея дядею Струемъ... Отсюда выходятъ все фантастическое царство таинственныхъ силъ, мрачныхъ привидѣній и выходцевъ изъ гроба, которыхъ такъ любить муза Жуковского, часто мѣняющая свѣтлые и прозрачные образы на мрачные и страшные, тихіе, мелодическіе звуки тоскующей любви на скрипъ флюгера на башнѣ замка, на полуночное завываніе совы, свистъ вѣтра и борьбу стихій, предрекающую недоброе... Фантастическое есть тоже одинъ изъ романтическихъ элементовъ духа, который долженъ быть развитъ въ человѣкѣ, чтобъ онъ былъ человѣкомъ. — Все это, или почти все это, находитъ г. Полевой отличительнымъ характеромъ поэзіи Жуковского, и все это восхищаетъ его въ ней; но все это у него только фактъ, мысль котораго непонятна для него. И потому онъ не можетъ простить Жуковскому отсутствія народности... Забавное обвиненіе!... Жуковскій не народный поэтъ, и немногія попытки его на народность были неудачны — правда; но это совсѣмъ не недостатокъ, а скорѣе честь и слава его. Онъ призванъ былъ на другое великое дѣло: осуществить, черезъ поэзію, въ своемъ отечествѣ, необходимый моментъ въ развитіи духа, моментъ, выраженный въ жизни Европы средними вѣками, одухотворить отечественную поэзію и литературу романтическими элементами. Жуковскій по преимуществу романтикъ, такъ какъ Державинъ по преимуществу классикъ, во внутреннемъ значеніи этихъ словъ. Какъ сѣверное сіяніе, роскошны и великолѣпны картины природы у Державина, но такъ же и вѣшны и холодны, какъ сѣверное сіяніе. Жуковскій вводитъ васъ во внутреннее святилище природы, дѣлаетъ для васъ слышимымъ біеніе ея сердца, осязательнымъ теплое ея дыханіе... Въ изображеніяхъ природы у Державина вы не

услышите прозябанія дольной лозы; Жуковскій вводитъ васъ въ сокровенную лабораторію силъ природы,—и у него природа говоритъ съ вами дружнымъ языкомъ, повѣряетъ вамъ свои тайны, дѣлитъ съ вами горе и радость, утѣшаетъ васъ... Жуковскій выразилъ собою столько же необходимый, сколько и великій моментъ въ развитіи духа цѣлаго народа,—и онъ навсегда останется воспитателемъ юныхъ душъ, полныхъ стремленія ко всему благому, прекрасному, возвышенному, ко всему святому и заветному жизни, ко всему таинственному, духовному и небесному земнаго бытія. Недаромъ Пушкинъ называлъ Жуковского своимъ учителемъ въ поэзіи, наперсникомъ, пѣстуномъ и хранителемъ своей вѣтреной музыки: безъ Жуковского Пушкинъ былъ бы невозможенъ и не былъ бы понятъ. Въ Жуковскомъ, какъ и въ Державинѣ, нѣтъ Пушкина, но весь Жуковскій, какъ и весь Державинъ въ Пушкинѣ, и первый едва ли не важнѣе былъ для его духовнаго образованія. О Жуковскомъ говорятъ, что у него мало своего, но почти все переводное: ошибочное мнѣніе!—Жуковскій поэтъ, а не переводчикъ: онъ воссоздаетъ, а не переводитъ, онъ беретъ у Нѣмцевъ и Англичанъ только свое, оставляя въ подлинникахъ неприкосновеннымъ ихъ собственное, и потому его такъ называемые переводы очень несовершенны, какъ переводы, но превосходны, какъ его собственные созданія. Почему же онъ одинъ изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ заимствуетъ у Нѣмцевъ и Англичанъ?—потому, отвѣчаемъ, что тамъ, а не у насъ дома, были средніе вѣка человѣчества, и ихъ, а не наша и не другая какая, поэзія возникла изъ романтическаго искусства. Г. Полевой ставитъ Жуковскому въ вину, что въ его переводахъ изъ Шиллера, изъ Байрона и Гёте одинъ и тотъ же колоритъ: мы видимъ въ этомъ только, что Жуковскій вездѣ былъ вѣренъ самому себѣ, своей великой идее, своему великому призванію, и ставимъ ему это въ великую заслугу. Отъ всѣхъ

поэтовъ онъ отвлекалъ свое, или на ихъ темы разыгрывалъ собственные мелодіи, бралъ у нихъ содержаніе и, переводя его черезъ свой духъ, претворялъ въ свою собственность. Г. Полевой ставитъ Жуковскому въ вину, что онъ не понимаетъ «Гамлета», почитая это великое произведеніе чудовищнымъ и уродливымъ (слова самого Жуковского въ «Телеграфѣ» за 1827 годъ, N 1, стр. 25). Опять фактъ, необъясненный мыслію! Жуковскій не понимаетъ «Гамлета» и не долженъ— не по недостатку чувства изящнаго, не по недостатку образованія, а по особенному свойству и направленію своего духа: любя Шекспира, онъ отказался бы отъ среднихъ вѣковъ, отъ романтизма, слѣдовательно, отказался бы отъ самого себя. Кто изъ кипящихъ юношей, въ романтическую пору своей жизни, въ эпоху гордыхъ и высокихъ идеаловъ, не предпочтетъ Шиллера Шекспиру, не поставитъ Шиллера высоко надъ Шекспиромъ? Мало этого: кто изъ юношей не увидитъ въ Шиллерѣ величайшаго художника, и кто изъ нихъ что-нибудь увидитъ въ Шекспирѣ? Почему это? потому что Шиллеръ поэтъ романтическій по преимуществу, слѣд., поэтъ юности; а что для Германіи Шиллеръ, то для Россіи Жуковскій. И какъ самъ Шиллеръ понималъ Шекспира, если рѣшился перевести его «Макбета» съ нѣкоторыми перемѣнами! Шекспиръ—поэтъ новаго времени, новаго искусства—поэтъ не идеаловъ, а дѣйствительности, и потому его понимаетъ только духъ многосторонній, и не юноши, а мужи. Есть люди, которые на всю жизнь остаются дѣтьми, и есть люди, которые на всю жизнь остаются юношами, не въ пошломъ, а въ высокомъ значеніи этихъ словъ: Гомеръ въ своей «Иліадѣ» младенецъ; нашъ Крыловъ въ своихъ басняхъ младенецъ; Шиллеръ умеръ юношею, хотя по лѣтамъ и давно уже былъ мужъ; Жуковскій и въ глубокой старости останется тѣмъ же юношей, какимъ явился на поприще литературы. Жуковскій односторо-

ненъ—это правда, но онъ одностороненъ не въ ограниченномъ, а въ глубокомъ и обширномъ значеніи этого слова, какъ были односторонни всѣ великіе художники среднихъ вѣковъ, и какъ односторонни новѣйшіе поэты—Шиллеръ, Жанъ-Поль Рихтеръ, Байронъ, которыхъ величіе заключается въ ихъ односторонности, какъ величіе Шекспира и Гёте заключается въ ихъ всеобъемлющей многосторонности. Когда единая и отвлеченная сторона духа есть выраженіе необходимаго момента въ жизни человѣка и человѣчества,—она велика и безконечна: односторонній Жуковский явился органомъ великаго момента духа—романтизма и идеализма въ искусствѣ и въ жизни.

Итакъ, г. Полевой нашелъ въ поэзіи Жуковского недовольство земнымъ, стремленіе къ небесному, юношескую мечтательность, идеальную любовь и пр. и пр., что и другіе, больше или меньше, лучше или хуже, находили въ ней; но онъ не сказалъ, что такое это найденное имъ, и оно осталось для него искомымъ. Такъ какъ объясненія найденнаго и расхваленнаго имъ въ поэзіи Жуковского онъ искалъ не въ философской мысли, а въ своихъ личныхъ мнѣніяхъ, — то это найденное и расхваленное и явилось чѣмъ-то случайнымъ, и слѣдственно, бессмысленнымъ. Удивительно ли послѣ этого, что поэзія Жуковского стала у г. Полеваго кругомъ виновата за то именно, чѣмъ онъ въ ней восхищается, слѣдственно безъ вины виновата?... Это ли критика? это ли оцѣнка поэта? Задача истинной критики — отыскать въ сознаніяхъ поэта общее, а не частное; человѣческое, а не людское; вѣчное, а не временное; необходимое, а не случайное, — и опредѣлить, на основаніи общаго, т. е. идеи, цѣну, достоинство, мѣсто и важность поэта. А то ли сдѣлалъ г. Полевой, такъ много наговоривъ о Жуковскомъ?...

Статью о Державинѣ назвали мы лучшею, о Жуковскомъ—одною изъ лучшихъ; но о статьѣ о Пушкинѣ рѣшительно не

знаемъ, что и сказать. Въ первой, если не видно единой идеи, изъ себя развивающейся, за то видна общность взгляда, производящая въ читателѣ общность впечатлѣнія; во второй можно догадаться, о чемъ и почему именно такъ говорятъ критикъ, и въ ея изложеніи много увлекательности и жизни; но въ третьей ничего не поймете, и не встрѣтите ни одного живаго мѣста, ни одного сильнаго выраженія. Это какой-то хаосъ крутящихся понятій, которыя сталкиваются другъ съ другомъ и дерутся, и сквозь нихъ промелькиваютъ такіе іероглифы, которыхъ объясненія должно искать въ журнальныхъ сшибкахъ того времени. Г. критикъ ни въ чемъ не отдаетъ отчета, судить по Шемякински, хотя и началъ, по своему обыкновенію, съ вѣчнаго классицизма и романтизма, о которыхъ толки обратились у него въ общія мѣста и сдѣлались такъ же скучны и истерты, какъ и вѣчныя выраженія покойнаго «Московского Телеграфа»: идти въ рядъ съ вѣкомъ, и отстать отъ вѣка. Чего не найдете вы въ этой статьѣ! И о XIX вѣкѣ, такъ хорошо знакомомъ г. критику, и о Байронѣ, и о Викторѣ Гюго! Въ ней даже прочтете вы удивительно глубокой, необыкновенно удовлетворительной, хотя и очень краткой и мимоходомъ набросанный разборъ одного изъ величайшихъ созданій Шекспира—«Короля Ричарда II». И потому, мы не будемъ распутывать этой путаницы словъ и фразъ, написанныхъ явно въ безпокойномъ духѣ,—а ограничимся выставкою на видъ только нѣсколькихъ перловъ, съ бѣглыми на нихъ замѣтками. Впервые, мы узнаемъ изъ этой глубоко философской статьи, что Пушкинъ есть представитель XIX вѣка въ русской поэзіи, но именно русской — и не болѣе, но что Пушкинъ — поэтъ, обладающій дарованіемъ обширнымъ (!), душою глубоко-разражающею (?), восторженною, даромъ слова удивительнымъ (!!); что карамзинизмъ повредилъ даже совершеннѣйшему изъ его созданій—«Борису Годунову» (стр. 157, 162), что первая глава

«Онѣгина» пестра, безъ тѣней (?), насмѣшлива, почти лишена поэзіи. (?!), вторая — впадаетъ въ мелкую сатиру, въ шестой поэтъ снова впадаетъ въ прежній тонъ насмѣшки, эпиграмму, и то же слѣдуетъ въ седьмой; но что поединокъ Ленскаго съ Онѣгинымъ выкупаетъ все (стр. 165); что русизмъ «Руслана и Людмилы» была та несчастная, щеголеватая народность, Флоріановскій манеръ, по которому Карамзинъ написалъ «Илью Муромца», «Наталью боярскую дочь» и «Марю Посадницу», Нарѣжный — «Славянскіе вечера», а Жуковский обрусилъ «Ленору», «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» и сочинилъ свою «Марьину рошу» (стр. 161); что его «Кавказскій плѣнникъ» блѣденъ и ничтоженъ (!?), «Бахчисарайскій Фонтанъ» и «Цыганы» нерѣшительны, «Евгеній Онѣгинъ» легокъ (стр. 163). Г. Полевой совѣтуетъ Пушкину (статья была написана въ 1833 году) выкинуть изъ собранія своихъ сочиненій «Дорожныя жалобы» и «Къ Вельможѣ», какъ піесы, недостойныя его (стр. 167)... Какъ жаль, что Пушкинъ не послушался господина Полеваго и не отрекся отъ «Дорожныхъ жалобъ» — этой піесы, проникнутой грустною ироніею, этой гениальною шуткою, — и отъ «Вельможи», произведенія, въ которомъ такую мощную и широкую кистію, съ такою полнотою, глубокостію и вѣрностію изобразилъ нашъ поэтъ характеръ, духъ и поэзію, словошъ, творчески воспроизвелъ идею русскаго XVIII вѣка, полного славы и величія, пировъ и роскоши, сомнѣній ума и жажды наслажденій!... Да, вообще Пушкину много повредило то, что онъ не слушался совѣтовъ и наставленій г. Полеваго... Нѣтъ силъ выписывать его мнѣнія о мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина: не знаемъ — смѣяться или сердиться! Повѣрите ли, въ «Андрѣѣ Шенѣ» и «Наполеонѣ» г. Полевой видитъ лучшія лирическія созданія Пушкина, и ставитъ ихъ несравненно выше «Подражаній древнимъ», «Подражаній Корану», и такихъ піесъ, какъ «Предчув-

ствіе», «Кавказъ», «Трудъ», «Узникъ», «Анчаръ» и даже «Бѣсы»!... Чтѣ сказать объ этомъ? Видите ли въ чемъ дѣло: когда г. Полевой началъ читать, Державинъ былъ уже весь изданъ, и его могучіе звуки первые поразили впечатлѣніями поэзіи душу нашего критика — и статья г. Полеваго о Державинѣ лучшая его статья; Жуковского онъ уже изучалъ, потому что, для пониманія его, долженъ былъ дѣлать себѣ усиліе, отрѣшаться отъ многихъ уже вѣзавшихся въ него одностороннихъ убѣжденій, — и онъ оцѣнилъ его уже менѣе въ попадъ; но Пушкинъ явился уже совсѣмъ не въ-время: онъ опоздалъ для г. Полеваго, или г. Полевой уже опоздалъ для него, — и потому, пока Пушкинъ былъ еще только авторомъ «Руслана и Людмилы» и «Кавказскаго Плѣнника», пока еще онъ написалъ только «Андрея Шенье», «Къ Овидію», «Къ Ч — у», «Наполеона», г. Полевой удивлялся ему, провозглашалъ его «сѣвернымъ Байрономъ», представителемъ современнаго человѣчества; а когда геній Пушкина началъ мужать и возмужалъ, г. Полевой поспѣшилъ взять назадъ свои критическіе приговоры. Пока «Онѣгинъ» былъ еще недоконченною повѣстію, слѣдственно, не имѣлъ полноты и цѣлости, а основная идея его была еще тайною, — г. Полевой не скупился на похвалы; когда же «Онѣгинъ» явился полнымъ, оконченнымъ, замкнутымъ въ себѣ художественнымъ созданіемъ, въ дивныхъ образахъ выразившимъ глубокую идею, — г. Полевой такъ оцѣнилъ его: «Вотъ послѣдняя глава, конецъ «Онѣгина»! Чѣмъ же кончилась эта исторія, сказка или романъ — спросятъ читатели. Чѣмъ?... да чѣмъ обыкновенно кончится все въ мірѣ? И Богъ знаетъ! Иной живетъ лѣтъ восемьдесятъ, а жизни его было всего лѣтъ тридцать. Такъ и «Евгеній Онѣгинъ»: его не убили, и самъ онъ еще здравствовалъ, когда поэтъ задернулъ занавѣсъ на судьбу своего героя» («Телеграфъ» 1832, XLIII, стр. 448). За этою замысловатою и насити-

вою оговоркою слѣдуетъ выписка нѣсколькихъ строкъ, съ приличною похвалою онымъ!... А не угодно ли полюбоваться, какъ оцѣнилъ г. Полевой третью часть мелкихъ сочиненій Пушкина, которая вышла въ 1832 году, и которая столько же выше первыхъ двухъ, сколько возмужавшій геній выше еще невозмужавшаго? Слушайте — и дивитесь:

Теперь спросимъ у самихъ себя: того ли Пушкина видимъ мы въ *третьей* части его стихотвореній, того ли поэта, котораго полюбила публика наша, и которымъ восхищалась она, читая первыя двѣ части его стиховъ? Повторяемъ, что въ *наружной* *отдѣлкѣ* онъ все тотъ же: *сладкозвученъ, плынителемъ, изливъ* (!?...); но это не творецъ посланія «Къ Ч—ву», «Андрея Шенье», «Наполеона», «Къ Морю», и пр. и пр. Направленіе его, *взглядъ*, самое оушешленіе — совершенно *измѣнились*. Это не прежній задумчивый и грозный, сильный и пламенный выразитель думъ и мечтаній своихъ ровесниковъ; это *нарядный, блестящій и умный свѣтскій человекъ, обладающій необыкновеннымъ даромъ стихотворенія* (Телеграфъ 1832. Ч. LXIII стр. 570).

Очень-съ хорошо! Это говорится о той третьей части, въ которой помѣщены: «Кавказъ», «Обвалъ», «Монастырь на Казбекѣ», «Делибашъ», «На холмахъ Грузіи лежитъ ночная игла», «Не плѣняясь бранной славой», «Донъ», «Олеговъ Щитъ», «Поѣдемъ, я готовъ», «Когда твои младыя лѣта», «Я васъ любилъ», «Зима», «Что дѣлать намъ въ деревнѣ», «Зимнее утро», «Дорожныя жалобы», «Калмычкѣ», «Что въ имени тебѣ моемъ», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Въ часы забавъ, иль праздной скуки», «Къ вельможѣ», «Поэтъ», «Отвѣтъ анониму», «Пью за здравіе Мери», «Пиръ во время чумы», «Бѣсы», «Труды», «Моцартъ и Сальери», «Цыганы», «Мадона», «Эхо», «Клеветникамъ Россіи», «Бородинская Годовщина», «Узникъ», «Зимній вечеръ», «Даръ напрасный», «Анчаръ», «Подъѣзжая подъ Ижоры», «Примѣты», и наконецъ «Собраніе наѣско-мыхъ» — стихотвореніе, которое особенно не нравится тонкому и чуткому вкусу нашего критика, но очень примѣчательное и важное, если подумаешь, какіе есть на свѣтѣ критики!...

Мы передали публикѣ фактъ о критикѣ г. Полеваго — судить и доказывать не будемъ: есть факты, которые сами за себя громко говорятъ. И что же?—Мы очень далеки отъ того, чтобы подозрѣвать г. Полеваго въ пристрастіи къ Пушкину: есть большая разница между ошибкою вслѣдствіе личной враждебности, и ошибкою вслѣдствіе простодушнаго невѣдѣнія, или бѣдности эстетическаго вкуса.

Статья о Пушкинѣ въ изданныхъ нынѣ «Очеркахъ» есть разборъ «Бориса Годунова». Какъ же оцѣнилъ г. Полевой это великое созданіе Пушкина? — А вотъ посмотрите: «Прочитавъ посвященіе, знаемъ напередъ, что мы увидимъ Карамзинскаго Годунова: этимъ словомъ рѣшена участь драмы Пушкина. Ему не пособить уже ни его великое дарованіе, ни сила языка, какою онъ обладаетъ» (стр. 184). Теперь ясно и понятно ли, что это за оцѣнка?... Вотъ, еслибы Пушкинъ изобразилъ намъ Годунова съ голоса знаменитой, но недоконченной «Исторіи Русскаго народа» — тогда его «Борисъ Годуновъ» былъ бы хоть куда, и даже удостоился бы очень лестныхъ похвалъ со стороны «Московского Телеграфа»... Вообще, г. Полевой очень не благоволитъ къ Карамзину. Ему даже не нравится слогъ «Исторіи Россійскаго Государства» — эта дивная рѣзба на мѣди и мраморѣ, которой не словетъ ни время, ни зависть, и подобную которой можно видѣть только въ историческомъ опытѣ Пушкина: «Исторіи Пугачевского Бунта». Уже только похвалить Карамзина — значитъ попасть подъ опалу г. Полеваго. За что такое неблаговоленіе? — За то, что Карамзинъ своими идеями принадлежалъ къ тому времени, въ которое родился и воспитался, а не къ тому, въ которое умеръ: — забавное обвиненіе! Не знаемъ, потому ли, что мы не доросли до «высшихъ взглядовъ» г. Полеваго, или потому что переросли ихъ, но только мы видимъ въ Карамзинѣ писателя, оказавшаго великія и безсмертныя услуги своему оте-

честву, писателя, который выразилъ духъ своего времени, но не заднимъ числомъ, а показавъ его своимъ современникамъ какъ новое для нихъ время; авъ г. Полевымъ видимъ дѣятельнаго писателя, обладаемаго больше тревогою, чѣмъ вдохновеніемъ, за все бравшагося и ничего некончившаго, разрушившаго многія старыя предубѣжденія и не сказавшаго ничего новаго, оказавшаго большія заслуги отрицательно, и никакихъ положительно, наконецъ, критика, который, думая идти наравнѣ съ вѣкомъ, шелъ только наравнѣ съ толпою: толпа хвалила Пушкина—и онъ хвалилъ его; толпа охладѣла къ Пушкину—и онъ охладѣлъ къ нему; смерть Пушкина поразила общее вниманіе — и г. Полевой явился въ «Библіотекѣ для Чтенія» съ статьею о Пушкинѣ, въ которой много наговорилъ общихъ риторическихъ мѣстъ о поэтѣ и человѣкѣ, а ровно ничего не сказалъ о Пушкинѣ...

Да, г. Полевой опоздалъ для Пушкина: удивительно ли, что Гоголь для него — темна вода во облацѣхъ?... Всему свое время и своя чреда, — и счастливъ тотъ, кто, въ-время начавъ, умѣлъ и въ-время кончить!...

Пропускаемъ статьи, неотносящіяся къ искусству, и укажемъ на послѣднюю въ I-й части «Очерковъ» — разборъ «Двумужницы» кн. Шаховскаго. Кто помнитъ этотъ разборъ, тотъ знаетъ, что г. Полевой судилъ заслуженнаго нашего драматурга за «Двумужницу» какъ за уголовное преступленіе противъ искусства, что онъ даже передразнилъ его, тутъ же написавъ злую пародію на его піесу. Конечно, піеса кн. Шаховскаго произведеніе не художественное, не превосходное, но и не безъ достоинствъ, а главное—она рѣшительно выше всѣхъ опытовъ г. Полеваго въ драматической поэзіи, начиная отъ его Дюсисовской передѣлки Шекспирова «Гамлета» и оригинальной трагедіи «Уголино» до «Ужаснаго Незнакомца», не имѣвшаго никакого успѣха на сценѣ. Какъ помирить это про-

творѣчіе?... Мы жалѣемъ, что г. Полевой, за критикою «Двумужницы», не помѣстилъ тотчасъ своего письма къ г. Булгарину («Сынъ Отечества». 1839 № IV), въ которомъ онъ высказалъ свои понятія о драматической поэзіи и о своихъ трудахъ по этой части. Не знаемъ, какъ сообразить и согласить взглядъ его на произведеніе князя Шаховскаго и на его собственныя созданія въ драматическомъ родѣ!... Взглянемъ на это письмо, чтобы поправить упущеніе г. Полеваго, непечатавшаго его рядомъ съ критикою «Двумужницы». Это тѣмъ болѣе необходимо для насъ, что можетъ быть окончательною оцѣнкою г. Полеваго, какъ критика, и окончательнымъ разборомъ его критическихъ основаній.

Поводомъ къ этому письму г. Полеваго къ г. Булгарину былъ разборъ какого-то драматическаго отрывка г. Полеваго, написанный г. Булгаринымъ, который, между прочимъ, очень дѣльно, основательно и безпристрастно опредѣляетъ литературную дѣятельность г. Полеваго слѣдующимъ образомъ:

Почтенный Н. А. Полевой пишетъ, какъ говорятъ, по лосамъ. О чѣмъ рѣчь въ публикѣ, за то принимается почтенный Н. А. Полевой. Была эпоха журналовъ, Н. А. издавалъ журналъ; была мода на Шеллингову философію и политическую экономію — онъ писалъ о философій и политической экономіи. Настала мода на романы, онъ сталъ писать романы. Альманахи ввели въ моду оригинальныя повѣсти — Н. А. Полевой сталъ писать повѣсти. Заговорили объ исторіи — вотъ есть и исторія; наконецъ, вкусъ высшаго сословія и публики явно обратился къ театру, и Н. А. Полевой пишетъ трагедіи, драмы, драматическія представленія, драматическія были и водевили. Пишетъ онъ такъ много, что мы не можемъ постигнуть, когда онъ выбираетъ время, чтобы читать и учиться: Н. А. Полевой человекъ умный и *удивительно смысленный*. Онъ не можетъ написать ничего рѣшительно дурнаго, а между тѣмъ написалъ онъ много хорошаго. Что онъ ни напишетъ, во всемъ пробывается то талантъ, то смѣлливость, то ловкое подражаніе, и *все приоровлено къ понятіямъ* большинства.

Эта безпристрастная и вѣрная оцѣнка, съ которою мы вполне согласны, какъ-будто бы она была произнесена самими нами, заключается такъ:

Невозможно быть безпристрастным насъ къ Н. А. Полевому, и, *не взирая на прошедшее*, мы всегда отдаемъ справедливость его таланту, уму, трудолюбію, а болѣе всего его *сметливости, въ которой онъ не имѣетъ равнаго въ нашей литературѣ.*

Не будемъ разбирать всѣхъ возраженій г. Полеваго, написанныхъ въ отвѣтъ на это безпристрастное и вѣрное мнѣніе о немъ г. Булгарина, но обратимъ вниманіе только на два, въ которыхъ самымъ рѣзкимъ образомъ выразились понятія г. Полеваго о наукѣ и искусствѣ. Г. Полевой, доказывая, что онъ шелъ не за другими, а впереди другихъ, такъ говоритъ о своихъ отношеніяхъ къ философій и политической экономіи: «Я усердно споспѣшествовалъ той и другой наукѣ, ознакомившись съ ними при самомъ началѣ моего литературнаго поприща, и не только не отвергаюсь ихъ теперь, но увѣренъ, что для прочнаго образованія, какого угодно, обѣ науки должны быть положены краеугольнымъ камнемъ въ основаніи: одна какъ зерно всѣхъ идей человѣческихъ, другая какъ важнѣйшее дополненіе исторіи, какъ необходимое знаніе въ практической жизни, которымъ разрѣшаются важнѣйшіе вопросы общественные» (С., О. 1839 № IV, стр. 107). Какая поверхностность и сколько сбивчивости, противорѣчій и ложности въ этихъ немногихъ строкахъ! Когда и чѣмъ споспѣшествовалъ г. Полевой успѣхамъ философій? и какъ онъ могъ споспѣшествовать ей, не зная ея, но повторяя о ней фразы, взятые на выдержку изъ французскихъ журналовъ! Онъ говоритъ, что ознакомился съ нею при самомъ началѣ своего литературнаго поприща: это, вѣрно, передъ изданіемъ «Московского Телеграфа»! Вотъ что значитъ заблаговременно запастись нужнымъ матеріаломъ! Но мы этому рѣшительно не вѣримъ, потому что философію нельзя заниматься только въ извѣстное время и къ извѣстному сроку: должно посвятить ей всю жизнь свою, или совсѣмъ за нее не браться; философію можно изучать, но

нельзя ее выучить; ибо философія есть не только зерно, какъ говорятъ г. Полевой, но и развитіе идей, какъ разумно-необходимой возможности всего сущаго, ставшаго явленіемъ въ природѣ и въ исторіи; сознаніе той сферы сверхъ-чувственного и сверхъ-опытнаго, гдѣ бытіе равно небытію, возможность равна явленію... Кто началъ изучать философію, тотъ никогда не остановится въ этомъ изученіи: иначе никогда не снимешь съ дѣйствительности таинственной покрывала Иизды. Поэтому, ничего нѣтъ забавнѣе тѣхъ господъ, которые, вмѣсто: «я изучилъ Шеллинга», говорятъ: «я прочелъ Шеллинга», или которые говорятъ: «я знаю философію и могу говорить о ней, потому что тогда-то учился ей». Первые изъ этихъ господъ, т. е. тѣ, которые не изучаютъ, а перелистываютъ Шеллинга, похожи на дѣтей, для которыхъ сѣсть верхомъ на палочку и скакать на лошади — все равно, и которые, сѣвъ верхомъ на палочку, легко могутъ увѣрить себя, что они стремглавъ, несутся на рыаномъ конѣ. Вторые изъ этихъ господъ похожи на какого-нибудь Кутейкина, который, вспомнивъ оное блаженное время, когда онъ, убоясь бездны премудрости, возвратился вспять, говоритъ съ полнымъ убѣжденіемъ: «я твердо выучилъ философію — инда и теперь помню». Потомъ, скажите, Бога ради, какимъ образомъ политическая экономія стала объ-руку съ философіею — наукою наукъ, — какъ равное ей знаніе? Если политическая экономія есть наука, а не опытное знаніе, то она должна только основываться на философіи, занимая свое мѣсто въ энциклопедіи философіи, но отнюдь не тягаться въ равенствѣ съ нею. Кто листъ противопоставляетъ дереву, окошко или печную трубу — зданію, особенно, если это дерево — кедръ, и это зданіе — храмъ?... А чтѣ такое значить фраза г. Полеваго, что «политическая экономія есть важнѣйшее дополненіе исторіи»? Теорія развитія народнаго богатства, безъ сомнѣнія, дол-

жна занимать и интересоваться историка, какъ одна изъ многихъ сторонъ его предмета, но чтобы политическая экономія была какимъ-то дополненіемъ исторіи — это такъ непонятно, что, для уразумѣнія подобной загадки, надо перелистовать Шеллинга и выучить философію... Изъ этого можно видѣть, что г. Полевой не только глубоко знаетъ философію и политическую экономію, но и, дѣйствительно, много способствовалъ ихъ успѣхамъ въ нашемъ отечествѣ...

Теперь бросимъ взглядъ на понятіе г. Полеваго о драматической поэзіи.

Въ то же грустное время жизни, когда я, сочиняя «Аббадонну» (подлинно грустное, судя по роду развлеченія!), Шекспиръ, *старый другъ мой, соблазнилъ меня* переводить «Гамлета» (вотъ ужъ подлинно соблазнитель на свою же погибель!) и привести при томъ въ исполненіе мысль мою о сценической передачѣ его твореній (стр. 110). Публика лучше журналистовъ и теоретиковъ поняла дѣло, и это рѣшило меня на драматическій опытъ еще, а потомъ на другой и на третій опытъ (ibid.).

Эти немногія строки многимъ радуютъ душу читателя — и тѣмъ, что Шекспиръ другъ г. Полевому, и тѣмъ, что г. Полевой хочетъ передать на русскій языкъ всѣ произведенія своего друга; но гдѣ же доказательства того, что публика поняла дѣло? неужели въ томъ, что она вызвала переводчика, какъ она вызываетъ всѣхъ передѣлывателей французскихъ водевилей? или въ томъ, что, восхищенная игрою Мочалова и Каратыгина, часто смотрѣла на нихъ въ роли Гамлета, несмотря на искаженный и облизанный переводъ, крайне-дурную постановку и выполненіе пьесы?... Потомъ, какое отношеніе имѣютъ къ переводу драмы Шекспира и собственныя театральныя издѣлія г. Полеваго? Неужели то и другое — драматическій опытъ? Какъ? «Гамлетъ» Шекспира — и «Уголино» и «Ужасный Незнакомецъ» г. Полеваго — драматическіе опыты?... Какъ?... Но... Извините — мы и забыли,

что г. Полевой съ Шекспиромъ за-просто — свои люди, сочтутся сами; а наше дѣло — сторона...

Не буду пересказывать здѣсь исторію *драмы и сцены*, и, думая, вы согласитесь безъ дальнѣйшихъ доказательствъ, что нашъ вѣкъ не сыскалъ еще современной ему драмы...

Каково предложеніе? Согласиться, безъ дальнѣйшихъ доказательствъ, что нашъ вѣкъ не сыскалъ еще современной драмы, и перебивается чужою? Не все ли это равно, что попросить кого-нибудь согласиться, что дважды два — пять, а не четыре?... Въ XIX вѣкѣ знаменитѣйшія драмы — Шиллера и Гёте. Дѣло ясно: если эти драмы художественны, то зачѣмъ же ему, нашему вѣку, мимо драмъ, которыя у него есть, искать драмъ, которыхъ у него нѣтъ? Отъ добра добра не ищутъ, говоритъ мудрая русская поговорка. Если же драмы Шиллера и Гёте не художественны, а другихъ художественныхъ не является: значить, ихъ нѣтъ, а «на нѣтъ и суда нѣтъ», говоритъ другая мудрая русская поговорка. Не смѣшно ли искать того, чего нѣтъ?...

..... а русская словесность и сцена еще менѣе сыскала ее. Какая должна быть *современная* драма? Какая должна быть драма у каждаго народа? И даже должна ли быть отдѣльная драма русская, французская, нѣмецкая?

Что за глубокіе вопросы! на днѣ ихъ и свѣта не видно!... Русская сцена нашла современную драму-комедію отчасти въ «Горе отъ Ума» Грибоѣдова и исполнѣ въ «Ревизорѣ» Гоголя. Конечно, это еще одна сторона сцены, и этого еще немного; но вопросъ не въ количествѣ, а въ сущности, въ первообразѣ предмета. Русская же словесность нашла свою современную драму отчасти въ «Горе отъ Ума» Грибоѣдова и исполнѣ въ «Борисѣ Годуновѣ», въ «Сальери и Моцартѣ», «Скупомъ Рыцарѣ», въ «Русалкѣ», въ «Каменномъ Гостѣ» Пушкина, и въ «Ревизорѣ» Гоголя. «Какая должна быть современная драма?» спрашиваетъ г. Полевой: вотъ предостолобный вопросъ!

Право, подобные вопросы напоминаютъ нѣжныхъ супруговъ, которые до слезъ спорятъ—одинъ, что у нихъ родится сынъ, а другая, что у нихъ родится дочь... Такія вещи не выводятся а priori, и стремленіе выводить ихъ, равно какъ и историческіе факты въ будущемъ — не философія, а философическое пересыпаніе изъ пустаго въ порожнее. У отца есть сынъ — и онъ можетъ сказать, каковы наружность и характеръ его сына; но если этотъ сынъ его ожидается, то всѣ вопросы о его наружности и характерѣ будутъ походить на вопросъ: «какова должна быть русская драма?» Если поименованныя нами драматическія произведенія Грибоѣдова, Пушкина, Гоголя, г. Полевой почитаетъ художественными, то онъ уже долженъ знать, какова должна быть русская драма; если же онъ не признаетъ ихъ художественными, то всѣ его усилія рѣшить этотъ вопросъ будутъ походить на усилія человека, который желаетъ разгадать, что будетъ находится черезъ пять тысячъ лѣтъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ его домъ. Въ мышленіи немаловажная задача опредѣлить — что можетъ и что не можетъ быть мыслимо. Что же касается до вопроса, должна ли быть отдѣльная драма, русская, французская, нѣмецкая, — мы можемъ утвердительно отвѣчать г. Полевому на этотъ важный и глубокій вопросъ: должна, непременно должна... еще разъ, тысячу, миллионъ разъ — должна, но должна съ условіемъ, чтобы прежде, нежели быть русскою, французскою или нѣмецкою драмою — быть художественною драмою. Последнее условіе гораздо важнѣе перваго: если соблюдено это послѣднее, то первое, безъ всякихъ условій и хлопотъ со стороны поэта, исполняется само собою. Если «Борисъ Годуновъ» Пушкина не художественная драма, то она и не русская и никакая драма; а если художественна, то необходимо и русская, потому что написана русскимъ поэтомъ; на русскомъ языкѣ, да и самое содержаніе ея взято изъ русской исторіи.

Я увѣренъ, что современная нашъ драма не осуществлена ни французскими классиками (*пора утѣрпѣться!*...) и романтиками (*пора!*), ни германскою драмою Гёте (*вотъ какъ!*...), Шиллера, Вернера, Грильпарцера, Мюльнера, и что Шекспиръ *цѣликомъ* такъ же не современная наша драма (*на колѣни, читатели!*...), какъ *цѣликомъ* Кальдеронъ, Софоклъ и Корнель. Далѣе идетъ другой рядъ вопросовъ о соглашеніи *нашей драмы*, сообразной правамъ, понятіямъ, образованію (чьимъ?), съ идеею *современной драмы вообще*. Наконецъ, третій рядъ вопросовъ о примиреніи *сцены съ драмою, или творчи съ практикою*.

Превосходно! Впервыхъ, что за чудное смѣшеніе именъ: Гёте и Шекспиръ перемѣшаны съ Грильпарцерами, Вернерами и Мюльнерами; Кальдеронъ и Софоклъ—съ Корнелемъ; о французскихъ классикахъ и романтикахъ говорится вмѣстѣ съ Гёте, Шекспиромъ и Софокломъ! Далѣе, каковы понятія объ органической цѣлости и художественной замкнутости изящныхъ произведеній: Шекспиръ и Софоклъ *цѣликомъ* не годятся, а ихъ надо облизывать и уродовать, или по крайней мѣрѣ, передѣлывать, какъ напр., передѣланъ «Гамлетъ» Дюсисомъ, и гг. Сумароковымъ, Висковатовымъ и Полевымъ!... Второго и третьяго рода вопросовъ мы совершенно не понимаемъ, какъ будто бы они были изложены на китайскомъ языкѣ. «Все это вопросы важные, и, можетъ-быть, да и, кажется, навѣрное мы умремъ, не рѣшивши ихъ» — заключаетъ г. Полевой. Жаль, очень жаль! А вопросы, дѣйствительно важные—правосъ! Бога ради, рѣшайте ихъ поскорѣе, г. Полевой! Вѣдь вы ихъ сочинили, вы ихъ рѣшайте, а наше дѣло — сторона.

И г. Полевой рѣшаетъ:

Но что же намъ дѣлать: сложить руки и сидѣть? Нѣтъ, надобно начать рѣшеніе, положить отъ себя нѣсколько данныхъ, къ которымъ потомъ приложить еще. Начать рѣшеніе должно *думая теоретически, и дѣлая практически...*

Видите ли: ларчикъ просто открывался! У насъ нѣтъ драмы, такъ сдѣлаемъ драму, вмѣсто того, чтобы сидѣть сложа руки. Положимъ, что теперь зима и надворѣ свирѣпствуютъ морозы,

а намъ нужно, чтобы у насъ цвѣли розы. Но розы въ это время не цвѣтутъ; что жъ! еще небольшое горе: вмѣсто того, чтобы сидѣть сложа руки, мы пошлемъ въ магазинъ, гдѣ дѣлаютъ изъ тканей какіе угодно цвѣты и розы; вотъ мы и съ розами да еще съ такими, которыя никогда не увядаютъ, а развѣ только рвутся и пачкаются. Каковы понятія о творящей силѣ природы! нѣтъ ароматической красавицы, пышной царицы садовъ — сдѣлаемъ ее изъ тряпокъ!... Каковы понятія о творящей силѣ художественнаго духа: у насъ нѣтъ драмъ Шекспира,—такъ есть драмы друга его, г. Полеваго!...

Примемся за опыты: одна теорія недостаточна нигдѣ — въ этомъ я увѣренъ, а одной практики также мало. Думать о драмѣ и сдѣлать нѣтъ въ время, принимаясь за нѣхъ практику на *сороковомъ* году отъ рожденія, изучивъ предварительно исторію нѣхъ у всѣхъ народовъ.

Ну, господа, давайте, примемся всѣ за работу, а чтобы она шла успѣшнѣе, раздѣлимся на двѣ половины: одна будетъ дѣлать теорію лучшаго сорта... другая—самая отличнѣйшія драмы, то-есть, практику-съ. Хорошо; но вотъ условіе—*sine qua non*: кто не имѣлъ счастья дожить до полныхъ сорока лѣтъ, того мы не примемъ въ члены нашей драматической фабрики. Пусть это будетъ напоминать злую сатирическую статейку г. Полеваго «Общество беззубыхъ Литераторовъ»; но что до этого! Конечно, оно будетъ немножко смѣшно, но за то очень полезно: у насъ будетъ теорія и практика... Не пугайтесь также необходимости предварительнаго изученія драмы у всѣхъ народовъ: дѣло не такъ страшно, какъ кажется. Можетъ-быть, вы слишкомъ добросовѣстны, и вамъ кажется недостаточнымъ всей жизни для свершенія подобнаго подвига: увѣряю васъ, что это излишняя робость. Научитесь изъ примѣра г. Полеваго, что подобный подвигъ можно совершать между другими гораздо важнѣйшими дѣлами, какъ то: изученіемъ философіи Шеллинга, политической экономіи, изученіемъ всѣхъ литера-

туръ въ міръ, изданіемъ журнала, сочиненіемъ разныхъ исторій въ нѣсколькихъ томахъ, сочиненіемъ нѣсколькихъ романовъ, множества повѣстей, безчисленнаго множества журнальных статей. Для этого даже не нужно ни глубокаго эстетическаго чувства, ни глубокихъ познаній, ни даже какихъ-нибудь понятій объ искусствѣ: гораздо нужнѣе всего этого отвага и самоувѣренность...

И все, что до сихъ поръ отдано мною на сцену, я не считаю ни чѣмъ другимъ (о, грамматика! о, православный русскій языкъ! — что съ вами дѣлають?...), какъ только *добросовѣстными* опытами, играю въ banque на мою литературную извѣстность. (Оченно-съ скромно!). Не мнѣ судить себя (вотъ ужъ это напрасно-съ), но признаюсь (а!... а!...), не могу не порадоваться нѣкоторымъ успѣхамъ моихъ опытовъ, хотя приписываю ихъ снисхожденію публики только за *искренность* трудовъ моихъ, которую она вполне оцѣняетъ, и которая можетъ многое замѣнить въ писателѣ (умѣренность и аккуратность!). Опыты мои были разнообразны: въ «Уголно» мнѣ *хотѣлось испытать на сценѣ* идею судьбы, ожививъ ее религиознымъ духомъ; въ «Дѣдушкѣ Русскаго Флота» — очеркъ исторической картины и русское народное чувство (*хотѣлось испытать на сценѣ* — очеркъ исторической картины и русское народное чувство!); въ «Иголкинѣ» — простое изображеніе фанатическаго чувства любви къ отечеству, безъ всякихъ декораций сценическихъ (*хотѣлось испытать на сценѣ* — простое изображеніе фанатическаго чувства любви къ отечеству, безъ всякихъ декораций сценическихъ!); въ «Смерти или Чести» — нѣмецкую Трагедію и предѣлъ перехода изъ повѣсти въ драму (??!...); въ «Русскомъ Человѣкѣ» — сцену, сведенную на самыя простыя событія и чувства ежедневныя, въ которыхъ многіе не находятъ предмета для художника. Такъ, въ одномъ изъ новыхъ, приготовляемыхъ мною для сцены опытовъ моихъ, подъ названіемъ «Ода Премудрой Царевнѣ Фелицѣ» мнѣ хотѣлось бы показать *поэтическую сторону прозаической жизни Державина*; въ другомъ «Еленѣ Глинской» испытать быть русской старинны въ идеалѣ художника (?); въ третьемъ «Стрѣшневѣ» — простое изображеніе русскаго быта и опытъ на сценѣ языка нашихъ предковъ; въ «Эспаньолетто» *попытаюсь на сценѣ на изображеніе итальянскихъ страстей*; въ «Прасковѣ Лянуповой» *опять (?) коснуться простаго изображенія любви дѣтской, которая провела простую дѣвушку изъ сѣвъъ Сибири къ царскому престолу, для изпрошенія милости виновному отцу ея.*

Читаешь — и глазамъ не вѣришь! Точь въ точь, какъ будто читаешь сводъ предисловія Виктора Гюго къ его драмамъ:

тутъ я хотѣлъ высказать такую мысль; здѣсь я задалъ себѣ для разрѣшенія такую-то задачу; тамъ хотѣлъ доказать неоспоримость такого-то положенія, — какъ будто поэзія все равно, что математика! какъ будто поэтъ можетъ повелѣвать своимъ вдохновеніемъ!... Только предисловія Виктора Гюго изложены покрасивѣе, въ отношеніи къ языку если и отличаются таковою же мыслительностію... Жаль только, что при сей вѣрной оказіи, г. Полевой не повторилъ, что онъ принялъ столько полезныхъ трудовъ изъ глубокаго убѣжденія, что драмы Шиллера и Гёте, ни самого Шекспира цѣликомъ, не годятся для нашего времени, и изъ великодушнаго желанія помочь вѣку въ его горѣ...

И вотъ вамъ сводъ литературныхъ убѣжденій г. Полеваго и его понятій объ искусствѣ... Удивительно ли, что онъ такъ вѣрно оцѣнилъ Пушкина и такъ хорошо понялъ Гоголя?... Больше мы ничего не скажемъ, и не будемъ выводить заключенія изъ нашей рецензіи, которая, противъ нашей воли, и безъ того вышла слишкомъ длинна. Пусть по тому, что сказали мы, судятъ о томъ, что хотѣли мы сказать; а кому этого мало, то — до слѣдующихъ двухъ томовъ «Очерковъ»: еще будетъ о чемъ поговорить и что сказать, а сказанное пусть приметъ только за предисловіе...

РЕПЕРТУАРЪ РУССКАГО ТЕАТРА. издав. И. Песоцкимъ. Спб. 1840. Книжка 1 и 2.

ПАНТЕОНЪ РУССКАГО И ВСѢХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. Часть 1. Спб. 1840.

Хотя «Репертуаръ» и «Пантеонъ» принадлежатъ къ повременнымъ и срочнымъ изданіямъ, но ихъ нельзя отнести къ числу журналовъ, потому что они состояются изъ цѣлыхъ

писецъ одного рода, а не изъ разныхъ статей, невыходящихъ изъ известнаго объема, допускаемаго журналомъ, и не изъ отрывковъ отъ большихъ сочиненій. Театральная хроника, театральные анекдоты, біографіи артистовъ составляютъ не капитальныя статьи этихъ изданій, а изрѣдка, роскошь, чаще же—балластъ; драматическія сочиненія, цѣлкомъ печатаемыя,—вотъ ихъ капитальныя статьи. Посему, оба эти изданія отнюдь не журналы, а развѣ *драматическіе альмахи*, срочно и по подпискѣ издаваемые. Вслѣдствіе этого, они и могутъ занимать свое мѣсто въ бібліографической хроникѣ «Отечественныхъ Записокъ», въ составъ которой не входитъ и никогда не войдетъ обзоръ журналовъ, *современныхъ* «Отечественнымъ Запискамъ».

О «Репертуарѣ» много говорить нечего, во первыхъ, потому что онъ успѣлъ уже вполне обозначиться въ теченіи прошлаго года, выполняя, какъ слѣдуетъ, свои обязанности передъ публикою; во вторыхъ, потому что содержаніе его составляютъ болѣею частію водевили домашней работы, т. е. передѣлки изъ французскихъ водевилей, передѣлки, похожія на кушанья, которыя, при переносѣ изъ чужой кухни, гдѣ готовились, простыли, и разогрѣваются въ своей, другими поварами. Новаго объ этихъ передѣлкахъ сказать ничего нельзя — о нихъ давно уже все сказано. Конечно, въ «Репертуарѣ» помѣщаются и оригинальныя произведенія; но много ли ихъ и чьи они?... Здѣсь опять новаго ничего не скажешь. Поставщики, или—и это будетъ вѣрнѣе — поставщикъ все тотъ же и отличается все тѣми же красотами, которыми всегда отличаются великіе люди на малыя дѣла, и которыя можно впередъ угадать. Итакъ, о водевиляхъ — изрѣдка, когда-нибудь, а теперь—ни слова. «Репертуаръ» издается; слѣдовательно, есть охотники до чтенія этого рода произведеній, — и мы не будемъ имъ мѣшать: пусть себѣ тѣшутся. Да оно и хорошо: что бы ни

читать, все лучше, чѣмъ ничего не дѣлать, или играть въ карты, что гораздо хуже, чѣмъ ничего не дѣлать. А объ оригинальных... Кстати: во второй книжкѣ «Репертуара» напечатана «Параша Сибирячка» г. Полеваго, имѣвшая такой блестящій успѣхъ на Александринскомъ Театрѣ. Очень хорошая пѣска; но какъ много перемѣнилась она въ печати, лишенная помощи гг. Каратыгиныхъ, г-жи Асенковой и прекрасныхъ декорацій! Право, съ трудомъ узнаете ее! Это обыкновенная участь многихъ театральныхъ пѣсень, даже имѣвшихъ на сценѣ большой успѣхъ: водевили наши особенно подвержены этой горькой участи. Посмотрите, напримѣръ, какъ хороша въ представленіи сцена борьбы дочерней любви, колеблющейся между желаніемъ спасти отца и страхомъ разстаться съ нимъ,—та самая сцена, гдѣ подъ чувствительные звуки мелодраматической музыки г. Болле, г. Каратыгинъ влечетъ г-жу Асенкову къ себѣ, а г. Сосницкій къ себѣ. Но, увы! въ печати нѣтъ эффектной музыки г. Болле, а трогательное мелодраматическое дѣйствіе обозначено въ прописи, и потому не производитъ никакого эффекта. Далѣе, все, что ни слышите вы, со сцены, изъ устъ Каратыгина, кажется вамъ такъ сильно, ново, блестяще, а перечитываете — видите что-то очень похожее на обыкновенныя общія мѣста востѣхъ старинныхъ мелодрамахъ. Но, во всякомъ случаѣ, «Параша Сибирячка» есть лучшая пѣса г. Полеваго, съ которою нейдетъ ни въ какое сравненіе ни его «Уголино», ни «Ужасный Незнакомецъ». Она переложена на сцены изъ такого анекдота, который и самъ по себѣ громко говоритъ душѣ и сердцу,—и въ ней уже одна прекрасная цѣль—тронуть публику зрѣлищемъ торжества дочерней любви, — заслуживаетъ уваженіе и благодарность, и искупляетъ недостатки.

Изъ прочихъ статей въ «Репертуарѣ» укажемъ на «Биографію Рязанцева», прекрасно составленную г. Мундомъ. Обо

всемъ остальномъ нельзя ничего сказать ни новаго, ни стараго. Обозрѣнія театровъ въ «Репертуарѣ» давно уже знамениты отсутствіемъ всякаго мнѣнія, удивленіемъ всему и всѣмъ, и развѣ легкими замѣтками насчетъ самыхъ плохонькихъ, которыхъ, по русской пословицѣ, только лѣнивый не бьетъ, да еще такимъ изложеніемъ, въ которомъ, что ни слово, то и общее мѣсто, какъ бы на прокатъ взятое изъ забытыхъ журнальных рецензій о спектакляхъ. Театральные анекдоты въ «Репертуарѣ» отличаются особенно тѣмъ, что, прочтя ихъ, вы никакъ не угадаете, въ чемъ состоитъ ихъ острота. Есть во 2-й книжкѣ «Репертуара» статья важная, но къ ней мы обратимся, поговоривъ сперва о «Пантеонѣ».

«Пантеонъ» напрасно почитается соперникомъ «Репертуара»: соперники по назначенію своему, они очень разнятся между собою и обширностію плановъ и исполненіемъ. «Пантеонъ» аристократъ передъ «Репертуаромъ»: онъ и толще и объемистѣе его, онъ общается не водевили, но и драмы Шекспира и Кальдерона, не однѣ игранныя на сценѣ піесы, но и неигранныя. Въ самомъ дѣлѣ, говорятъ: мы скоро прочтемъ въ немъ «Бурю», «Коріолана» и другія произведенія Шекспира. Одно уже это заставляетъ смотрѣть на «Пантеонъ», какъ на нѣчто дѣльное и достойное вниманія публики. Первая его книжка общается въ будущемъ много хорошаго, — въ добрый часъ! Взглянемъ на нее.

Капитальная піеса въ ней — «Велизарій», чувствительно-эффектная мелодрама въ нѣмецкомъ вкусѣ, мѣстами порядочно переведенная г. Ободовскимъ. Своимъ успѣхомъ на сценѣ она обязана превосходному таланту г. Каратыгина; но въ чтеніи наводитъ апатическую скуку. Вообще, г. Ободовскій принадлежитъ къ числу лучшихъ нашихъ драматическихъ переводчиковъ, но ему не достаетъ умѣнья выбирать оригиналы для своихъ переводовъ. Равнымъ образомъ, онъ не мастеръ и передѣлы-

вать ихъ, что необходимо съ произведеніями въ родѣ «Іоанна Герцога Финляндскаго» и «Велизарія», съ которыми, какъ съ произведеніями дюжинными, не слѣдовало бы слишкомъ церемониться. Несравненно выше всѣхъ возможныхъ «Велизаріевъ» вторая драматическая пѣса въ «Пантеонѣ» — «Очерки канцелярской жизни и торжество Добродѣтели», драматическая фантазія г. П. М. Не представляя собою цѣлаго, въ художественномъ значеніи, она обнаруживаетъ въ авторѣ большую наблюдательность и замѣтный талантъ схватывать черты дѣйствительности. Не знаемъ, что выйдетъ изъ этого таланта, но готовы радушно привѣтствовать его, если онъ развернется и не обманетъ ожиданій, возбуждаемыхъ этимъ опытомъ. — «Грѣшница» — рассказъ для драмы, есть отрывокъ изъ романа, который, какъ слышно, скоро долженъ выйти въ свѣтъ. — «Музыка въ Швеціи» и «Шведскій Театръ», коротенькія статьи г-на Штиглица, интересны въ фактическомъ отношеніи. «Исторія баловъ и маскарадовъ», статья редактора «Пантеона», г. Кони, очень интересна по фактамъ о труппѣ нѣмецкихъ комедіантовъ, прибывшихъ въ Россію при царѣ Алексіи Михайловичѣ, и о началѣ баловъ и маскарадовъ въ Россіи. Статья эта, кромѣ того, отличается хорошимъ изложеніемъ; жаль только, что авторъ иногда увлекается излишнимъ желаніемъ блистать остротами, Богъ знаетъ почему называя Платона патетическимъ и мокрою курицею (стр. 123), приписывая искусство женщинъ въ притворствѣ знанію языка страстей, которому онѣ будто бы научились изъ грамматики г-на Греча (стр. 124), гдѣ и мушины не узнаютъ даже просто русскаго языка, котораго законы такъ запутанно и сбивчиво въ ней излагаются, а ужъ не только языка страстей, котораго въ ней такъ же мало, какъ и въ романахъ г. Греча. Въ статьяхъ «Закулисная Хроника» и «Панорама всѣхъ возможныхъ Театровъ» много любопытнаго и забавнаго, хотя много и балласта.

Чуть было мы не проглядѣли въ «Пантеонѣ» очень интересной статьи г. Булгарина «Театральныя воспоминанія моеѣ юности», изъ которой мы сперва узнаемъ нѣсколько подробностей о прежнихъ артистахъ петербургскаго театра, потомъ видимъ, что «Дидло былъ Байронъ балета» (стр. 81); что теперь народъ какъ-то мельчаетъ: не видно ни гигантовъ временъ Екатерининскихъ, ни женщинъ съ формами и ростомъ Афродиты-каллипиги (стр. 88); что въ то время никто не стыдился, какъ нынѣ, приносить жертвъ Бахусу, что въ Красномъ Кабачкѣ, въ Жолтенькомъ, въ Екатерингофѣ, на Крестовскомъ Острову, происходили настоящія оргіи; что въ трактирахъ шампанскаго спрашивали не бутылками, какъ нынѣ, а цѣлыми корзинами; вмѣсто чая, молодцы пили пуншъ мертвою чашею; что это имѣло вредное вліяніе на нравы, но что они понимали свое дѣло и къ нимъ шли стихи Крылова:

По ннѣ, такъ лучше пей,
Да дѣло разумѣй!

Кромѣ того, изъ статьи г. Булгарина узнаемъ, что Воробьевъ былъ большой острякъ, хотя изъ приложенныхъ остротъ никакой остроты не видно: вѣрно, причина этому та, что есть остроты, которыя въ печати теряются и дѣлаются тупыми. Далѣе узнаемъ, что Шекспиръ долженъ быть для нашего вѣка не образцомъ, а только историческимъ памятникомъ (стр. 91); что еслибы явился новый Коцебу, то онъ, г. Булгаринъ, первый преклонилъ бы передъ нимъ чело (стр. 92); что Гоголь «Ревизоромъ» доказалъ, что онъ имѣетъ комическій талантъ (и мы то же думаемъ!), и что еслибы Пушкинъ подчинилъ своего «Бориса Годунова» условіямъ сцены, то могъ бы стать наряду съ Шиллеромъ (конечно!); что, наконецъ, г. Полевой (первый въ драматическомъ триумвиратѣ, состоящемъ изъ него, г. Полеваго, Пушкина и Гоголя), обезоруживаетъ умную критику тѣмъ, что, изъ любви къ литературѣ и жало-

сти къ безплодію драматической почвы, оживляетъ русскую сцену оригинальными произведеніями (стр. 93—95).

«Театральныя воспоминанія моеѣ юности» г. Булгарина возбудили «Мои воспоминанія о русскомъ театрѣ и русской драматургіи», г. Полеваго, — и онъ, по обыкновенію, изложилъ ихъ въ «Письмѣ къ Ѳ. В. Булгарину», напечатанномъ въ «Репертуарѣ». По обыкновенію, говоримъ мы, ибо, съ нѣкотораго времени, всѣ мнѣнія и воспоминанія г. Полеваго излагаются не иначе, какъ въ письмахъ къ Булгарину. Читатели «Отечественныхъ Записокъ» знаютъ уже о письмѣ г. Полеваго къ г. Булгарину, напечатанномъ въ IV № «Сына Отечества» за прошлый (некончившійся еще для него) 1839 годъ. Въ этомъ достопримѣчательномъ письмѣ, г. Полевой прямо называетъ г. Булгарина единственнымъ русскимъ литераторомъ, съ которымъ ему, г. Полевому, еще можно имѣть дѣло.

Утѣшительное явленіе! Тѣмъ болѣе утѣшительное, что нашу литературу, особенно журнальную, упрекаютъ въ духѣ парціальности и вражды! Письма г. Полеваго къ г. Булгарину, отличающіяся духомъ миролюбія, непамятозлобія и пріязненности, суть важный фактъ противъ несправедливости подобнаго обвиненія. Сколько было чернильныхъ войнъ между этими двумя атлетами нашей литературы, — но миръ, благодатный миръ восторжествовалъ! Невозможно не подивиться, отъ умиленной души и умиленнаго сердца, всякой умилительной гармоніи душъ, которая, говоря философскимъ языкомъ, проистекаетъ изъ родственности субстанцій. Да; чтò соединила природа, того не расторгнутъ ни враждебные люди, ни враждебныя обстоятельства; симпатія, основанная на тождествѣ стремленія и цѣлей, — такая симпатія не только выдерживаетъ всевозможныя отрицанія, но еще и болѣе укрѣпляется отъ нихъ. Люди, такимъ образомъ настроенные, могутъ ссориться, но эти ссоры служатъ только къ большому укрѣпленію прекрас-

наго союза. За примѣрами ходить недалеко: оставляя въ покоѣ Орестовъ и Пиладовъ и всю древность, заглянемъ въ исторію нашихъ журнальныхъ переворотовъ, которая всегда такъ интересна и назидательна, и которую изучать мы поставили себѣ въ обязанность. Вспомнимъ недавнія эпохи ея, вспомнимъ, на примѣръ, о томъ, сколько литературныхъ неудовольствій, распрей, ссоръ, войнъ, примиреній и разрывовъ, разрывовъ и примиреній, было хоть бы между г. Полевымъ и г. Булгаринымъ, и какъ прекрасны теперешнія ихъ отношенія. Въ то время, для неопытнаго, поверхностнаго, и особливо для молодого взгляда могло показаться, что гг. Полевой и Булгаринъ враждебно противоположны; но взоръ опытный въ каждой размовкѣ могъ разсмотрѣть благодатныя и плодотворныя (для обѣихъ сторонъ) сѣмена будущей дружбы, — всѣ эти несогласія для него были не что иное, какъ усилія къ упроченію вѣчнаго союза, такъ точно, какъ болѣзни молодого тѣла суть не что иное, какъ стремленіе и усилія къ его полному и здоровому сформированію. При самомъ началѣ «Московского Телеграфа» можно было провидѣть будущій союзъ; но скоро возгорѣлась кровопролитная брань. Не говоря о многихъ важныхъ нападкахъ и обвиненіяхъ, устремленныхъ г. Полевымъ на г. Булгарина, не говоря о многихъ сильныхъ пораженіяхъ, претерпѣнныхъ г. Булгаринымъ отъ г. Полеваго, — укажемъ только на одинъ фактъ: кто-нѣ помнитъ, что ученый, хотя и враждующій противъ учености г. Булгаринъ издалъ Горація съ своими примѣчаніями, и кто не помнитъ, что г. Полевой, по этому случаю, печатно указалъ г. Булгарину, что онъ присвоилъ себѣ чужую собственность — комментаріи г. Ежовскаго, и доказалъ, что изданіе Горація г. Булгарина было перепечатка книги г. Ежовскаго? Боже мой! что за кровопролитная брань началась! Сколько остроумія, ума, силы, а, главное — правды, было потрачено съ обѣихъ сторонъ! Но г. По-

левой готовился издавать свою «Исторію Русскаго Народа», а г. Булгаринъ — своего «Ивана Выжигина»: единовременное появленіе этихъ великихъ твореній, изъ которыхъ одно начало собою живую эру исторіи, а другое — романа въ русской литературѣ, само собою показало разумную необходимость согласія. Помирились, и въ чистой радости примиренія, осыпали другъ друга всевозможными похвалами и превозносили другъ друга до седьмаго неба. Г. Полевой уже бросилъ исторію, не кончивъ ея, потому что его цѣль была — не написать исторію, а только показать, какъ должно писать исторію, и доказать, что великій и безсмертный трудъ Карамзина — неудовлетворителенъ; но изданія съ обѣихъ сторонъ не прекращались — похвалы и комплименты также, слѣдственно, миръ процвѣталъ. Но вдругъ на горизонтѣ нашей литературы явилось новое великое свѣтило, достойное быть солнцемъ прекрасной планетной системы, которую образовывала собою литературная связь г. Полеваго съ г. Булгаринымъ: я говорю объ авторѣ «Фантастическихъ Путешествій». Г. Булгаринъ не замедлилъ обнаружить симпатію къ новому солнцу и войти въ его сферу. Что же касается до г. Полеваго — если не могло быть недостатка симпатіи къ солнцу съ его стороны, за то «высшій взглядъ» на себя рѣшительно воспрепятствовалъ ему войти въ его систему, въ качествѣ планеты. Слѣдствіемъ такого дизгармоническаго положенія дѣлъ была война. Г. Полевой, послѣ долговременнаго мира, вдругъ объявилъ во всеуслышаніе, что г. Булгаринъ весь вылился въ «ничто»... Это было самымъ злымъ каламбуромъ, потому что здѣсь г. Полевой ловко воспользовался замысловатымъ и совершенно выражающимъ свою идею названіемъ юмористической статейки г. Булгарина — «Ничто». Г. Булгаринъ, разумѣется, не устранился — и множества остротъ, намѣковъ, частію непонятыхъ, а частію незамѣченныхъ публикою, испестрило листки

«Пчелы». Вдругъ г. Полевой дѣлается главнымъ сотрудникомъ «Сына Отечества», рѣшившагося на попытку къ возрожденію и оживленію; тогда снова начинается самое крѣпкое согласіе, которое, къ изумленію всего читающаго міра, было прервано браннымъ возгласомъ г. Булгарина противъ г. Полеваго, приплетеннымъ къ оберткѣ «Библіотеки для Чтенія», возгласомъ, въ которомъ г. Булгаринъ доказывалъ, что г. Полевой, играя съ нимъ на бильярдѣ, «сдѣлалъ на себя двѣнадцать очковъ— т. е. положилъ на себя желтый шаръ въ среднюю лузу...» Но это было слабымъ и уже послѣднимъ затмѣніемъ согласія, такъ гармонически настроеннаго. Г. Полевой не возражалъ и, какъ это бывало прежде, за несправедливость г. Булгарина не заплатилъ несправедливостію, лишивъ его всѣхъ достоинствъ, имъ же самимъ ему приданныхъ, но скромно признался, что г. Булгаринъ побѣдилъ его. Вскорѣ послѣ того, г. Булгаринъ такъ вѣрно и истинно оцѣнилъ всего г. Полеваго, а г. Полевой такъ скромно и такъ безобидно для себя и для г. Булгарина возразилъ ему, что согласіе, кажется, уже утверждено на вѣчныхъ и неизблемыхъ основаніяхъ... Теперь, не ясно ли, что неразрывна та дружба, которой основа прочна и истинна? А это и слѣдовало доказать.

Изъ втораго письма г. Полеваго къ г. Булгарину, напечатаннаго въ «Репертуарѣ», можно ясно видѣть, какъ крѣпко то согласіе, о которомъ мы говоримъ: г. Полевой называетъ г. Булгарина просто по имени и отчеству, иногда любезнѣйшимъ *О. В.*, а иногда сердитымъ и строгимъ *О. В.* (стр. 11),— названія и эпитеты, на которыя право даетъ одна дружба. Кромѣ этого, изъ письма г. Полеваго къ г. Булгарину мы узнаемъ нѣсколько дѣйствительно интересныхъ подробностей о Московскомъ театрѣ съ двѣнадцатаго до двадцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія; но болѣе всего узнаемъ мы интересныхъ подробностей о дѣтствѣ и юности самого автора. Потомъ слы-

шимъ тутъ же, что г. Полевой приближается къ старости, но что ему еще не хочется назвать себя вполне старикомъ (стр. 1); что онъ писалъ свои замѣтки для лѣтописи минувшаго (ibid); что у него нѣтъ такого таланта рассказывать, какъ у г. Булгарина (ibid); что громъ рукоплесканій, слезы или смѣхъ зрителей суть нѣчто такое, къ чему никогда не сдѣлаешься равнодушнымъ, но что свистъ и шиканье страшнѣе всякой критики, и что чѣмъ выше наслажденіе, тѣмъ тяжелее за него расплата, ибо уже такъ ведется на бѣломъ свѣтѣ (стр. 1—2); что драма есть у всѣхъ народовъ—у Чухонъ и Малайцевъ (ibid); что «Ревизоръ» Гоголя—фарсъ, а совсѣмъ не то, что драмы его, г. Полеваго (съ послѣднимъ нельзя не согласиться) (стр. 11); что для нашей литературы нуженъ высшій взглядъ (ibid). Замѣчательнѣе всего въ этомъ письмѣ защита Коцебу, котораго, говоритъ г. Полевой, «теперь сбили въ грязь и сбросили съ высокаго пьедестала, на которомъ онъ стоялъ; надъ нимъ смѣются и *кто* еще смѣется?...» (стр. 4). Замѣтьте, что *кто* напечатано курсивомъ. Кто же этотъ таинственный *кто*? Не знаемъ, право, но очень хорошо помнимъ, что первый началъ нападать на Коцебу г. Полевой въ своемъ «Телеграфѣ», въ которомъ онъ преслѣдовалъ всякій драматическій опытъ — отъ піесъ кн. Шаховскаго до піесъ Кукольника.

Основная мысль письма г. Полеваго къ г. Булгарину есть та, что Гоголь въ повѣстяхъ своихъ жартуетъ, а въ комедіи фарсѣрствуетъ; но что онъ, г. Полевой, самою природою созданъ быть драматическимъ писателемъ. Вѣримъ! И почему не вѣрить, когда самъ авторъ увѣряетъ? Впрочемъ, онъ же увѣрялъ, что рожденъ быть и историкомъ...

НОВЫЕ ПАРЫ ЖУКОВОЙ. Смб. 1840. Дѣя части.

Книги, какъ и хлѣбъ, зависятъ отъ урожая. Для нихъ бываютъ счастливые годы и мѣсяцы. Это хорошо знаютъ издатели ежемѣсячныхъ журналовъ: отъ урожая или неурожая книгъ въ томъ или другомъ мѣсяцѣ зависитъ плодовитость и сочность, или скудость и сухость библиографическаго отдѣленія въ книжкѣ ихъ журнала. Первые полтора мѣсяца новаго 1840 года были очень неблагопріятны въ этомъ отношеніи для «Отечественныхъ Записокъ»: книжный неурожай былъ такъ великъ, что почти не о чемъ и нечего было имъ поговорить съ своими читателями; но конецъ февраля и начало марта оказались (разумѣется, сравнительно) необыкновенно плодородными. Если изъ появившихся въ этотъ небольшой промежутокъ времени книгъ ни одна не заслуживаетъ безусловной похвалы, то нѣкоторыя отличаются большими относительными достоинствами, а многія не заслуживаютъ безусловнаго порицанія; но, что всего лучше, о тѣхъ и другихъ можно поговорить не шутя. Это большая выгода для журнала, въ которомъ библиографическое отдѣленіе назначается не для потѣхи толпы, а для пользы публики. Есть журналы, для которыхъ всякій предметъ человѣческаго уваженія — и искусство и знаніе, служитъ поводомъ къ скоморошному глумленію для потѣхи черни, — которые и изъ поэтической Авроры Гомера готовы сдѣлать плоскій каламбуръ, и которые только изъ приличія не называютъ себя «балаганными»: для такихъ «спеціальныхъ» журналовъ истинный кладъ и неоцѣненное сокровище — сѣробумажные романы самородныхъ геніевъ въ фризovýchъ шинеляхъ, во множествѣ появляющіеся въ обѣихъ нашихъ столицахъ. Но журналъ, имѣющій цѣлю благородное наслажденіе не грубой и невѣжественной толпы, а образованной публики, съ неудовольствиемъ и отвращеніемъ принимается за отчеты объ издѣліяхъ

плодовитой и досужей бездарности полуграмотности, которою, за неурожаем дѣльных книгъ, долженъ ограничиваться. Напротивъ, его радуеть всякая книга, положительно или отрицательно замѣчательная, потому что она даетъ ему возможность высказать какую-нибудь мысль, или, по крайней мѣрѣ, какое-нибудь дѣльное мнѣніе. Всякій истинно-литературный или ученый, а не балаганный журналъ, долженъ избрать своимъ девизомъ эти стихи Пушкина:

Служенье музъ не терпитъ суеты;
Прекрасное должно быть величаво!

Однимъ изъ лучшихъ литературныхъ явленій новаго года по справедливости должно назвать повѣсти г-жи Жуковой. Имя г-жи Жуковой — почти новое имя въ нашей литературѣ, по времени его появлянія въ ней, но уже почетное и знаменитое по блестящему таланту, который подъ нимъ является. Русская публика живо еще помнитъ первыя повѣсти г-жи Жуковой, появившіяся въ 1837 и 1838 г., въ двухъ частяхъ, подъ именемъ «Вечеровъ на Карповкѣ» и вышедшія уже вторымъ изданіемъ. И вотъ теперь у г-жи Жуковой еще набралось двѣ части повѣстей, изъ которыхъ двѣ, впрочемъ, уже прочтены публикою въ журналахъ. Одною изъ нихъ: «Падающая Звѣзда» были украшены «Отечественныя Записки». Мы вновь прочли и эти, уже читанныя нами, и съ такимъ же удовольствіемъ, какъ и новыя, еще нечитанныя нами. Многими прекрасными ощущеніями подарили насъ повѣсти г-жи Жуковой, — и мы спѣшимъ подѣлиться результатомъ своихъ впечатлѣній съ читателями. Повѣсти г-жи Жуковой не принадлежатъ къ области искусства, не относятся къ тѣмъ высшимъ произведеніямъ творчества, которыя носятъ на себѣ названіе художественныхъ. Не къ этимъ вѣчно-юнымъ, ознаменованнымъ печатію высшей дѣйствительности, созданіямъ принадлежатъ онѣ; это не произведенія творящей фантазіи, а произведенія воображе-

нія, копирующаго дѣйствительность; это не сама дѣйствительность, а только мечты и фантазіи о дѣйствительности, но мечты и фантазіи живыя, прекрасныя, благоухающія ароматомъ чувства. Ни одна изъ повѣстей г-жи Жуковой не представляетъ собою драмы, гдѣ каждое слово, каждая черта является необходимо, какъ результатъ причины, является сама по себѣ и для самой себя. Нѣтъ, это скорѣе какія-то оперныя либретто, гдѣ драма нужна не для самой себя, а для положеній; а положенія нужны опять не для самихъ себя, а для музыки, и гдѣ драма не въ драмѣ, а въ музыкѣ, но гдѣ музыка была бы непонятна безъ драмы. Процессъ явленія такихъ литературныхъ повѣстей очень простъ. У автора много души, много чувства, которыхъ обременительная полнота ищетъ выразиться въ чемъ-нибудь во внѣ; а если, къ этому, авторъ одаренъ живымъ и пылкимъ воображеніемъ, душою, которая легко воспламеняется и раздражается; если онъ много въ жизни перечувствовалъ, переиспыталъ самъ, много видѣлъ и зналъ чужихъ опытовъ, къ которымъ не могъ быть равнодушенъ, на которые отзывалась его душа,—онъ имѣетъ все, чтобы писать прекрасныя повѣсти, которыя, не относясь къ искусству, относятся къ изящной литературѣ, или къ тому, что Французы называютъ *belles-lettres*. И вотъ онъ придумываетъ какое-нибудь либретто для мелодій своего чувства, составляетъ его изъ лицъ и положеній, которыя дали бы возможность высказать и то и другое, что таится въ его душѣ и безпокойною волною рвется наружу. Что же это за лица? — Да такъ, мечты и фантазіи, идеалы, въ которыхъ есть своя дѣйствительность, своя личность, но которыхъ вы не видите передъ собою, а только представляете себѣ по описаніямъ автора. Обыкновенно, эти лица — любимыя и душевные мечты автора, носящія извѣстныя имена и признаки фizioномій, — и чѣмъ любимѣе, душевнѣе, чѣмъ ближе къ сердцу автора эти мечты, тѣмъ лица, играющія ихъ

роль, лучше обозначены, живее представлены, слышатся — истеросебе и тучные. Но зато тучные и даже и волнистые, дуцидана завалы и замки: истаете раскиснуть — и вот тут-то расказы выучать свое лавное искусство, все свое искусство. Какъ въ живомъ, тутъ живое дѣло — персикова и синирова, расставленъ обстоятельство такъ, чтобы выжить (обстоятельство) было вытаскивае асѣ и живое, можетъ живое въ тѣхъ. Съ этой точки зрѣнія, искусство расказа есть талантъ, потому что живое дѣло. Что живое, вытаскивае, въ вытаскивае Пирова, для въ живое, чтобы вытаскивае французскихъ вытаскивае. Расказы, ему, одному ему обидно не тѣхъ, что вытаскивае и живое дѣло въ себе живое читателя. Но въ вытаскивае не все обидно, расказы: въ нихъ живое вытаскивае содержание и способность вытаскивае его. То и другое зависитъ отъ настроенности души и чувства автора. Паль-де-Какъ вытаскивае предисловіе забавное. Кларетъ — чувствительные французские вытаскивае вытаскивае вытаскивае — ситаскивае, живое, вытаскивае. Что касается до г-жи Жюльетты, если бы мы захотѣли характеризовать предисловіе, вытаскивае ее для вытаскивае въ вытаскивае — мы назвали бы эту вытаскивае, чему вытаскивае, чтобы вытаскивае служить своимъ вытаскивае ее вытаскивае, живое: «Судъ Сердца», «Самодержавство». Съ этой стороны нельзя не отдать должной справедливости г-же Жюльетте: содержание каждой ее вытаскивае обнаруживаетъ въ авторѣ чистое сердце и возвышенную душу. Способность оживлять расказы зависитъ отъ степени интереса, который прививаетъ авторъ въ герояхъ своихъ вытаскивае и въ нихъ вытаскивае, отъ таланта его души и глубины чувства. Благодаря этой способности, наша повесть лишена всякаго содержания, а прививаетъ насъ потому только, что авторъ съ чувствомъ и безъ претензіи повествуетъ о грѣхѣ и о сѣнѣ.

Талантъ разсказа и въ особенности полнота живаго, горячаго женскаго чувства составляютъ главное достоинство повѣстей г-жи Жуковой, и достоинство высокое. Прочтя нѣсколько страницъ каждой ея повѣсти, чуть ознакомившись съ ея дѣйствующими лицами и ихъ положеніемъ, вы уже знаете, что будетъ дальше и чѣмъ все кончится, но тѣмъ не менѣе вы не въ состояніи оторваться отъ повѣсти, пока не прочтете ея всей. Тутъ есть тайна, которая особенно знакома г-жѣ Жуковой.—У бѣднаго помѣщика, владѣющаго пятью съ половиною душами, хотятъ описать имѣніе за долги. У него жена и маленькая дочь, счастливо одаренная природою, плохо воспитываемая и страстно любимая отцомъ и матерью. Вотъ вамъ положеніе. Каковы должны быть чувства старика, котораго хотятъ выгнать изъ роднаго жилища, и который видитъ, что его дочь, любимица его души, утѣха старости — будетъ нищею? Повторяемъ: вотъ вамъ положеніе, а музыкѣ чувства будетъ гдѣ разыграться. Но вотъ богатая графиня, нечаянно узнавшая о бѣдѣ старика, выкупаетъ его имѣніе, и старикъ идетъ съ семействомъ своимъ благодарить великодушную графиню. Бѣдняки рядятся въ лучшее свое платье, готовятся сказать своей покровительницѣ и то и другое, трусятъ, ничего не могутъ сказать, а если говорятъ, то конфузятся; а потомъ немножко поднимаютъ носъ, съ важностію рассказываютъ сосѣдямъ о приѣмѣ, которымъ ихъ удостоили «ихъ сіятельства». Необыкновенный талантъ разсказа г-жи Жуковой умѣлъ сдѣлать изъ этихъ подробностей живую и увлекательную картину.—Графиня беретъ Лизу къ себѣ на воспитаніе и увозитъ въ Петербургъ: грусть отца и матери, рѣшившихся для счастья дочери на тяжкую разлуку съ нею; новость положенія дѣвочки, которая скоро догадалась, что на этихъ пышныхъ коврахъ, на этомъ блестящемъ паркетѣ, она — чужая, что тутъ она не дочь, а приемышъ; страданіе маленькаго самолю-

бія, затаєння слезы, и т. п. — какія выгодныя положенія для мелодій чувства, и положенія, сверхъ того, естественныя, простыя, чуждыя всякой натянутости и эффектовъ, но тѣмъ болѣе благопріятной для тихой, мелодической музыки! Наконецъ, наша дѣвочка уже дѣвушка, — и мы видимъ ее за границею, въ Баденъ-Баденѣ. Ее любитъ Минскій, дальній родственникъ графини; она любитъ Минскаго; въ ея душѣ тихое счастье любви, готовое скоро осуществиться въ дѣйствительности брака. Но за графинею ухаживаетъ одинъ дипломатъ де-Нолле, котораго она любитъ; графъ почти приказываетъ отказать ему отъ дома. Она хочетъ увидѣться съ нимъ въ послѣдній разъ, онъ уже у ногъ ея, какъ вдругъ входитъ графъ; но Лиза бросается къ нему навстрѣчу и проситъ у него прощенія, о которомъ будто-бы уже умоляли графиню, — прощенія въ томъ, что осмѣлилась принять въ ихъ домѣ своего любовника... Графъ притворился, что повѣрилъ; графиня изъ одного ужаснаго положенія перешла въ другое, а де-Нолле, пораженный великостію такого «самопожертвованія», тотчасъ предложилъ Лизѣ свою руку. Она согласилась, но послѣ, объяснившись съ нимъ, отдала назадъ ему слово и возвратилась въ Россію, къ отцу, котораго слухи о поведеніи дочери свели на одръ смертный. Она испросила прощеніе, увѣривъ его въ своей невинности, и закрыла ему глаза. Потомъ уѣхала съ матерью въ маленькій городокъ и завела у себя пансіонъ. Сколько тутъ положеній, вызывающихъ всю полноту чувства автора! И г-жа Жукова на каждой страницѣ увлекаетъ васъ теплотою своего чувства, вводя васъ въ чувства своихъ героевъ при всякомъ ихъ положеніи... Она не опишетъ вамъ блаженства любви; отъ ея разсказа не повѣстъ на васъ букетомъ этого чувства, какъ высокой гармоніи двухъ родственныхъ душъ; скажемъ болѣе: любовь въ ея повѣстяхъ является безъ всякаго характера и ничего не говоритъ за себя. Такъ, напри-

и тѣхъ, вамъ будетъ понятно, почему Минскій любитъ Лизу: она надѣлена отъ природы красотою, умомъ, чувствомъ; но вы никакъ не поймете, почему, Лиза, эта глубокая дѣвушка, любитъ Минскаго, человѣка безхарактернаго и ничтожнаго, хотя и добраго. У него не было вѣры въ нее и въ ея любовь: ему достаточно было слуховъ, чтобы обвинить и оставить ее, онъ не искалъ даже объясниться съ нею. Мало того: въ концѣ повѣсти онъ женится на другой, и является однимъ изъ тѣхъ дюжинныхъ существъ, которыя въ юности немножко чувствуютъ, много мечтаютъ и фантазируютъ, а въ лѣта зрѣлыя мирятся съ жизнію на самомъ умѣренномъ условіи, дѣлаются толсты и краснощеки. Истинно глубокій человѣкъ можетъ примириться съ жизнію только на слишкомъ большихъ условіяхъ, или остаться при страданіи, которое для него выше и прекраснѣе счастья дюжинныхъ людей. Для такихъ существъ высшей природы—«все или ничего» есть девизъ жизни. Что же, спрашиваемъ, было общаго у Лизы съ Минскимъ? Неужели любовь есть только простое влеченіе одного пола къ другому? Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же любить все одного, особенно когда этотъ одинъ отъ насъ отказался, и мы въ правѣ отдать-ся другому? Какой же смыслъ, послѣ этого, имѣютъ страданія отвергнутой или неувѣчанной любви?—Потомъ, неужели любовь—прихоть нашей фантазіи, колобродство сердца, оправданіе русской пословицы: «полюбится сатана лучше яснаго сокола»? Такъ точно, но только въ отношеніи къ толпѣ, надъ которою владычествуетъ слѣпая, рабская случайность; но не такъ, совсѣмъ не такъ въ отношеніи къ людямъ глубокимъ, къ роднымъ дѣтямъ, а не пасынкамъ природы, которыя свободны отъ такихъ случайностей, которыя управляются разумною необходимостію, и которыхъ любовь есть родственность натуръ, гармонически настроенныхъ. Но г-жѣ Жуковской нужно было положеніе несчастной: она всегда съ такою силою, съ такою

увлекательностію говорить о несчастіи, объ утратахъ, о скорбяхъ запертаго въ себѣ сердца. Ей извѣстно высокое таинство страданія, — и у насъ жива въ памяти героиня одной изъ прежнихъ ея повѣстей, — дѣвушка съ душою глубокою, сердцемъ страстнымъ и любящимъ, но дурная лицомъ, которая любитъ безъ надежды быть любимою, знаетъ, что любимый ею любитъ хорошенькую, но пустенькую дѣвочку, которая о немъ и не думаетъ. Прочтите эту прекрасную повѣсть, если вы не читали ея: это лучшая повѣсть г-жи Жуковой. Только въ области искусства, только у художниковъ лучшія повѣсти — послѣднія, или, по крайней мѣрѣ, не первыя.

Говорятъ, что г-жа Жукова прекрасно изображаетъ женщинъ: это правда — ея женщины и умиѣ, и любяще, и истинны ея мужчины. Но къ этому прибавляютъ, что будто бы только женщина и можетъ вѣрно и истинно изображать женское сердце, которое ей знакомо по своему собственному: это и неправда, и правда. Если говорить о произведеніяхъ творчества, о созданіяхъ художественныхъ, то неправда: Шекспиръ и Пушкинъ были, какъ извѣстно всему образованному и даже необразованному міру, мужчины, а между-тѣмъ никакая въ мірѣ женщина не въ состояніи создать такихъ дивно-вѣрныхъ, непостижимо-истинныхъ женскихъ характеровъ, какъ-вы, напримѣръ, Дездемона, Юлія, Офелія, Татьяна, Лаура, донна-Анна. Это оттого, что мужчина, по природѣ своей, всеобъемлюще женщины, и одаренъ способностію выходить изъ своей индивидуальной личности и переноситься во всевозможныя положенія, какихъ онъ не только никогда не испытывалъ, но и не можетъ испытывать; тогда какъ женщина заперта въ самой себѣ, въ своей женской и женственной сферѣ, и если выйдетъ изъ нея, то сдѣлается какимъ-то двусмысленнымъ существомъ. Потому-то женщина и не можетъ быть великимъ поэтомъ. Но когда дѣло идетъ о литературныхъ произведеніяхъ, не чуждыхъ

поэзіи, но чуждых художественности, женщина, лучше, нежели мужчина, может изображать женскіе характеры, и ея женское зрѣніе всегда подмѣтитъ и схватитъ такія тонкія черты, такіе невидимые оттѣнки въ характерѣ или положеніи женщины, которые всего рѣзче выражаютъ то и другое, и которыхъ мужчина никогда не подмѣтитъ. Но точно такъ же и женщина должна далеко уступить мужинѣ въ изображеніи мужскихъ характеровъ и положеній. И это очень понятно: въ произведеніяхъ такого рода дѣйствительность не изображается такою, какова она есть, безъ отношеній къ личности изображающагося, но списывается со взгляда автора, — и чѣмъ изображаемые имъ предметы относительнѣе, ближе, родственнѣе къ личности автора, тѣмъ изображенія его вѣрнѣе и истиннѣе, и наоборотъ. Опытность и опытъ, неимѣющіе никакого вліянія въ творчествѣ, тутъ играютъ первую роль, и потому въ такихъ произведеніяхъ лице, хорошо и ясно представляющееся автору, не узнается читателями, и положеніе, съ особенною любовію нарисованное авторомъ, не интересуется читателей: часто то и другое списано или передѣлано съ извѣстнаго лица, или съ извѣстнаго обстоятельства.

Итакъ, полнота горячаго чувства, вѣрность многихъ положеній, истина въ изображеніи многихъ чертъ и оттѣнковъ женскихъ характеровъ, искусный, увлекательный рассказъ и, прибавимъ къ этому, прекрасный слогъ, которыми и мужчины рѣдко владѣютъ у насъ, — вотъ достоинства повѣстей г-жи Жуковой. Что касается до ихъ недостатковъ, которыхъ онѣ несовсѣмъ чужды, главнѣйшій изъ нихъ — излишняя плодовитость, чтобы не сказать растянутость. Каждая изъ нихъ могла бы быть по крайней мѣрѣ цѣлою третью меньше, — и была бы, безъ всякаго сомнѣнія, лучше. Хотя г-жа Жукова и менѣе другихъ повѣствователей увлекается Бальзаковскою манерою рассуждать тамъ, гдѣ надо рассказывать, но она все-таки

не чужда этого недостатка. Тамъ, гдѣ говоритъ ея чувство, вы невольно увлекаетесь; но гдѣ она разсуждаетъ—скучаете немного. Женщина всего менѣе способна разсуждать: она, по своей природѣ, вѣрно понимаетъ и схватываетъ все прямо, въ полнотѣ и цѣлости, чувствомъ, а не умомъ; начиная же разсуждать, невольно вдается въ резонёрство. Вѣрно изображая событіе (фактъ), она иногда ложно понимаетъ его, когда вздумаетъ объяснять его значеніе. Такъ, напримѣръ, въ повѣсти «Судъ Сердца», молодая женщина, страстно любившая своего мужа и благодѣтеля, человѣка благороднаго, но годившагося ей въ отцы по своимъ лѣтамъ, вдругъ любитъ другаго и готова ему отдаться. Авторъ объ этомъ странномъ явленіи разсуждаетъ такъ и сякъ; а «ларчикъ просто открывался»: благодарность и уваженіе совѣмъ не то, что любовь, и, при неравенствѣ лѣтъ, привязать къ себѣ женщину молодую, жаждущую любви и сочувствія молодаго же сердца, привязать ее къ себѣ одною благодарностію и удивленіемъ къ себѣ—самое плохое и ненадежное средство.

Повѣсть есть самый благодарный родъ для литературныхъ, бельетрическихъ талантовъ. Не художественный романъ, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, только мѣстами можетъ увлечь, но цѣлымъ будетъ производить впечатлѣніе скуки и усталости. Что касается до драмы, то пора бы уже сознать, что не художественныя драмы могутъ имѣть даже великія относительныя достоинства на сценѣ, новъ печати рѣшительно никуда не годятся. Умный человѣкъ, даже съ большимъ литературнымъ талантомъ, можетъ трудиться для театра и наконецъ выписаться, т. е. сдѣлаться хорошимъ драматическимъ писателемъ, но печататься не станетъ, — развѣ пошалить разъ, да и будетъ. Драма не допускаетъ ни разсужденія, ни изліянія чувствъ по поводу того или другаго положенія: въ драмѣ авторъ долженъ быть невидимъ; лица, положенія, ча-

сти и цѣлѣ — все должно въ ней говорить само за себя. Но повѣсти допускаютъ личное участіе автора и могутъ быть прекрасныя либретте для музыки его чувства, а часто и ума, если только умъ и музыка живутъ между собою какое-нибудь отношеніе, хоть для того, чтобы хоть съ натяжкою подать намъ поводъ къ сравненію, которое намъ кажется очень годнымъ для выраженія нашей мысли. Вотъ почему бывають такъ прекрасны и нехудожественныя повѣсти; вотъ почему такъ прекрасны и повѣсти г-жи Жуковой. Но вездѣ важное дѣло — знать предѣлы и сферу своего дарованія. Мы не скажемъ, чтобы повѣсти г-жи Жуковой, герои которыхъ не Русскіе, а мѣсто дѣйствія не Россія, были не только нехороши, но и непрекрасны; однакожь намъ больше нравятся тѣ изъ повѣстей г-жи Жуковой, герои которыхъ Русскіе, а мѣсто дѣйствія Россія: въ нихъ она талантъ свободнѣе, больше у себя дома.

Изъ четырехъ новыхъ повѣстей г-жи Жуковой мы положительно недовольны послѣднею — «Мои Курскіе Знакомцы». Въ ея разсказѣ много Бальзаковской манеры, т. е. разсужденій, а не нашему — резонёрства. Основная мысль ея прекрасна: доказать, что для женщины и внѣ брака есть высокая жизнь — въ жизни для другихъ, для отца, матери, братьевъ, сестеръ и пр. Такая мысль требовала бы и выполненія, достойнаго себя, а повѣсть г-жи Жуковой слаба и бездѣтна. Сверхъ того, есть противорѣчіе между разсужденіями сочинительницы и самою повѣстью. Въ разсужденіяхъ, она споритъ противъ мужчинъ, ограничивающихъ сферу женщины исключительно семейственною жизнью, а въ повѣсти показываетъ, что и внѣ брака сфера женщины все-таки въ семейственности. Назначеніе женщины — быть счастливою, дѣлая счастье другаго, отказываясь отъ себя для другаго. Такъ; но есть же вѣдь разица — отказаться отъ себя для милаго сердцу человека, словомъ, для мужа, или посвятить себя, всю жизнь свою отцу,

матери, или другому родственнику?... Если человекъ по какому-нибудь несчастному случаю лишился употребленія рукъ и ногъ, да къ этому потерялъ еще и зрѣніе,—для него все-таки существуетъ и молитва къ Богу, и мысль, и чувство, и минуты умиленія и радость, словомъ—для него все еще остается жизнь, и онъ все еще человекъ: но кто же скажетъ, что все равно, быть съ руками, ногами и глазами, или быть безъ нихъ?... Такъ точно нельзя сказать: все равно для женщины, что выйти замужъ, что навѣкъ остаться дѣвушкою. Равнымъ образомъ, нельзя слишкомъ нападать и на общество, которое особенными глазами смотритъ на дѣвушку-Минерву, и съ особенною улыбкою говорить: дѣвушка въ сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ! Все, невыполнившее своего назначенія, кажется чѣмъ-то страннымъ. Физиологи—невѣжливый и грубый народъ! — даже утверждаютъ (но мы первые не вѣримъ этому!), что будто у засидѣвшихся дѣвицъ притупляется отъ лѣтъ воспріимлемость впечатлѣній и слабѣютъ другія способности души. Должно быть, что это клевета педантовъ, во имя науки: достовѣрно только то, что все, невыполнившее своего назначенія, какъ-то странно и двусмысленно. Впрочемъ, женщина, которая, отказавшись отъ надежды на замужество (особенно если потому, что не хотѣла отдаться по расчету немилому сердцу, а милаго, почему-бы то ни было, не нашла), принялась не за сплетни и злословіе, а обратила жаръ своего любящаго сердца на своихъ родныхъ, или своего роднаго, и имъ, или ему, безкорыстно посвятила всю жизнь свою,— есть явленіе прекрасное, святое, достойное высокаго уваженія. Только намъ кажется, что въ «Самопожертвованіи», когда мы видимъ Лизу учительницею маленькаго женскаго училища, г-жа Жукова, можетъ-быть, сама того не подозрѣвая, удачнѣе изобразила такую женщину, нежели въ повѣсти «Мои Курскіе Знакомцы».

ИСКУССТВО И ЗВУКИ Н. Н. Слб. 1840.

Точно такъ же, какъ повѣсть, въ сравненіи съ другими родами поэзіи, есть самый благодарный родъ для людей неодавленныхъ художническою фантазіею, но одаренныхъ воображеніемъ, чувствомъ и способностію владѣть языкомъ, — точно такъ же проза вообще благодарнѣе для нихъ, чѣмъ стихи. Если въ прозѣ нѣтъ даже и чувства и воображенія, то можетъ быть умъ, остроуміе, наблюдательность, или хотъ гладкій языкъ; но если въ стихахъ не видно положительнаго художническаго дарованія, нѣтъ поэзіи, — то уже нѣтъ ровно ничего, даже гладкость и звучность стиха въ нихъ не достоинство, а скорѣе порокъ, ибо возбуждаетъ въ читателѣ не удовольствіе, а досаду. Стихи рѣшительно не терпятъ посредственности. Конечно, и въ лишенныхъ поэтической жизни стихотвореніяхъ тотчасъ можно отличить въ авторѣ человѣка-фразѣра, наклепывающаго на себя разныя ощущенія, чувства и мысли, которыхъ въ немъ и не было, и нѣтъ, и не будетъ, отъ человѣка съ душою, но обманывающагося въ своемъ призваніи. Однако въ томъ и въ другомъ случаѣ итогъ для поэзіи и для славы автора одинъ и тотъ же — нуль. Вы видите по его стихотвореніямъ, что въ немъ есть и душа, и чувство, но въ то же время видите, что онѣ и остались въ авторѣ, а въ стихи перешли только отвлеченныя мысли, общія мѣста, правильность, гладкость и — скука. Душа и чувство есть необходимое условіе поэзіи, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазія, способность внѣ себя ощуществлять внутренній міръ своихъ ощущеній и идей, и выводить во внѣ внутреннія видѣнія своего духа. Но если этой способности въ насъ нѣтъ, то сколько вы ни пишете, и какъ красиво ни издавайте вашихъ стихотвореній, вы не дождетесь отъ читателей ни восторга, ни сочувствія, и много-много, если иной, закрывъ вашу кни-

гу, чтобы уже не открывать ее больше, скажетъ, зѣвая и потягиваясь, какъ бы послѣ тяжелой работы: «должно-быть, авторъ прекрасный человѣкъ!» Если стихи пишетъ человѣкъ, лишенный отъ природы всякаго чувства, чуждый всякой мысли, неумѣющий владѣть стихомъ и рифмою, — онъ, подъ веселый часъ, еще можетъ позабавить читателя своею бездарностію и ограниченностію: всякая крайность имѣетъ свою цѣну, и потому Василій Кирилловичъ Тредіаковскій, «профессоръ элоквенціи, а паче хитростей піитическихъ» — есть бессмертный поэтъ; но прочесть цѣлую книгу стиховъ, встрѣчать въ нихъ все знакомыя и истертые чувствованья, общія мѣста, гладкіе стихишки, и много-много, если наткнуться иногда на стихъ вышедшій изъ души въ кучѣ рифмованныхъ строчекъ, — воля ваша, это чтеніе, или, лучше сказать, работа для рецензентовъ, а не для публики, для которой довольно прочесть о нихъ въ журналѣ извѣстіе въ родѣ «выѣхалъ въ Ростовъ». Посредственность въ стихахъ нестерпима. Вотъ мысли, на которыя навели насъ «Мечты и Звуки» г. Н. Н.

ОДЕССКІЙ АЛЬМАНАХЪ НА 1840 ГОДЪ. *Одесса. 1839.*

Чудная участь альманаховъ на святой Руси! Первый альманахъ на русскомъ языкѣ былъ изданъ Карамзинымъ, въ 1796 году, т. е. слишкомъ сорокъ лѣтъ назадъ, подъ названіемъ: «Аонида». Этотъ альманахъ постоянно издавался имъ, кажется, три года. Вся первая книжка, напечатанная въ 1799 году вторымъ изданіемъ, состоитъ изъ стихотвореній Державина, Капниста, самого издателя (все безъ подписи именъ), Василя Пушкина, М. Х. (Хераскова?), Нелединскаго-Мелецкаго, кн. К. У—ой, Горчакова, Хованскаго, Вл. Измайлова, Кострова и другихъ тогдашнихъ знаменитостей.

Примѣръ Карамзина не рождаетъ подражанія. Новѣйшее поколѣніе альманаховъ явилось спустя двадцать семь лѣтъ, въ 1823 году. Успѣхъ «Полярной Звѣзды» произвелъ въ нашей литературѣ альманахный періодъ, продолжавшійся слишкомъ десять лѣтъ. Альманахамъ не было ни числа, ни конца и, за исключеніемъ «Сѣверныхъ Цвѣтовъ», немного было хорошихъ, много посредственныхъ и бездна плохихъ. Съ тридцатыхъ годовъ они исчезли, и только «Денница» г. Максимовича напоминала о нихъ. И неудивительно: альманахъ, вмѣсто сборника хорошихъ произведеній, сдѣлался кучею литературнаго мусора, и публика потеряла къ нему всякое довѣріе. Въ 1833 году, книгопродавецъ Смирдинъ издалъ альманахъ въ новой формѣ, въ двухъ частяхъ, въ огромномъ in-octavo, въ которыхъ были напечатаны между прочимъ, Гоголя «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», «Анжели», Пушкина, и стихотвореніе г. Баратынскаго «На смерть Гёте». Тутъ началась «Библіотека для Чтенія», сдѣлавшая очень труднымъ для издателей альманаховъ добываніе даровыхъ статей. Несмотря на то, съ 1838 года начался прекрасный альманахъ г. Владиславлева. Его успѣхъ опять ввелъ въ воду альманахи.

Но что ни говорите, а изданіе альманаховъ становится теперь со дня-на-день труднѣе и невозможнѣе. Литераторы наши вообще не отличаются плодovitостію и многописаніемъ: какой-нибудь Дюма въ годъ напишетъ больше, нежели иной русскій литераторъ въ цѣлую жизнь свою. Причина та, что литературою у насъ занимаются большею частію такъ, мимоходомъ, между дѣлъ, украдкою отъ баловъ, картъ и пр. Обыкновенно, издатель за полгода до выхода въ свѣтъ предполагаемаго альманаха начинаетъ приглашать «извѣстныхъ литераторовъ» украсить его книжку своими статьями. Общанныхъ статей у него бездна, станетъ на десять альманаховъ; но время пече-

танія наступаетъ, а статей — ни одной. Слѣдуетъ повтореніе просьбъ, и вотъ—кто присылаетъ завалѣвшіеся стихи, иной для таковаго казусаго случая присядетъ, да разомъ и напишетъ новенькіе, какъ съ молоточка... Впрочемъ, поэтовъ дѣйствующихъ — у насъ немного; если хотите, мы всѣхъ ихъ перечтемъ вамъ по пальцамъ: гг. Лермонтовъ и Кольцовъ; далѣе подписывающійся — о — и г. Красовъ; изъ переводчиковъ, гг. Вронченко, Катковъ, Струговщиковъ, Аксаковъ и Мейстеръ... вотъ и всѣ тутъ. Еще развѣ г. Кукольникъ... но онъ пишетъ все такія большія штуки, а въ маленькихъ у него рѣдко проблескиваютъ искорки поэзіи; г. Бернетъ... но онъ подавалъ надежды года два назадъ, а теперь мы что-то не вспомнимъ ни одного его стихотворенія, въ которомъ было бы что-нибудь, кромѣ страшныхъ, небывалыхъ созвучій и даже не всегда гладкихъ стиховъ. Итакъ, поэтовъ у насъ мало, зато много стихотворцевъ, изъ которыхъ только нѣкоторыхъ считаютъ поэтами, но изъ которыхъ всѣ считаютъ себя поэтами; таковы: гг. и г-жи—Раичъ, Струйскій, Стромиловъ, Некрасовъ, Тимоеевъ, Сушковъ, Траумъ, Банниковъ, Бахтуринъ, баронъ Розентъ, Бороздна, Олинъ, Глѣбовъ, Печенеговъ, Коровкинъ, Дичъ, Вуичъ, Падерная, Ободовскій, Н. Степановъ, кн. Кропоткинъ, Гогниевъ, Щеткинъ, Шахова, Чужбинскій, и пр., — справьтесь сами на оберткахъ нѣкоторыхъ журналовъ. И потому стиховъ еще не трудно достать для альманаха; но проза, особенно повѣсть—претрудное дѣло. Въ повѣстяхъ нуждаются и журналы... А много ли пишутъ всѣ наши литераторы вообще, нувеллисты въ особенности? повѣстцу въ иной годъ, да и отдыхаютъ нѣсколько лѣтъ послѣ такого подвига. Да и много ли у насъ повѣствователей-то? Пушкина ужъ нѣтъ, Гоголь ничего не печатаетъ, кн. Одоевскій и Н. Ф. Павловъ изрѣдка показываются; а изъ прочихъ съ удовольствіемъ прочтете повѣсть г. Вельтмана, г. Даля,

г. Основьяненка, г-жи Жуковой, г. Панаева (И. И.), рассказ г. Гребенки, рассказ г. Владиславлева; ну, а потомъ еще? — графъ Соллогубъ? да онъ еще написалъ только двѣ большія повѣсти и рассказа два-три, помѣщенные въ «Современникъ» и «Литературныхъ Прибавленіяхъ» 1838 года, и альманаши на него плохая надежда; а Лермонтовъ, кромѣ «Отечественныхъ Записокъ», еще нигдѣ не показывался, и мы не можемъ сказать, до какой степени должны простираться на него надежды не только альманаховъ, но и всякаго другаго журнала, кромѣ «Отечественныхъ Записокъ». Вотъ и все тутъ: и мало числомъ, и мало пишутъ! Къ тому же всякій предпочтетъ печатать свою повѣсть въ журналѣ, гдѣ ее все прочтутъ. И потому, иногда случается, что обѣщанная въ альманахъ повѣсть не поспѣваетъ къ сроку и является въ журналѣ.

Да, чтѣ ни новый день, то все труднѣе составить хорошій альманахъ! Ужъ не оттого ли это, что альманахъ въ наше, какъ говорятъ нѣкоторые забавники, индустріальное время — анахронизмъ? Было время, когда у насъ журналы издавались безкорыстными трудами, которые вознаграждались одною славой... Да, тогда издатели расплачивались съ сотрудниками одною только славой, оставляя исключительно за собою всякое другое вознагражденіе. Но нынѣ... нынѣ все узнали, что слава — дымъ, а особенно слава альманажная — самая бѣдная послѣ водевильной славы. Политическая экономія теперь сдѣлалась настольною книгою, — и ужъ все знаютъ, что только съ машинъ можно получать пользу, а что между людьми должно водиться такъ: кто трудится, тотъ и наслаждается плодами своихъ трудовъ. Къ этому важному обстоятельству присовокупляется еще и другое, довольно важное: если есть много людей, которыхъ издатели не приглашаютъ и не просятъ, но которые сами готовы платить, чтобы только печатали ихъ произведенія, то тѣ немногіе, которыхъ и приглашаютъ и про-

сятъ, иногда бываютъ столько самолюбивы, что не хотятъ сидѣть съ первыми за однимъ столомъ. И намъ кажется, что они правы. Удивительно ли послѣ этого, если они, видя, что ихъ усиленно и настойчиво приглашаютъ и просятъ, даютъ такъ, что-нибудь, что найдется, дорожа своимъ спокойствіемъ?...

Все сказанное нами объ альманахахъ вообще, нисколько не относится къ «Одесскому Альманасу» въ особенности. Впервые, онъ изданъ съ благотворительною цѣлью, а восторыхъ, его содержаніе богато и цѣнно. Взглянемъ на него.

«Литературная лѣтопись Одессы» интересна по живому воспоминанію о вліяніи новороссійскаго края на поэзію Пушкина. Странно только, что въ числѣ поэтовъ, которые жили и цѣли въ Одессѣ, стоитъ имя г. Якубовича: одесскій — такъ: съ этимъ эпитетомъ еще можно согласиться; но поэтъ... этимъ словомъ не должно шутить. Вообще статья эта написана живо и бойко. — Съ удовольствіемъ читается разсказъ г. Куралеско «Тундза», отрывки изъ историческаго сочиненія г. Стурдзы «Каподистрія въ Греціи», и критическая статейка г. Никитенко «Батюшковъ», отрывокъ изъ его характеристики русскихъ поэтовъ, возбуждающій живѣйшее желаніе увидѣть это сочиненіе въ цѣломъ. — Не безъ удовольствія можно прочесть разсказъ Вельтмана «Костештскія Скалы», «Отдыхи жизни» г. Морозова... ну... и другія статьи. Что касается до «Прогулки по Бессарабіи» г. Надеждина, хотя эта статья, несмотря на обращенія автора къ «любезнымъ» читателямъ и «достопочтеннымъ» читательницамъ (стр. 446), совсѣмъ не альманажная, она написана хорошо; но когда ее читаешь, то утомляешься, а прочтешь — ничего не можешь удержать въ памяти о Бессарабіи. — «Поѣздка въ Константинополь» Изифети-Маклуба, за исключеніемъ пересоленаго остроумія и переслащенныхъ любезностей, гораздо интереснѣе «Прогулки по Бессарабіи».

Стихотворная часть «Одесскаго Альманаха» особенно богата и разнообразна: тутъ вы найдете стихотворенія и переводы — *вой*, стихотворенія обозначенныя *селою Анною*, стихотворенія гг. Бенедиктова, Подолинскаго, кн. Вяземскаго, А. П. Глинки, О. Н. Глинки; переводы: гг. Аксакова и Струговщикова, даже два стихотворенія г. Лермонтова, словомъ, большую часть современныхъ знаменитостей. Для разнообразія и тѣней тутъ помѣщены даже стихи гг. Бервета, Галанина, Гербановскаго, Губера, М. Дмитріева, Дымчевича, Ободовскаго, Степанова, Струйскаго, Филимонова, Чеславскаго, Чужбинскаго, Щеткина, г-жи Шаховой, и даже вирши г. Ранча. Въ первомъ ряду много хорошаго, но мало превосходнаго, или хоть чего-нибудь рѣзкаго, выдающагося, если исключить прекрасное стихотвореніе кн. Вяземскаго «Любить, Молиться, Пить». Переводы г. Аксакова не принадлежатъ къ числу его удачныхъ переводовъ; два стихотворенія г. Лермонтова, вѣроятно, принадлежатъ къ самымъ первымъ его опытамъ, — и намъ, понимающимъ и цѣнящимъ его поэтическій талантъ, пріятно думать, что они не войдутъ въ собраніе его сочиненій, которое, слышали мы, выйдетъ весною. Впрочемъ, эти два стихотворенія недурны, даже хороши, но только не превосходны, а безъ этого не могутъ быть и хороши, когда подъ ними подписано имя г. Лермонтова.

Отъ грусти-злѣйши, отъ чернаго горя,
Въ волненьи бѣжалъ я до Чернаго-Моря,

говорить г. Бенедиктовъ, и далѣе все такъ же.

А луна?—Луна здѣсь грѣетъ,
Хочетъ солнцемъ быть луна:
Соблазнительно пышна,
Грудь томить и чары дѣетъ
Блескомъ сладостнымъ она.

Это тоже изъ стихотворенія г. Бенедиктова, въ которомъ онъ, между прочимъ, говоритъ:

.... Не о комъ вздохнуть!...
И любовью безпредметной
Высоко взметалась грудь.

Второй рядъ очень интересенъ; но самое лучшее въ немъ: это посланіе г. М. Дмитріева «къ Делилю». Вещь столько же интересная, сколько умилительная! Истинный голосъ съ того свѣта! настоящий протестъ покойнаго XVIII вѣка противъ здравствующаго XIX вѣка! Или несчастному еще долго суждено скитаться незаклятою тѣнью?... Г. М. Дмитріевъ приглашаетъ Делиля на полку своей библіотеки, — и затѣмъ идетъ безконечный рядъ рондо, начинающихся и оканчивающихся фразою: «Делиль! ты не поэтъ!»; въ срединѣ рондо очень удачно размѣщены приличные доказательства, что Делиль былъ поэтъ и что его не признаютъ теперь такимъ только по развратности настоящаго вѣка. Впрочемъ, г. М. Дмитріевъ въ Французахъ XIX вѣка, не въ примѣръ прочимъ европейскимъ народамъ, признаётъ еще нѣкоторую нравственность. Послушайте:

Но къ чести Франціи и къ чести просвѣщенія
 Еще въ сынахъ ея остатокъ уваженія
 Къ тебѣ, къ другимъ пѣвцамъ хранится и поднесъ.
 Въ нихъ есть какая-то врожденная имъ спесь,
 Съ которой классиковъ, чтецами позабытыхъ,
 Они считаютъ все въ великихъ, знаменитыхъ.
 У нихъ Расинъ, Вольтеръ и *Севинье* сама,
 Все слава націй, все образцы ума;
 И самый *Буало*, ихъ строгій воспитатель,
Не слушаютъ его, а все законодатель!...

Самъ Александръ Петровичъ Сумароковъ, въ какой-нибудь сатирѣ или эпистолѣ, не могъ бы выражаться обстоятельнѣе, и доказательнѣе, и болѣе звучными, гладкими и гармонически-

ми стихами! Мы думаемъ, что такой родъ стиховъ, напоминающій доброе старое время,—самый приличный для защиты Делиля противъ безнравственности и разврата настоящаго времени. Сверхъ того, что за наивность въ доказательствахъ!—Послушайте еще немножко:

.... Они передъ Мольеромъ
 Донынѣ емиамъ жгутъ полною рукой;
 Ихъ Лафонтенъ *доднесъ* плѣняетъ простотой:
 Они забыли ихъ, какъ моду двухъ столѣтій,
 Но уважаютъ.

Хорошо уваженіе: забыли, не читаютъ, но уважаютъ! Впрочемъ, истинная побудительная причина этой прозаической элегии-сатиры не Делиль, а другіе пѣвцы, именно русскіе, которые еще ниже и Делиля:

.... Когда ужъ наши дѣды,
 Сражаясь съ языкомъ, достигнувши побѣды
 И поле славы намъ очистивъ наконецъ,
 И тѣ не возмogli свой удержать вѣнецъ—
 Чего ждать будетъ намъ?...

А! вотъ что!... Но кто же эти *вы*, почтенные господа «инкогнито»? Объ истинныхъ талантахъ стараго времени нечего хлопотать: ихъ, можетъ-быть, мало, или и совсѣмъ не читаетъ публика, но заслуги ихъ литературѣ, ихъ труды извѣстны всѣмъ, занимающимся дѣльно отечественною литературою; ихъ имена стали историческими; о гениальныхъ людяхъ еще менѣе нужно хлопотать: они и безъ вашихъ хлопотъ бессмертны. Что же касается до васъ, господа «инкогнито»,—не спрашивайте «чего ждать будетъ вамъ?»—вы ужъ дождались своего и вамъ больше нечего ждать...

Послѣ рифмъ г. М. Дмитріева, во второмъ ряду стихотвореній «Одесскаго Аламанаха», особенно замѣчательны стихи гг. Степанова, Щеткина, Раича и Струйскаго. Къ этому же второму ряду должно отнести и отрывокъ изъ перевода

«Энеиды» г. Де-Ларю. Когда переводъ напечатается вполнѣ, г. Де-Ларю окажетъ имъ великую услугу русской публикѣ въ пользу развитія ея эстетическаго вкуса: тогда всѣ, сравнивъ «Иліаду» съ «Энеидою», поймутъ разницу между великимъ, самобытнымъ, свѣжимъ, цѣломудреннымъ въ своей возвышенной простотѣ, созданіемъ художественной древности, — и между щеголеватымъ, обточеннымъ, но мертвымъ и бездушнымъ подражаніемъ. Сравненія очень полезны для разумныхъ выводовъ и результатовъ: всѣ понимаютъ достоинство и красоту человѣческаго стана, но возлѣ красиваго человѣка поставьте орангутанга — и красота перваго будетъ еще виднѣе...

Но въ «Одесскомъ Альманахѣ» есть третій рядъ стихотвореній, который намъ кажется лучше обоихъ прежнихъ. Къ нему мы относимъ шесть новогреческихъ пѣсней, дышащихъ наивною поэзію народной фантазіи и прекрасно переведенныхъ г. Протопоповымъ; граціозное, проникнутое чувствомъ, хотя и шутивно написанное стихотвореніе «Городокъ» г. И. К., впрочемъ, кромѣ послѣдняго куплета, который портитъ эту прекрасную пѣсню; и наконецъ два маленькія стихотворенія, подписанною буквою М. и отличающіяся художественностію формы, напоминающей подражанія древнимъ Пушкина.

РЕПЕРТУАРЪ РУССКАГО ТЕАТРА. (,) Издав. И. Песоцкимъ. Третья книжка. Спб. 1840.

«На свѣтѣ странныя бываютъ приключенія!» — и третья книжка «Репертуара» самымъ разительнымъ образомъ подтверждаетъ справедливость этого мудраго изрѣченія. Всѣмъ, и читающимъ «Репертуаръ», и нечитающимъ его, извѣстно уже изъ одной программы этого страннаго, не литературнаго изданія, что въ немъ печатаются только водевили, иггранные

на театрахъ обѣихъ нашихъ столицъ, но ни особо и ни въ канонъ повременномъ изданіи ненапечатанные. Обязанные читать все, что ни печатается, даже «Репертуаръ Русскаго Театра», издаваемый г. Песоцкимъ, мы развернули его, чтобы увидѣть, какой новый водевиль написалъ г. Коровкинъ, или какую новую драму «сочинилъ» г. Полевой, — и что же? — представьте себѣ наше изумленіе: мы увидѣли — «Гамлета, принца Датскаго, драматическое представленіе, въ пяти дѣйствіяхъ, соч. Вилліама Шекспира, переводъ съ англійскаго Н. А. Полеваго»!... Пощадите, г. Песоцкій!... Воপরвыхъ: «Гамлетъ», сей злополучный принцъ Датскій, такъ много пострадавшій отъ г. Дюсиса, г. Сумарокова и отъ г. Висковатаго, давно уже извѣстенъ русской публикѣ и въ четвертомъ своемъ страданіи: передѣлка великаго созданія Шекспира г. Полевымъ напечатана еще въ 1837 году; воторыхъ, странно видѣть твореніе Шекспира, хотя и въ арлекинскомъ костюмѣ, въ изданіи, посвященномъ издѣліямъ гг. А, В, С, и пр. Но главное и важнѣйшее — вѣдь «Гамлетъ» драма, трагедія, а не водевиль... Впрочемъ, позвольте... почему жъ бы и не такъ?... Вѣдь не все то Шекспировское, на чемъ выставляется его имя: и Шекспиръ, во многомъ, что выдается за принадлежащее ему, не узналъ бы своего! Было время уродливыхъ классическихъ трагедій, — и добрый протакъ Дюсисъ дѣлалъ изъ великихъ драмъ Шекспира уродливыя классическія трагедіи. Ну, а теперь? — теперь настало время романтическихъ водевилей, съ куплетами и даже безъ куплетовъ, и часто съ чувствительными мелодраматическими пантомимами подъ эффектно-сентиментальную музыку: — почему же, слѣдуя духу времени, не дѣлать водевилей изъ драмъ Шекспира?... Но извѣстно, что наши доморощенные водевили даже и не дѣлаются, а передѣлываются изъ французскихъ, чрезъ переложеніе французскихъ нравовъ на русскіе; и потому, если вы хо-

тите дѣлать водевили изъ драмъ Шекспира, поступайте и съ ними точно такъ же: сдѣлайте, напримѣръ, изъ поэтической Датчанки Офеліи русскую дѣву въ сарафанѣ и, на голосъ извѣстной простонародной русской пѣсни:

Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чернобровая похожа на меня!

заставьте ее пропѣть водевильный куплетъ съ прищолкиваніемъ пальцами, хоть въ родѣ слѣдующаго:

Радость-душечка пропала,
Какъ мила друга не стало!

Увѣряемъ васъ, что это будетъ очень хорошо... Всего важнѣе—старайтесь переводить Шекспира какъ можно водевильнѣе, т. е. на выворотъ. Напримѣръ: Шекспиръ заставляетъ Гамлета сказать Полонію: «Вы ничего не можете взять; я вамъ все уступаю охотно, кромѣ жизни моей, кромѣ жизни моей, кромѣ жизни моей (You cannot, sir, take from me any thing that I will more willingly part withal, except my life, except my life, except my life)»; а вы... да что вамъ до Шекспира! онъ писалъ по-англійски, а вамъ не учиться же нарочно для него — слишкомъ много для него чести, тѣмъ больше, что — сами вы знаете — цѣликомъ онъ нынче ужъ не годится!... Итакъ, возьмите лучше Летуриновскій переводъ «Гамлета», исправленный Гизо, въ которомъ это мѣсто переведено такъ: «Vous ne pouvez, monsieur, rien prendre de moi, que je vous donne plus volontiers, si ce n'est pas ma vie, si ce n'est pas ma vie, si ce n'est pas ma vie» (Oeuvres complètes de Shakspeare, trad. de l'anglais par Letourneur; n. ed., revue et corrigée par F. Guizot et A. P. traducteur de lord Byron, t. 1. p. 240); ну, да и переведите это такъ: «Изъ всего, что вы можете взять у меня, ничего не уступаю я вамъ такъ охотно, какъ жизнь мою, жизнь мою, жизнь мою»; оно будетъ и близко къ оригиналу, съ котораго вы переведете, и не такъ хлопотно: вѣдь француз-

скій языкъ, вѣрно, вамъ знакомѣе, чѣмъ англійскій? А чтобъ больше придать блеска своему незаконному переводу, смѣло поставьте въ заглавіи «съ англійскаго»; вѣдь справляться не будутъ, а если и вздумаетъ кто-нибудь, отмолчитесь—и дѣло съ концомъ! Въ наше время кто не знаетъ всѣхъ наукъ (особенно важнѣйшихъ, какъ выразился одинъ многознайка: политической экономіи и философіи) и всѣхъ языковъ, даже санскритскаго и китайскаго? По крайней мѣрѣ, кто не разсуждаетъ о нихъ съ важностью, даже не зная порядочно и своего роднаго, и не признавая русскаго и перерусскаго слова «теперешній» русскимъ словомъ? — Дальнѣйшія наставленія въ водевильномъ способѣ переводить драмы Шекспира вы можете найти въ статьѣ покойнаго профессора Кронеберга, помѣщенной во II томѣ «Литературныхъ Прибавленій къ Р. И.» на 1839 годъ, стр. 189. Обратите особенное вниманіе на письмо Гамлета къ Офеліи: «O dear Ophelia, I am ill at these numbers; I have not art to reckon my groans; but that I love thee best, o most best, believe it. Adieu. Thine evermore, most dear lady, whilst this machine is to him, Hamlet». Это вы, для большаго эффекта, можете перевести по своему, не соображаясь ни съ подлинникомъ, который для васъ нѣтъ какъ рыба, ни даже съ французскимъ переводомъ; англійское «most dear lady» и французское «ma dame chérie» замѣнить водевильнымъ «обожаемая дѣва»; однимъ словомъ, вотъ такъ: «Милая Офелія! эти строчки (т. е. стихи, numbers, vers) умножили мою грусть. Я не умѣю красиво пересказать мои вздохи (т. е. я не имѣю искусства разсчитывать мои стенанія), но я люблю тебя, очень люблю. Прости. Твой навсегда, обожаемая дѣва, пока духъ мой держится въ тѣлѣ (т. е. пока эта машина принадлежитъ мнѣ, какъ въ подлинникѣ, или: пока эта смертная машина повинуется твоему Гамлету, какъ во франц. переводѣ)—Гамлетъ». Смѣлѣе! не бойтесь, что какой-нибудь насмѣшникъ перепаро-

дируетъ этотъ переводъ такъ: «Милый Шекспиръ! я плохо понимаю тебя, еще хуже перевожу тебя, но я люблю тебя, очень люблю. Твой навсегда, обожаемый поэтъ, пока перо держится въ рукахъ. Твой передѣлыватель, водевиллистъ — такой-то.»

За перепечатаннымъ «Гамлетомъ» слѣдуетъ, тоже перепечатанная (изъ 50-го № «Литературныхъ Прибавленій къ Р. И.» на 1837 г.), очень хорошенькая статейка г. Мундта «Біографія Карла Лудовика Дидло, бывшаго балетмейстера императорскихъ санктпетербургскихъ театровъ».

За оною слѣдуетъ новая (т. е. не перепечатанная) статья, подъ слѣдующимъ длиннымъ и громкимъ заглавіемъ: «Панорамическій взглядъ на современное состояніе театровъ въ Санктпетербургѣ, или характеристическіе очерки театральной публики, драматическихъ артистовъ и писателей». Г. сочинитель этой статьи очень хорошо понимаетъ выгоду громкихъ и длинныхъ заглавій въ родѣ самонужнѣйшихъ, пренанполезнѣйшихъ лечебниковъ и самонапреполезнѣйшихъ поваренныхъ книгъ. Что же въ этой статьѣ? — Да, собственно-то ничего; она напоминаетъ своимъ содержаніемъ извѣстную статью въ «Новосельѣ» г. Смирдина: «Ничто», замѣчательную тѣмъ, что сочинитель ея весь вылился въ ничто; но въ ней множество курьёзныхъ двовинокъ, подобныхъ тѣмъ, которыя именно за свое уродство и сохраняются въ банкахъ со спиртомъ, въ кулестамерахъ. Укажемъ на нихъ для удовольствія и потѣхи современниковъ, и какъ назидательный фактъ для потомства.

Говоря о петербургскомъ французскомъ театрѣ, сочинитель статьи хвалитъ въ г-жѣ Алланъ свѣтскость манеровъ и умѣнье пѣть куплеты; послѣднее достоинство онъ заставляетъ ее раздѣлять съ г. Алланъ; но больше этого, кажется, ничего въ нихъ не замѣтилъ. Впрочемъ, это произошло, вѣроятно, отъ недостатка наблюдательности, или отъ близорукости взгляда,

а совѣтъ не отъ недостатка усердія: г. сочинитель хвалитъ г-жу Алланъ со всевозможнымъ усердіемъ, точно такъ же, какъ и г-жу Асенкову. Это напомнило намъ одно лице въ прекрасной повѣсти графа Соллогуба, «Большой Свѣтъ»,—именно, того господина, франта средняго общества и героя легонькихъ балковъ, который спрашиваетъ Леонина: «Итъ въ каню авекъ лѣ Чуфыринъ е лѣ Курмицынъ?» и который, прикидываясь любителемъ французскаго театра, съ такимъ самодовольствіемъ повторяетъ: «Люблю Аллан! что это за удивительная актриса! Впрочемъ, надо сказать правду, и Асенкова не дурна, особливо въ гусарскомъ костюмѣ. Мы съ Петрушей и Ваней всегда ее вызываемъ». Въ г. Вернѣ «сочинитель» видитъ не больше какъ превосходнаго актёра въ роляхъ буфонскихъ, или фарсахъ (стр. 15), простодушно не подозрѣвая въ немъ истиннаго художника, для убѣжденія чего достаточно увидѣть его хоть въ роли графа de Migemont, въ комедіи Скриба «La Samaraderie». Далѣе, сочинитель съ глубокимъ чувствомъ истиннаго диллетанта говоритъ, что «буфетъ Михайловскаго театра не весьма озабоченъ требованіями, и всегда просторенъ» (стр. 14): кому не извѣстно, что буфетъ тѣсно связанъ съ искусствомъ? По крайней мѣрѣ, такъ думаетъ извѣстный, и притомъ самый многочисленный родъ диллетантовъ искусства! Г. Сосницкаго сочинитель превозноситъ до небесъ, какъ великаго генія сценическаго искусства; а въ г. Мартыновѣ видитъ не больше, какъ «отлично хорошаго буффо, т. е. комика, разыгрывающаго не характерныя, но смѣшныя роли, каррикатуры» (стр. 24). Въ самомъ дѣлѣ, г. Сосницкій необыкновенно умный артистъ: сценическій умъ, при опытности и привычкѣ къ сценѣ, иногда дѣлаетъ у него незамѣтнымъ недостатокъ вдохновенія и творческаго таланта, — недостатокъ, который особенно ощутителенъ въ роляхъ художественно созданныхъ, какъ, напримѣръ, въ роли городничаго въ «Ревизорѣ»,

въ которой г. Сосницкій столько же плохъ, сколько Щепкинъ превосходенъ. Чтò же до г. Мартынова, то — въ добрый часъ молвить, въ худой помолчать! — мы видимъ въ немъ золотой самородокъ сценическаго таланта, — и если г. Мартыновъ, не обольщаясь своими успѣхами, будетъ ревностно и безкорыстно трудиться въ изученіи своего искусства, не стоять на одномъ мѣстѣ, но идти все впередъ и впередъ, то изъ него выйдетъ со временемъ нѣчто существеннѣе многихъ и многихъ водеvilныхъ геніевъ Александринскаго театра, — и только чуждыя сферѣ искусства отношенія, какія-нибудь *camaraderies*, могутъ такъ пристрастно унижать его природный талантъ...

Но всего курьёзнѣе отзывы и сужденія сочинителя репертуарной статьи о нашихъ драматическихъ писателяхъ. Высоко ставитъ онъ таланты гг. барона Розена, Бахтурина, Ободовскаго, Кукольника, Зотова, Хомякова, Грибоѣдова, Жандра, Хмѣльницкаго, Загоскина, князя Шаховскаго; но выше всѣхъ ихъ ставитъ талантъ — г. Н. Полеваго!... О тѣхъ онъ говоритъ по нѣсколько строкъ, сему посвящаетъ нѣсколько столбцовъ. Послушайте, что говоритъ онъ о семъ драматическомъ свѣтилѣ, т. е., о г. Полевомъ:

«Гибкій умъ его постигнулъ быстро тайну искусства, *недоступную даже для многихъ геніевъ (хороши геніи!...)* — тайну дѣлать сердцами зрителей, и проч. (стр. 18 и 19).

Говоря объ «Уголино», сочинитель дѣлаетъ слѣдующее наблюдение:

«Весьма замѣчательно что противники Н. А. Полеваго, не зная, какъ унижить «Уголино», стали утверждать, будто онъ почерпнулъ все изъ нѣмецкой и италіанской драмы! Укажите-жъ, изъ которой! Сличите, разберите! Клевета и только!»

Мы, право, не знаемъ, есть ли у г. Полеваго противники, и кто они такіе; не помнимъ также, чтобы кто-нибудь серьезно

разбиралъ его «Уголино» и, какъ будто говоря о великомъ дѣлѣ, доказывалъ, что она почерпнута оттуда и отсюда; но мы помнимъ, что въ одной газетѣ драмы Шиллера были поставлены выше драмъ Шекспира, а «Уголино» выше драмъ Шиллера, и что, черезъ два или три нумера, въ той же самой газетѣ, и тѣмъ же самымъ безпристрастнымъ и глубокомысленнымъ критикомъ, эти похвалы объявлены были пристрастными: «Почтеннѣйшая» — такъ зывалъ оный критикъ къ публикѣ — «почтеннѣйшая! виноватъ — пріятельство, кумовство, самagadegie — вотъ что — больше ничего!» Если потребуется, мы назовемъ по имени эту газету, и укажемъ на нумеръ и страницу, на которыхъ находятся эти знаменитыя и дѣлающія честь русской литературѣ слова. Общій итогъ сужденія г. сочинителя о драматическомъ талантѣ г. Полеваго есть тотъ, что, въ отношеніи къ искусству, драмы его еще не осяли на прочномъ основаніи; что, чувствуя недостатки прежнихъ формъ и изложенія русской драмы, онъ ищетъ новой формы, и что «Репертуаръ» ожидаетъ отъ него съ немалою надеждою, если не рѣшенія великой задачи, то формулы (!!...) для ея разрѣшенія (стр. 20). Именно такъ! ждите, «почтеннѣйшій»!...

Послѣ г. Полеваго, по словамъ сочинителя статьи «Репертуара», далеко долженъ пойти г. Коровкинъ. Добрый путь, господа!

Читатели могли замѣтить, что между всѣми этими именами, начиная отъ г. Полеваго съ г. Коровкинымъ и до Грибоѣдова, нѣтъ имени Гоголя. Конечно, между ими и искать его не слѣдуетъ; но если уже между ими вмѣшалось имя Грибоѣдова, то Гоголя ужъ какъ-то невольно ищешь. Однакожъ не беспокойтесь: опытный сочинитель репертуарной статьи не дастъ промаха. Говоря языкомъ старинныхъ стихотвореній Кирши Данилова, мы можемъ сказать о немъ: а втапору онъ догадливъ былъ». Въ самомъ дѣлѣ, догадливъ: онъ отдѣлилъ Гоголя

отъ всѣхъ именъ, поговорилъ о немъ больше, чѣмъ о другихъ; и по всему видно, что онъ приступилъ къ этому не вдругъ, а переведа духъ, изготавившись и нацѣлившись. Послушайте же, что онъ говорить о Гоголѣ:

«Г. Гоголь написалъ одну комедію прозою «Ревизоръ», за которую дружеская литературная партія превозноситъ его превыше не только Грибоедова, но даже Молиера! Критики наши забыли (да они, вѣроятно, никогда и не помнили этого!), что «Ревизоръ» уступаетъ даже многимъ комедіямъ кн. Шаховскаго и Загоскина, которые вовсе не имѣли притязанія на сравненіе ихъ съ Молиеромъ. Въ «Ревизорѣ» нѣтъ въпервыхъ, никакого вымысла и завязки; вовторыхъ, нѣтъ характеровъ; въ третьихъ, нѣтъ натуры; въ четвертыхъ, нѣтъ языка; въ пятыхъ, нѣтъ ни идей, ни чувства, т. е.; нѣтъ ничего, что составляетъ высокое созданіе! Сюжетъ избитый во всѣхъ нѣмецкихъ и французскихъ фарсахъ, тотъ же, что *Мнимая Каталани* (Die vermeinte Catalani), *Нѣмецкіе Горожане* (Die deutschen Kleinstädter), *Ложная Тальони* (die falsche Taglioni), *Городишко*, соч. Пикара (la Petite ville) и т. п., съ тою разницею, что въ «Ревизорѣ» болѣе невѣроятностей. Дѣйствующія лица — рядъ преувеличенныхъ каррикатуръ, небывалыхъ никогда въ Великороссіи! Это образчики какой-то пѣшей малороссійской и бѣлорусской шляхты, которыхъ намъ выдаютъ за русскихъ помѣщиковъ. Всѣ дѣйствующія лица, — пошлые дураки или отъявленные плуты, которые хвастаютъ своимъ плутовствомъ.

Именно такъ! противъ этого нечего сказать «Репертуару» и его «почтеннѣйшимъ» сотрудникамъ, читателямъ и почитателямъ! Съ ними мы не намѣрены разсуждать о томъ, что значить въ драмѣ вымыселъ и завязка, характеры, натура, языкъ, идеи и чувство. Мы также не намѣрены и защищать Гоголя: дѣло говорить само за себя. Мы лучше укажемъ на «репертуарную» тактику униженія истинныхъ талантовъ черезъ возвышеніе жалкой посредственности: относительно почитателей «Репертуара» превосходная тактика!... Но — по Сенькѣ и шапка! такъ говорить русская пословица. «Ревизоръ» имѣлъ чрезвычайный успѣхъ: все изданіе его давно раскуплено, и ни одного экземпляра теперь нельзя достать въ лавкахъ ни за какія деньги; на театрахъ обѣихъ столицъ, особенно въ Москвѣ, онъ

безпрестанно дается и каждый раз привлекает многочисленную публику. Все это еще внѣшнія доказательства достоинства «Ревизора»; но для водевильной и «репертуарной» публики только и существуютъ, что внѣшнія доказательства, — и потому сужденіе сочинителя статьи могло бы показаться дикимъ даже и для тѣхъ, для кого она написано; но вотъ какъ кончилъ онъ свое дивное сужденіе о «Ревизорѣ»:

«Одно превосходное комическое лицо здѣсь — лакей! (*хорошо еще!*). Вотъ что мастерски, такъ мастерски! И за отдѣлку именно этого лица, мы признаемъ комическій талантъ въ г. Гоголѣ, и убѣждены, что если онъ захочетъ сдѣлать что-нибудь порядочное и замять уши на пошлыя (!) похвалы пріятелей (*вѣроятно, дѣло идетъ о Пушкинѣ?*), похвалы, которыми половина публики (*вѣроятно, водевильной и «репертуарной»*) принимаетъ за насмѣшку надъ нимъ, то напишетъ не фарсъ, а настоящую комедію, потому что мы видимъ въ немъ и юморъ и комическую замашку (*не ужели только въ характеръ лакея?*). Дарованіе видно и въ самыхъ мелочахъ (*даже и въ «Ревизорѣ»?*), и мы, почтя «Ревизора» піесомъ, недостойнымъ того, чтобы на ней можно было основывать славу автора, признаемъ автора человѣкомъ даровитымъ (*вотъ какъ!* — и все это за *характеръ лакея?* — *вотъ что значитъ удружить!*), и съ нетерпѣніемъ ждемъ случая хвалить его за что-нибудь достойное его таланта (*а гдѣ же мѣрка для таланта-то? конечно, характеръ лакея?*).

Славная тактика! сначала разругайте, скажите, что въ авторѣ «нѣтъ ни ума, ни чувства, ни таланта, ни фантазіи, словомъ ничего, что нужно, чтобъ быть авторомъ»; а въ заключеніи скажите, что авторъ подаетъ надежды, и если будетъ походить на своихъ критиковъ до того, что имъ нечего будетъ стыдиться его, то напишетъ что-нибудь дѣльное. Такая тактика очень дѣйствительна въ заднихъ рядахъ нашей литературы; водевильная и «репертуарная» публика простодушна: она согласится и съ началомъ и съ заключеніемъ статьи, т. е., и съ бранью и похвалою, какъ бы онѣ ни противорѣчили одна другой, а критика похвалитъ за добросовѣтность и безпристрастіе.

Между современными русскими журналами, одинъ (не будемъ называть его) отличается удивительною пустотою, сухостию и безжизненностію своихъ «литературныхъ очерковъ», которые онъ смѣло выдаетъ за «критики» — вѣроятно для того, чтобъ отдѣлаться отъ составленія статей по отдѣлу «Критики», требующихъ и свѣдѣній, и труда, которые могутъ считаться дѣломъ ненужнымъ для «очерковъ». Всѣ эти «очерки» поются на одинъ и тотъ же ладъ и отличаются элегическою уныlostію разочарованныхъ юношей двадцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія, — юношей, ужъ очень состарѣвшихся для 1840 года. Въ нихъ на одинъ и тотъ же тонъ распыляется одна и та же мысль, — что теперь и все не такъ, какъ было, и въ современной литературѣ видна одна непосредственность. Сначала мы отъ чистаго сердца смѣялись надъ этими прозаическими элегіями разочарованнаго самолюбія, но теперь видимъ, что унылый старичокъ не совсѣмъ не правъ. Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ, напримѣръ, современная журналистика? — «Библіотека для Чтенія» въ какой-то апатіи вяло дошучиваетъ на старый ладъ старыя же остроты; наполняется какими-то дикими статьями о произведеніяхъ живописи и скульптуры и о музыкальныхъ концертахъ; «Литературная лѣтопись» ея уже не превышаетъ трехъ страничекъ — тоща, суха, шутки приторны; отстаетъ книжками и быстро клонится къ желанному покою. Повеволѣ воскликнешь: «конецъ концовъ.» — «Сынъ Отечества» пока еще держится только своими ежегодными переодѣваніями изъ одной обертки въ другую, да тѣмъ, что или сожмется въ двѣнадцать, или разлетится на двадцать-четыре книжки. Этимъ онъ думаетъ выиграть въ аккуратности выхода, но — увы! — когда у добрыхъ людей настаетъ январь новаго года, у него все тянется еще хвостъ стараго, и прошлогодній журналъ остается безъ хвоста! Конечно, это не мѣшаетъ «Сыну Отечества» смѣло и самонадѣянно называть себя

представителемъ русской литературы въ 1838 и 1839 году, хотя иные шутники и замѣчаютъ, что если онъ ужъ непремѣнно хочетъ такъ называть себя, то пусть по крайней мѣрѣ назовется представителемъ неполнымъ, потому что и до-сихъ поръ еще не далъ горемычнымъ своимъ подписчикамъ двухъ книжекъ за прошлый годъ (за ноябрь и декабрь). О внутреннемъ улучшеніи онъ уже не хлопочетъ: самъ видитъ, что и старъ сталъ и немощенъ. И въ молодые-то свои годы онъ былъ не изъ бойкихъ, а теперь ужъ и добрые люди на немъ не взыскиваютъ, и терпятъ старика, къ которому привыкли въ продолженіе почти тридцати лѣтъ. Старики и читаютъ старика: имъ любо, когда онъ съ старческою ворчливостію побраниваетъ все новое, да похваливаетъ доброе старое время. Въ добрый часъ, почтеннѣйшіе старцы! вѣдь надо же и вамъ чѣмъ-нибудь тѣшиться подъ скучную зиму вашихъ дней! . . . Потомъ «Современникъ»,—но это больше альманахъ, чѣмъ журналъ: онъ не держитъ голоса на аренѣ современной литературы, не желая имѣть съ нею никакого дѣла. И хорошо поступаетъ! Правда, въ своихъ краткихъ, но чрезвычайно характеристическихъ отзывахъ о новыхъ произведеніяхъ по-дѣломъ пренебрегаемой имъ современной литературы, онъ подаетъ голосъ, но этотъ голосъ доходитъ не до публики, а до сердца только нѣкоторыхъ изъ его журнальныхъ собратій. — И странное дѣло!—онъ говоритъ тихо, скромно, прилично, безъ всякой повидимому рѣзкости, а между тѣмъ ужасно сердитъ нѣкоторыхъ изъ своихъ журнальныхъ собратій; онъ даже и не упоминаетъ о нихъ, какъ-бы не замѣчаетъ ихъ существованія, а они разбираютъ по слову каждую его сторону, и за каждую сердятся, какъ за личную обиду... «Сѣверная Пчела»,—но она, всегда перепечатывая изъ другихъ изданій, какъ бы вовсе лишена самостоятельнаго существованія, и держится одними политическими извѣстіями, повторенными ею послѣ того, какъ

они напечатываются въ другихъ газетахъ, да развѣ еще объявленіями о водочистительныхъ машинахъ и другихъ неотносящихся къ литературѣ предметахъ. — Въ Москвѣ, которая такъ недавно гордилась передъ Петербургомъ и количествомъ и достоинствомъ своихъ журналовъ, теперь страшное запустѣніе. Медленно умираетъ въ ней «Наблюдатель», какъ вдругъ, весною 1838 года, вздумалъ ожить,—и вотъ поюнѣлъ и позеленѣлъ, и заговорилъ живымъ языкомъ, восторженною рѣчью, словомъ, расходился какъ рыный нѣмецкій студентъ. Но добрый и пылкій юноша не понялъ великой истины, что чувство чувствомъ, мысль мыслью, талантъ талантомъ, а опытность и осторожность своимъ чередомъ. Съ первой же книжки началъ онъ сыпать новыми идеями и новыми словами, не догадавшись, что не годится такъ вдругъ и неосторожно будить заспавшихся эпименидовъ, вмѣсто того, чтобы сначала по немногу ихъ расталкивать. Тщетно представлялъ онъ и изящную прозу, и изящныя стихотворенія, и новыя идеи: публика видѣла одни новыя, непонятныя для нея слова, да неаккуратность въ выходѣ книжекъ—и бѣдный юноша не хотѣлъ умирать медленною смертію, по-филистерски.

..... посреди дѣтей,
Пласивыхъ бабъ и лекарей,

но скоропостижно исчезъ и пропалъ безъ вѣсти...

Не разцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней,
Что любилъ, въ томъ нашелъ
Гибель жизни своей!

И вотъ, на тускломъ небосклонѣ московской журналистики, снова ожила блѣдная красавица «Галатея». Но, Боже мой!—Что это за оживленіе! Лучше бы ей и не родиться на свѣтъ! Ланиты блѣдныя, очи впалыя, въ одеждѣ бѣдность и непріятный безпорядокъ, гризеточный фартукъ не чистъ...

Да! хороша журналистика! И послѣ этого можно ли требовать отъ насъ (какъ требуютъ нѣкоторые изъ нашихъ читателей), кромѣ библиографическихъ обзоровъ, еще «обзоровъ русской журналистики»? Что тутъ прикажете обозрѣвать ежемѣсячно?... Повторять одно и то же тяжело и скучно!... Вотъ почему мы никогда не говорили о современныхъ русскихъ журналахъ, и рѣшились здѣсь въ нѣсколькихъ строкахъ сказать теперь о нихъ свое мнѣніе, чтобъ потомъ не говорить уже о нихъ болѣе, какъ о предметѣ грустномъ и непріятномъ... «Но что же думаете вы, мм. гг.» — можетъ-быть спросятъ нѣкоторые — «объ Отечественныхъ Запискахъ?»... Извольте, мы скажемъ вамъ свое о нихъ мнѣніе, — мнѣніе, которое есть наше убѣжденіе и вслѣдствіе котораго мы такъ усердно занимаемся этимъ изданіемъ и будемъ такъ же усердно заниматься до тѣхъ поръ, пока это убѣжденіе существуетъ въ насъ. Вотъ что мы видимъ въ нашемъ журналѣ: Только въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще раздаются пѣсни старыхъ корифеевъ нашей литературы, только въ нихъ встрѣчаются имена Жуковского, кн. Вяземскаго, кн. Одоевскаго, Баратынскаго и другихъ; только «Отечественныя Записки» представляютъ публикѣ произведенія молодыхъ, яркихъ талантовъ, каковы Лермонтовъ, гр. Соллогубъ, Кольцовъ, Красовъ, — е —, и другіе; только въ «Отечественныхъ Запискахъ» видно живое стремленіе къ мысли, къ идеѣ, живая любовь къ истинѣ, живое участіе къ судьбѣ русской литературы, и гордое отчужденіе отъ всякаго рода не литературныхъ интересовъ; въ «Отечественныхъ Запискахъ», какъ въ послѣднемъ убѣжищѣ, сомкнулось все, въ чемъ есть жизнь, движеніе, талантъ; наконецъ, только «Отечественныя Записки» и бодры, и молоды, выходить въ срокъ съ точностію хронометра, и навлекаютъ на себя упреки развѣ въ излишней полнотѣ и объемистости. О промахахъ и недостаткахъ говорить нечего: гдѣ ихъ нѣтъ и какое

человѣческое дѣло ихъ чуждо? Лишь-бы доброе начало ихъ перевѣшивало! И потому, пока подождемъ и посмотримъ — «Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ»... Публикѣ очень хорошо извѣстно, что «Отечественныя Записки» не имѣютъ ничего общаго съ другими журналами; одно изъ самыхъ рѣзкихъ ихъ отличій — уваженіе къ таланту, къ силѣ, къ достоинству: публикѣ извѣстно ихъ мнѣніе о Пушкинѣ, о Гоголѣ и другихъ писателяхъ, старыхъ и новыхъ, составляющихъ честь и славу родной словесности... Все это, замѣтьте, говоримъ мы — положи руку на сердце, отъ полнаго, искренняго убѣжденія, и желаемъ, чтобъ другіе журналы, — которые такъ часто расточаютъ похвалы самимъ себѣ и которые вѣрно не замедлятъ, изъ доброжелательства, назвать наше откровенное признаніе самохвалствомъ, — такъ же искренно говорили съ публикою, когда коснется рѣчь до собственнаго ихъ достоинства... Прибавимъ, въ заключеніе: если бы еще не «Отечественныя Записки», то современная русская литература дѣйствительно представляла бы собою апофеозъ жалкой посредственности. Посмотрите: кого хвалятъ, о чемъ говорятъ? О дюжинныхъ произведеніяхъ, издѣліяхъ гг. Полеваго и Коровкина! Кого бранятъ и унижаютъ? — Пушкина и Гоголя!... Какъ унижаютъ послѣдняго, можно видѣть изъ примѣра «Репертуара», а какъ цѣнятъ перваго — посмотрите 55 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года... Но дѣло стоитъ того, чтобы о немъ сказать что-нибудь; оно же такъ кстати.

Кто-то, изволите видѣть, разбираетъ «Очерки Русской Литературы» г. Полеваго. Странная вещь! Извѣстно, что наши литературныя мнѣнія во всемъ діаметрально противоположны съ мнѣніями «Сѣверной Пчелы», такъ что бѣлое для нея, есть черное для насъ, и наоборотъ; но касательно мнѣнія о г. Полевомъ мы во многомъ сходимся съ нею. И кто бы, напримѣръ, не согласился вотъ съ этимъ сужденіемъ, которое

съ дипломатическою точностію выписываемъ изъ «Сѣверной Пчелы»:

«Н. А. Полевой, какъ видно изъ его собственнаго сознанія (см. нѣскольکو словъ отъ сочинителя, въ началѣ «Очерковъ Литературы»), не учился ни одной наукѣ систематически, а только *много читалъ о наукахъ*. Онъ былъ человекъ *начитанный*, но не *ученый*, человекъ умный, остроумный, который былъ въ состояніи судить о наукахъ въ частности, но не могъ быть *судьею*, т. е. не могъ подписывать приговоръ. Н. А. Полевой часто судилъ весьма правильно, основываясь на здоровомъ разсудкѣ, но, во всякомъ случаѣ, онъ судилъ *поверхностно*, хотя начиналъ каждую статью длинною теоріею, и эти теоріи казались людямъ несвѣдущимъ, весьма мудреными, чудными и глубокими, потому что были имъ понятнѣе настоящихъ ученыхъ формулъ...»

Правда! разъ и тысячу разъ — правда! Но — дальше:

«Въ первые годы его («Телеграфа») существованія, онъ имѣлъ сильныхъ приверженцевъ, и превосходно поддерживался неутомимостью, умомъ, остроуміемъ, смѣлостью (*avoir fait*) двухъ братьевъ Полевыхъ. Будучи принуждены сражаться непрерывно, слѣдовать предпринятымъ путемъ *энциклопедической* критики и опасаясь на каждомъ шагѣ, непріятельскихъ ударовъ, братья Полевые сами должны были прилежно учиться, и они, учась, излагали въ журналѣ результаты своихъ трудовъ, изысканій и наблюденій, которые если не всегда были вѣрны, то всегда были занимательны, потому-что были свѣжи и возбуждали споры.

Далѣе, «Сѣверная Пчела» небезосновательно замѣчаетъ, что лучшая часть «Телеграфа» была бельлетристическая критика, съ особенною силою дѣйствовавшая къ помраченію достоинствъ противниковъ издателя «Телеграфа». — «Только въ этомъ «Телеграфѣ» дѣйствовалъ всегда систематически и съ удивительною энергіею! Но тамъ, гдѣ Н. А. Полевой дѣйствовалъ не по внушеніямъ страстей, не какъ боецъ или гладіаторъ, критики его — (продолжаетъ «Сѣверная Пчела») — были превосходны». Тутъ слѣдуютъ дружескіе комплименты; наконецъ упреки г. Полевому за его статью о Пушкинѣ, въ которой онъ будто бы слишкомъ превознесъ этого обыкновеннаго, чуть чуть не плохаго поэта. Слушайте! Слушайте!

«Н. А. Полевой увлекся гармоніей, музыкой стиховъ Пушкина, и не обратилъ вниманія на ихъ сущность! Намъ кажется удивительнымъ дѣломъ, что Н. А. Полевой, при своемъ умѣ, могъ увлечься до такой степени одною музыкою! Укажите мнѣ, какой характеръ или первообразъ (type) создалъ Пушкинъ? (*покажите слѣпому цветы...*). Ужели вы поставите мнѣ въ примѣръ Онѣгина, Нулина, Кавказскаго Пѣвника, Мазепу, Годунова, Самозванца (*пожалуй еще и Гирей, Зарему, Марію, Алеко, стараго Цыгана, Земфиру, Марію (въ «Полтавѣ»), Ленскаго, Татьяну, Ольгу, донну Анну, Лауру, дон-Хуана, Скупаго Рыцаря, и множество, множество другихъ превосходнѣйшихъ характеровъ, дивныхъ, художественныхъ первообразовъ*). Это или тѣни, или портреты безъ тѣней (*гдѣ же не тѣни и портреты съ тѣнями?—ужь не въ Годуновѣ ли и Самозванцѣ г. Булгарина?—должно быть!...*). Укажите мнѣ на высокія, міровыя (*ба! да слово міровыя не одинъ «Отечественныя Записки» употребляютъ—и «Пчела» переняла его у нихъ! Въ добрый часъ!*) идеи, на сильное чувство, которое бы заставило сердце ваше (*чье же именно...*), такъ сказать, выпрыгнуть изъ груди? Гдѣ вы (?) плакали, гдѣ содрагались, гдѣ *хватались за мечъ*, гдѣ душа ваша воспламенялась въ сочиненіяхъ Пушкина. Ради Бога, обозначьте мнѣ характеры, укажите идеи и высокія чувства!... Но тамъ не то! Музыка, гармонія слова, все гладко, чисто, и мелкій жемчугъ, и мелкіе алмазы, и мелкіе самоцвѣтные камни переливаются передъ глазами вашими въ калейдоскопъ, тѣшатъ васъ, радуютъ, забавляютъ, и оставляютъ васъ на землѣ (*О, великій, несравненный критикъ!*...) Н. А. Полевой думалъ о Байронѣ, о Шиллерѣ, и писалъ о Пушкинѣ. По идеямъ (*т. е. по сентенціямъ?*), Пушкинъ не можетъ даже приблизиться къ Державину, а по чувству (*«Пчела» отдѣляется въ поэзіи идеи отъ чувства... о, пчелиная эстетика!*), Жуковский гораздо выше его. Проидетъ 50, 100 лѣтъ, слогъ и языкъ измѣнятся и что тогда останется? А мы и теперь восхищаемся черствыми и ржавыми стихами Державина, потому что въ нихъ есть идеи, мысли и глубокое чувство!...»

Что сказать объ этомъ? Не есть ли это осуществившаяся басня не объ умирающемъ, а объ умершемъ лвѣ?... У Пушкина отнимаютъ все — и кто же, кто?... Напрасно сочинитель статьи «Сѣверной Пчелы» не упомянулъ съ похвалою хоть объ эпиграммахъ Пушкина. Право, слѣдовало бы упомянуть, что Пушкинъ такой былъ мастеръ писать ихъ, что и чужія хорошія эпиграммы приписывались ему, какъ напримѣръ, извѣстная и превосходная эпиграмма кн. Вяземскаго...

Что ни печаталось превосходнаго въ этомъ родѣ въ «Литературной Газетѣ» барона Дельвига, если не было подписано имени автора, всегда публикою приписывалось Пушкину. Это самое случилось и съ безыменною эпиграммою, напечатанною въ «Литературной Газетѣ» за 1830 годъ, во II-мъ томѣ, на 136 страницѣ:

Ты цѣлый свѣтъ увѣрить хочешь,
Что былъ ты съ Чацкимъ всѣхъ дружитѣй...

Въ заключеніе, «Сѣверная Пчела» нападаетъ на г. Полеваго за непризнаваніе Дмитріева поэтомъ. Она увѣряетъ, что Жуковский, Крыловъ и Пушкинъ — результаты Дмитріева; что Дмитріевъ въ сказкахъ своихъ поэтъ, и поэтъ высокій, поэтъ-живописецъ, поэтъ-философъ и поэтъ-музыкантъ, и что всѣ сказки Дмитріева выше «Онѣгина» Пушкина и т. п.

И на это нечего ни сердиться, ни возражать. Здѣсь г. сочинитель статьи, какъ говорится, пересолилъ, такъ что даже и тѣ добрые люди, для кого онъ писалъ, тотчасъ догадаются, что онъ надъ ними зѣло подшучиваетъ. Вѣдь журналъ не зала: его читаютъ всѣ, и не одни старики, которые за доброе слово хоть о Сумароковѣ готовы прійти въ восторгъ хоть отъ какой лекціи... Но еще тѣмъ простительнѣе подобныя диковинки, что ихъ можно принять за злую, хотя и не злонамѣренную шутку автора надъ самимъ собою, т. е. если онѣ выдуманы въ особенномъ вдохновительномъ состояніи духа, въ простотѣ ума и незлобіи сердца. Вѣдь кто-то въ этой же самой «Сѣверной Пчелѣ», назадъ тому ровно десять лѣтъ, отъ чистаго сердца и съ полнымъ простодушіемъ издѣвался надъ этими дивными стихами изъ VII главы «Онѣгина»:

Былъ вечеръ. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.
Ужъ расходились хороводы.
Ужъ за рѣкой дымясь пылалъ
Огонь рыбачій.

Возмутительна дерзкая злоба; но добродушное невѣдѣніе заслуживаетъ не больше, какъ улыбку сожалѣнія.

Статья «Репертуара», въ которой такимъ водевильнымъ и «репертуарнымъ» образомъ разруганъ «Ревизоръ» Гоголя, оканчивается увѣреніемъ, что «Репертуаръ» — удивительно отличное изданіе. Но намъ гораздо болѣе нравится мнѣніе объ этомъ важномъ предметѣ «Сынъ Отечества», который называетъ «Репертуаръ» полужурнальнымъ, а не литературнымъ предпріятіемъ, какъ и «Журналъ шитья и вышиванья» и «Листокъ для свѣтскихъ людей», которые красиво издаются въ Петербургѣ (С. О. № 5, стр. 134). Вотъ это похоже на правду!

Кстати о духѣ неуваженія къ истиннымъ талантамъ. Въ «Сынѣ Отечества» на повалъ бранять Лажечникова за его «Басурмана» (С. О. № 5, стр. 181). И по дѣломъ ему, г-ну Лажечникову! Какъ онъ смѣетъ писать такіе прекрасные романы? Какъ онъ смѣетъ обнаруживать въ нихъ столько души, чувства, ума, фантазіи, таланта? Вотъ мы его!... Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ ни услышишь — все «Новикъ», да «Ледяной Домъ», да «Басурманъ», а о «Клятвѣ» и «Аббадоннѣ» хоть бы слово кто молвилъ... Очень также наивно увѣреніе «Сына Отечества», что лучшее изъ появившагося по стихотворной части, есть: 2-я часть стихотвореній г. Бенедиктова и — что бы вы думали? — «Стихотворенія» дѣвицы Шаховой... Признаться, г. Бенедиктовъ очень ловко похваленъ. А о стихотвореніяхъ Лермонтова, Кольцова, Красова, — о —, безпрестанно являющихся въ «Отечественныхъ Запискахъ», — ни слова... Да и зачѣмъ? вѣдь онѣ не у насъ помѣщаются! Впрочемъ, позвольте: глухо замѣчено, что нѣсколько піесокъ (а какихъ?) въ журналахъ (Библіотека для Чтенія, Отечественныя Записки, Сынъ Отечества) стояли замѣчанія... Вотъ ужъ это напрасно! Что же общаго у «Отечественныхъ Записокъ» съ «Би-

бліотекою для Чтенія», или «Сыномъ Отечества»? Въ «Отечественныхъ Запискахъ» печатаются стихи Жуковского, Лермонтова, Баратынского, князя Вяземскаго, Кольцова, Хомякова, Красова, — о —, Каткова, а въ «Библіотекѣ для Чтенія» стихи гг. Кукольника, Губера, кн. Кропоткина, Тимоѣева и прочихъ; въ «Сынѣ же Отечества» — стихи Паршина, Дича, Дива, Траума, Гогніева, Печенѣгова, Филовея П—ва и проч. Что жъ тутъ общаго?... «Сынъ Отечества» говоритъ, что въ 1838 году только «Сѣверная Пчела», «Библіотека для Чтенія» и онъ, «Сынъ Отечества», были единственными представителями всей литературной и ученой дѣятельности нашей. Если такъ, то — признаться — хороша же наша дѣятельность, судя по представителямъ!... Далѣе: «Громкими возгласами возгласили было въ началѣ 1839 года о возрожденіи «Отечественныхъ Записокъ», но годовое изданіе ихъ доказало невозможность продолженія русской журналистики въ томъ видѣ, какова она теперь, въ ея нынѣшнемъ направленіи, невѣрномъ, кривомъ, жалкомъ, сбивчивомъ и безцѣльномъ, показало и всю бесплодность нашей журнальной литературы теперешней, и въ отношеніи самихъ журналистовъ, и въ отношеніи журнальных читателей» (Сынъ Отечества № 5, стр. 134). Вотъ что правда, то правда, а съ правдою нельзя не согласиться: «Отечественныя Записки» съ каждою новою книжкою все болѣе и болѣе доказываютъ пустоту и ничтожность единственныхъ представителей литературной дѣятельности нашей въ 1838 году, и показываютъ собою, чѣмъ долженъ быть журналъ въ наше время. Оттого-то такъ и сердятся на нихъ *эти* и *сѣи* устарѣлые и отсталые представители стараго добраго времени...

А что же нашъ милый «Репертуаръ»? Послѣ своей диковинной статьи о «Ревизорѣ» Гоголя, онъ угощаетъ свою публику хроникой петербургскихъ и московскихъ театровъ. Это, по его обыкновенію, перефразировка чужихъ театральныхъ

рецензій, разведенныхъ водою и украшенныхъ наборомъ словъ собственного остроумія и изобрѣтенія. Последнее отдѣленіе: «Театральные Анекдоты и Смѣсь» — самое лучшее. Вотъ вамъ два образчика:

— Экой ты хамелеонъ, сказалъ одинъ актеръ другому, укоряя его за переиначивость въ мнѣніяхъ и характерѣ.

— А ты хмѣленъ, отвѣчалъ ему другой.

— Скажите, пожалуйста, что это значить «александрійскіе стихи»? спросилъ одинъ молодой человѣкъ въ театрѣ у своего сосѣда.

— Вѣроятно то, отвѣчалъ сосѣдъ, что эти стихи писаны для Александринскаго театра.

Славные анекдоты! чудесный «Репертуаръ»!... Но извините, что мы такъ долго занимали васъ и «Репертуаромъ», и русскими журналами. Впередъ будемъ щадить ваше терпѣніе. Теперь къ слову пришлось, и мы не могли промолчать. Впрочемъ, если мы будемъ безмолствовать, кто же вступится за бѣдную русскую литературу, такъ безжалостно унижаемую въ лицѣ истинныхъ, великихъ ея представителей?...

БАСНИ ИВАНА КРЫЛОВА. *Въ восьми книгахъ. Сороковая тысяча. Спб. 1840.*

Баснѣ особенно посчастливилось на святой Руси. Отецъ русской литературы, самъ Ломоносовъ, низошелъ съ своего лирико-эпико-драматическаго котурна (прозаически называемаго теперь ходулями), чтобы написать басенку—«Волкъ въ пастушьей одеждѣ». Плодовитая и досужая бездарность Сумарокова наводнила современную ему литературу уродливыми «притчами». Наконецъ явился талантливый Хемницеръ и написалъ своего превосходнаго «Метафизика», который и донинѣ и всегда будетъ превосходенъ, какъ ловко написанная эпиграмма; но мы не знаемъ, можно ли одною эпиграммою, хотя

бы и отличною, составить себѣ безсмертіе. Кромѣ «Метафизика», Хемницеръ написалъ еще басни двѣ или три, отличающіяся хорошимъ, по тогдашнему, языкомъ и какою-то наивною игривостію ума; потомъ сочинилъ еще басни двѣ или три, примѣчательныя тѣми же достоинствами, но уже съ грѣхомъ пополамъ; потомъ еще десятка два или три басень, въ которыхъ, кромѣ дурнаго языка и отсутствія таланта, ничего не имѣется. Недавно Хемницеръ какъ-то попалъ въ моду; его стали издавать въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Разумѣется, порядочныхъ изданій было по одному въ обѣихъ столицахъ, и потомъ вышло еще нѣсколько площадныхъ, на оберточной бумагѣ, съ лубочными картинками, изъ типографій гг. Кузнецова и Кирилова. Не помнимъ, къ которому изъ нихъ, впрочемъ, кажется, къ обоимъ, старые и почтенные литераторы приписали по предисловію, гдѣ изложили кстати біографію Хемницера и вообще разсуждали о немъ съ приличною важностію, словно о какомъ-нибудь Гомерѣ, или Шекспирѣ. То же самое учинилъ другой кто-то въ одномъ отставшемъ и мнѣніями и книжками журналѣ, помѣстивъ цѣлую статью о Хемницерѣ, которую, для пущей важности, назвалъ «критикою». Что дѣлать?—у всякаго свой герой: Гомеръ пѣлъ героя Ахиллеса, а Виргилій ханжу Энея. Но какъ бы то ни было, а Хемницеръ все-таки удержится въ исторіи нашей литературы, и дѣти никогда не перестанутъ смѣяться отъ его «Метафизика». Ужъ за одно то большая ему честь, что съ него началась русская басня. Басня Дмитріева—искусственные цвѣты въ нашей литературѣ. Эти растенія явно пересажены съ родной дички на чужую и взрощены въ теплицѣ. Въ нихъ блистаетъ салонный умъ XVIII вѣка; въ нихъ языкъ нашъ сдѣлалъ значительный шагъ впередъ. Конечно, мы уже не можемъ восхищаться баснями Дмитріева, и даже никогда не чувствуемъ охоты перечестъ ихъ; но съ ними связаны самыя сладостныя воспоминанія о золотой

порѣ нашего дѣтства, и наши дѣти, пока будутъ дѣтьми, не перестанутъ ими восхищаться. Нѣкоторые забавники и теперь еще сказки Дмитріева ставятъ выше «Онѣгина» Пушкина, и мы увѣрены, что многіе старики отъ души соглашаются съ этими забавниками. *Suum cuique!*... Однакожъ басня все-таки многимъ обязана Дмитріеву.—Потомъ, писали басни В. Л. Пушкинъ; В. Измайловъ, и нѣкоторыя изъ ихъ басень не уступаютъ въ достоинствѣ баснямъ Дмитріева. Но выше ихъ обоихъ Александръ Измайловъ, который заслуживаетъ особенное вниманіе по своей оригинальности; тогда какъ первые подражали Хемницеру и Дмитріеву, онъ создалъ себѣ особый родъ басень, герои которыхъ: отставные квартальные, пьяные мужики и бабы, ерофенчъ, сивуха, пиво, паюсная икра, лукъ, соленая севрюжина; мѣсто дѣйствія—изба, кабакъ и харчевня. Хотя многіе изъ его басень возмущаютъ эстетическое чувство своею тривиальностію, за то нѣкоторыя отличаются истиннымъ талантомъ и плѣняютъ какою-то мужиковатою оригинальнію. Таковы, напримѣръ: «Священникъ и крестьянинъ», «Пьянушкинъ, отставной квартальный», и пр. Но лучшее его произведеніе, доставившее ему особенную славу, есть «Павлушка мѣдный-лобъ». Графъ Хвостовъ и Маздорфъ написали множество басень и съ равнымъ успѣхомъ. Послѣдній печаталъ свои басни въ «Вѣстникѣ Европы», а особо не издалъ. Много можно бы начесть и еще баснописцевъ, но мы забыли ихъ имена, а справляться некогда, да и ненужно: и безъ того видно, что басня была нѣкогда любимымъ родомъ поэзіи и процвѣтала на Руси преимущественно передъ всѣми родами поэзіи.

Но истиннымъ своимъ торжествомъ на святой Руси басня обязана Крылову. Онъ одинъ у насъ истинный и великій баснописецъ: всѣ другіе, даже самые талантливые, относятся къ нему, какъ бельетристы къ художнику. Кстаті: можетъ-быть многіе спросятъ насъ, что мы понимаемъ подъ словомъ «бель-

летристика?» Здѣсь не мѣсто объяснить это, и мы поневолѣ должны отложить объясненія по сему предмету до другаго времени, а пока замѣтимъ только, что бельлетристика относится къ искусству, какъ статуйки для украшенія каминовъ, столовъ, этажерокъ и оконъ, бюстики Шиллера, Гёте, Пушкина, Вольтера, Жанъ-Жака Руссо, Франклина, Тальйони, Фанни Эльслеръ и проч., относятся къ Апполону Бельведерскому, Венерѣ Медичейской и другимъ памятникамъ древняго рѣзца,—и какъ эстампы относятся къ оригинальнымъ картинамъ великихъ мастеровъ.

Басня есть поэзія разсудка. Она не требуетъ глубокаго вдохновенія, которое производится внезапнымъ проникновеніемъ въ таинство абсолютной мысли; она требуетъ того одушевленія, которое такъ свойственно людямъ съ тихою и спокойною натурою, съ безвѣчнымъ и въ то же время наблюдательнымъ характеромъ, и которое бываетъ плодомъ природной веселости духа. Содержаніе басни составляетъ житейская, обиходная мудрость, уроки повседневной опытности въ сферѣ семейнаго и общественнаго быта. Иногда басня прямо высказываетъ свою цѣль, но не холоднымъ резонёрствомъ, не бездушными моральными сентенціями, а игривымъ оборотомъ, который обращается въ пословицу, поговорку. Басня не есть аллегорія и не должна быть ею, если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть маленькою повѣстью, драмою, съ лицами и характерами, поэтически очеркнутыми. Самыя олицетворенія въ баснѣ должны быть живыми, поэтическими образами. Такъ, у Крылова, всякое животное имѣетъ свой индивидуальный характеръ, — и проказница мартышка, участвуетъ ли она въ квартетѣ, ворочаетъ ли изъ трудолюбія чурбанъ, или примѣриваетъ очки, чтобы умѣть читать книги; и лисица, у него вездѣ хитрая, уклончивая, безсовѣстная и больше похожая на человека, чѣмъ на лисицу «съ пушкомъ на рыльцѣ»; и косолапый

мишка вездѣ—добродушно-честный, неповоротливо-сильный, левъ—грозно-могучій, величественно-страшный. Столкновение этихъ существъ у Крылова всегда образуетъ маленькую драму, гдѣ каждое лице существуетъ само по себѣ и само для себя, а всѣ вмѣстѣ образуютъ собою одно общее и цѣлое. Это еще съ большею характерностію, болѣе типически и художественно совершается въ тѣхъ басняхъ, гдѣ героями—толстый откупщикъ, который не знаетъ, куда ему дѣваться отъ скуки съ своими деньгами, и бѣдный, но довольный своею участію сапожникъ; поварь-резонёръ; недоученый философъ, отавшійся безъ огурцовъ отъ излишней учености; мужики-политики, и пр. Тутъ уже настоящая комедія! А между тѣмъ, во всемъ явное преобладаніе разсудка и практическаго ума, котораго поэзія въ томъ и состоитъ, чтобы разсыпаться лучами остроумія, сверкать фейерверочнымъ огнемъ шутки и насмѣшки. И, разумеется, во всемъ этомъ есть свои поэзія, какъ и во всякомъ и посредственномъ, образномъ передаваніи какой-бы то ни было истины, хотя бы и практической. Самыя поговорки и пословицы народныя, въ этомъ смыслѣ, суть поэзія, или, лучше сказать,—начало, первый исходный пунктъ поэзіи; а басня, въ отношеніи къ поговоркамъ и пословицамъ, есть высшій родъ, высшая поэзія, или поэзія народныхъ поговорокъ и пословицъ, дошедшая до крайняго своего развитія, дальше котораго она идти не можетъ.

Во времена псевдо-классицизма, басню почитали однимъ изъ важнѣйшихъ родовъ поэзіи, и Лафонтена ставили ничуть не ниже Гомера. Изъ басень брали въ риторикахъ и шитникахъ, образцы низкаго, средняго и высокаго слога, — брали, вѣроятно, потому что тогда вѣрили существованію низкаго, средняго и высокаго слога. Теперь другое время. Однакожъ, и теперь никто не сомнѣвается, что басня есть поэтическое произведеніе, а баснописецъ—поэтъ, который мѣстами даже

можетъ, такъ сказать, выходить изъ ограниченнаго характера басни и впадать въ высшую поэзію, смотря по предметамъ своихъ изображеній. Такъ, напримѣръ, сколько идиллической поэзіи въ описаніи пѣсни соловья, или въ описаніи бури, которыми такъ поэтически замыкается басня «Дубъ и Трость», и которое наши классики съ такою гордостью выставляли въ образецъ высокаго слога. Въ басняхъ Крылова можно найти еще и лучшіе примѣры поэтической силы и образности въ выраженіяхъ.

Но басни Крылова, кромѣ поэзіи, имѣютъ еще другое достоинство, которое, вмѣстѣ съ первымъ, заставляетъ забыть, что онѣ—басни, и дѣлаетъ его великимъ русскимъ поэтомъ: мы говоримъ о народности его басенъ. Онъ вполне исчерпалъ въ нихъ и вполне выразилъ ими цѣлую сторону русскаго національнаго духа: въ его басняхъ, какъ въ чистомъ, полированномъ зеркалѣ, отражается русскій практическій умъ, съ его кажущеюся неповоротливостію, но и съ острыми зубами, которые больно кусаются; съ его сметливостію, острою и добродушно-саркастическою насмѣшливостію; съ его природною вѣрностію взгляда на предметы, и способностію коротко, ясно и вмѣстѣ кудряво выражаться. Въ нихъ вся житейская мудрость, плодъ практической опытности, и своей собственннй, и завѣщанной отцами изъ рода въ родъ. И все это выражено въ такихъ оригинально-русскихъ, непередаваемыхъ ни на какой языкъ въ мірѣ образахъ и оборотахъ; все это представляетъ собою такое неисчерпаемое богатство ідиомовъ, руссизмовъ, составляющихъ народную фizioномію языка, его оригинальныя средства и самобытное, самородное богатство,—что самъ Пушкинъ не полонъ безъ Крылова, въ этомъ отношеніи. О естественности, простотѣ и разговорной легкости, его языка нечего и говорить. Языкъ басенъ Крылова есть прототипъ языка «Горя отъ Ума» Грибоѣдова, — и можно думать, что

еслибы Крыловъ явился въ наше время, онъ былъ бы творцомъ русской комедіи и, по количеству не меньше, а по качеству больше Скриба обогатилъ бы литературу превосходными произведеніями въ родѣ легкой комедіи. Хотя онъ и бралъ содержаніе нѣкоторыхъ своихъ басенъ изъ Лафонтена, но переводчикомъ его назвать нельзя: его исключительно русская натура все перерабатывала въ русскія формы и все проводила черезъ русскій духъ. Честь, слава и гордость нашей литературы, онъ имѣетъ правъ сказать: «Я знаю Русь и Русь меня знаетъ», хотя никогда не говорилъ и не говорить этого. Въ его духъ выразилась сторона духа цѣлаго народа; въ его жизни выразилась сторона жизни миллионовъ. И вотъ почему еще при жизни его выходитъ сороковая тысяча экземпляровъ его басенъ, и вотъ за что, со временемъ, каждое изъ многочисленныхъ изданій его басенъ будетъ состоять изъ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Вотъ и причина, почему всѣ другіе баснописцы, въ началѣ пользовавшіеся не меньшею извѣстностью, теперь забыты, а нѣкоторые даже пережили свою славу. Слава же Крылова все будетъ расти и пышнѣе разцвѣтаетъ до тѣхъ поръ, пока не умолкнетъ звучный и богатый языкъ въ устахъ великаго и могучаго народа русскаго. Нѣтъ нужды говорить о великой важности басенъ Крылова для воспитанія дѣтей: дѣти безсознательно и непосредственно напиваются изъ нихъ русскимъ духомъ, овладѣваютъ русскимъ языкомъ, и обогащаются прекрасными впечатлѣніями почти единственно доступной для нихъ поэзіи. Но Крыловъ поэтъ не для однихъ дѣтей: съ книгою его басенъ невольно забудется и взрослый и снова перечтетъ ужъ читанное имъ тысячу разъ.

Теперь объ изданіи сороковой тысячи. Оно опрятно и украшено портретомъ автора, виньеткою, прекрасно сдѣланными, и двадцатью-четырьмя превосходными полиטיפажамъ. Можетъ-быть, многимъ странно покажется, что изъ трехъ-сотъ-семи

басень только къ двадцати-четыремъ приложены политипажи. Эти картинки, взяты съ великолѣпнаго парижскаго изданія: оттого и лица на нихъ и костюмы явно иностраннныя, а на нѣкоторыхъ замѣтите вы французскія надписи, которыя издатель не догадался стереть. Разумѣется, что политипажи приложены только къ тѣмъ баснямъ, которыхъ содержаніе или взято изъ басенъ Лафонтена, или сходно съ ними; но какъ-то дико видѣть при русскихъ, при Крыловскихъ басняхъ эти нѣмецкія лица и костюмы. А политипажи при басняхъ Лафонтена — превосходны; не говоря уже о чудесной работѣ, какая прекрасная мысль — одѣть животныхъ въ платья и сдѣлать въ нихъ что-то среднее между мордою животнаго и лицомъ человѣческимъ. Вотъ хоть этотъ толстый господинъ въ сюртукѣ, съ бычьею фizioноміею и рогами, который такъ гордо смотритъ на низенькаго франта во фракѣ съ лягушечьею мордою, брюхомъ и тоненькими ножками; франтъ, закинувъ голову, надувается, чтобы сравняться въ ростѣ и дородности съ толстымъ господиномъ-быкомъ! Въ изобрѣтеніяхъ такого рода французскій геній торжествуетъ: никто лучше Француза не сочинитъ каррикатуры, виньетки, гротеска какого-нибудь; никто лучше Француза не придастъ этой бездѣлкѣ столько ума, граціи, жизни. У насъ есть и свои художники съ дарованьемъ — и при этомъ мы невольно вспомнили объ очеркахъ г. Сапожникова къ извѣстному изданію басенъ Крылова in-quarto: сколько въ этихъ очеркахъ таланта, оригинальности, жизни! какой русскій колоритъ въ каждой чертѣ! И что же? — Нашимъ художникамъ пока еще нечего дѣлать: во первыхъ, у насъ нѣтъ хорошихъ гравировщиковъ, и мы по необходимости посылаемъ въ Лондонъ собственные рисунки, а во вторыхъ, наша публика мало читаетъ русскія книги и еще меньше покупаетъ ихъ. Къ этому присоединяется излишняя довѣрчивость ко всему иностранному, излишняя недоувѣрчивость по-

всему русскому,—и, надо сказать, то и другое не всегда бывает безъ основанія. У насъ вообще никто еще не приучился хорошо дѣлать и при средствахъ. Напримѣръ, какія огромныя средства даны были для изданія Пушкина, и что же? Пушкинъ дурно напечатанъ, на оберточной бумагѣ, съ страшными опечатками, съ выпускомъ важныхъ піесъ (напримѣръ, «Демона», «Къ Мореею»), съ ложнымъ размѣщеніемъ по родамъ; пущенъ по неимовѣрно-высокой и нисколько несоотвѣтственной съ безобразіемъ изданія цѣнѣ, и притомъ безъ цѣлой трети сочиненій Пушкина, за которыя надо платить новыя деньги, и которыхъ Богъ знаетъ, когда дождется наша публика! Вотъ и еще новыи и притомъ самыи свѣжіи примѣры сказаннаго нами — сороковая тысяча басень Крылова: бумага хороша, печать тоже; портретъ автора, виньетка, полтипажи, хоть и чужіе, — но цѣна умѣренная (5 р. асс.): видно, что у издателя были средства и онъ не щадилъ ихъ; но что за безвкусіе! — поля узенькія, шрифтъ черезчуръ крупень — и что за аккуратность! — просмотрите басню «Скупой», и вы прочтете въ концѣ 256 страницы слѣдующіе четыре стиха.

Такъ на прощанъ, въ знакъ пріязни,
Мои сокровища принять не откажись!
Такъ на прощанъ, въ знакъ пріязни,
Мои сокровища принять не откажись!

Два стиха повторены! Боже мой! кому поручаютъ издатели смотрѣніе за своими изданіями!...

НОВЫЕ ДОСТУПЫ ОВДОРА СЛѢЗПУШКИНА. Спб. 1840.

Поэзія есть даръ природы; чтобъ быть поэтомъ, надо родиться поэтомъ; но научиться или выучиться быть поэтомъ — невозможно. Это старая истина, которая давно уже вѣдомъ.

извѣстна; но, кажется, еще не всѣмъ извѣстно, что писать рифмованною и разиѣренною по правиламъ стихосложенія прозою и быть повтомя — совсѣмъ не одно и то же. Странное дѣло! Вѣдь и эта истина старая, которую очень бойко высказуютъ вамъ даже тѣ самые люди, которые на дѣлѣ грѣшатъ противъ нея. Но вотъ здѣсь-то и видно различіе между отвлеченною мыслию и истиннымъ знаніемъ: первая есть, какъ сказалъ Шекспировъ Гамлетъ, «слова, слова, слова»; а второе — мысль, осуществляющаяся въ дѣлѣ. Многіе говорятъ о поэзіи словно по книгѣ — такъ и видно, что твердо заучили наизусть не одну пѣтику; а спросите, какихъ поэтовъ и какія именно сочиненія они любятъ, или не любятъ, — и вы увидите, что такое «слова, слова, слова»! Такъ напримѣръ, у насъ были люди, которые громко-прегромко разсуждали объ искусствѣ по «вышнимъ взглядамъ»; судя по ихъ смѣлости и по звучности ихъ фразъ, вы могли подумать, что они и въ самомъ дѣлѣ знаютъ искусство какъ свои пять пальцевъ. Къ довершенію очарованія, вы узнаете, что они и сами поэты, т. е. пишутъ повѣсти, романы, драмы; читаете ихъ, — и видите, что всѣ ихъ высшіе взгляды на искусство — «слова, слова, слова», потому что только грубое неразуміе, а вслѣдствіе его, и грубое неуваженіе къ искусству и жалкая посредственность могли породить такихъ чудищъ...

Что поэзія есть не плодъ науки, а счастливый даръ природы, — этому лучшимъ доказательствомъ Кольцовъ, и по-сю-пору прѣсолъ, и по-сю-пору незнающій русской ореографіи. Чтѣ дѣлать? русской, какъ и всякой ореографіи можно выучиться и не выучиться, смотря по обстоятельствамъ и условіямъ внѣшней жизни человѣка, такъ же, какъ и быть или не быть прѣсоломъ; но нельзя не имѣть глубокаго духа, непосредственно обнимающаго все, чтѣ отъ духа, пламеннаго сердца, на все родственно отзывающагося, и роскошной фантазіи,

превращающей въ живые поэтическіе образы всякую живую, поэтическую мысль, — нельзя ихъ не имѣть, если природа дала ихъ вамъ, точно такъ же, какъ нельзя ихъ пріобрѣсть ни трудомъ, ни ученіемъ, ни деньгами, если природа отказала вамъ въ нихъ. И посмотрите, какою глубокою художественною жизнію вѣетъ отъ дѣйственныхъ простодушныхъ вдохновеній поэта прѣсола! Задумывается ли онъ надъ явленіями природы и, тщетно ища въ себѣ отвѣта на внутренніе вопросы, восклицаетъ:

О гори, лампада,
Ярче прѣдъ Распятіемъ!
Тяжелы мнѣ думы—
Сладостна молитва!

или, въ пламенной молитвѣ, у неба просить разрѣшенія замогильной тайны бытія, — или, когда уединенная могила среди безбрежной стени вызываетъ его поэтическія мечты, — вездѣ какая полнота чувства, какое ошутительное присутствіе мысли, какіе поэтическіе образы, какая энергія и мощь и, вмѣстѣ, простота въ выраженіи, и совсѣмъ тѣмъ, какая народность — этотъ отпечатокъ ума глубокаго и сильнаго, но неразвитаго образованіемъ и заключеннаго въ магическомъ кругѣ своей непосредственности и дѣйственной простотѣ! И какіе вопросы тревожатъ этотъ заключенный въ самомъ себѣ духъ!... Боже мой! да много ли на свѣтѣ профессоровъ и докторовъ исторіи, правъ, которые бы хоть подозрѣвали и возможность подобныхъ вопросовъ!... А когда онъ передаетъ вамъ поэзію простаго быта, жизнь вашихъ меньшихъ братій, съ ихъ страстями и мечтами, горемъ и радостью, какъ глубоко онъ истиненъ въ каждомъ чувствѣ, въ каждой картинѣ, въ каждой чертѣ! Какая простота, сжатость, молніеносная сила въ его изображеніяхъ! Какое русское разгулье, какая могучая удалъ, какъ все широко и необъятно! Какіе чисто-

русскіе образы, какая чисто-русская рѣчь! Вотъ крестьянинъ,
который, отъ измѣны своей суженой,

Пошелъ къ людямъ за помощью —
Люди съ сѣхомъ отвернулись;
На могилу къ отцу, къ матери —
Не встанутъ они на голосъ мой!

Души сильныя сильно и страдаютъ: а можно ли вѣрить этого
выразить страданіе души сильной —

Пала грусть-тоска глубокая
На кручинную головушку,
Мучить душу мука страшная,
Вонъ изъ тѣла душа просится?

Но души сильныя могучи и въ самомъ отчаяніи, и какъ-бы въ
немъ же самомъ находятъ и выходъ свой изъ него:

Въ ночь подъ бурей я коня сѣдлалъ,
Безъ дороги въ путь отправился —
Горе мыкать, жизнью тѣшится,
Съ зломъ долей перевѣдаться!

Перечтите его «Деревенскую Бѣду», «Лѣсъ» — и подивитесь
этой богатырской силѣ могучаго духа! И какое разнообразіе
даже въ самомъ однообразіи его поэзіи! Вотъ нѣжная, груст-
ная жалоба дѣвушки, насильно отданной за немилаго —

Поздно, рѣдныя,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Слупить радости!
Пусть изъ-за моря
Корабли плывутъ,
Пушай золото
На полъ сыплется:
Не расти травѣ
Послѣ осени,
Не цвѣсти цвѣтамъ
Зимой по снѣгу!

Крестьянину отецъ его милой отказалъ въ ея рукѣ, и онъ дивится своей безталанности —

У меня ль плечо
Шире дѣдова,
Грудь высокая
Моей матушки;
На лицѣ моемъ
Кровь отцовская
Въ молоко зажгла
Зорю красную;
Кудри черныя
Лежать скобкою;
Что работаю —
Все мнѣ спорится...
Да въ несчастный день,
Въ безталанный часъ,
Безъ сорочки я
Родился на свѣтъ?...

Онъ говоритъ, что его манитъ не богатство ея отца:

Пускай домъ его —
Чаша полная:
Я ея хочу,
Я по ней грущу.
Лицо бѣлое,
Заря алая,
Щеки полныя,
Глаза темные —
Свели молодца
Съ ума-разума!

Онъ хочетъ отточить косу и идти въ дальнюю сторону, чтобы заработать деньгу:

Ты прости, село,
Прости, староста:
Въ края дальніе
Пойдетъ молодецъ,
Что внизъ по Дону
По набережью.

Хороши стоять
 Тамъ слободушки,
 Степь широкая
 Далеко-вокругъ,
 Широко лежить
 И ковыль-травой
 Разстилается.
 Ахъ ты, степь моя,
 Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ морю Черному
Понадеинулась!

Какая безконечность, смѣлость, широкость, какое русское разгулье и какая поэтическая красота въ этихъ образахъ! Вотъ она, простодушная, дѣвственная и могучая народная поэзія. Вотъ она, задушевная пѣснь великаго таланта, замкнутаго въ естественной непосредственности, невышедшаго изъ себя развѣтѣемъ, неподозрѣвающаго своей богатырской мощи! Найдите хоть одно ложное чувство, хоть одно выраженіе, котораго бы не могъ сказать крестьянинъ!...

Совѣтъ не то представляютъ собою стихотворенія г. Слѣпушкина. Онъ ужъ теперь держится своей сѣеры, описываетъ намъ крестьянъ; но эти крестьяне какъ-то похожи на пастушковъ и пастушекъ гг. Флоріана и Панаева, или на тѣхъ крестьянъ и крестьянокъ, которые пляшутъ въ дивертисманахъ на сценѣ театра. Г. Слѣпушкинъ явился въ то время, когда умѣнье подбирать рифмы считалось талантомъ и доставляло извѣстность даже и образованнымъ людямъ: тѣмъ большій интересъ возбудилъ крестьянинъ-самоучка. Но и тогда нашлись люди, которые не видѣли въ его стихахъ существеннаго — поэзіи; а теперь... Въ стихахъ г. Слѣпушкина видѣнъ умный, благородно-мыслящій и образованный не по-крестьянски человекъ, котораго нельзя не уважать, — но не поэтъ.

Ничего и похожего на поэзію нѣтъ въ его стихахъ: ни одного поэтическаго образа, хотя жѣра стиховъ вездѣ соблюдена вѣрно, а рифмы подобраны правильно. Очевидно, что его поэзія — не даръ природы, а плодъ образованности выше его состоянія. Если барство еще не даетъ права на талантъ, то и крестьянство не даетъ его. Понять правила стихосложенія, читать поэтовъ, любить поэзію и даже быть человѣкомъ съ поэтической душою, съ чувствомъ, съ умомъ — все это еще не значитъ быть самому поэтомъ. Вотъ, кажется, гдѣ ошибка г. Слѣпушкина. Такъ ошибались въ своемъ призваніи многіе, даже имѣвшіе еще большее право подозрѣвать въ себѣ талантъ...

Мы выписывали изъ Кольцова, — выпишемъ и изъ г. Слѣпушкина; пусть сравнятъ и посудятъ. Вотъ начало первой піесы:

День свѣтлый, солнце золотое
Въ лучахъ плыветъ по высотѣ;
Яснѣетъ небо голубое!
Шумитъ садъ Лѣтній въ красотѣ,
Петромъ Великимъ насаженный!
Тамъ липы вѣковыя, клены
Лелѣтъ вѣтеръ полуднево;
Надъ царственной рѣкой Невой
Петровскій шпиль горитъ звѣздой,
Высоко голубокъ летаетъ,
А на гранитномъ берегу
Любовь семейная гуляетъ.

Какое вялое, холодное и водяное описаніе! Не есть ли это довольно плохая проза съ полубогатыми рифмами? Но вотъ вамъ поэзія деревенскаго быта, вотъ завѣщаніе умирающаго крестьянина внуку:

Случилось подъ вечеръ зимой,
Федотъ почувалъ знать разлуку,
Съ тяжелымъ вздохомъ и слезой
Онъ говорилъ заботно внуку:

«Ты выросъ на моихъ рукахъ,
Взмелъся, какъ цѣтокъ садовый,
 Со мной на нивахъ и лугахъ
Гулялъ (?) весной,—и медь сотовый
Тебя какъ гостя услаждалъ!» и т. д.

Не подумайте, что мы выбирали худшее; право, въ стихотвореніяхъ г. Слѣпушкина нѣтъ ни лучшаго, ни худшаго — все равно: грамматическій смыслъ вездѣ соблюденъ, мѣра стиха правильна, рифма хоть не звучна, но всегда имѣется; поэзіи нигдѣ нѣтъ.

ПОВѢСТИ И ПРЕДАНІЯ НАРОДОВЪ СЛАВЯНСКАГО ПЛЕМЕНИ. (.)
 изданныя И. Боричевскимъ. Спб. 1840.

Отъ прозаической поэзіи г. Слѣпушкина перейдемъ къ поэтической прозѣ, изданной г. Боричевскимъ. Г. Боричевскому пришла благая мысль — передать на русскій языкъ поэтическія преданія и народные рассказы сербскіе, мазовецкіе, галицкіе, польскіе, украинскіе, чешскіе, подольскіе и прочихъ со-племенныхъ намъ народовъ. Первая книжка очень любопытна. Нѣкоторыя изъ піесъ имѣютъ высокій поэтический интересъ, какъ напримѣръ, «Краль Сербскій Троянъ»; другія любопытны, какъ вѣрная характеристика духа того или другаго племени, какъ напримѣръ, «Договоръ съ Бѣсомъ». — Переводъ очень хорошъ. Къ книжкѣ приложены примѣчанія, свидѣтельствующія объ учености и начитанности переводчика. Въ предисловіи переводчикъ жалуется на невниманіе нашихъ литераторовъ къ произведеніямъ народной поэзіи славянскихъ племенъ и на предпочтеніе, оказываемое ими иностраннымъ литературамъ: упрекъ неосновательный! Намъ должно сперва заняться своею народною поэзіею и спасти отъ забвенія ея раз-

сѣянныя сокровища, а потомъ уже обратить вниманіе и на народную поэзію родственныхъ намъ племенъ. Но кто имѣтъ охоту и средства дѣлать это теперь же—доброе дѣло! Только иностранныя литературы должны остаться и всегда останутся предметомъ предпочтительнаго вниманія, потому что обще-міровое всегда будетъ выше частнаго, а художественная поэзія выше естественной или такъ называемой народной. Высокое эстетическое наслажденіе доставляютъ поэтическіе рассказы, собранные Киршею Даниловымъ—объ этомъ нѣтъ спора; но что это наслажденіе передъ тѣмъ, которое доставляютъ созданія Пушкина? — Неужели безсвязный лепетъ младенца и разумная рѣчь мужа—одно и то же? Неужели однообразные народные эпосы, монотонныя пѣсни—все то же, что «Иліада» Гомера, драмы Шекспира, или созданія Гёте? — Всему свое мѣсто, и все хорошо на своемъ мѣстѣ. Очевидно, что г. Боричевскій увлекся мыслию г. Максимовича, которую и взялъ эпиграфомъ: «Наступило, кажется, то время, когда познаютъ истинную цѣну народности». Эта мысль справедлива, но заднимъ числомъ: теперь не познаютъ, а давно ужъ познали и опредѣлили цѣну народной поэзіи. Прошло то время, когда, расставаясь съ мертвымъ псевдо-классицизмомъ, бросились въ другую крайность и думали, что народная пѣсня выше художественнаго произведенія какого угодно поэта. Кажется, излишнее пристрастіе къ народнымъ произведеніямъ славянской фантазіи заставило г. Боричевского отыскивать сходство въ народныхъ славянскихъ повѣрьяхъ и преданіяхъ съ скандинавскими; но приведенные имъ примѣры только доказываютъ ихъ несходство. Если хотите, тутъ есть что-то похожее на сходство; но все близкое къ своему источнику болѣе или менѣе сходно, и потому славянскія преданія и повѣрья сходны не только съ скандинавскими, но и съ индійскими, и съ египетскими, и съ какими угодно. Всѣ дѣти сходны между собою,

но въ общемъ, въ духѣ, а не въ формахъ, которыми духъ выражается. Вотъ этого сходства въ формѣ нѣтъ и тѣни между славянскими и скандинавскими преданіями и повѣрьюми, что всего лучше доказываютъ приведенные г. Боричевскимъ примѣры.

Желаемъ отъ всей души, чтобы г. Боричевскій продолжалъ свое благородное предпріятіе. Кромѣ несомнѣнной пользы для науки, оно доставитъ еще публикѣ и эстетическое наслажденіе. Мы увѣрены, что изданный имъ теперь первый опытъ будетъ имѣть большой успѣхъ.

ПАНТЕОНЪ РУССКАГО И ВСѢХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ТЕАТРОВЪ. № 3. Спб. 1840.

Третья книжка «Пантеона» начинается «Бурею» Шекспира, о которой нельзя сказать, что это одно изъ лучшихъ произведеній великаго Британца, потому что рѣшительно всѣ произведенія его — лучше: каждое лучше другаго, и ни одно не хуже другаго. «Буря» и «Сонъ въ Лѣтнюю Ночь» представляютъ собою совершенно другой міръ творчества Шекспира, нежели его прочія драматическія произведенія — міръ фантастическій. Словно какія тѣни, въ прозрачномъ сумракѣ ночи, изъ-за розоваго занавѣса зари, на разноцвѣтныхъ облакахъ, сотканныхъ изъ ароматовъ цвѣтовъ, носятя передъ вами лица «Бури», начиная отъ безобразнаго чудовища Калибана до свѣтлаго духа Аріеля, — отъ суроваго волшебника Проспера до плѣнительной Миранды. Словомъ, «Буря» Шекспира — очаровательная опера, въ которой только нѣтъ музыки, но фантастическая форма которой производитъ на васъ самое музыкальное впечатлѣніе. Однако фантастическое Шекспира совсѣмъ не то, что фантастическое

нѣмецкое, фантастическое Гофмана: при всей своей волшебной обаятельности, оно не улетучивается въ какую-то форму безъ содержанія, или въ какое-то содержаніе безъ формы, а является въ рѣзко-очерченныхъ, въ строго-опредѣленныхъ формахъ и образахъ. Такое тѣсное и живое сліяніе (конкретія) подобныхъ противоположностей, каковы — фантастическая неопредѣленность содержанія и художественная опредѣленность формы, возможно только для великихъ художниковъ, для тѣхъ единственно и исключительно истинныхъ жрецовъ искусства, которые, по всей глубоко-художественной натурѣ, никогда не выходятъ изъ сферы творчества и не допускаютъ въ нее чуждаго ей элемента — отвлеченнаго мышленія (рефлексіи). Недавно, въ одномъ русскомъ журналѣ, было замѣчено, что Пушкинъ не идеаленъ, что его поэзія чужда неопредѣленной выпренности и крѣпко держится земли и опредѣленныхъ образовъ, и что, вслѣдствіе этого, Пушкинъ — поэтъ не міровой, не великій, хотя и съ примѣчательнымъ талантомъ. По такому опредѣленію можно и съ Шекспира снять титулъ великаго и міроваго поэта: какъ и Пушкинъ, онъ крѣпко держится земли и, въ отношеніи къ мечтательности и идеальной выпренности, составляетъ совершенную противоположность съ Шиллеромъ, и еще больше съ Жанъ-Полемъ Рихтеромъ. Но потому-то онъ и неизмѣримо выше обоихъ ихъ, такъ выше, что сравнивать его съ ними невозможно, какъ невозможно Шиллера и Жанъ-Поля Рихтера сравнивать съ какимъ-нибудь талантливымъ русскимъ поэтомъ, который въ туманныхъ элегіяхъ высказывалъ свои туманныя чувства. Шекспиръ поэтъ дѣйствительности, а не идеальности. Пушкинъ тоже. Въ сущности, Шекспиръ — болѣе идеальный поэтъ, нежели Шиллеръ; но Шекспиръ, возносясь въ превыспреннюю сферу вѣчныхъ идеаловъ, низводилъ ихъ на землю, и общее обособлялъ въ индивидуальныя, опредѣленныя и замкнутыя въ самихъ

себѣ явленія. Правда, Шекспиръ крѣпко держался земли, но вѣроятно, потому что сама земля или такъ называемый міръ земной есть вѣчная идея, изъ надзвѣздныхъ областей идеальной возможности ставшая особымъ, въ самомъ себѣ замкнутымъ явленіемъ. Идея земнаго міра не написана на немъ, въ родѣ апофеямы, или какой-нибудь нравственной сентенціи, но онъ весь проникнутъ насквозь своею идеею, какъ кристаллъ лучемъ солнечнымъ, и составляетъ съ нею единое и нераздѣльное; почему и трудно усмотрѣть его идею, особенно тѣмъ, у кого нѣтъ внутреннихъ очей, внутренняго ясновидѣнія. Поэтому же самому нѣтъ ничего труднѣе, какъ отличить идею отъ формы въ художественномъ произведеніи: то и другое слито во-едино, и небесное является земнымъ, безконечное — конечнымъ, невыговариваемое — опредѣленнымъ. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о превосходствѣ (котораго мы и не думаемъ отрицать, или оспаривать) Шекспира передъ Пушкинымъ, можно смѣло сказать, что только слѣпые могутъ не видѣть, что оба эти великія явленія творческой силы принадлежатъ къ одному разряду, суть явленія родственныя. Но потому-то и недоступны они для большинства. Идея, не органически связанная съ формою, идея, которая не сквозитъ черезъ форму, какъ лучъ солнечный черезъ граненый хрусталь, а видѣтся черезъ трещины и щели формы, — такая идея доступнѣе для большинства, такъ же точно, какъ «идеальные» поэты доступнѣе для него, чѣмъ дѣйствительные художники.

Предѣлы журнальной рецензіи не позволяютъ намъ критически разсматривать «Бурю» Шекспира, и потому мы по необходимости должны ограничиться легкими замѣчаніями. Оригинальность и вѣрность характеровъ, ихъ рѣзкая очерченность и опредѣленность, художественная соотвѣтственность содержания съ формою, полнота, оконченность, — все это неотъемлемыя качества каждаго произведенія Шекспира, качества,

о которых или должно говорить все, или ничего не говорить. Къ особенностямъ «Бури» принадлежит этотъ полусумрачный таинственный колоритъ, который происходитъ отъ элемента фантастическаго. Прочтете, — и словно проснетесь отъ какого-то тревожнаго, но волшебна-сладкаго сна. И какъ дивно-обаятельно, какъ безконечно-прекрасно фантастическое Шекспира! Послушайте пѣсню духа Аріеля: какая рѣшительная фантазія! Она раскрываетъ таинственныя убѣжища замкнутыхъ въ явленія духовъ жизни, даетъ имъ причудливо-обольстительныя образы и населяетъ ими и небо, и землю, и воды и лѣса... Вотъ истинный міръ фантастическаго!... Но въ «Бурѣ» много и другихъ элементовъ: тутъ и высокая драма, и смѣшная комедія, и волшебная сказка. И все это такъ слито, такъ проникнуто одно другимъ, и составляетъ такое чудное цѣлое!... «Буря» — прекрасный сюжетъ для опернаго либретто, если бы искусная рука взялась за него. А характеры?... Одна Миранда представляетъ собою цѣлый міръ поэтической красоты. Дѣвушка, съ младенчества невидѣвшая никого, кромѣ своего отца, да чудовища Калибана, неимѣющая никакого представленія о мужинѣ, встрѣчается съ прекраснымъ молодымъ человекомъ, — и только кисть Шекспира могла нарисовать такую дивно-вѣрную картину развивающагося чувства любви въ дѣвственномъ сердцѣ юнаго, прекраснаго, младенчески-простодушнаго существа!...

Желаемъ, чтобъ кто-нибудь изъ людей съ талантомъ перевелъ «Бурю» не прозою, а стихами. «Буря» больше, чѣмъ какая-нибудь другая пѣса Шекспира, теряетъ въ прозаическомъ переводѣ. Впрочемъ, «Пантеонъ» все-таки оказалъ русской публикѣ неоцѣнимую услугу напечатаніемъ этого перевода, который, конечно, не безъ недостатковъ, но вообще очень хорошъ...

**ЖИЗНЬ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА, англійскаго поэта и актора; съ мыслями и сужденіями объ этомъ великомъ чело-
вѣкѣ русскихъ и иностранныхъ писателей: Н. А. Полева-
го, П. А. Плетнева, Л. А. Якубовича, Гёте, Шлегеля, Гизо,
Вильмена, съ портретомъ Шекспира. Съ эпитафией:
«Шекспиръ огроменъ, какъ міръ; разнообразенъ, какъ
природа»!... Москва. 1840.**

**РЕПЕРТУАРЪ РУССКАГО ТЕАТРА, издае. Н. Песочнымъ. Пя-
тая книжка. Спб. 1840.**

Слава Богу!... наконецъ-то!... Только что мы начали
было приходить въ отчаяніе, что юнѣшкія книги всѣ такъ серье-
зны, что намъ нечѣмъ и позабавить ревностныхъ почитателей
библіографическаго мусора, — какъ вдругъ — о радость! —
вдругъ являюся «Жизнь Вильяма Шекспира» съ приложе-
ніемъ мнѣній о семъ великомъ челоѣкѣ гг. Якубовича, Славина
и Гёте, и пятая книжка «Репертуара», съ приложеніемъ
къ оной мнѣнія г. Греча о драматической поэзіи. Милости
просимъ дорогіе гости!...

Нечего много распространяться о «Жизни Вильяма Шек-
спира»: заглавіе этой книжиды, выписанное нами съ совершен-
ною точностію, даетъ о ней самое вѣрное понятіе. Это явно
произведеніе молодого челоѣка съ растревоженными чувства-
ми. Мнѣнія Гёте, Шлегеля, Гизо и Вильмена о Шекспирѣ вы-
браны изъ русскихъ журналовъ и не представляютъ ни одной
яркой и свѣтлой мысли, даже ни одного положительнаго мнѣнія,
потому что перепутаны, искажены, безъ порядка изложены.
Изъ русскихъ писателей, особенно поразительны мнѣнія г. По-
леваго (котораго авторъ книжки называетъ на стр. II «род-
нымъ русскимъ поэтомъ, Н. А. Полевымъ», и потомъ на стр.
18 «красою Россіи, филологомъ и литераторомъ русскимъ,
Николаемъ Алексѣевичемъ Полевымъ»), мнѣнія эти почер-
пнуты изъ письма (къ кому-то) г. Полеваго о «Слѣ въ Лѣтнюю

Ночь»; письмо это было помещено въ «Телеграфѣ» и отличается тѣмъ, что, прочтя его, не составишь себѣ никакого понятія о Шекспирѣ, не согласишь ни одной мысли и никакъ не будешь въ состояніи пересказать другому, что и о чемъ читалъ. Что дѣлать! такова судьба всѣхъ мнѣній, особенно ни на чемъ неоснованныхъ. Послѣ мнѣній г. Полеваго особенно хороши мнѣнія другаго великаго поэта-философа, другой красоты и славы русской поэзіи, именно г. Якубовича. Всего лучше въ нихъ то, что хотя они высказаны и плохими стихами, но кратко, выразительно и убѣдительно. Но лучше обоихъ ихъ мнѣнія самого автора, подписавшагося подъ предисловіемъ А. Славина. Кто бы такой былъ этотъ таинственный г. Славинъ? Что за новое «инкогнито» появляется въ нашей литературѣ, и безъ того такъ богатой разными «инкогнитами», извѣстными и неизвѣстными? Нѣтъ, милостивые государи, г. Славинъ совсѣмъ не «инкогнито», хоть онъ и вовсе вамъ неизвѣстенъ. Онъ давно уже съ особеннымъ успѣхомъ подвизается на литературномъ поприщѣ. Прежде онъ былъ извѣстенъ подъ именемъ г. Протопопова, или, по «Библиотекѣ для Чтенія», подъ именемъ г. П-р-т-рр-пирр-ррр ва, — и тогда онъ издалъ «Незаконнорожденнаго», довольно плохой романъ, будто-бы переведенный имъ съ польскаго; потомъ перепечаталъ, съ нѣкоторыми измѣненіями, состоявшими въ искаженіи языка и смысла, «Сто Дней» — драматическій очеркъ жизни Наполеона, соч. Дюма, переводъ А. Шишкова, и приложилъ къ нему предисловіе, въ которомъ, со всею гениальною откровенностію, объявилъ публикѣ, что онъ, г. Протопоповъ, «знатный сочинитель», и что только одинъ онъ изобразилъ Наполеона какъ слѣдуетъ, т. е. по-Шекспировски. Журналы громко уличали г. Протопопова въ присвоеніи чужой собственности, но г. Протопоповъ отвѣчалъ имъ презрительнымъ молчаніемъ, и, вѣроятно, чтобы отвязаться отъ нихъ, назвалъ г.

Славинимъ — ния, какъ изволите видѣть, знаменующее славу — и на сценѣ Большаго московскаго театра началъ забавлять публику въ роляхъ Гамлета, Карла Моора и другихъ. Потомъ онъ издалъ «Историческіе, философическіе и литературные Афоризмы», между которыми изъ однихъ можно узнать, что Киръ былъ персидскій царь, что дважды-два четыре и тому подобныя истины, а изъ другихъ ровно ничего нельзя узнать — такъ глубоки и таинственны они... Наконецъ, г. Славинъ, *ci-devant* г. Протопоповъ, является съ «Жизнію Шекспира». Онъ посвящаетъ ее Мочалову; посвященіе его написано стихами и прозою; стихи особенно хороши—

Завидую тебѣ, поэтъ!
Родился ты — вѣка безсмертіе пропѣи хоромъ
Тебѣ!... И чтожъ? поэтъ
Съ людьми живетъ,
Упитанный хвалами ихъ — позоромъ!...

«Кому приличнѣе посвятить біографію Шекспира, какъ не тебѣ, мой превосходный Гамлетъ! — Ты, дивный лицедѣй!» восклицаетъ г-нъ Славинъ, и этимъ восклицаніемъ разомъ удружаетъ и великому драматургу и его достойному актеру. Г. Славинъ умѣетъ похвалить!... За тѣмъ слѣдуетъ предисловіе, столько же удивительное какъ и вся книжка, а за онымъ слѣдуетъ сама біографія Шекспира, съ указаніями на какого-то Шасля (должно быть Филарета Шаля) съ выписками стиховъ и прозы на всевозможныхъ языкахъ, съ высшими взглядами, и пр. Послушайте и подивитесь:

«Поэтъ въ душѣ, человѣкъ, въ которомъ отъ начала рожденія (*отъ начала рожденія* — какъ это фигурно!) закованъ былъ Везувій страстей (*въ человѣкѣ закованъ Везувій страстей* — какъ это живописно!); вѣков(о)й представитель прекраснаго и наслажденій (отлично хорошо!); проявленіе цѣлой высокой мысли, брошенной на землю на удивленіе вѣкамъ (еще лучше!); міръ всеобъемлемости (недостаетъ смысла — за то какая смѣлость, какая энергія въ выраженіи!) — Шекспиръ не могъ не любить, и пр. (стр. 3).

Вслѣдствіе всего рѣченнаго, чувство любви «увлекло Шекспира, утопило въ океанѣ пылкаго воображенія, сердце его утонуло въ объятіяхъ страстей и глубокихъ чувствъ», когда въ груди его «разгорѣлось предчувствіе», высшаго назначенія и пробудилось отвращеніе къ ремеслу, на которое онъ смотрѣлъ, «какъ на презрѣніе, какъ на степень уничтоженія его могущественнаго бытія»; тоска и негодованіе «на жизнь и дѣйствія бросили его въ болото, называемое предосудительностію», и прочая,—все въ такомъ же духѣ и такомъ же тонѣ. Это называется «Жизнію Вилльама Шекспира» съ приложеніемъ къ оной миѣнній русскихъ и иностранныхъ писателей...

«Если поэзія лирическая, какъ изъявленіе собственныхъ чувствъ поэта народнаго или вдохновеннаго своимъ предметомъ, заслуживаетъ вниманіе любителя словесности, слѣдующаго за развитіемъ народнаго генія въ поэтахъ, его представителяхъ, поэзія драматическая еще въ большей степени проявляетъ передъ нами свойства ума, степень образованія и особенный вкусъ народа вообще, служитъ зеркаломъ его жизни общей и частной»... Такимъ длиннымъ, темнымъ и безсвязнымъ періодомъ начинается въ 5-й книжкѣ «Репертуара» статья г. Греча «Очеркъ Поэзіи Драматической». Какъ и вся статья, этотъ періодъ очевидно есть загадка, и притомъ, очень трудная для разрѣшенія; однакожъ, подумавъ и поразбивъ его на предложенія, можно догадаться, что лирическіе поэты раздѣляются на два разряда: на народныхъ, и на вдохновенныхъ своимъ предметомъ; что жизнь народа бываетъ общая и частная, и что лирическая поэзія есть «изъявленіе», собственныхъ чувствъ поэта, а драматическая еще въ болѣе (передъ чѣмъ же?) степени проявляетъ передъ нами свойства ума, степень образованія и особенный вкусъ народа вообще. Итакъ, благодаря этому набору словъ, теперь различіе между поэтами народными и между поэтами вдохновенными

своимъ предметомъ, между поэзіею лирическою и между поэзіею драматическою, равно какъ и ихъ взаимныя другъ къ другу отношенія—ясны и неподвержены никакому сомнѣнію. «Лирическіе поэты» — съ такою же ясностію продолжаетъ глубокомысленный теоретикъ—«лирическіе поэты почти всѣ сходны между собою: и Грекъ и Римлянинъ, и Англичанинъ и Итальянецъ, всѣ люди (а не звѣри?), всѣ одинаковымъ образомъ выражаютъ свои мысли и чувствованія, различаясь только степенью и своего генія и образованія, и особенностями языка». Именно такъ! Римлянинъ Горацій, Римлянинъ Овидій и Нѣмецъ Шиллеръ — сходны между собою и поютъ одинаковымъ образомъ, точно такъ же, какъ Итальянецъ Петрарка и Англичанинъ Байронъ, какой-нибудь испанскій романсеръ и Французъ Беранже!... Что и говорить! правда, сущая правда! Вся разница въ языкѣ, въ буквахъ и развѣ еще въ почеркѣ лирическихъ поэтовъ разныхъ странъ.

Вся статья состоитъ изъ такихъ вѣрныхъ и глубокихъ идей. А примѣчательная статья. На какихъ-нибудь четырехъ листахъ съ половиною, или на девяти страничкахъ, изложена и исторія драматическаго искусства и его теорія у всѣхъ народовъ! То и другое равно интересно. О теоріи вы уже имѣете понятіе, а исторія начинается съ козла, отъ котораго будто-бы началась греческая трагедія. Право, это напечатано!

Театръ англійскій начался подражаніемъ французскимъ мистеріямъ, и долго *влячился въ младенчество* (влячился въ младенчествѣ — хорошо сказано, хоть бы г. Славину!). Вдругъ, посреди тумановъ ученія классическаго, возникъ въ Англіи геній самородный, оригинальный, единственный, Шекспиръ, въ душѣ котораго, какъ въ чистомъ зеркалѣ чистаго ручья, отразилось все небо поэзій. Въ музеѣ дерптскаго университета видѣлъ я достойную вниманія аллегорическую картину, о которой говоритъ Гёте въ своей автобіографіи. Представленъ храмъ поэзій драматической. Въ святилищѣ его возсѣдаютъ геніи древности и новѣйшихъ вѣковъ, важные, глубокомысленные, въ классической одеждѣ Грековъ и Римлянъ; другія занимаютъ мѣста въ преддверіи храма; третью вѣтъ его, на ступеняхъ. Одинъ человекъ, въ камзолѣ,

- а. брюкахъ и фуражѣ англійскаго матроса, закинувъ руки на спину, глядя вверхъ, входитъ въ самую средину святилища, какъ видно и самъ того не зная, куда зашелъ: это Шекспиръ. Ему обязана рожденіемъ новая драма, до невѣроятности употребляемая во зло бездарностью, шарлатанствомъ и мнимомъ геніальностію».

И все тутъ! Ну, теперь понимаете, что такое Шекспиръ? Если несовѣмъ, прочтите при этомъ «Жизнь Вильяма Шекспира» съ мнѣніями объ ней гг. Полеваго, Якубовича и Славина.

НАУКА ЛЮБВИ. *Сочиненіе, на полученіе званія доктора любви. Спб. 1840.*

Маленькая книжка эта очень напоминаетъ собою «Бѣду во Островъ Любви», Василя Кирилловича Тредіаковскаго, профессора элоквенции, а паче всего хитростей пиитическихкихъ. Сладенькій тонъ маркизовъ восемнадцатаго вѣка составляетъ ихъ обоюдное сходство, а хорошій языкъ и красивое изданіе «Науки Любви» — ея разницу отъ «Бѣды во Островъ Любви».

И между тѣмъ это единственная книга, вышедшая въ прошломъ мѣсяцѣ по части такъ называемой «изящной литературы»! Ни одного романа, ни одной повѣсти, ни одного собранія стихотвореній!... Чудное, право, дѣло! Благорастворенная атмосфера Петербурга, въ теченіи прошлаго мѣсяца, несмотря на клятвенныя увѣренія календаря, что у насъ теперь самая середина лѣта, ежедневно, если не ежечасно промывалась осенними дождями, и какъ ни силилась, не могла подняться выше 13 или 16 градусовъ по Реомюру, — а бельетристика остановилась, какъ видно, на 28 градусахъ и заснула лѣтнимъ сномъ жаркаго лѣта! Повѣривъ календарю, или слыша, что во Франціи люди не знаютъ куда дѣваться отъ жаровъ тридцатиградусныхъ, наши досужіе поэты и прозаики не обра-

щали никакого вниманія на глубокую іюльскую осень съ вѣтромъ, дождемъ, холодомъ, съ безсолнечнымъ небомъ, занавѣшеннымъ толстыми, сѣрыми тучами, и, завертываясь въ ваточные плащи, не покидая калошъ, увѣряли себя, что теперь самая *средина лѣта*, никто-де книгъ не читаетъ, всѣ-де лѣнятся отъ жара, живя по деревнямъ и дачамъ... Ошибка, милостивые государи, важная ошибка! На петербургскихъ дачахъ только и слышится чиханье, да кашлянье, да лихорадочный скрежетъ зубовъ, и вѣроятно, всѣ эти любители природы, имѣющіе неизглаголанное несчастіе жить на дачѣ въ нынѣшнее псевдо-лѣто, охотно взялись было за книгу, чтобъ, если и не насладиться ею, то хоть посмѣяться надъ ней... Ни одного романа, ни одной повѣсти! Ужасъ!... Нечего дѣлать, за неимѣніемъ романовъ и повѣстей, приступимъ прямо къ книгамъ серьезнымъ, изъ которыхъ есть нѣкоторыя весьма замѣчательныя. Вотъ, напримѣръ, —

ВВЕДЕНІЕ ВЪ ФИЛОСОФІЮ. Сочиненіе профессора С. П. Д. А. Карпова. Спб. 1840.

Наша литература, не вышедши еще изъ состоянія ребячества, успѣла уже подвергнуться всѣмъ недугамъ старчества; въ ней мало возникаетъ энергическихъ свѣтлыхъ стремленій, въ ней мало живой бодрости и отваги, за-то въ ней много болѣзненныхъ признаковъ: щедушность, мелочность, апатія, равнодушіе, безстыдное невѣжество, хвастающее собою, какой-то безсильный, чахоточный скептицизмъ. Это ребенокъ въ англійской болѣзни! Пѣвуны изъ всѣхъ силъ увѣряютъ себя и другихъ, что они люди разочарованные и отчаянные, что ихъ ничто не манитъ въ жизни; такъ называемые ученые смотрятъ на все, въ чемъ замѣтно присутствіе мысли, на все что дол-

жно возбуждать въ человѣкѣ святое сознаніе своего высшаго назначенія, — или съ коварною улыбкою Мефистофеля, или съ озабоченнымъ видомъ людей, которымъ некогда заниматься пустяками. Особенно на философію направляютъ они удары своего пошлаго скептицизма, хотя, какъ они сами признаются, не только никогда не удостоивали заняться ею, но даже не смыслятъ самыхъ обыкновенныхъ ея терминовъ, которыхъ знаніе въ Европѣ предполагается во всякомъ образованномъ и благовоспитанномъ человѣкѣ. Давно ли журнальные крикуны подняли тревогу на весь народъ, встрѣтивъ въ нашемъ журналѣ нѣсколько словъ, обыкновенныхъ и понятныхъ для всякаго, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ наукою въ современномъ ея видѣ, и не устыдились публично признаться въ своемъ невѣжествѣ? Право, за нихъ стыдно! И какое понятіе о русскомъ образованіи получилъ бы просвѣщенный Европейецъ, еслибъ услышалъ эти крики!... Тѣ, которые поумнѣе своими насмѣшками, иногда сбивавшимися на гаерство, и увѣреніями, что философія наука бесполезная и не хлѣбная, успѣвали добыть себѣ кусокъ хлѣба, и потомъ вѣроятно изъ благодарности (ибо все же философіи, хоть и отрицательно, были они обязаны своими приобрѣтеніями) умолкали мало-по-малу; другіе же (и большая часть), лишены даже способности забавно гаерствовать, представляли и представляютъ невольныя каррикатуры древнихъ титановъ, жаждавшихъ Олимпа и забрасывавшихъ самихъ себя тою грязью, которая назначалась ими для предметовъ недоступныхъ ихъ разумѣнію.

Понятно, что при такомъ состояніи нашей литературы отродно встрѣтить всякое литературное произведеніе добросовѣстное и серьезное, точно такъ же, какъ въ балаганной публикѣ встрѣтить человѣка благопристойно одѣтаго и по крайней мѣрѣ неоскорбляющаго васъ своими манерами. Еще отградите, если такое добросовѣстное произведеніе относится, положимъ не

сущностію, а однимъ именемъ, въ области той великой науки, которая нашла себѣ у насъ такихъ комическихъ антагонистовъ. — Вотъ почему намъ пріятно было развернуть книгу г. Карпова для того, чтобы извѣстить о ней нашихъ читателей. Намъ еще рано думать о наукѣ въ собственномъ и строгомъ смыслѣ, еще менѣе о философiи, которая можетъ только приняться на почвѣ сильной, хорошо разработанной. Не знаемъ, въ какой степени имѣютъ удобрительныя качества теперешніе продукты нашей литературы, но еще не скоро, судя по всѣмъ признакамъ, прійдетъ то время, когда можно будетъ разсуждать съ ученою строгостію о сочиненіяхъ, объявляющихъ себя «учеными». Еслибы у насъ и явилось теперь, благодаря какому-нибудь случаю, ученое произведеніе, удовлетворяющее современнымъ требованіямъ науки, то оно походило бы на цвѣтокъ грустно и одиноко распустившійся среди негодной травы, почти безъ надежды порадовать чей-нибудь взоръ и освѣжить кого-нибудь своимъ дыханіемъ. Перенести его на другую, болѣе благодарную почву, открыть его для чуждыхъ, но способныхъ оцѣнить и признательныхъ взоровъ, вотъ все, что можно было бы для него сдѣлать. Самая критика о дѣльномъ, ученомъ сочиненіи, которая по необходимости должна говорить его языкомъ и ставить читателя на его точку зрѣнія, навлекла бы на себя гаерскіе возгласы...

Философскія системы, увѣнчавшись въ своемъ развитіи системою нашего времени, черезъ то самое такъ теперь опредѣлились и обособились, что опытный взоръ въ одно мгновеніе отличить, къ какой изъ нихъ принадлежитъ вновь вышедшее сочиненіе. Такъ, по крайней мѣрѣ, въ Германіи. Но и въ Германіи есть, однако, такого рода философы, которые подбираютъ разный хламъ, разбросанный разными системами по пути ихъ развитія, и изъ него составляютъ свои собственные, дивно-уродливыя системы. Въ Германіи оставляютъ въ покоѣ

такихъ философовъ и отсылають ихъ на задній дворъ литературы, гдѣ есть свое устройство, свои журналы, свои духъ, и даже свои книгопродавцы. У насъ, нисколько неучаствовавшихъ въ философскомъ развитіи, очень естественно являются философскія книги, въ которыхъ авторы философствуютъ на просторѣ, какъ душѣ угодно, и изъ различныхъ мнѣній, изъ различныхъ обрывковъ понятій составляютъ пестрый калейдоскопъ, вертятъ его, и тѣшатся новыми комбинаціями. Тутъ ужъ никакая опытность не можетъ опредѣлить откуда и какъ составилось сочиненіе.

«Введеніе въ Философію» г. Карпова представляетъ утѣшительное явленіе потому уже одному, что авторъ, какъ видно изъ цѣлой книги, занимается своимъ предметомъ съ уваженіемъ, что для него философія не игрушка, какъ у большей части нашихъ доморощенныхъ философовъ, и что онъ не шути старается опредѣлить, въ чемъ она заключается. Удались ли его старанія,—это другой вопросъ.

Что такое введеніе въ философію и въ чемъ должно состоять его назначеніе? — Введеніе, какъ извѣстно, не есть самая наука: это должно быть только переходомъ къ ея точкѣ зрѣнія отъ обыкновеннаго сознанія. Философія не имѣетъ предварительныхъ понятій, какъ другія науки, излагающія ихъ въ введеніяхъ. Все, что можно сказать о ней, — вполне истинно можно сказать только въ ней самой. Цѣль введенія въ философію — только приготовить неопита, очистить, сколько возможно его представленія, пробить кору ежедневности, въ которую облечено обыкновенное житейское сознаніе, внушить уваженіе къ великому предмету, къ святому таинству знанія, поселить въ готовящейся душѣ мужественную вѣру въ могущество абсолютнаго духа, который долженъ безраздѣльно владствовать въ философін. Слѣдовательно, польза введенія чисто субъективная по отношенію къ приступающему; въ отношеніи

же къ философіи, это область совершенно внѣшняя, экзотерическая, и не можетъ имѣть никакого вліянія на ея ходъ. Г. Карповъ думаетъ объ этомъ нѣсколько иначе: для него введеніе имѣетъ гораздо больше важности. Философіи — думаетъ онъ, — грозятъ двѣ противоположныя опасности: потеряться въ раздробленіи взглядовъ и, вмѣсто всякаго результата, дойти до скептицизма и невѣрія, или заключиться въ догматъ, цѣпенящій умъ, убивающій его силы, мертвящій его дѣятельность. Между этими крайностями безконечнаго дробленія и строгаго догматизма философіи, — говоритъ онъ, — всего лучше золотая середина—введеніе. Это очень темно и странно. Не знаемъ, вслѣдствіе ли этого самого соображенія, или какихъ-нибудь другихъ, неизложенныхъ здѣсь, — авторъ возлагаетъ на введеніе обязанность говорить о слѣдующихъ предметахъ: 1) о предметѣ философіи, 2) о ея методѣ, 3) о ея началѣ; потомъ 4) этими элементами (?) оно должно опредѣлить свою науку; 5) указать на цѣль, 6) пользу, и наконецъ 7) изложить чертежъ системы философскихъ наукъ. Смѣемъ думать, что всѣ эти предметы лежатъ внутри самой философіи; внѣ же философіи можно о нихъ толковать сколько угодно, разсуждать вдоль и поперекъ, и никакъ нельзя зацѣпить самого дѣла; и ужь напередъ надобно отказаться отъ всякой *наукословности* (терминъ, составленный самимъ авторомъ, для означенія нѣмецкаго *Wissenschaftlichkeit*). Существованіе философіи доказываетъ недостаточность всѣхъ нефилософскихъ точекъ зрѣнія въ познаваніи, и если къ ней должно обращаться за послѣднимъ рѣшеніемъ всѣхъ вопросовъ, то тѣмъ менѣе всѣ вопросы о ней самой могутъ быть разсматриваемы съ точки зрѣнія нефилософской; философская же точка зрѣнія можетъ быть найдена только тогда, когда найдено начало философіи, и если философія начинается во введенія, то введеніе перестаетъ быть введеніемъ, и входитъ внутрь науки. Притомъ самый смыслъ

вопросовъ можетъ быть опредѣленъ только въ философiи, внѣ которой слова: *цѣль, предметъ, метода* и проч. всячески могутъ быть опредѣляемы сознаниемъ; только свободное развитiе абсолютнаго философскаго начала въ силахъ дать имъ истинное и непреложное содержанiе.

Вотъ причина, почему, несмотря на добросовѣстныя намѣренiя автора разрѣшить заданные вопросы, введенiе оставляеть ихъ смыслъ въ прежней неопредѣленности. Какъ, напримѣръ, опредѣлил онъ предметъ философiи? — «Самопознанiе и изслѣдованiе всего въ цѣломъ, какъ одного бытiя, полнаго разнообразной жизни и дѣятельности, т. е., изслѣдованiе мiра метафизическаго, поколику является онъ сверхчувственнымъ и мыслимымъ». Все это очень хорошо, но поясняетъ ли хоть сколько-нибудь дѣло? Что такое самопознанiе? бытiе? мiръ метафизическiй? И доказательство того, какъ трудно говорить о такихъ предметахъ внѣ философiи, заключается въ томъ, что самъ авторъ этому общему опредѣленiю, справедливому въ своей отвлеченной общности, даетъ слишкомъ скудное содержанiе, и вслѣдствiе этого онъ такъ несправедливо понялъ философiю, такъ стѣснилъ ея предѣлы, что, вмѣсто живаго духа ея, получилъ мертвую психологiю. Въ самомъ дѣлѣ такъ: не взвѣсивъ того, что содержится въ понятiи самопознанiя, онъ понялъ его совершенно антифилософски, какъ познанiе души. Психологiя есть для него самая существенная философская наука, а разсужденiе объ умѣ, волѣ и сердцѣ—главное ея содержанiе. Всѣ области духа, по его мнѣнiю, должны быть изучаемы съ психологической точки зрѣнiя; такъ, напримѣръ, искусство должно идти не отъ понятiя, не отъ существа своего, а отъ человѣческаго сердца.—Метафизическое, по мнѣнiю автора, есть нѣчто среднее между духовнымъ и физическимъ,— а духовное, единственно-истинное содержанiе философiи, объявляется для нея недоступнымъ: это что-то неиз-

мѣнное, безформенное (странно!), ни предметъ, ни феноменъ. Метафизическое, по автору, выше физическаго и ниже духовнаго, но входитъ въ область человѣческаго бытія со стороны обоихъ началъ, и воспроизведенное въ новый рядъ существъ, является сверхчувственнымъ, и отражаетъ въ себѣ тѣ самыя начала, изъ которыхъ оно развилось. Метафизическое (въ смыслѣ автора) снова приводитъ насъ къ психологіи и снова разлучаетъ насъ съ истинною философіею.

Но, не соглашаясь рѣшительно съ авторомъ въ основаніи, мы обязаны отдать ему справедливость: онъ искусно владѣетъ своею мыслию и обличаетъ въ себѣ зрѣлаго наставника; въ книгѣ его разсѣяно много отдѣльныхъ мыслей прекрасныхъ и истинныхъ; на всемъ лежитъ печать возмужалой обдуманности. Языкъ его правиленъ, слогъ чистъ, литературенъ и читается съ удовольствіемъ; философскіе термины употребляются имъ вездѣ отчетливо и съ знаніемъ дѣла, и мы приглашаемъ ожесточенныхъ ругателей нашего журнала заглянуть въ книгу г. Карпова, чтобы убѣдиться въ томъ, что напугавшія ихъ слова не нашего изобрѣтенія, а принадлежать наукѣ, и что только ихъ собственное, наивное невѣжество виновато въ томъ, что эти утвержденные въ философскомъ языкѣ термины показались имъ непонятными и странными.

ОЛГА. БЫТЬ РУССКИХЪ ДВОРЯНЪ ВЪ НАЧАЛѢ НЫНѢШНЯГО СТОЛѢТІЯ. Соч. автора «Семейства Холмскихъ». Спб. 1840. Четыре части. Съ эпиграфомъ:

Eclairer les hommes c'est beaucoup, mais on fait encore plus,
Lorsqu'on fait aimer et regner les vertus.

Последнее время ознаменовалось упадкомъ русской литературы: книгъ выходитъ мало, да и между ими можно читать

развѣ изъ ста одну сотую; журналы же — тотъ надоѣлъ публикѣ старыми островами и старымъ кошуновствомъ надъ наукою и искусствомъ, сей—пустотою содержанія и безжизненностію, и за исключеніемъ одного, всѣ нещадно отстаютъ книжками, сваливая вину на «разныя независящія отъ редакціи обстоятельства».

Вотъ, пользуясь этимъ, въ нашу уснувшую литературу началъ вкрадываться китайскій духъ. Политика небесной имперіи, какъ извѣстно всѣмъ, хитра и лукава, — и китайскій душокъ поступилъ очень осторожно, перебираясь изъ заплѣневѣлыхъ китайскихъ книгъ въ наши. Не безъ основанія боясь, пуще грома небеснаго, свѣжаго, дѣвственнаго и могучаго русскаго духа, онъ началъ пробираться не подъ своимъ собственнымъ, т. е. китайскимъ именемъ — Дзунъ-Кинъ-Дзынь, а съ чужимъ паспортомъ, съ подложною фамиліею — и назвался «моральнымъ» духомъ. Говорятъ, что добрые мандарины, перебывающіеся контрабандою и хлопотавшіе о его перевозѣ черезъ кяхтинскую таможду, приняли благое намѣреніе издавать на русскомъ языкѣ журналъ, имѣющій цѣлю распространеніе въ русской литературѣ этого благовоннаго китайскаго духа. Иные утверждаютъ даже, что будто-бы этотъ журналъ уже и издается гдѣ-то, на маньчжурской границѣ, подъ названіемъ «Плошка Всемирнаго Просвѣщенія, Вѣжливости и Учтивства», и что будто этотъ журналъ отдѣляетъ талантъ отъ нравственности. такъ что произведенія, ознаменованныя талантомъ, называютъ безнравственными и предастъ ихъ анаемѣ, а порожденія плошадной фантазіи, мертвыя изчадія дюжинной посредственности торжественно признаетъ нравственными и съ родственною любовію прижимаетъ ихъ къ груди своей и лелѣетъ съ отеческою нѣжностію. Къ этому присовокупляютъ, что будто-бы эта «Плошка» обвинила Жуковскаго и особенно Пушкина въ растлѣніи нашей литературы и развращеніи вкуса публики, спа-

сенныхъ будто бы какими-то «мищанскими» романами; что она утверждаетъ, будто Пушкинъ, можетъ нравиться только малолѣткамъ, т. е. людямъ, еще неутратившимъ душевнаго жара, благородныхъ стремленій и невыжившимъ изъ ума, но что всѣ «немалолѣтки» должны презирать Пушкина и восхищаться романами гг. Выбойкиныхъ, Тряпичкиныхъ, Пройдохиныхъ, и теоріями безграмотныхъ писакъ, открывшихъ «высшія полости вѣдѣнія и законы сдѣпленія полярности». Последнее мнѣніе такъ поразительно справедливо, что возбудило въ насъ живѣйшее желаніе познакомиться съ этимъ журналомъ; но мы не могли найти его ни въ одной книжной лавкѣ и книгопродавцы единогласно объявили намъ, что если онъ и привезенъ, то, вѣроятно, существуетъ въ Петербургѣ инкогнито. Изъ этого мы заключаемъ, что упомянутый журналъ—миѳъ. Однакожъ, присутствіе въ русской литературѣ китайскаго духа, котораго случайнымъ выраженіемъ сдѣлался, какъ увѣряли насъ, означенный мандаринскій журналъ, тѣмъ не менѣе осталось для насъ очевиднымъ, особенно въ новыхъ романахъ и повѣстяхъ. Главный ихъ признакъ и отличіе отъ всѣхъ другихъ—совершенное отсутствіе всякаго таланта, рѣшительная бездарность, пустота, резонёрство, задорный тонъ и вмѣстѣ съ нимъ безсиліе, свойственное мандаринамъ, философамъ и авторамъ Срединной Имперіи.

Мы очень рады, что «Ольга» не принадлежитъ къ числу китайскихъ романовъ, хотя взоръ, не столь опытный, какъ нашъ, и могъ бы отнести ее къ ихъ разряду; особенно могъ бы ввести въ соблазнъ эпиграфъ, находящійся на заглавномъ листѣ книги и взятый изъ Делиля. Содержаніе этой повѣсти очень просто, если только то, чѣмъ она наполнена, можетъ назваться «содержаніемъ». Скорѣе это родъ порядковой хрѣи на заданную тему, которая состоитъ въ томъ, что дѣти должны жениться и выходить замужъ не по склонности и собственному

выбору, а по волѣ дражайшихъ родителей. Хотя эта мысль и чисто китайская, однако, повторяемъ, повѣсть тѣмъ не менѣе чисто русская, ибо общается изобразить намъ «быть русскихъ дворянъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія»... Взглянемъ же на этотъ «быть».

Гвардейскій офицеръ Изборскій рѣшился, во что бы ни стало, жениться на дочери богатаго генерала Звѣрницкаго, своего дальняго родственника, зная, что за хорошенькою дочкою получить хорошенькое «прилагательное». Для этого, онъ за нею волочится, и снимаетъ кольцо съ руки неопытной инстинтутки, только что выпущенной изъ Смольнаго монастыря. Продѣлка эта была имъ сдѣлана на вечерѣ у тетки Ольги, графини Мериносовой. Тутъ столпилось такое множество обстоятельствъ, что намъ не рассказать бы ихъ и въ цѣлой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ»; но главное въ нихъ то, что отецъ Ольги, грубый человѣкъ и скряга, прогнавъ Изборскаго, пріѣхавшаго къ нему съ предложеніемъ; но нашъ молодецъ оттого не струсилъ и погрозилъ отцу, что увезетъ Ольгу и непременно жениться на ней, чего ради скупой, звѣрообразный батюшка поскакалъ въ Москву и взялъ отъ сестры своей, графини Мериносовой, обѣихъ дочерей своихъ (видите: у него, кромѣ Ольги, была еще и Любовь, столь же дурная собою и злонаправная, сколько Ольга была прекрасна и добронравна, и воспитывавшаяся у тетки, которая назначила ее наслѣдницею своего огромнаго имѣнія). Отецъ Ольги ужъ обѣщалъ ея руку сыну своего пріятеля Хвалынскаго, и сей добронравный юноша былъ толико преисполненъ китайскихъ доблестей, что, невидавши невѣсты, изъ единого повиновенія родителю своему (котораго НВ авторъ представилъ очень дурнымъ человѣкомъ), изъясняетъ готовность поять ю въ жены своя. Изборскій между тѣмъ уѣзжаетъ за границу, въ дѣйствующую армію, а Звѣрницкій хлопочетъ, чтобъ дочь его забыла этого удалца

и вышла за Хвалынского, — и старается довести ее до этого національными средствами, от которых та, послѣ многочисленныхъ обмороковъ, наконецъ получаетъ горячку. Ужь ей оставалось жить не болѣе получаса, ужь лекарь опредѣлилъ и минуту ея смерти, ужь ноги и руки ея охолодѣли, губы посинѣли, грудь едва дышала, — какъ вдругъ сидѣвшая у ея постели добродѣтельная Авдотья Васильевна, мать ея подруги Маши, видитъ, что въ комнату входитъ незнакомый молодой человѣкъ, начинаетъ тереть виски больной какою-то примочкою, и каждую минуту впускать ей въ ротъ какія-то капли. Умиравшая ожила, а таинственный исцѣлитель скрылся. Это былъ Хвалынский. — Между тѣмъ, Изборскій возвращается на родину полковникомъ и кавалеромъ ордена св. Георгія. Отецъ его умеръ, оставивъ такое имѣніе, котораго не доставало и на уплату долговъ нашего шалуна. Вдругъ онъ получаетъ отъ неизвѣстнаго 10,000 р., при запискѣ, въ которой сказано, что за его поведеніемъ внимательно наблюдаютъ, и что если онъ окажетъ себя достойнымъ Ольги, то еще и не такъ де-скать награждать. Но лихой нашъ полковникъ въ тотъ же вечеръ спустилъ всѣ денежки, потомъ хитростію и обманомъ женился на Любонькѣ, сестрѣ Ольги, а Ольга наконецъ влюбилась въ добродѣтельнаго Хвалынского. Изборскій промоталъ имѣніе жены и пустилъ ее по міру, а Хвалынскіе ее пріютили и обогатили, отчего и она сдѣлалась добродѣтельною.

Еслибъ въ этой повѣсти были характеры и всѣ лица не говорили на одинъ ладъ — книжнымъ языкомъ старыхъ резонброкъ; еслибъ въ ней была интрига, завязка и развязка, словомъ, содержаніе, а въ содержаніи естественность, правдоподобіе и занимательность; еслибъ, наконецъ, языкъ повѣсти, при правильности и выложенной гладкости, не былъ вовсе лишенъ движенія, жизни, цвѣта, оригинальности, то-

плоты и задушевности, и не былъ холодно-мертвъ, — то повѣсть читалась бы съ большимъ удовольствіемъ.

ЯРЧУКЪ (.) СОБАКА-ДУХОВИДЕЦЪ. *Сочин. Александрова (Дуровой). Въ двухъ частяхъ. Спб. 1840.*

Г. Александровъ, видно, рѣшился дарить намъ каждый мѣсяцъ по большой повѣсти, Доброе дѣло! а то, право, нечего читать. На этотъ разъ, г. Александровъ вводитъ своихъ читателей въ міръ фантастическаго, міръ сколько обаятельный, столько и опасный—истинный подводный камень для всякаго таланта, даже для всякаго нѣмецкаго поэта, если онъ не Гюсманъ. Правы ли мы — судите сами. Дѣло вотъ въ чемъ.

Въ концѣ XVII столѣтія, не знаемъ гдѣ именно, только не въ Россіи, человѣкъ пять студентовъ рѣшились погулять за городомъ. Безпрестанно представлявшіяся имъ то тамъ, то здѣсь кладбища навели на нихъ уныніе и возбудили охоту разсказывать другъ другу страшныя исторіи. Эдуардъ началъ разсказывать исторію своей собаки Мограби. Этотъ Мограби — ярчукъ, т. е. собака-духовидецъ, — качество, свойственное всякой черной собакѣ, мать которой вся черная и родилась тоже отъ черной собаки, и такъ до восьми включительно: девятая непременно — ярчукъ. Мограби хотѣли убить служители, но Эдуардъ выпросилъ ему жизнь у своего отца, еще бывши ребенкомъ. Скоро Мограби навелъ ужасъ на весь домъ нѣсколькими доказательствами своей страшной способности видѣть духовъ. Однажды къ нимъ пріѣхалъ богемскій баронъ, блѣдный молодой человѣкъ съ угасшими глазами. Мограби обнаружилъ фантастическій ужасъ отъ его присутствія, а баронъ, узнавъ способности этой собаки, упалъ въ обморокъ, — и больше его не видѣли. Ставши студентомъ, Эдуардъ бро-

дигъ съ своимъ Мограби по Богеміи и однажды ночью заплутался въ дикомъ лѣсу. Мограби обнаружилъ признаки духовидѣнія и тащилъ его за платье въ сторону противную той, куда онъ направлялся. Вдругъ онъ встрѣчаетъ барона Рейнгофа, который, пригласивъ его къ себѣ въ замокъ, тотчасъ же удаляется. Они знакомятся и баронъ признается Эдуарду, что онъ влюбленъ въ дьявола, который явился ему въ долинѣ его замка, въ полночь, во время полнолунія, въ видѣ женщины, съ черными какъ смоль волосами и синими бѣлками глазъ, окруженной толпою дьяволовъ съ длинными руками и желѣзными когтями; что онъ давно подозреваетъ, будто этотъ дьяволъ невидимо слѣдитъ за нимъ, и что ужасъ, обнаруживаемый въ его присутствіи Мограби, совершенно удостовѣрилъ его въ сей ужасной истинѣ. Къ этому присовокупилъ онъ, что еще съ дѣтства былъ влюбленъ въ женщину съ черными волосами и синими бѣлками глазъ, увидѣвъ дома ея портретъ, и, въ заключеніе, требовалъ у Эдуарда помощи, чтобъ отдѣлаться отъ адскаго призрака. Для этого онъ просилъ его сходить въ заколдованную долину въ полночь полнолунія, съ Мограби, чтобы убѣдиться, истинно ли явленіе духовъ, или это призракъ его разстроеннаго воображенія. Эдуардъ насильно притащилъ съ собою Мограби, надѣвъ на него намордникъ, и въ самую полночь дѣйствительно увидѣлъ чертей. Мограби лишился чувствъ; только сильно-пахучими ароматическими травами Эдуардъ привелъ его въ чувство, и, проклиная барона, уѣхалъ, неповидавшись съ нимъ, а Мограби съ тѣхъ поръ началъ чахнуть.

Когда Эдуардъ кончилъ такимъ образомъ свой рассказъ, вдругъ увидѣлъ ѣдущаго къ нимъ барона Рейнгофа, но уже не блѣднаго, а цвѣтущаго здоровьемъ, и за нимъ — Мограби, тоже здороваго и скачущаго повыше лѣса стоячаго, пониже облака ходячаго, тогда какъ за минуту назадъ едва ползалъ.

Баронъ присоединяется къ честной компаніи и, узнавъ о предметѣ разговора, начинаетъ доканчивать свою исторію, изъ которой читатель узнаетъ, что въ заколдованной долині чертей не бывало, а являлось въ полнолуніе двѣнадцать старыхъ Цыганокъ, чтобъ собирать травы, только въ этомъ мѣстѣ растущія; изъ этихъ травъ онѣ составляли сильный ядъ, которымъ если помазать темя, то человѣкъ мгновенно лишался ума—и еще такое снадобье, отъ малѣйшей дозы котораго въ человѣкѣ исчезалъ всякій недугъ, способности его утончались, вѣку прибавлялось по малой мѣрѣ вдвое. Проклятые Цыгане жили неподалеку въ оврагѣ и тамъ варили свои дьявольскія снадобья, которыми производили огромный торгъ, наживая горы золота. У нихъ была дѣвушка сиротка, изъ Цыганокъ же, съ черными волосами и синими бѣлками глазъ, которую они насильно приставили къ адской лабораторіи. Баронъ, увидѣвъ въ первый разъ чертей, влюбился въ Маріолу, ибо узналъ въ ней свой идеалъ. Когда Эдуардъ ушелъ съ Мограби, баронъ сдѣлался боленъ отъ мысли, что вовлечъ другаго въ несчастіе и погубилъ чудесную собаку. Въ припадкѣ бѣшенства, бросился онъ въ лѣсъ и прыгнувъ въ пропасть оврага. Если кто открывалъ убѣжище Цыганъ, то они натирали ему голову ядомъ, чтобы лишить ума: это они сдѣлали и съ барономъ; но Маріола предварительно натерла его голову благотворнымъ снадобьемъ. Онъ освободилъ ее изъ подземелья и женился на ней, а старыхъ Цыганокъ съ Цыганомъ, захвативъ посредствомъ солдатъ, передалъ суду. Все это у автора длинно, растянута, многословно; событія представляютъ собою какую-то путаницу разныхъ невѣроятностей, лишенныхъ всякой занимательности.

Но этимъ еще не все кончилось. Баронъ, изволите видѣть, нашелъ свой идеалъ съ черными волосами и синими бѣлками глазъ, утопалъ въ блаженствѣ раздѣленной любви и предло-

жилъ Эдуарду познакомить его своею дьяволоподобною женою; но когда Эдуардъ пріѣхалъ въ домъ, гдѣ они остановились, то увидѣлъ, что ихъ и слѣдъ простылъ. Ему подали письмо отъ барона, въ которомъ онъ увѣдомляетъ, что жена его рѣшительно не хочетъ, чтобъ, кромѣ его, кто-нибудь изъ мужчинъ видѣлъ ее. Въ письмѣ вложенъ былъ портретъ дьявольской красавицы. Эдуардъ до того влюбился въ этотъ портретъ, что сдѣлался боленъ и сталъ съ ума сходить; но отецъ, заставъ его вечеромъ за портретомъ, вырвалъ его изъ рукъ и уничтожилъ, чѣмъ и способствовалъ его выздоровленію. Прошло съ тѣхъ поръ много времени. Баронъ зоветъ въ письмахъ своихъ Эдуарда къ себѣ въ гости, говоря, что его жена уже согласна показывать себя другимъ, что она нисколько не старѣется, и что ее трудно отличить отъ старшей дочери. Эдуарду и хотѣлось было въ гости къ барону, ради его дочки, да онъ зналъ, что отецъ не позволитъ ему жениться. Но вотъ дражайшій родитель Эдуарда умеръ; Эдуарду стукнуло сорокъ семь лѣтъ; онъ уже и не боится отца, да боится преступить клятву вѣкъ не жениться, которую далъ себѣ. Наконецъ не вытерпѣлъ—поѣхалъ и женился. Всѣ знакомые осуждали его за этотъ бракъ, особливо переспѣлыя дѣвы. Выписываемъ послѣднія строки этой повѣсти: «Поговаривали кой-гдѣ въ уголкахъ потихоньку, и то крестясь и со страхомъ оглядываясь по сторонамъ, что будто-бы смерть его была ужасна, сверхъестественна, что въ послѣднюю минуту онъ явственно услышалъ вой Мограби, и умеръ, проклиная Рейнгофа и его подарокъ — портретъ Мариолы».

Мы не безъ намѣренія такъ подробно изложили содержаніе этой повѣсти. Мы хотѣли пріобрѣсти полное право спросить нашихъ читателей: понимаютъ ли они хоть что-нибудь въ этой грудѣ нескладныхъ небылицъ? По всему видно, что авторъ хотѣлъ написать фантастическую повѣсть; но, впервыхъ фан-

тастическое, отнюдь не то же самое, что нелѣпое; а восторыхъ, фантастическое требуетъ не только таланта, но и еще таланта фантастически настроеннаго, и притомъ огромнаго таланта. Такимъ былъ геніальный Гофманъ. Въ его разсказахъ, повидимому дикихъ, странныхъ, нелѣпыхъ, видна глубочайшая разумность. Въ своихъ элементарныхъ духахъ поэтически олицетворялъ онъ таинственныя силы природы; въ своихъ добрыхъ и злыхъ геніяхъ, чудакахъ и волшебникахъ поэтически олицетворялъ онъ стороны жизни, свѣтлыя и темныя ощущенія, желанія и стремленія, невидимо живущія въ нѣдрахъ чело-вѣческой природы. Если угодно, мы беремся показать и доказать глубоко разумное значеніе каждой черты въ любой фантастической повѣсти Гофмана. Но Гофманъ былъ одинъ, и доселѣ природа никому еще не позволяла безнаказанно тянуться въ Гофманы. Тикъ—нѣмецкій писатель съ большимъ талантомъ; но прочтите его фантастическую повѣсть, извѣстную на русскомъ языкѣ подъ названіемъ «Чары Любви»,—и вы увидите, что, кромѣ хорошаго разсказа, все въ этой повѣсти—вздоръ, возмущающій душу, болѣзненная галиматья. Но въ «Ярчукѣ» и того не видно: это просто скучный, утомительный разсказъ о ничемъ. Съ тѣхъ поръ, какъ вы узнаете, что въ заколдованной долинѣ являлись Цыгане, а не черти, и что Мограби заболѣлъ отъ насыпаннаго на кустахъ и травѣ ядовитаго порошка, а вылечился потомъ отъ маленькой дозы благотворной мази, данной ему барономъ,—Мограби изъ ярчука, т. е. собаки-духовидца, становится простою собакою, и все его духовидство дѣлается пустою вставкою въ сказку, и безъ того нескладную. Что же касается до любви Эдуарда къ портрету Маріолы, потомъ до его женитьбы на ея дочери, и наконецъ до слуховъ о его страшной смерти, то это просто пустяки, которые не стоятъ, чтобы тратить на нихъ слова. Изложеніе достойно содержанія: ни лицъ, ни образовъ; всѣ дѣйствующія

лица — идеальная Цыганка Мариола, и старая колдунья, — говорят тѣмъ же языкомъ, какъ и самъ баронъ Рейнгофъ и его мать, именно языкомъ плохихъ романовъ прошлаго вѣка.

И вотъ наша современная литература! Въ кучѣ книгъ видите вы одну съ именемъ автора, котораго первыя сочиненія обнаружили замѣчательное дарованіе, съ жадностію хватаетесь за нее, — и что же? прочитываете двѣ-три страницы, и бросаете... И къ чему эти набѣги на Богемію, эти претензіи на изображеніе фантастическаго міра? Пишите, господа, о томъ, что вокругъ васъ, что можно брать, не ходя далеко. Дѣло не въ содержаніи, а въ талантѣ: Гоголь и въ ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ умѣлъ найти богатое содержаніе... Ничего нѣтъ тяжеле обманутаго ожиданія, ничего нѣтъ тяжеле, какъ перелистывать груды книгъ

И все за тѣмъ, чтобы сказать,
Что ихъ не надобно читать!..

СТИХОТВОРЕНІЯ М. ЛЕРМОНТОВА. *Спб. 1840.*

Эта небольшая красивая книжка, съ такимъ простымъ и короткимъ заглавіемъ, должна быть самымъ пріятнымъ подаркомъ для избранной, то-есть, образованнѣйшей части русской публики. Хотя большая половина стихотвореній г. Лермонтова и была уже напечатана въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ русскому Инвалиду» (1838) и особенно въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1839 и 1840 годовъ, но, — не говоря уже о томъ, что цѣлая треть книжки состоитъ изъ піесъ, нигдѣ ненапечатанныхъ и совершенно неизвѣстныхъ публикѣ, кому не пріятно имѣть всѣ стихотворенія даровитаго поэта, собранными въ одну книжку, и этимъ избавить отъ труда искать ихъ то въ томъ, то въ другомъ номерѣ журнала или газеты?

Несмотря на то, что г. Лермонтовъ началъ свое поэтическое поприще еще такъ недавно, не дальше, какъ съ 1837 года, имя его уже громко огласилось на святой Руси, и его юный, могучій талантъ нашелъ не только ревностныхъ почитателей и жаркихъ поборниковъ, но и ожесточенныхъ враговъ — честь, которая бываетъ удѣломъ только истиннаго достоинства и несомнѣннаго дарованія. Что талантъ Лермонтова такъ скоро приобрѣлъ себѣ много пламенныхъ поклонниковъ, это нисколько не удивительно: огнистый Сиріусъ замѣтенъ и на устѣяномъ звѣздами небѣ, а яркая звѣзда таланта Лермонтова блистаетъ почти на пустынномъ небосклонѣ, безъ соперниковъ по величинѣ и блеску, даже безъ этихъ звѣздочекъ, которыя безчисленною выкупаютъ свою микроскопическую малость, и своимъ множествомъ умѣряютъ лучезарное ояніе главнаго свѣтила. Правда, талантъ Лермонтова не совсѣмъ одинокъ: подлѣ него блеститъ въ могучей красотѣ самородный талантъ Кольцова; свѣтится и играетъ переливными цвѣтами граціозно-поэтическое дарованіе Красова... Послѣ нихъ можно было бы указать и еще на два, на три имени: у того много чувства, у этого попадаются хорошіе стихи, а вонъ тотъ подавалъ когда-то хорошія надежды; но тотъ одностороненъ и нерѣдко страненъ, этотъ написалъ всего два-три стихотворенія, а о многихъ, недавно еще шумѣвшихъ, уже не слышно, какъ будто бы ихъ и совсѣмъ не было... Въ результатѣ все-таки остается одно: небосклонъ пустыненъ!... Здѣсь мы должны сдѣлать оговорку, имѣя въ виду людей, которые пробиваются вѣкъ свой чужими недомолвками, какъ насущнымъ хлѣбомъ: говоря о Лермонтовѣ, мы разумѣемъ современную русскую литературу, отъ смерти Пушкина до настоящей минуты, и, не находя въ ней соперниковъ таланту Лермонтова, разумѣемъ собственно стихотворцевъ-поэтовъ, а не прозаиковъ-поэтовъ, между которыми Лермонтовъ опять-таки какъ Сиріусъ между звѣздами

потому только, что первый и великій прозаикъ-поэтъ русской литературы, съ которымъ Лермонтовъ не приобрѣлъ еще правъ и быть сравниваемымъ, ничего не печатаетъ со времени смерти Пушкина: читателя поймутъ, о комъ мы говоримъ...

Относительно же того, что талантъ Лермонтова, въ такое короткое время, успѣлъ нажить себѣ ожесточенныхъ и неприязненныхъ враговъ, это также понятно. Разумѣется, эти враги составляютъ ту часть публики, которая должна называться собственно «толпою»; ненависть этихъ господъ очень понятна: поэзія Лермонтова для нихъ—плодъ слишкомъ нѣжный и деликатный, такъ что не можетъ лѣстить ихъ грубому вкусу, на который дѣйствуетъ только слишкомъ сладкое, какъ медъ, слишкомъ кислое, какъ огуречный рассолъ, и слишкомъ соленое, какъ севрюжина. Эти господа чувствуютъ непреодолимую антипатію даже и къ тѣмъ людямъ, которые восхищаются талантомъ Лермонтова, и они бранятъ ихъ, какъ служители своихъ господъ, которые устрицъ предпочитаютъ трактирной селянкѣ съ перцомъ. Изъ всѣхъ страстей человѣческихъ сильнѣйшая—самолюбіе, которое, будучи оскорблено, никогда не прощаетъ. Но чѣмъ же скорѣе всего можетъ быть оскорблено самолюбіе ограниченнаго человѣка, какъ не сознаніемъ своего безсилія понять недоступное его разумѣнію? Что можетъ быть досаднѣе и тяжелѣе, какъ не сознаніе своего невѣжества, или своей ограниченности?... Здѣсь мы очень кстати можемъ замѣтить мимоходомъ, что по этой же самой причинѣ и «Отечественныя Записки» имѣютъ такъ много и такихъ ожесточенныхъ враговъ даже между людьми, которые, браня ихъ, все-таки каждую книжку ихъ прочитываютъ отъ доски до доски. Особенное неблаговоленіе этихъ господъ навлекаетъ на себя критика «Отечественныхъ Записокъ» и непонятныя слова, встрѣчающіяся въ ней... право такъ, мы не шутимъ. Но хотя многія изъ этихъ словъ не были новыми и дикими ни

въ «Мнемозинѣ», ни въ «Московскомъ Вѣстникѣ», ни въ «Телеграфѣ», ни даже въ «Вѣстникѣ Европы» — журналахъ, какъ извѣстно, издававшихся въ Москвѣ, однако здѣсь, въ Петербургѣ, они приводятъ въ ужасъ и становятся въ тупикъ не только обыкновенныхъ читателей, но даже и записныхъ словесниковъ, теоретиковъ изящнаго, и особенно сочинителей риторикъ... Обратимся къ Лермонтову. Кромѣ читателей того разряда, о которомъ мы сейчасъ говорили, его талантъ еще больше имѣетъ враговъ, между литераторами, и это еще понятнѣе: сей устарѣль, и, плохо понимавъ стихотворенія, писанныя до 1834 года, уже совсѣмъ не понимаетъ ничего писаннаго послѣ этого года; тотъ родился совсѣмъ безъ органа эстетическаго чувства, не понимаетъ поэзіи и думаетъ, что она годится только «для сбыта пустыхъ и вздорныхъ мыслей»; оныя больше занимаются барышничествомъ, чѣмъ изящнымъ; а всѣ вмѣстѣ — оскорблены тѣмъ, что стихотворенія Лермонтова не встрѣчаются на листахъ, выходящихъ подъ фирмою ихъ имель... О господахъ же сочинителяхъ стишковъ для журналовъ и даже большихъ и пребольшущихъ штукъ, — изъ которыхъ нѣкоторые, по извѣщенію одной знаменитой аффиши, боролись съ исполинами иностранныхъ литературъ и побѣдили ихъ, — объ этихъ господахъ нечего и говорить: имъ становится дурно отъ стиховъ Лермонтова по слишкомъ законной причинѣ. Вмѣсто рецепта, совѣтуемъ имъ почаще читать вотъ эти стишки:

Вотъ Кутузовъ: онъ зубами
Бюсть грызетъ Карамзина;
Пѣна съ устъ валитъ клубами,
Кровью грудь обагрена.
Но напрасно мраморъ гложетъ, —
Только время тратить въ томъ:
Онъ вредить ему не можетъ:
Ни зубами, ни перомъ.

Но дѣло таланта Лермонтова не ограничилось ни друзьями, ни врагами: оно пошло дальше,—и теперь уже явились ложныя друзья, которые спекулируютъ на имя Лермонтова, чтобы мнимымъ безпристрастіемъ (похожимъ на *купленное* пристрастіе) поправить въ глазахъ толпы свою незавидную репутацію. Такъ, напримѣръ, недавно одна газета, — которая, впрочемъ, больше занимается успѣхами мелкой промышленности, чѣмъ литературою, и знаетъ больше толка въ качествѣ сигаръ и достоинствъ водочистительныхъ машинъ, чѣмъ въ созданіяхъ искусства,—провозгласила «Героя Нашего Времени» гениальнымъ и великимъ созданіемъ, упрекая въ то же время какіе-то «субъективно-объективные» журналы въ пристрастіи и «неумѣренныхъ похвалахъ» этому, дѣйствительно превосходному произведенію Лермонтова. Къ довершенію комедіи, пустившись судить о частностяхъ романа Лермонтова, сія газета выбрала нѣсколько мыслей изъ критики «Отечественныхъ Записокъ», разумѣется, исказивъ ихъ по своему, и напшиговала свою статейку тупыми остротами насчетъ обобранной же ею критики... О, безпристрастіе!...

Кстати о безпристрастіи: мы неоднократно читали обращенныя къ намъ упреки въ излишнемъ будто бы пристрастіи къ лицамъ, произведенія которыхъ часто встрѣчаются на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ». Такъ, напримѣръ, однажды сказано было въ одномъ журналѣ, что «Отечественныя Записки» называютъ великимъ поэтомъ подписывающагося подъ своими стихотвореніями — е —. Странное обвиненіе! Какъ будто печатать въ своемъ журналѣ чьи-нибудь стихотворенія не для журнальнаго балласта, а по сознанію, что эти стихотворенія достойны вниманія публики, открыто признавать въ большей части ихъ искренность и неподдѣльную теплоту, а иногда и полноту чувства, въ нѣкоторыхъ же, вмѣстѣ съ этимъ, въ известной степени, гармонію и красоту стиха, и

наконецъ, говорить о нихъ, что они гораздо лучше случайно прославленныхъ стихотвореній того или другаго сомнительнаго таланта, хотя и пользуются меньшею въ сравненіи съ ними извѣстностію, — какъ-будто все это то-же самое, что назвать ихъ автора «великимъ поэтомъ»?... Что же касается до другихъ, какъ наприимѣръ, до Кольцова и Красова, — ихъ талантъ, особенно перваго, давно уже признанъ публикою, — и если «Отечественныя Записки» превозносятъ ихъ, то совсѣмъ не потому, что стихотворенія ихъ печатаются въ этомъ журналѣ, но потому что могутъ быть имъ громко хвалямы. Это похоже на то, какъ часто случается слышать въ свѣтѣ: «Вы потому его хвалите, что онъ вашъ другъ!» — Странные люди! напротивъ, онъ потому и другъ мнѣ, что я могу хвалить его: — вольно же вамъ принимать слѣдствіе за причину!... Такъ точно и «Отечественныя Записки» удивляются Лермонтову, потому что его талантъ поражаетъ невольнымъ удивленіемъ всякаго, у кого есть эстетическій вкусъ, — и еслибъ Лермонтовъ печатался хоть въ другомъ повременномъ изданіи, между новостями и извѣстіями о вновь пріѣзжающихъ изъ Парижа портныхъ, — «Отечественныя Записки» и тогда точно такъ же стали бы хвалить Лермонтова. И почему жъ бы не такъ! Неужели же «Отечественнымъ Запискамъ» для этого ждать, что скажетъ о Лермонтовѣ тотъ или другой журналъ. О, нѣтъ! «Отечественныя Записки» не пріучены къ такой китайской скромности: напротивъ, онѣ въ другихъ журналахъ привыкли находить повтореніе своихъ мнѣній и словъ, которыя тѣми же журналами и съ такимъ ожесточеніемъ преслѣдуются... Не подождать ли имъ было приговоръ публики? — Напротивъ: «Отечественныя Записки» для того и издаются, чтобъ публика въ нихъ находила норму для своихъ приговоровъ; если же есть много читателей, которыхъ вкусъ сходится со вкусомъ «Отечественныхъ Записокъ», безъ предварительнаго сличе-

нія, соглашенія, или повѣрки, — то тѣмъ лучше для обѣихъ сторонъ, и тѣмъ больше выигрышъ со стороны истины. Вообще, упреки «Отечественнымъ Запискамъ» въ пристрастіи, за ихъ рѣзкія, и — главное — новыя и оригинальныя сужденія, выходятъ изъ слѣдующаго источника: сужденія пишутся для общества, а общество состоитъ изъ публики и толпы. Публика есть собраніе извѣстнаго числа (по большей части, очень ограниченнаго) образованныхъ и самостоятельно мыслящихъ людей; толпа есть собраніе людей, живущихъ по преданію и разсуждающихъ по авторитету, другими словами — изъ людей, которые

Не могутъ смѣть
Свое сужденіе имѣть.

Такіе люди въ Германіи называются филистерами, и пока на русскомъ языкѣ не пріищется для нихъ учтиваго выраженія, будемъ называть ихъ этимъ именемъ. Для публики великій писатель тотъ, кто великъ своими созданіями, а не долговременнымъ писательствомъ; публика иногда провозглашаетъ великимъ талантомъ молодаго чловѣка, который не больше трехъ дней какъ началъ писать, и имени котораго до той минуты никто не слыхалъ, — и та же публика съ упрямымъ презрѣніемъ иногда не хочетъ и слышать о чловѣкѣ, котораго имя лѣтъ тридцать печатается и тамъ и сямъ, который успѣлъ написать цѣлую гору вздорныхъ книгъ, и котораго толпа давно признала чуть-чуть не гениемъ. Но толпа, — о, это совсѣмъ другое дѣло! толпа ничего не видитъ въ книгѣ, кромѣ бумаги и буквъ, кромѣ заглавія, имени и рифмъ. Выходитъ новый романъ, — она его не читаетъ, ожидая, что скажутъ ея оракулы, такой-то журналъ, такая-то газета. Толпа неповоротлива по натурѣ своей, и ничто такъ не трудно для членовъ ея, какъ перейти отъ одного портнаго къ другому, переимѣнить одну кондитерскую на другую, или замѣнить старый авторитетъ,

старую славу — новымъ авторитетомъ и новою славой. Новое литературное имя, новая слава — бичъ для толпы, ибо это имя, эта слава переворачиваютъ вверхъ ногами бѣдный запасъ ея бѣдныхъ мнѣний. Толпа готова признавать примѣчательный талантъ даже въ Пушкинѣ, котораго не любить по филистерскому инстинкту, и признавать не за его геніяльность, которую узкіе лбы не въ состояніи постигнуть, но потому что толпа, волею или неволею, прислушалась къ нему въ продолженіи, по крайней мѣрѣ, двадцати-двухъ лѣтъ. Какъ же требовать отъ толпы, чтобъ она не хмурилась и сердито не махала своими бумажными колпаками, когда ей вдругъ говорятъ, что, напримѣръ, Гоголь великій писатель, что его «Ревизоръ» — геніальное созданіе, что Лермонтовъ — талантъ необыкновенный, общающій въ будущемъ нѣчто геніальное, великое? Каково же этимъ господамъ, которые, въ своей апатической дремотѣ, почитаемой ими за жизнь, привыкли смотрѣть на Выбойкина, Тряпичкина и Пройдохина, какъ на величайшихъ романистовъ, драматистовъ, грамматѣевъ и критиковъ, потому только, что они ужъ давно торгуютъ литературою, и сами ежедневно величаютъ себя геніями? каково имъ слышать, что гг. Выбойкины, Тряпичкины и Пройдохины — просто безграмотные пачкуны, накричавшіе сами о себѣ, будто имъ и Пушкинъ ни почемъ, и Вальтеръ-Скоттъ свой братъ, будто они всѣхъ и умнѣе, и талантливѣе, и благонамѣреннѣе, и будто въ головахъ всѣхъ русскихъ литераторовъ, вмѣстѣ взятыхъ, меньше ума, чѣмъ въ «мизинчикѣ» каждаго изъ нихъ? ... Чтобъ докончить характеристику толпы, мы должны сказать, что филистеры и Китайцы, не будучи однимъ и тѣмъ же, похожи другъ на друга и родственны другъ другу; впрочемъ, о ихъ сходствѣ и сродствѣ, мы поговоримъ еще въ другое время. «Филистеры» есть вездѣ, и всегда въ бѣльшемъ противу членовъ публики количествѣ.

Но въ другихъ мѣстахъ они сносиѣе, потому что не такъ замѣтны, будучи подчинены невольному вліянію публики. Оттого то въ тѣхъ мѣстахъ есть самостоятельность въ воззрѣніяхъ; авторитеты возникаютъ и падаютъ не случайно, но разумно; все талантливое тотчасъ оцѣнивается какимъ-то инстинктомъ, а незаконные и устарѣлые авторитеты исчезаютъ, какъ дымъ сами собою.

«Отечественныя Записки» всегда будутъ имѣть въ виду не толпу, а публику. Увѣренныя, что истина всегда возьметъ свое, онѣ, въ сужденіяхъ своихъ, не будутъ согласоваться ни съ заплесневѣлыми литературными адресъ-календарями, ни съ говоромъ полуграмотной толпы, а съ собственнымъ чувствомъ и разуміемъ, на основаніи самого судимаго предмета. И потому, «Отечественныя Записки», при сей вѣрной оказіи, еще громче, чѣмъ прежде, объявляютъ во всеуслышаніе, — глубокое свое убѣжденіе, что первые опыты Лермонтова пророчатъ въ будущемъ нѣчто колоссально-великое. Не говоря, напримѣръ, о его poemѣ «Мцыри» (стр. 121—159), какъ о цѣломъ созданіи, обратимъ вниманіе читателей на алмазную крѣпость и блескъ стиховъ, на дивную вѣрность и неисчерпаемую роскошь поэтическихъ картинъ. Такой стихъ — булатный мечъ; и кто, едва взявшись за него, вертитъ имъ какъ тросточкою, — тотъ богатырь... Да! кромѣ Пушкина, никто еще не начиналъ у насъ такими стихами своего поэтического поприща и такъ хорошо не олицетворялъ мнѣшческаго преданія объ Ираклѣ, который еще въ колыбели, будучи дитятею, душилъ змѣй зависти... Впрочемъ, пока довольно: въ отдѣлѣ «Критики», мы поговоримъ о стихотвореніяхъ Лермонтова подробнѣе; все же сказанное здѣсь просимъ принять за простое библиографическое извѣстіе, конечно, длинное, — но подобныя литературныя явленія дѣлаютъ невольно говорящимъ...

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА.
Спб. 1840. Три части.

Общее мнѣніе о Ломоносовѣ, какъ поэтѣ, ученомъ и писателѣ вообще, уже начинаетъ устанавливаться. Оно не отнимаетъ у него искръ поэзіи, но не оставляетъ за нимъ и имени поэта; оно удивляется ему, какъ ученому, и еще больше, какъ въ высшей степени интересной и поэтической личности, какъ великому человѣку. Въ самомъ дѣлѣ, въ трудахъ и жизни Ломоносова гораздо больше поэзіи, чѣмъ въ его вдохновеніяхъ, принявшихъ на себя форму тяжелыхъ стиховъ. Обо всемъ этомъ «Отечественныя Записки» не замедлятъ поговорить съ своими читателями въ особой статьѣ: есть предметы, о которыхъ должно говорить все, а не что-нибудь и какъ-нибудь, — къ такимъ предметамъ принадлежитъ и Ломоносовъ. Но пока можно (да и должно) сказать что-нибудь объ этомъ академическомъ изданіи сочиненій Ломоносова.

Творенія Ломоносова имѣютъ больше историческое, чѣмъ какое-нибудь другое достоинство: вотъ точка зрѣнія, сообразно съ которою должно издавать ихъ. Ломоносовъ не нуженъ публикѣ; она не читаетъ не только его, но даже и Державина, который въ тысячу разъ больше его имѣетъ правъ на титулъ поэта: Ломоносовъ нуженъ ученымъ и вообще людямъ, изучающимъ исторію русской литературы, нуженъ и школамъ. Въ слѣдствіе этого, вотъ, по нашему мнѣнію, необходимыя условія изданія его сочиненій: вопервыѣ, они должны быть непременно всѣ, безъ выбора и исключеній, и расположены, хотя и по родамъ (т. е. стихотворенія особо; сочиненія, касающіяся до теоріи словесности — особо; ученые сочиненія по части физики, химіи, навигаціи — особо; похвальные слова и опытъ исторіи Россіи — особо), но въ томъ порядкѣ, въ какомъ они вышли другъ за другомъ изъ-подъ пера автора; во-

вторыхъ, тѣмъ они лучше изданы будутъ, тѣмъ лучше: но опрятность и даже изящество изданія отнюдь не должно препятствовать его дешевизнѣ, ибо эта книга не для удовольствія, а для пользы, и не для богатыхъ людей, а для занимающихся серьезно отечественною литературою. При дешевизнѣ не должно быть упущено изъ вида и удобство: изданіе должно быть сжатое (компактное), въ двѣ колонны, не мелкимъ, но убористымъ и четкимъ шрифтомъ, и все оно должно состоять въ одной книгѣ. Извѣстіе о жизни автора и критическая оцѣнка его ученой и литературной дѣятельности, равно какъ и разныя необходимыя примѣчанія, объясняющія текстъ, не могутъ быть излишними при такомъ изданіи. Портретъ и факсимиле Ломоносова, виньеты и другія украшенія составятъ роскошь изданія и увеличатъ его достоинство, если не возвысятъ матеріальной цѣны книги. Разумѣется, подобное изданіе было бы тѣмъ драгоценнѣе, что можетъ быть сдѣлано только Академіею, владѣющею большими матеріальными средствами и нѣмѣющею въ виду не прибыль, но пользу литературы и просвѣщенія, — а не какинъ-нибудь книгопродавцемъ, который рисковалъ бы потерпѣть отъ него убытокъ. Вообще, при изданіи Ломоносова, не должно забывать, что онъ ни въ чемъ уже не можетъ быть образцомъ для нашего времени, и что его значеніе хотя и велико, но чисто-историческое — не больше и не меньше.

Нынѣ вышедшее изданіе сочиненій Ломоносова сдѣлано Россійскою Академіею по особенному плану. Вопервыхъ, оно въ трехъ книжкахъ, in-quarto, тонкихъ, широкихъ, и длинныхъ, совершенно квадратныхъ. Потому оно состоитъ только изъ стихотворныхъ трудовъ Ломоносова, похвальныхъ словъ, Риторики и Слова о пользѣ хмѣи. Вмѣсто біографическаго очерка, или критическаго взгляда на творенія Ломоносова, оно снабжено слѣдующимъ предисловіемъ:

Жизнь Ломоносова описана во многих и различных книгах и погрешенных изданіяхъ; его таланты и сочиненія оцѣнены и глубокими знатоками словесности и просвѣщенной публикою. Онъ былъ мужъ высокаго ума и обширныхъ свѣдѣній, и содѣйствовалъ много къ водворенію наукъ въ нашемъ отечествѣ и къ образованію, утвержденію и усовершенствованію языка руссійскаго (русскаго?). Всѣ въ томъ согласны. Посему, излишне было бы говорить здѣсь, какъ о самомъ Ломоносовѣ, такъ и о его твореніяхъ. Императорская Россійская Академія, издавая снова, въ сихъ трехъ томахъ, всѣ стихотворенія, избранныя рѣчи и риторичу Ломоносова, желаетъ и надѣется доставить и юношеству и всѣмъ любителямъ руссійской (русской?) словесности образцы и правила поэзіи и витійства, и тѣмъ способствовать къ распространенію истиннаго вкуса и просвѣщенія. Да исполнятся ея желанія и надежды!»

Отдавая должную справедливость этимъ благонамѣреннымъ желаніямъ и надеждамъ, мы осмѣлились бы спросить: ужели, послѣ стиховъ и прозы Карамзина, Жуковского, Батюшкова и Пушкина, — стихи и похвальные слова Ломоносова, съ ихъ тяжелымъ латинскимъ складомъ, могутъ служить образцами и къ распространенію истиннаго вкуса и просвѣщенія?

III.

ТЕАТРЪ.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

1.

У насъ мало вообще драматическихъ новостей; сценическія же—большая рѣдкость. Обыкновенно бываетъ такъ: приближается время бенефисовъ, и всѣ ждутъ новыхъ піесъ. Каждый бенефициантъ даетъ одну, двѣ, иногда и три новыя піесы; а какъ число бенефисовъ на театрахъ обѣихъ столицъ нашихъ довольно значительно, въ продолженіи каждаго года, то и число новыхъ піесъ очень значительно. Но къ сожалѣнію, отъ этого никто не въ выигрышѣ — ни публика, ни драматическая литература, ни сцена, ни артисты, которые желаютъ для себя ролей, достойныхъ своего таланта. Обыкновенно, эти новости—водевили, переведенные съ французскаго, или «передѣланные изъ французскихъ», какъ пишется въ театральныхъ афишкахъ и въ «Репертуарѣ» г. Песочкаго; на самомъ же дѣлѣ это не переведенные и не передѣланные, а развѣ насильно перетащенные съ французской сцены на русскую. Мудрено ли послѣ этого, что они являются передъ русскою публикою растрепанные, изорванные, съ тупыми остротами, плоскими шутками, плохими куплетами? Надѣньте на Француза смурый кафтанъ, подпояшьте его кушакомъ, обуйте въ онучи и лапти, подвяжите ему густую окладистую бороду, и заставьте его даже браниться по-русски, — онъ все не будетъ русскимъ мужикомъ, а на зло себѣ и вамъ останется Французомъ въ костюмѣ русскаго мужика, слѣдовательно, ни Фран-

пузомъ, ни Русскимъ, а каррикатурою того и другаго, образомъ безъ лица. Вотъ такова-то характеристика и нашихъ переводныхъ и передѣлочныхъ водевилей! Въ чтеніи они не имѣютъ смысла, а на сценѣ вялы и безжизненны.

Но изъ множества бенефисныхъ піесъ въ пяти усыпительныхъ актахъ, и піесокъ недлинные воробьиного носа, изъ всей этой груды тотчасъ же забываемаго хлама, почти каждый годъ получаетъ большой успѣхъ одна піеса — и на просторѣ, за неимѣніемъ даже неопасныхъ соперниковъ, шумитъ себѣ до слѣдующаго театральнаго года, пока новая піеса такого же рода не столкнетъ ее въ Лету. Такъ въ прошломъ году шумѣли «Дѣдушка Русскаго Флота», «Параша Сибирячка», такъ недавно шумѣлъ «Синичкинъ» г. Ленскаго; такъ теперь шумятъ «Петербургскія Квартіры» г. Кони. Это обыкновенные водевили, взятые прямо изъ русской жизни. Даже самый плохой актеръ, играя роль въ такой піесѣ, чувствуетъ себя въ своей тарелкѣ и играетъ не только со смысломъ, но и съ жизнію; о талантливыхъ артистахъ нечего говорить. Въ ходѣ піесы всегда больше или меньше замѣтна общность. Публика живо заинтересована, потому что каждый изъ зрителей видитъ знакомое себѣ, совершенно понятное, видитъ тѣ лица, которыхъ сейчасъ только оставилъ, изъ которыхъ одни ему друзья, другіе — враги, однимъ онъ готовъ поклониться изъ своихъ креселъ, на другихъ хохотомъ вымѣщаетъ онъ свою досаду. Такого рода піесы нельзя и не должно слишкомъ строго судить. Каковы бы ни были ихъ недостатки и какъ бы ни незначительно было ихъ поэтическое и даже просто литературное достоинство, на нихъ слѣдуетъ смотрѣть сквозь пальцы и, улыбаясь, похваливать. Что наша публика цѣнитъ ихъ слишкомъ высоко, что за какую-нибудь удачную (сравнительно съ другими) піеску она готова вызвать автора, хоть десять разъ сряду, на это тоже не слѣдуетъ смотрѣть слишкомъ строго.

Всякое сильное возстаніе противъ этого можетъ показаться донкихотскимъ ратованіемъ противъ вѣтренныхъ мельницъ. И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли стараться увѣрить кого-нибудь что «Мирошка и Филатка», глупость, а иная «мѣщанская» или «слезная комедія» — пошлость, если этотъ кто-нибудь отъ души восхищается «Филаткой и Мирошкой», и почитаетъ великимъ созданіемъ «слезно-мѣщанскую комедію съ пантомимными танцами»?... Всякому свое — лишь бы восхищались чѣмъ-нибудь! А частые вызовы «сочинителей» и актѣровъ? Чтѣ же вамъ до нихъ? Кто любитъ покричать — во здравіе! Притомъ же большая часть кричитъ съ самымъ невиннымъ намѣреніемъ — чтобы дать замѣтить свое присутствіе и показать тонкость своего эстетическаго вкуса. Кромѣ этихъ, дѣйствительно почтенныхъ господъ, есть и такіе, которые думаютъ, что если ужъ тратить деньги, такъ не даромъ, а для того, чтобы досмотрѣть все до конца и вдоволь накричаться. Если же вамъ это рѣшительно не нравится, ходите въ Михайловскій театръ, публика котораго гармонируетъ со сценою.

Обращаемся къ шумящимъ піесамъ. Въ нѣкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ довольно шумливо было объявлено, что 3-го сентября, въ бенефисъ г. Самойлова, дается новая драма г. Строева «Безымянное Письмо», новая и оригинальная комедія-водевиль, водевиль-комедія г. Кони «Петербургскія Квартиры» и новый водевиль какого-то знаменитаго никогнито, не помнимъ, право, подъ какимъ названіемъ. Двѣ изъ нихъ очень шумѣли, особенно вторая; но третья тихо и скромно, на цыпочкахъ, пробралась черезъ сцену въ Лету, такъ что публика и не замѣтила ея вовсе. Впрочемъ, третью то піески мы и не видали, и говоримъ о ней сообразно съ общимъ слухомъ. О двухъ же первыхъ слѣшимъ отдать отчетъ, какъ о новостяхъ нашей драматической литературы, безъ всякаго отношенія къ сценѣ.

БЕЗЫМЯННОЕ ПИСЬМО, оригинальная драма въ трехъ дѣйствіяхъ, г. В. Строева.

Всякому, даже небывшему въ училищѣ, извѣстно, что драматическое произведеніе можетъ быть разсматриваемо съ двухъ точекъ: какъ произведеніе художественное, поэтическое, литературное, — и какъ произведеніе сценическое, написанное собственно для сцены. Это раздѣленіе необходимо, потому что иногда пѣса, будучи ничтожна въ каждомъ изъ трехъ первыхъ отношеній, даетъ актёрамъ возможность выказать свои дарованія въ полномъ блескѣ, и привлекаетъ многочисленную публику. Читая иную пѣску, вы зѣбаете, а увидя ее на сценѣ, и смѣетесь и плачете. Почему и отъ чего это такъ, мы не будемъ говорить, боясь далеко отступить отъ нашего предмета, пѣсы г. Строева. Скажемъ коротко, что въ чтеніи она не можетъ имѣть никакого достоинства, но на сценѣ, при хорошей игрѣ артистовъ, очень эффектна и можемъ почеститься хорошимъ пріобрѣтеніемъ для бѣднаго репертуара русскихъ театровъ. Содержаніе ея... Но прежде, чѣмъ расскажемъ мы содержаніе пѣсы г. В. Строева, мы должны рассказать, изъ какого источника почерпнута она и какъ составлена. Видите ли, въ чемъ дѣло: выдумывать вообще очень трудно; и потому даже неблестящая выдумка цѣнится выше блестящаго подражанія, ибо для этого требуется лишнее количество мозга; образующее на черепѣ возвышеніе, которое Галль означаетъ особымъ нумеромъ и называетъ шишкою изобрѣтенія. Если бы, при разборахъ новыхъ сочиненій, и хорошихъ и дурныхъ, критика прежде всего предлагала вопросъ: выдумка оно, или подражаніе, то много бы сочинителей превратилось въ простыхъ переписчиковъ.

Въ одномъ изъ прошлыхъ русскихъ журналовъ напечатана, переведенная съ французскаго, повѣсть Огюста Арну «Безымянное Письмо»; какъ и во всякой повѣсти, въ ней

рассказъ часто прерывается разговорани дѣйствующихъ лицъ. Г. В. Строевъ, какъ видно изъ его драмы, очень внимательно прочелъ эту повѣсть, отъ начала до конца, ибо распорядился ею, какъ человѣкъ коротко съ нею знакомый. Онъ выписалъ разговоры, слово въ слово, безъ перемѣны хотя бы единой запятой, и, чтобы сдѣлать выпускъ повѣствовательной части по возможности незанѣтнымъ, сталъ изъ небольшихъ пологани, извлеченными изъ исключеннаго изъ рассказа. И уныло и экономно: пьеса изъ повѣсти стала драмою, и вътрое сдѣлалась короче по объему, ничего не теряя по содержанію, и все это безъ особенныхъ трудовъ талантливаго драматиста, если только переписываніе съ печатнаго не составляетъ особеннаго труда.

Герой драмы — Юлій, сынъ старой вдовы, графини Валаберъ, нелицинъ и ревнивецъ; слѣдственно лице въ новомъ вкусѣ и очень интересное. Онъ влюбился въ молодую дѣвушку Фанин, дочь бѣднаго учителя, умѣвшую хорошо играть на фортепьянахъ и дававшую уроки въ этомъ искусствѣ. Юлій запретилъ ей давать уроки, и бѣдняжка должна была жить трудами рукъ своихъ. Въ повѣсти и драмѣ, онъ приходитъ къ ней и объявляетъ, что родные настоятельно приказываютъ ему жениться, и что онъ рѣшился выбрать жену не въ большомъ свѣтѣ, «гдѣ болѣе наружнаго блеска, чѣмъ истиннаго достоинства, между знатыми и богатыми дамами, которыя заглаживаютъ добродѣтель и таланты знатностью и богатствомъ; но тихую, скромную, испытанную, которой любовь равнялась бы его и которая измѣнила бы себѣ только изъ любви къ нему» и проч. По этому школьному резонёрству, и по этой, пошлой манерѣ объясняться книжнымъ языкомъ, «морально китайскихъ романовъ» даже и въ такомъ торжественномъ случаѣ, каковъ выборъ жены, читатели могутъ видѣть, что за птица этотъ герой повѣсти и драмы.

Между тѣмъ мать Юлія, графиня Валаберъ, замѣтивъ, что сыночекъ больно завирается, и провѣдавъ о его связи съ Фанни, посылаетъ къ Фанни задушевнаго пріятеля своего, развратнаго маркиза Сень-Жиля. Попытка не удалась. Фанни выгнала отъ себя маркиза, и добродѣтельная графиня Валаберъ, хлопотавшая такъ сильно о разрывѣ сына своего съ Фанни, для того, чтобъ женить его на другой, должна была отказаться отъ своихъ замысловъ. Бракъ, ею назначенный, не состоялся, и виною этого были сколько страсть Юлія къ Фанни, столько же и козни кузины старой графини, Адели Лонё, жившей у нея въ домѣ и влюбившейся въ Юлія. Эта госпожа Адель, разстроивъ одинъ бракъ, хочетъ разорвать и другой: она отправляетъ къ Юлію безыменное письмо, въ которомъ выдумываетъ разные клеветы на Фанни и обвиняетъ ее въ интригѣ съ какимъ-то прежнимъ ея любовникомъ. Юлій является съ этимъ письмомъ къ Фанни. Фанни кричитъ «ахъ!», падаетъ на полъ, а Юлій уходитъ.

Черезъ полтора года, Юлій ужъ женатъ на Адели, а Фанни гдѣ-то умираетъ, въ страшной нищетѣ. Юлій узнаетъ объ этомъ отъ стараго учителя своего, Терписьена, который изъ «профессоровъ чистописанія» давно уже сдѣлался публичнымъ писцомъ; теперь, пришедъ къ Юлію, онъ рассказываетъ о смерти Фанни, нанимавшей подлѣ него бѣдную комнату, и договаривается наконецъ до того, что онъ нанятъ былъ написать вышеупомянутое безыменное письмо, неизвѣстно къ кому и неизвѣстно отъ кого. Юлій, подозрѣвая въ этомъ злодѣйствѣ маркиза Сень-Жиля, вызываетъ его на дуэль, идетъ уже съ нимъ стрѣляться, неся пистолеты въ ящикѣ; но его останавливаетъ Адель и признается, что она—сочинительница письма, что она погубила Фанни, мучимая любовью и ревностью.

Юлій въ ужасѣ отталкиваетъ ее, и говоритъ о разводѣ; но она оправдывается страстію, ссылается на свои страданія и

говорить, что не отстанетъ отъ него. Въ это время входитъ маркизь Сенъ-Жиль съ секундантами. Юлій проситъ у него извиненія въ своемъ поступкѣ. «Вы видите»—говоритъ онъ,—«почему я не успѣлъ уѣхать... Семейная ссора, которой я не хочу скрывать, какъ скрывалъ всѣ прежнія. Она просила у меня разводной, а я отказалъ... Теперь я не противлюсь; вы будете, господа, свидѣтельствовать въ пользу жены, а я получу наказаніе за грубость, въ которой раскаяваюсь слишкомъ поздно». И подошедъ къ женѣ, онъ сказалъ ей на ухо: «Вы сегодня должны подать просьбу о разводѣ, сударыня, или я обезпечу васъ и расскажу этимъ господамъ все, что знаю».

Этимъ оканчивается и повѣсть и драма. Повѣсть, какъ можно видѣть изъ нашего изложенія,—настоящая французская и журнальная, вся сшитая изъ эффектовъ и натяжекъ. Мать хочетъ насильно женить тридцатилѣтняго сына; сынъ этотъ въ повѣсти называется человѣкомъ съ характеромъ, а на дѣлѣ—простофиля, котораго другіе водятъ за носъ. Любовь его къ Фанни какая-то животная; поступки его съ Фанни—звѣрскіе. Противорѣчія въ его характерѣ ничѣмъ не объяснены и не оправданы, и потому у него нѣтъ никакого характера. Впрочемъ, въ повѣсти довольно удачно и оригинально очерченъ характеръ Адели: въ драмѣ, этотъ характеръ совершенно безцвѣтенъ. Но на сторонѣ драмы—преимущество сценическихъ эффектовъ, если главные роли выполняются хорошо.

ПЕТЕРБУРГСКІЯ КВАРТИРЫ, оригинальная комедія-водевилъ въ пяти квартирахъ, О. Кони.

Въ первомъ актѣ, который называется «Квартирою важнаго человѣка въ Коломнѣ», вы видите мать и дочь, изъ которыхъ первая бранитъ вторую за охоту смотрѣть въ окно на гусаровъ и казаковъ. Вдругъ входитъ мужъ—отецъ, хозяинъ квартиры—и объявляетъ женѣ и дочери, что онъ уже не простой чинов-

никъ, но важная особа — начальникъ отдѣленія. Это преумо- рительная сцена рассказовъ, какъ онъ подъѣхалъ къ директору съ каретою и сдѣлался начальникомъ отдѣленія. Аванасій Гаврилычъ Щекоткинъ даетъ полную волю своей чиновнической фантазіи и мечтаетъ о будущей жизни — не за гробомъ, а здѣсь на землѣ, и притомъ въ Коломнѣ, во всей славѣ своего новаго званія. Жена говоритъ, что надо перемѣнить квартиру; онъ отстаиваетъ старую, находя ее удобною для принятія просителей съ задняго крыльца; но жена оспариваетъ, и чиновническая чета подъ руку отправляется искать квартиры; а дочка между тѣмъ переговариваетъ изъ окна черезъ улицу съ своимъ молодымъ сосѣдомъ.

Во второмъ актѣ, вы переходите въ квартиру пѣвицы въ Гороховой улицѣ, Мамзель Дежибѣ. Она хочетъ оставить квартиру, потому что выходитъ за богатаго человѣка. Она ждетъ его къ себѣ. Вдругъ стучится режиссёръ—она прикидывается больною, не хочетъ слышать ни о бенефисѣ, ни о прибавкѣ жалованья и бѣднякъ уходитъ въ отчаяніи, что спектакль надо отложить. У мамзель Дежибѣ есть старый другъ, нѣкто г. Кутилинъ, котораго одна фамилія уже показываетъ, какого онъ поля ягодка. Пѣвицу беспокоитъ мысль о томъ, какъ ей отъ него отдѣлаться. Вдругъ стукъ—это онъ. Молодчикъ въ отчаянномъ положеніи, онъ проигрался, и объявляетъ, что женится на богатой и прекрасной невѣстѣ. Онъ ожидалъ ревности, слезъ, обмороковъ, а за ними, вѣроятно, и денегъ, но къ удивленію видитъ непритворную радость о своемъ счастьи и слышитъ совѣты не выпускать этого счастья изъ рукъ. Только что онъ началъ изъяснять свое удивленіе—вдругъ опять стукъ. Мамзель Дежибѣ, думая что это ея женихъ, умоляетъ Кутилина спрятаться въ шкафъ. Входятъ Щекоткины подъ руку. Вѣжливый начальникъ отдѣленія объясняетъ пѣвицѣ, что онъ, вопервыхъ — начальникъ отдѣленія; потомъ, что

ищетъ съ женою квартиру и, увидѣвъ на воротахъ этого дома бумажку, пришелъ посмотрѣть покои. Дежибѣ просить ихъ быть какъ у себя дома и уходить въ другую комнату. Супруги разсуждаютъ о квартирѣ, и Еленѣ Ивановнѣ приходитъ въ голову, что тутъ нѣтъ мѣста для ея гардероба. Аванасій Гаврилычъ показываетъ на шкафъ и чтобъ увѣрить жену, что онъ не малъ, открываетъ его; но, увидѣвъ тамъ человѣка, поспѣшно запираетъ шкафъ ключомъ и, забывшись, кладетъ ключъ къ себѣ въ карманъ.

Въ третьемъ актѣ, вы переноситесь въ квартиру эконома въ Грязной улицѣ. Ома Омичъ Похлебовъ выдаетъ замужъ свою дочку — у него гости, и готовъ обѣдъ; но дѣло стало за женихомъ, который не является. Раздается звонокъ — хозяинъ и гости въ радости, думая, что это женихъ; но входитъ начальникъ отдѣленія съ женою и просить позволенія осмотрѣть покои. Въ числѣ гостей онъ видитъ друга своего Петра Петровича Присыпочку. Этотъ Присыпочка нѣчто въ родѣ всемірнаго фактора, который былъ сидѣльцемъ въ лавкѣ, наряжался Татариномъ и торговалъ на нижегородской ярмаркѣ казанскимъ мыломъ; теперь онъ занимается литературою, а между тѣмъ не оставляетъ и торговыхъ спекуляцій. Онъ сладилъ свадьбу въ домѣ эконома Похлебова, нашелъ его дочери жениха съ золотыми горами; онъ же прискалъ Щекоткину и благодѣтельную карету. Онъ суетливъ, вертлявъ, безпокоенъ. Узнавъ друга своего Щекоткина, Присыпочка рекомендуетъ его Похлебову; тотъ проситъ хлѣба-соли откусать. Вдругъ звонокъ — общее волненіе — думаютъ: женихъ! — Но входитъ горничная мамзель Дежибѣ и требуетъ у Щекоткина ключа, говоря ему разныя грубости, называя его тѣмъ воромъ, о которомъ напечатано было въ «Полицейской Газетѣ», что онъ ходитъ по домамъ подъ видомъ осмотра квартиръ. При такомъ афронтѣ начальникъ отдѣленія приходитъ въ негодованіе, и

горничная убѣгаетъ; всѣ въ волненіи. Щекоткинъ рассказываетъ исторію ключа, и всѣ успокоиваются. Опять звонокъ — о восторгъ! — женихъ! — голодные гости безъ ума отъ радости, хозяинъ словно воскресъ; снова выводятъ разряженную невѣсту; но — о ужасъ! — Щекоткинъ узнаетъ въ женихѣ того молодца, котораго онъ заперъ въ шкафу пѣвицы; женихъ тоже узнаетъ Щекоткина. Объясненіе — упреки — хозяинъ выгоняетъ жениха — женихъ вызываетъ Щекоткина на дуэль — хозяинъ нападаетъ на Присыпочку за рекомендацію такого жениха — тотъ оправдывается, суетится — наконецъ хозяинъ проситъ убираться вонъ и Щекоткина. Начальникъ отдѣленія въ негодованіи уходитъ — шумъ, тревога, занавѣсъ опускается. Это самый живой актъ и живая картина мѣщанскихъ нравовъ.

Четвертый актъ называется «Квартирою Повѣсы въ Коломнѣ». Хозяинъ ея — Кутилинъ. Онъ боится быть взятымъ въ полицію за долги, хочетъ идти изъ дома и сталкивается въ дверяхъ — съ Щекоткиными. Они встрѣчаются друзьями, о дуэли ни слова; Кутилинъ проситъ ихъ осматривать квартиру сколько угодно и уходитъ. Является мамзель Дежибѣ — она, видите, знала, что Кутилина нѣтъ дома и пришла, чтобы оставить въ его столѣ письмо. Щекоткинъ, какъ старшій волокита, увивается вокругъ пѣвицы, жена его ревнуетъ. Мамзель Дежибѣ уходитъ. Щекоткинъ хочетъ ее проводить, жена тащить его за руку. Входитъ переодѣтый квартальный и, принявъ Щекоткина за Кутина, выманиваетъ его съ собою, сказавъ, что какая-то дама упала съ дрожекъ, — и Щекоткинъ, думая, что это Дежибѣ, уходитъ съ нимъ, а жену оставляетъ.

Въ пятомъ дѣйствіи, мы снова возвращаемся въ квартиру важнаго человѣка въ Коломну. У дочери важнаго человѣка гость — г. Кутилинъ; онъ снова обратился къ своей хорошень-

кой сестрѣ, съ которою переговаривался изъ окна черезъ улицу, вида, что Дежибѣ его оставила, а женитьба на дочери эконома разстроилась. Разумѣется, они говорятъ о любви своей, — и въ ту минуту, какъ Кутилинъ на колѣняхъ цѣлуетъ ручку Лизаньки, входитъ Щекоткинъ. Кутилинъ приходитъ въ бѣшенство отъ этого докучнаго преслѣдованія и хочетъ выгнать Щекоткина вонъ, не зная, что онъ хозяинъ дома и отецъ его возлюбленной. Входятъ Елена Ивановна и Петръ Петровичъ Присыпочка. Дѣло объясняется. Присыпочка давно уже сваталъ Лизаньку за жениха съ золотыми горами, т. е. за Кутилина. Кутилинъ выпрашиваетъ у Щекоткина прощеніе; Щекоткинъ и жена его, боясь развивающейся въ дочери страсти смотрѣть на гусаровъ и казаковъ, рѣшаются отдать ее за жениха съ золотыми горами...

О піесѣ г. Кони, какъ о произведеніи искусства нечего и говорить. Гораздо лучше просто поблагодарить его за его веселую шутку, которая такъ забавляетъ петербургскую публику. Кто смѣется, тотъ счастливъ на ту минуту; а на піесу г. Кони нельзя смотрѣть безъ веселаго хохота — такъ удачно она придумана и такъ прекрасно она выполняется. Гг. Ленскій и Кони стоятъ цѣлою головою выше другихъ нашихъ водевилистовъ.

Первый недавно забавлялъ публику обѣихъ столицъ своимъ «Львомъ Гурычемъ Синичкинымъ»; второй забавляетъ теперь здѣшнюю публику своими «Петербургскими Квартирами»; желаемъ отъ души, чтобы они оба не уставали въ соревнованіи. Последняго просимъ обращать больше вниманія на чиновническій бытъ: это окіянь-море комическаго. Конечно, черезъ это его піесы много потеряютъ цѣны въ Москвѣ, гдѣ петербургскій чиновническій бытъ — совершенно чуждая сфера жизни, но за то, въ Петербургѣ, его успѣхи будутъ тѣмъ блестяще и неоспоримѣе.

ДОННА ЛУИЗА, ИНФАНТА ПОРТУГАЛЬСКАЯ, историческая драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, съ хорами и танцами, соч. Р. М. Зотова (сюжетъ взятъ изъ повѣсти гжи Рейбо).

Вотъ это хорошо! Если, съ одной стороны, отчаянная отвага взятыя за историческую драму, да еще въ стихахъ, хотя впрочемъ и съ пустозвонно-трескучими эффектами, покажется довольно странною, чтобъ не сказать смѣшною, когда вспомнимъ имя сочинителя; — за то, какъ не похвалить его за искренность: другіе, какъ, напримѣръ, вышеозначенный г. В. Строевъ, изъ разговоровъ повѣсти сшиваютъ драму и выдаютъ ее за произведеніе собственнаго генія, а г. Зотовъ прямо указываетъ на повѣсть, изъ которой поживился онъ сюжетомъ... Охъ, эти сюжетцы! солоны они нашимъ господамъ сочинителямъ! Дайте имъ только сюжетецъ, а то ужъ они начнутъ писать со всего размаха; но если надобно имъ самимъ «сюжетъ сочинить» — тутъ ихъ творческая фантазія спотыкается, нѣмбеть... Бѣдные сочинители!...

Перваго дѣйствія исторической драмы г-на Р. М. Зотова мы, виноваты, не знали: обстоятельство, которое насъ сначала было насъ раздосадовало, но послѣ развеселило: мы скоро замѣтили, что ничего бы не потеряли, еслибъ пропустили и всѣ четыре первые акта, ибо все дѣло въ пятомъ. Во второмъ актѣ мы увидѣли какого-то дона Себастіана, который въ скрипучихъ, тяжелыхъ стихахъ говоритъ о томъ, что онъ освободился изъ плѣна отъ африканскихъ варваровъ, что онъ задастъ себя знать Филиппу II, который осмѣлился объявить его погибшимъ въ Африкѣ и завоевать Португалію. Затѣмъ онъ объявилъ доннѣ Луизѣ, своей невѣстѣ, что онъ ее «обо-жаетъ»; а она ему отвѣтила, тоже въ дубовыхъ стихахъ, что она его «боготворить». Вдругъ входитъ какой-то господинъ и кричитъ, чтобы они спасались, ибо-де войско Филиппа II близко. Донъ Себастіанъ больно осерчалъ на него, схватилъ

его за волосы, да какъ вскрикнетъ: «Ахъ, ты мошенникъ! какъ ты смѣешь совѣтывать мнѣ бѣжать, какъ-будто я трусъ какой!» Человѣкъ съ десятокъ — кто съ шпагой, кто съ пикой, кто въ альмавивѣ, а кто просто въ курткѣ — и между ими двѣ или три дѣвочки — бросаются на колѣни и кричатъ: «Многая лѣта батюшкѣ нашему Себастіану Петровичу!» и уходятъ. Не успѣли они скрыться за дверьми, какъ вдругъ входитъ герцогъ Альба — человѣкъ довольно высокаго роста, порядочно дородный, съ рыжею бородою, съ павлиньею выступкою, и хриплымъ голосомъ, сермяжными стихами, переважно размахивая руками, объявляетъ доннѣ Луизѣ, что она его плѣнница, что онъ сейчасъ разбилъ португальское войско и убилъ самозванца, принявшаго на себя имя дона Себастіана. Донна Луиза сперва было разохалась, но герцогъ Альба объявилъ ей, что онъ, какъ человѣкъ военный и чрезвычайно храбрый, жѣлать не любитъ. Они уходятъ.

Въ третьемъ актѣ мы видимъ Филиппа II. Ему докладываютъ, что королева умираетъ, а онъ отвѣчаетъ, что не замедлитъ явиться къ ея величеству, когда наступитъ определенный испанскимъ церемоніаломъ часъ. Является герцогъ Альба, доноситъ Филиппу о побѣдѣ, и говоритъ, что донъ Себастіанъ скрывается подъ ложнымъ именемъ между плѣнниками, которые рѣшились его не выдавать. Филиппъ велитъ привести къ себѣ донну Луизу и, увидѣвъ ее, влюбляется въ нее напропалую и принимаетъ намѣреніе во что бы ни стало жениться на ней. Вдругъ входитъ въ кабинетъ умирающая королева: какъ она встала съ одра смерти, какъ ее допустили въ кабинетъ грознаго тирана, не предупредивъ его, — все это тайна талантливаго сочинителя, Р. М. Зотова. Королева, чувствуя, что ей остается жить только нѣсколько минутъ, хочетъ ими воспользоваться вполне, чтобъ вдоволь наговориться, и начинаетъ нести китайскую мораль осиновыми сти-

хами, а потомъ умираетъ на сценѣ. Болтунья была покойница, не тѣмъ будь помянута. — Король становится на колѣни и молится; за нимъ молятся и всѣ придворные — занавѣсъ опускается.

Въ IV актѣ, донна Луиза еловыми стихами разговариваетъ съ своею наперсницею и подругою въ плѣну, донною Лаурою д'Авейро. Входитъ садовникъ и молча перемѣняетъ цвѣты; въ этихъ цвѣтахъ донна Луиза увидѣла записку и прочла въ ней совѣтъ согласиться на всѣ предложенія Филиппа, но только за это просить, чтобы онъ женился на доннѣ Лаурѣ д'Авейро плѣнника дона Гуана де-Пота и тотчасъ позволилъ имъ отправиться въ Португалію, или куда они захотятъ сами, со всѣми прочими плѣнниками. Донна Луиза такъ и сдѣлала; но Филиппъ догадывается, что это съ ея стороны хитрость, которою она хочетъ спасти дона Себастіана, ненавистнаго его соперника по португальскому престолу и по любви къ доннѣ Луизѣ. Тутъ слѣдуетъ пресмѣшная сцена: Филиппъ изъясняется въ любви, какъ настоящій герой «мѣщанской комедіи», потомъ велитъ привести одного плѣнника, который объявляетъ себя дономъ Себастіаномъ. Донна Луиза умоляетъ его отказаться отъ своего имени и своихъ притязаній на престолъ и ея руку, чтобы спасти всѣхъ плѣнныхъ; донъ Себастіанъ колеблется, но наконецъ подписываетъ свое отреченіе. Филиппъ обѣщаетъ даровать ему и плѣнникамъ жизнь и отпустить ихъ, а доннѣ Луизѣ возвѣщаетъ, что завтра ихъ свадьба. Занавѣсъ опускается въ четвертый разъ.

Въ V-мъ актѣ, Филиппъ, разряженный, сидитъ на тронѣ съ донною Луизою, также разряженною. Вокругъ ихъ придворные. Вдругъ вбѣгаютъ дѣвушки и юноши и начинаютъ отплясывать фанданго, а придворные поютъ во все горло какую-то цыганскую пѣсню. По окончаніи дивертисмана, донна Луиза говоритъ, что прежде, нежели пойдетъ въ церковь вѣнчаться,

она хочетъ проститься съ донною Лаурою д'Авейро и видѣтъ отплытіе корабля; Филиппъ соглашается, и она уходитъ. Герцогъ Альба упрекаетъ Филиппа, какъ въ слабости, въ томъ, что онъ отпустилъ донна Себастіана. Филиппъ ему говоритъ, что его не надуешь, и велитъ донну Эстувалью, измѣннику-Португальцу, привести донна Себастіана, что тотъ и выполнилъ сію же минуту. Донна Луиза возвращается, закрытая вуалемъ, смотритъ въ окно, и услышавъ пушечные выстрѣлы, возвѣщающіе отъѣздъ корабля, становится на колѣни и молится; потомъ сдергиваетъ съ себя вуаль, — и Филиппъ видитъ въ ней донну Лауру. Дѣло въ томъ, что донъ Эстуваль для того и прикинулся измѣнникомъ противъ донна Себастіана, чтобы тѣмъ лучше служить ему, а донъ Гуанъ де-Пота съ тою же цѣлю назвался дономъ Себастіаномъ, вслѣдствіе чего донна Луиза съ дономъ Себастіаномъ благополучно и уѣхали. Филиппъ велитъ за ними гнаться; но ему говорятъ, что нѣтъ на готовѣ ни одного корабля. Онъ спрашиваетъ герцога Альбу—какую-де казнь надо назначить доннамъ Эстувалью и Гуану де-Пота и доннѣ Лаурѣ? Герцогъ Альба отвѣчаетъ во всей свирѣпой красотѣ своего злодѣйскаго величія, что ихъ должно сжечь живыхъ. «Мало! восклицаетъ Филиппъ II-й: «Я удивлю, весь свѣтъ моимъ мщеніемъ!»—и прощаетъ добродѣтельныхъ преступниковъ. Они цѣлуютъ его руки, а онъ резонёрствуетъ, въ длинной рѣчи и свинцовыми стихами, о томъ, что оные три преступника—образцы истинно-благородныхъ подданныхъ, и что всѣ Испанцы должны имъ подражать. Занавѣсъ опустился—публика проснулась; однако, противъ своего обыкновенія, никого не вызвала.

Главное отличіе драмы г. Зотова отъ повѣсти г-жи Ребо, напечатанной подъ названіемъ «донны Луизы» въ одномъ изъ русскихъ журналовъ 1838 года, состоитъ въ томъ, что въ повѣсти есть смыслъ, правдоподобіе и даже интересъ. Второе

отличіе, имѣющее къ первому большое отношеніе, состоитъ въ томъ, что у г-жи Ребо, донна Луиза спасается отъ Филиппа, только ни на кораблѣ, а въ монастырѣ, и то согласно съ его же волею, и умираетъ монахиней, а участь донна Себастіана остается неразгаданною, т. е. неизвѣстно, умеръ ли онъ, истомившись въ плѣну у Филиппа II, или былъ имъ казненъ; тогда какъ въ драмѣ Р. М. Зотова оба они спасаются, а Филиппъ остается съ носомъ, изъ тирана дѣлается резонёромъ и отъ нечего дѣлать точить китайскую мораль, достойную какого-нибудь мандаринскаго журнала. Вообще, эти «нѣкоторыя черты изъ жизни Филиппа II» носятъ на себѣ всѣ родовые признаки неподражаемаго таланта своего сочинителя...

ТИГРОВАЯ КОЖА. *Водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. ****

Пошло на повѣсти въ журналахъ! Скоро ихъ всѣ переделаютъ въ драмы и водевили. А все, какъ говорили мы, отъ неумѣнія нашихъ «сочинителей» выдумывать «сюжеты». Незвѣстный «господинъ-сочинитель» не даромъ скрывается подъ тремя звѣздочками: ему было бы стыдно показаться въ свѣтъ подъ своимъ собственнымъ именемъ, ибо водевиль «Тигровая Кожа» отнюдь не есть его сочиненіе, но есть искаженіе повѣсти Шарля Бернара «Львиная Кожа», напечатанной въ IV книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» нынѣшняго года. Это обстоятельство увольняетъ насъ отъ обязанности рассказывать содержаніе водевиля. Замѣтимъ одно: что въ повѣсти правдоподобно, естественно, интересно, прилично, — въ водевилѣ невѣроятно, неестественно, скучно, вульгарно. Въ повѣсти «левъ» Рауль Тонеріонъ — человѣкъ порядочнаго тона, и хотя лжетъ, но все же заботясь о правдоподобіи; въ драмѣ, Левъ Дмитріевичъ Змѣйскій, играющій его роль, — какой-то сорванецъ, котораго дальше лакейской не пустятъ ни въ одинъ порядочный домъ, и который лжетъ какъ простофиля. Въ во-

желалъ выдать перекладъ на русскіе язы. которые столько же близки къ русскимъ, сколько японскіе языки къ французскимъ. Конечно, мы думали было, что невозможно и воспроизвести ничего великаго «Титровъ Кюжи», какъ вдругъ сама действительность утвердила насъ въ противномъ. Когда мы увидѣли —

ПЕРВОЕ ДѢЙСТВІЕ КОНЧИТЪ: НОВЫЙ НЕГОРОСЛЬ. Въ одну картину, сочиненіе С. П. Навроцкаго.

Г. Навроцкій какъ-то догадался, что Митрофанушки, Простяковы и Скотинники Фонтъ-Визека будто бы не умерли и не переселись на святой Руси, но только здравствуютъ подъ другими формами. — и его комедія, какъ «сочинительская» домыслила, лучше всего доказываетъ действительность этого предположенія. (Обрадовавшись своему открытію, г. Навроцкій задумалъ написать «моральную комедію», разумеется, въ китайскихъ нравахъ и въ китайскомъ духѣ, потому что всѣ моральныя комедіи пишутся въ китайскихъ нравахъ и въ китайскомъ духѣ. Какъ же пишутся моральныя комедіи? спросите вы. По слѣдующему рецепту: представь опекуна или опекунину, которые были бы негодны, а у нихъ подл опекою сироту, на которой опекунъ хочетъ самъ жениться ради ея имѣнія, или которую опекунина хочетъ выдать за своего сына, дурака и негодяя. Дѣвица-сирота должна быть идеаломъ китайскихъ достоинствъ въ женщинѣ, т. е. она должна говорить сентенціи и дѣйствовать по правиламъ добродѣтели и нравственности, заученнымъ ею въ азбукѣ наизусть, и потому нисколько ею нечувствуемымъ. Разумеется, у ней есть любовникъ, который въ старину обыкновенно назывался *Милымомъ*, а нынѣ можетъ называться хоть Правдиннымъ. Онъ кончилъ курсъ въ университетѣ, имѣетъ ученую степень и служитъ столоначальникомъ въ земскомъ судѣ: условіе *sine qua non*. Не имѣаетъ тутъ же

ввести какого-нибудь глупца и негодяя, помѣщика стариннаго закала, т. е. грубіяна и скрягу, который тоже привѣтливо по-сматриваетъ на приданое очаровательной резонёрки. Но всего лучше сначала представить милую резонёрку бѣдною дѣвушкою безъ всякихъ надеждъ, которая страдаетъ отъ невѣжества и грубости, безнравственности и угнетеній семейства, въ которомъ живетъ по необходимости, и которую можно назвать именемъ знаменитаго романа А. А. Орлова, «угнетенною невинностью, или...» и проч. Вдругъ она получаетъ богатое наслѣдство отъ какого-нибудь дяди-резонёра, безъ вѣсти пропадавашаго до того времени. Мать Митрофанушки ссорится съ Скотиннымъ и подличаетъ передъ сироткою; но та, наговоривъ короба съ три китайско-азбучныхъ сентенцій, отдаетъ свою руку и сердце г. Правдину, — и они оба начинаютъ взапуски резонёрствовать, такъ что, когда занавѣсъ опускается, публика уже погружена въ глубокій магнетическій сонъ.

По такому рецепту написана такъ называемая комедія г. Навроцкаго, — и если читатели прочли нашъ рецептъ, имъ извѣстно содержаніе оной такъ называемой комедіи. Чтобъ дать лучшее о ней понятіе укажемъ на главнѣйшую характеристическую черту ея. Къ Софѣ, героинѣ-резонёркѣ комедіи, заѣзжаетъ ея пріятельница, вмѣсто всякаго имени, означенная остроумнымъ «сочинителемъ» дробью $\frac{1}{2}$. Она дѣвица $\frac{1}{2}$ — извольте видѣть, — является въ амазонскомъ костюмѣ, сейчасъ съ лошади, на которой каталась. Что же дурнаго, скажете вы, что дѣвушка ѣздитъ въ женскомъ сѣдлѣ? — это принято въ лучшемъ кругу общества во всѣхъ европейскихъ земляхъ... Да то, извольте видѣть, въ образованныхъ, живыхъ обществахъ, но въ моральномъ Китаѣ это обыкновеніе считается безнравственнымъ; почему г. Навроцкій, какъ моральный «сочинитель», и рѣшился «хорошенько окритиковать это обыкновеніе въ своей литературѣ». Для этого онъ заста-

вляеть дѣвицу курить уже не пахитоски, а крѣпкія сигары. Жаль, что онъ не заставилъ ея пить водку и по-кучерски браниться: оно было бы неправдоподобно и пошло, за то очень нравственно. Мы крѣпко запомнили изъ этой сцены два монолога.

Давида $\frac{1}{2}$. Bon jour, m-me! ... Bon jour, m-g! ... (*цалуетъ Софью*) ah, Sophie, bon jour! не хочешь ли кататься вмѣстѣ со мною: я велѣла и для тебя привести верховую лошадь.

Софья. Благодарю. Дѣвущкѣ моего состоянія совѣтъ не кстаетъ наряжаться въ полумужскую одежду и рыцарствовать на конѣ: это все равно, что мушкетрѣ надѣть чепчикъ и сѣсть за самопрялку...

Видите, какая нравственная! Хотя сейчасъ въ жены любому китайскому мандарину первой степени съ тремя бубенчиками на головѣ, который выучилъ философію Конфуція и книгу о десяти тысячахъ церемоній, и, сдѣлавшись губернаторомъ въ Кантонѣ, покровительствуетъ за взятки контрабанду опиумомъ (извѣстное дѣло: Китайцы самый моральный народъ и первѣйшіе взяточники въ мірѣ, ибо взяточничество и нравственность у нихъ одно и то же, потому что, говорятъ они, не бравши взятокъ, нельзя быть хорошимъ супругомъ и отцомъ семейства).

Впрочемъ, г. Правдинъ, въ котораго влюблена Софья, и который «обожаетъ» оную нравственную дѣвицу, стѣбалъ бы любви китайскаго мандарина, еслибъ не былъ отиѣнно глупъ: представьте себѣ, онъ вѣритъ всему, что говоритъ, т. е. всѣмъ своимъ сентенціямъ. Экой простажъ! Видно, что онъ еще не знаетъ, что такое философія Конфуція и книга о десяти тысячахъ церемоній!...

Много на русской сценѣ появляется нелѣпостей, но «Новый Недоросль» г. Навроцкаго превосходитъ всѣ эти нелѣпости цѣлою головою. Это просто—геркулесовскіе столбы бездарности, дагѣ которыхъ она не держаетъ...

ТАЙНА МАТЕРИ. *Комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи, переводъ съ французскаго.*

У г-жи д'Эльби есть дочь шестнадцати лѣтъ и есть братъ лѣтъ пятидесяти — предобрый человѣкъ, но онъ любитъ церемоніи и считаетъ себя большимъ дипломатомъ. Онъ просваталъ свою племянницу за полковника Дальвиля, пожилаго человѣка. Дочка соглашается на этотъ бракъ, который занимаетъ ее какъ новость, какъ обнова, или игрушка. Она забываетъ для него даже того молодого человѣка, котораго «обожала» и который тщетно напоминаетъ ей о себѣ черезъ Жоржа стараго садовника. При свиданіи съ женихомъ своей дочери, г-жа д'Эльби обнаруживаетъ смущеніе, которое раздѣляетъ и полковникъ Дальвиль. Она подарила дочери свои брильянты и золотыя вещи. Открывъ одинъ медальонъ, дочь находитъ тамъ портретъ полковника, рисованный самою матерью, догадывается о ея отношеніяхъ къ полковнику и рѣшается открыть все дядѣ, чтобы соединить мать свою съ предметомъ ея любви. Оказывается, что полковникъ любилъ мать, когда еще она было шестнадцатилѣтнею дѣвушкою, просилъ черезъ опекуна ея руки: но опекунъ, желая на ней жениться самъ, чтобы завладѣть ея имѣніемъ, отвѣчалъ ему, что она не соглашается выйти за него замужъ. Водевиль оканчивается тѣмъ, что полковникъ женится на матери своей бывшей невесты, а невеста обращается къ своему прежнему любезному. При хорошей игрѣ артистовъ, этотъ водевиль довольно забавенъ.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОКТОРЪ. *Комедія-водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ, переводъ съ французскаго.*

Мелодрама въ новѣйшемъ вкусѣ, т. е. съ трогательными куплетами въ приличныхъ мѣстахъ. Изъ всѣхъ родовъ ложной поэзіи, самый несносный родъ эти мелодрамы!

Была-жила старая маркиза Вильзевъ, у которой былъ внукъ Фердинандъ. Не знаемъ, почему живущій вѣстѣ съ нею

баронъ д'Эстре, съ женою своею, баронессою д'Эстре, называютъ ее маменькою, т. е. не знаемъ, баронъ ли ея сынъ, или баронесса ея дочь; равно какъ не умѣемъ объяснить и того, почему Фердинандъ называетъ барона своимъ дядею, а баронессу теткою. Неподалеку отъ ихъ замка живетъ деревенскій докторъ, г. Морицъ, благотѣльнѣйшій человекъ и большой оригиналъ. У него живетъ домоправительница, молодая дѣвушка, Лидія. Дѣла въ такомъ положеніи: Фердинандъ любитъ Лидію и, въ отсутствіе доктора, учитъ ее читать и писать; Лидія тоже любитъ Фердинанда, но сама того не зная по дѣтской своей невинности. Лидію любитъ еще Гросбетъ, скороходъ маркизы и ужасный дуралей. Онъ проситъ у г. Морица ея руки, и тотъ совѣтуетъ Лидіи за него идти, «потому-что», говоритъ онъ: «вѣдь тебѣ надо же когда-нибудь выходить замужъ». Лидія соглашается потому только, что для нея все равно, выходить или не выходить замужъ. Узнавъ объ этомъ обстоятельстве, маркизъ Фердинандъ уговариваетъ ее прійти въ назначенное время. Вдругъ раздается голосъ г. Морица, и Фердинандъ, не желая съ нимъ встрѣтиться въ его домѣ, уходитъ въ павильонъ. Покойная мать Лидіи, на смертномъ одрѣ своемъ, дала ей письмо для врученія г. Морицу, а съ этимъ письмомъ воспослѣдовала такая исторія: когда бѣдная сиротка Лидія, во всемъ мірѣ только и надѣявшись на одного человека, г. Морица, подала ему письмо матери, то онъ, увидѣвъ почеркъ адреса, застоналъ и упалъ въ обморокъ; Лидія спрятала это письмо, и какъ г. Морицъ забылъ о немъ совершенно послѣ обморока, то она и не напоминала ему о немъ, боясь такой же исторіи. Каково же ей было вдругъ услышать отъ г. Морица приказаніе отыскать свои бумаги, которые необходимы для заключенія ея брака съ Гросбетомъ, и между которыми лежало роковое письмо! Несмотря на всѣ ея отговорки, бумаги найдены, роковое письмо открыто, докторъ реветъ и стонетъ,

кричить Лидіи, чтобъ она вышла изъ его дома. Дѣло въ томъ, что нѣкогда, во дни своей молодости, г. Морицъ любилъ мать Лидіи, и когда хотѣлъ на ней жениться, она бросила его и убѣждалась однимъ негодяемъ, который, разумѣется, скоро бросилъ ее, и она умерла въ нищетѣ и мученіяхъ преступной совѣсти, а чтобъ спасти отъ голодной смерти дочь свою, увидѣла себя принужденною обратиться къ оскорбленному ею г. Морицу. Лидія падаетъ предъ нимъ на колѣни, рыдаетъ; онъ смягчается, ласкаетъ ее, цѣлуетъ. «Такъ вотъ какую участь готовилъ и я ей!» восклицаетъ маркизъ Фердинандъ, вбѣгая изъ павильйона въ комнату, гдѣ были Морицъ и Лидія. Вдругъ приходитъ Гросбетъ и объявляетъ, что пріятели г. маркиза Фердинанда хотятъ увезти Лидію, и ждутъ ее съ каретою. Морицъ хочетъ идти усовестить ихъ. «Не ходите—восклицаетъ Фердинандъ — я переговорю съ ними, и они послушаются меня». — Когда же мы увидимся? — спрашиваетъ Лидія. «Никогда!» отвѣчаетъ Фердинандъ, убѣгая. Первый актъ кончился на самомъ эффектномъ мѣстѣ.

Во второмъ актѣ, Фердинандъ болѣнъ при смерти; бабушка его въ отчаяніи, подъ которое стараются подладить баронъ и баронесса. Докторъ Морицъ въ замкѣ. Догадываясь, что причина болѣзни маркиза нравственная, онъ хочетъ ее вывѣдать. Хотя Фердинандъ и при смерти болѣнъ, однакожъ это непріятное обстоятельство не мѣшаетъ ему выйти на сцену въ халатѣ, съ черными усами и блѣднымъ лицомъ. Онъ поетъ доктору, что тайна его болѣзни съ нимъ и умереть. Вдругъ вбѣгаетъ Лидія; Фердинандъ трепещетъ, дикимъ голосомъ вскрикиваетъ: «она!» и Лидія скрывается прежде, чѣмъ докторъ замѣтилъ ее, и почти въ то же мгновеніе входитъ баронесса, изъ чего г. Морицъ и заключаетъ, что Фердинандъ влюбился въ свою тетку. Онъ открываетъ это барону, а баронъ, по своей чрезвычайной глупости, тотчасъ же объявляетъ о томъ женѣ, кото-

рая радехонька этой любви. Докторъ просить ее подѣлать къ больному и поговорить съ нимъ, но замѣчаетъ, что тотъ говорить съ нею спокойно, безъ малѣйшаго волненія. Вдругъ баронесса заговариваетъ съ больнымъ, кажется, о чепцѣ своемъ, и, хваля его, говоритъ, что онъ сдѣланъ Лидією. Фердинандъ начинаетъ плакать и хвалить Лидію, вскакиваетъ съ мѣста, какъ здоровый, машетъ руками. Докторъ понялъ, кого онъ любитъ, и тотчасъ же поспѣшилъ ему сказать, что Лидія уже обвинена съ Гросбетомъ. Больной упадаетъ въ обморокъ, маркиза бабушка вопить на весь домъ, баронъ и баронесса суетятся и кричатъ. Наконецъ они уводятъ больного. Докторъ объявляетъ маркизѣ, что причина болѣзни ея внука—любовь къ дѣвушкѣ незнатнаго происхожденія; маркиза заливается слезами и падаетъ въ обморокъ отъ одной мысли объ этомъ. Входитъ Лидія, и докторъ отсылаетъ поскорѣе ее домой, будто-бы для того, чтобъ она отыскала въ его бумагахъ и принесла ему двѣ консультаціи. Онъ уходитъ во внутренніе покои, а больной выходитъ на сцену. Не успѣлъ онъ поораторствовать и десяти минутъ, какъ входитъ Лидія — начинаются крики, вопли, стоны, слезы. Фердинандъ говоритъ ей, чтобъ она ушла; затѣмъ объясненіе, и онъ узнаетъ, что она не только не вышла за Гросбета, но и совсѣмъ не хочетъ выходить за него, замѣтивъ, что это Фердинанду почему-то непріятно. Развязка ясна для cadaго; послѣ разныхъ вздоховъ, оховъ, аховъ, слезъ старой маркизы, плачущаго пѣнья великодушнаго доктора, — Лидія дѣлается женою Фердинанда. Но не всякій можетъ догадаться, что Лидія—дочь барона д'Эстре, подъ ложнымъ именемъ обольстившаго, мать ея, о чемъ докторъ узналъ изъ восклицанія старой маркизы. Разумѣется изъ этого вышла трогательная сцена: великодушный докторъ умоляетъ глухаго барона признать Лидію своею дочерью, а глупый баронъ чуть не умираетъ отъ одной мысли объ этомъ, хотя по

своему и растрогивается. Великодушный доктор уладил все дѣло: вмѣсто консультацій, Лидія принесла ему его прежній дипломъ, чуть ли не графскій, а которымъ онъ и забылъ было, вмѣстѣ съ прежнимъ своимъ именемъ, которое было извѣстно свѣту и самому Наполеону во время египетской экспедиціи; докторъ, пользуясь этимъ случаемъ, объявляетъ Лидію своею дочерью.

Эффектная штука — нечего сказать! Дѣйствующія лица въ ней, какъ и во всѣхъ дюжинныхъ произведеніяхъ такого рода, говорятъ о себѣ и о своихъ чувствахъ прямо, утвердительно и опредѣлительно, не оставляя зрителю ничего угадывать изъ молчанія, изъ взора, украдкою брошеннаго, изъ недоговореннаго слова, едва замѣтнаго движенія... Тутъ все ярко, красно, густо, аляповато, топорно, да и чувства у самихъ идеальныхъ-то фигуръ такія аляповатыя и топорныя...

ДВА ВЪНЦА. *Комедія въ одномъ дѣйствіи, переведенная съ французскаго А. Ж.*

Тоже мелодрама, и притомъ просто, безъ всякихъ околичностей и оговорокъ, пошлая и нелѣпая. «Деревенскій Докторъ» по крайней мѣрѣ на сценѣ можетъ имѣть свое относительное достоинство, при хорошей игрѣ артистовъ: но «Два Вѣнца», и въ чтеніи и на сценѣ, и при хорошей и при дурной игрѣ, все-таки останутся пустою выдумкою.

Дѣйствіе въ Англіи. У бѣдной вдовы Анны есть дочка Жаннета, которая любитъ Ричарда (безъ фамиліи), а онъ Ричардъ, сирота и подкидышъ, у нихъ же и живущій. Ричардъ поэтъ, и потому говоритъ, надутю, фразисто, высокопарно, дико и непонятно. Онъ написалъ драму и отдалъ ее на театръ, гдѣ она сейчасъ же и должна играть. Въ ней онъ представилъ самого себя и изложилъ исторію своей жизни, въ надеждѣ пробудить этимъ въ сердцѣ своей матери материнское чувство

и заставить ее открыться. Вдруг приходит лордъ Станлей и предлагаетъ ему 5, 10, 25 тысячъ фунтовъ стерлинговъ, съ тѣмъ, чтобы онъ взялъ назадъ свою драму, чрезъ которую обнаружится скандалѣзная тайна знатной женщины. Какъ узнали эти люди о содержаніи драмы, которая еще не была игра-на; какъ можетъ черезъ драму обнаружиться тайна женщины—объ этомъ не спрашивайте. Въ отвѣтъ лорду Станлею, Ричардъ читаетъ, словно по тетрадкѣ, высокопарную дичь, изъ которой можно разобрать только, что ему нужны не деньги, не ласки и любовь матери. Піеса имѣла огромный успѣхъ; Ричардъ является на сцену—въ чемъ бы вы думали? въ лавровомъ вѣнкѣ... право! Онъ признается Жаннетѣ въ своей любви, предлагаетъ ей руку и сердце, и объявляетъ ей и ея матери, что не хочетъ знать своей родни, которая отвергла его, но проведетъ весь свой вѣкъ съ ними—бѣдняжки въ восторгѣ, плачутъ и кричатъ. Входитъ лордъ Станлей и объявляетъ Ричарду, что его мать признаетъ его сыномъ и ждетъ въ свои объятія; но Ричардъ понесъ опять высокопарную дичь, изъ которой явствуетъ, что онъ ужъ не хочетъ и знать своей матери, которая не хотѣла думать о немъ, безвѣстномъ сиротѣ, а теперь зоветъ къ себѣ великаго поэта съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ. Для оживленія и связи этой скучной, вялой піесы, введены два совершенно лишнія лица: Даніель Гопперъ и Виллисъ.

ЗАДУШЕВНЫЕ ДРУЗЬЯ. *Комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи, переводъ съ французскаго П. С. Федоровымъ.*

Пустой фарсъ, который, впрочемъ, при хорошей игрѣ актеровъ, довольно забавенъ на сценѣ. Двое чудаковъ пріятелей ревнуютъ своихъ женъ къ своему третьему пріятелю—молодому и холостому. Тотъ, за женою котораго дѣйствительно ухаживаетъ молодчикъ, возбуждаетъ ревность въ своемъ пріа-

тебѣ съ тою цѣлю, чтобъ онъ отдалилъ его отъ ихъ домовъ. Послѣ разныхъ, довольно нелѣпыхъ столкновений, одинъ изъ нихъ уступаетъ ему свое мѣсто, которое ему самому не дешево обошлось, но которое требуетъ, чтобы занявшій его уѣхалъ въ другой городъ. Вотъ и все. Чтò-то знакомое... Кажется, это — старая погудка на новый ладъ.

2.

Театръ! театръ! какимъ магическимъ словомъ былъ ты для меня во время оно! какимъ невыразимымъ очарованіемъ потрясалъ ты тогда всѣ струны души моей, и какіе дивные аккорды срывалъ ты съ нихъ!... Въ тебѣ я видѣлъ весь міръ, всю вселенную, со всѣмъ ихъ разнообразіемъ и великолѣпіемъ, со всею ихъ заманчивою таинственностію! Чтò передъ тобою былъ для меня и вѣчно-голубой куполъ неба, съ своимъ свѣтозарнымъ солнцемъ, блѣдноликою луною и міриадами томно-блестящихъ звѣздъ, — и угрюмо-безмолвные лѣса, и зеленые рощи, и веселые поля, и даже само море, съ своею тяжело-дышащею грудью, съ своимъ немолчнымъ говоромъ валовъ и грустнымъ ропотомъ волнъ, разбивающихся о неприступный берегъ?... Твои тряпичныя облака, масляное солнце, луна и звѣзды, твои холстинныя деревья, твои деревянные моря и рѣки, больше пророчили жадному чувству моему, больше говорили томящейся ожиданьемъ чудесъ душѣ моей!... Такъ сильно было твое на меня вліяніе, что даже и теперь, когда ты такъ обманулъ, такъ жестоко разочаровалъ меня, даже и теперь этотъ, еще пустой, но уже ярко-освѣщенный амфитеатръ, и медленно собирающаяся въ него толпа, эти несклад-

ные звуки настраиваемыхъ инструментовъ, — даже и теперь все это заставляетъ трепетать мое сердце какъ бы отъ предчувствія какого-то великаго таинства, какъ бы отъ ожиданія какого-то великаго чуда, сейчасъ готоваго совершиться передъ моими глазами... А тогда!... Вотъ съ послѣднимъ ударомъ смычка, быстро взвилась таинственная занавѣсь, сквозь которую тщетно рвался нетерпѣливый взоръ мой, чтобъ скорѣе увидѣть скрывающійся за нею волшебный міръ, гдѣ люди такъ не похожи на обыкновенныхъ людей, гдѣ они или такъ невыразимо добры, или такіе ужасные злодѣи, и гдѣ женщины такъ обаятельно, такъ неотразимо хороши, что, казалось, за одинъ взглядъ каждой изъ нихъ отдашь бы тысячу жизней!... Сердце бьется рѣдко и глухо, дыханіе замерло на устахъ, — и на волшебной сценѣ все такъ чудесно, такъ полно очарованія; молодое, нескушенное чувство такъ всѣмъ довольно, и, Боже мой! съ какою полнотою въ душѣ выходишь, бывало, изъ театра, сколько впечатлѣній выносишь изъ него!... Но духъ движется, растетъ и мужаешь, фантазія опережаетъ дѣйствительность; чувство горделиво оставляетъ за собою и опытъ, и разсудокъ, и возможность; въ душѣ возникаютъ неясные идеалы, и духи лучшаго міра незримо, но слышимо летаютъ вокругъ васъ и манятъ за собою въ лучшую сторону, въ лучшій міръ... Такъ и мнѣ на театрѣ сталъ мечтаться другой театръ, на сценѣ — другая сцена, а изъ-за лицъ, къ которымъ уже приглядѣлись глаза мои, стали мерещиться другія лица, съ такимъ чуднымъ выраженіемъ, такъ непохожія на жильцовъ здѣшняго, дольнаго міра... Декорація какого-нибудь совершенно невиннаго въ здоровомъ смыслѣ водевиля, представлявшаго комнату помѣщика, или чиновника, превращалась, въ глазахъ моихъ, въ длинную галлерею, на концѣ которой рисовался въ полусумракѣ образъ какой-то страстной женщины, съ прекраснымъ лицомъ, распущенными волосами и открытою

грудью. Дико вращала она вокругъ себя расширенные внутреннимъ ужасомъ зрачки свои, и, потирая обнаженною рукою другую руку, оледеняющимъ голосомъ шептала: «Прочь, проклятое пятно! прочь, говорю я! одно, два! однакожь кто могъ думать, что въ старикѣ, такъ много крови!...» То была леди Макбетъ... За нею, вдали, высился колоссальный образъ мужчины: въ рукѣ его былъ окровавленный кинжалъ, глаза его дико блуждали, а блѣдныя, посинѣлыя уста невнятно лепетали: «Макбетъ зарѣзалъ сонъ, и впредь отнынѣ ужъ не спать Макбету!...» Въ пицаніи какой-нибудь водевильной примадонны, пѣвшей куплетъ съ плоскими островами и не совсемъ благопристойными экивоками, слышался мнѣ умоляющій голосъ Дездемоны, ея глухія рыданія, ея предсмертные вопли... Въ пошломъ объясненіи какого-нибудь мелодраматическаго любовника съ плѣнившею его чиновническое сердце «барышнею», представлялась мнѣ ночная сцена, въ саду, Ромео съ Юліею, слышались ихъ гармоническія слова любви, столь полныя такого небеснаго значенія, и я самъ боялся весь улетучиться во вздохъ блаженствующей любви... То вдругъ и неожиданно являлся царственный старецъ, и съ ревомъ бури, съ грохотомъ грома, соединялъ страшныя слова отцовскаго проклятія неблагодарнымъ и жестокосердымъ дочерямъ... Чудесный міръ! въ немъ было мнѣ такъ хорошо, такъ привольно: сердце билось такимъ двойнымъ бытіемъ; внутреннему взору видѣлись вереницы такихъ свѣтлыхъ духовъ любви и блаженства, и мнѣ не доставало только другой груди, другой души — нѣжной и любящей, которой передалъ бы я мои дивныя видѣнія, и я живѣ чувствовалъ тоску одиночества, сильнѣе томился жаждою любви и сочувствія... На сценѣ говорили, ходили, пѣли; публика зѣвала и хлопала, смѣялась и шикала, — а я не глядя глядѣлъ вдаль, окруженный своими магнетическими ясновидѣніями, и выходилъ изъ театра, не пом-

ня, что въ немъ дѣлалось, но довольный своими мечтами, своимъ тоскливымъ порываніемъ... Душа ждала совершенія чуда, и дождалась... О, ежели жизнь моя продолжится еще на десять разъ во столько, сколько я уже прожилъ, — и тогда, даже въ минуту вѣчной разлуки съ нею, не забуду я этого невысокаго, блѣднаго человѣка, съ такимъ благороднымъ и прекраснымъ лицомъ, осыненнымъ черными кудрями ¹⁾, котораго голосъ то лился прозрачными волнами сладостной мелодіи, вспоминая о своемъ великомъ отцѣ, то превращался въ львиное рыканіе, когда обвинялъ себя въ позорной слабости воли, то, подобаясь бурѣ, гремѣлъ громами небесными (глаза, дотоле столь кроткіе и меланхолическіе, бросали изъ себя молнии), когда, по открытіи ужасной тайны братоубійства, онъ потрясалъ огромный амфитеатръ своимъ нечеловѣческимъ хохотомъ, а зрители сливались въ одну душу, и — то съ испуганнымъ взоромъ, затаивъ дыханіе, смотрѣли на страшнаго художника, то единодушными воплями тысячей восторженныхъ голосовъ, единодушнымъ плескомъ тысячей рукъ въ свою очередь заставляли дрожать своды зданія!... Увидѣлъ я и его — того чернаго Мавра, того великаго ребенка, который, полюбивши, не умѣлъ назначить границъ своей любви, а предавшись подозрѣнію, шелъ, не останавливаясь до тѣхъ поръ, пока не палъ его жертвою, истребивъ проклятою рукою лучший благоуханнѣйшій цвѣтокъ, какой когда-либо цвѣлъ подъ небомъ... О, и теперь еще возмущаютъ сонъ мой эти ужасныя тихо сказанныя слова. «Что ты сдѣлала, безстыдная женщина! что ты сдѣлала?...» Какъ и тогда, вижу передъ собою этотъ гордый, низверженный грозою дубъ, когда колеблющимися шагами, съ блуждающимъ взоромъ, то подходилъ онъ къ своей уже безответной жертвѣ, то бросался къ двери, за ко-

¹⁾ Мочалова, въ роли Гамлета.

торую стучался страшный свидѣтель невинности его жертвы... Все это видѣлъ я на сценѣ того великаго города, въ нѣдрахъ котораго бьется пульсъ русской жизни, гдѣ люди живутъ для жизни и если пробудившись отъ дремоты повседневнаго быта, предаются наслажденію, то предаются ему широко и волюно, со всею полнотою самозабвенія, — на сценѣ того маститаго, царственнаго города, гдѣ все великое находитъ свой отзывъ въ душахъ, и гдѣ самая толпа полна таинственной думы, какъ лѣсъ или море...

Я уже начиналъ было думать, что увидѣлъ въ театрѣ все, что можетъ театръ показать и чего можно отъ театра требовать; но всякому очарованію бываетъ конецъ, — моему былъ тоже... Я началъ замѣчать, что всегда вижу одно только лицо Шекспировской драмы, но ни другихъ лицъ, ни самой драмы не вижу, и что когда сходитъ со сцены главное лицо, то все темнѣетъ, умираетъ и томится, становится такъ пошло, теряется всякій смыслъ... Скоро я увѣрился, что хотя бы силы главнаго актера равнялись силамъ древняго Атланта, все же ему одному не поддержать на своихъ плечахъ громаднаго зданія Шекспировской драмы, да и въ своихъ роляхъ не можетъ онъ быть одинаково вдохновецъ и одинаково хорошъ... Мыѣ стало и досадно и больно...

Но вотъ пришло время, почтенный читатель, когда я уже не досаую, кромѣ развѣ тѣхъ случаевъ, когда, увидѣвъ въ длинной афишѣ нѣсколько новыхъ піесъ и надъ ними роковую надпись: *въ первый разъ*... иду себѣ, какъ присяжный рецензентъ, въ храмъ искусства драматическаго, который для меня давно уже пересталъ быть храмомъ... Боже мой! какъ я перемѣнился!... Но эта метаморфоза — общій удѣлъ всѣхъ людей: и вы, мой благосклонный читатель, измѣнитесь, если еще не измѣнились... Итакъ... Но прежде, чѣмъ кончите мою элегію въ прозѣ, я хочу попросить васъ объ одномъ: вы можете

меня читать или не читать — какъ вамъ угодно, но, Бога ради, не смотрите съ ненавистію, какъ на человѣка злаго и недоброжелательнаго, на того, кто въ лѣта суроваго опыта, обнажившаго передъ нимъ дѣйствительность, протирая глаза отъ ѣдкаго дыма лонжающихся, подобно шутникамъ, фантазій,—на все смотреть мрачно, всему придаетъ какую-то важность и обо всемъ судить съ жолчною злостью: можетъ-быть, это происходитъ оттого, что нѣкогда его сердце билось однимъ безконечнымъ, а въ душѣ жили высокіе идеалы, а теперь его сердце полно одного безконечнаго страданія, а идеалы разлетѣлись при грозномъ свѣточѣ опыта, и онъ своимъ докучливымъ ворчаньемъ мститъ дѣйствительности за то, что она такъ жестоко обманула его.

Обратися же къ этой грустной дѣйствительности. Что это такое? А! — «Мнимый Больной»! Бѣдняжка, какъ онъ слабъ и дурень! пропишемъ ему хорошій рецептъ...

МНИМЫЙ ВОЛЬНОЙ. *Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. Мольера, передѣланная съ французскаго, первое и второе дѣйствіе Н. А. Полеваго, третье В. Островскаго.*

«Le Malade Imaginaire» Мольера есть комедія-фарсъ, которая, въ смыслѣ старины, имѣетъ неоспоримое достоинство хорошо обдуманнаго и ловко выполненнаго литературнаго произведенія. Мольеръ не терпѣлъ медицины и не вѣрилъ ей. Желая поразить ее своею сатирическою хлопущкою, онъ заставилъ Мг. Argan вслепять на себя разныя небывалыя болѣзни и принимать въ день по сту разныхъ лекарствъ, *lavemens et petits elysières*. Онъ женатъ уже на второй женѣ, и увѣренъ въ ея безпредѣльной къ себѣ преданности, потому что она сама увѣряетъ его въ этомъ. Отъ перваго брака у него есть дочь, которая влюблена въ одного «нравственнаго» молодого человѣка, Клеанта. Чтобъ завладѣть имѣніемъ мужа,

madame Béline старается упрятать падчерицу въ монастырь; но за нее сватается племянникъ аптекаря Пюргона, сынъ доктора Diaforius, Thomas Diaforius, и желая, чтобъ вся семья его состояла изъ аптекарей и лѣкарей, мнимый больной обѣщаетъ ему руку своей дочери. Хитрая служанка, Toinette, составляетъ интригу противъ отца и матери, въ пользу любовниковъ. Въ то время, какъ Mr. Béralde, братъ мнимаго больного, доказываетъ ему, что онъ здоровъ, что болѣзни его — воображаемыя, что медицина — вздоръ, а лѣкаря шарлатаны, и что, наконецъ, жена его — обманщица, Туанетта предлагаетъ ему, для испытанія жены и дочери, притвориться мертвымъ. Разумѣется, жена обнаружила непритворную радость и бросилась къ покойнику, чтобъ взять у него ключи, но тотъ всталъ и обратилъ ее въ бѣгство, послѣ чего она уже и не являлась на сцену, къ немалому утѣшенію зрителей. Разумѣется, дочь, узнавъ о смерти дражайшаго родителя, изливаетъ свою непритворную горестъ въ фразахъ, которыя со времени Мольера значительно поистерлись. Но отецъ, хотя и довольный испытаніемъ, все-таки соглашается на ея бракъ съ Клеантомъ не иначе, какъ на томъ условіи, чтобъ его будущій зять сперва сдѣлался медикомъ. Чтобъ образумить фанатика медицины, она переодѣвается медикомъ, предувѣдомивъ его, что этотъ медикъ, какъ двѣ капли воды похожъ на нее, мистифируетъ его, выигрывая его довѣренность, и потомъ обнаруживаетъ свою мистификацію, а пьеса оканчивается — будто ничѣмъ, но должно предполагать, что излѣченіемъ мнимаго больного.

Мы уже разъ какъ-то говорили, что наши сочинители не горазды на выдумки сюжетовъ, — и вотъ гг. Полевой и Островскій рѣшились, вкупѣ и влюбъ, позаимствоваться у Мольера. Для этого они назвали его дѣйствующихъ лицъ русскими именами, Туанетту изъ служанки перекрестили въ бѣдную

родственницу, а глупаго жениха изъ медиковъ сдѣлали магистромъ университета—и изъ всего этого вышелъ препорядочный вздоръ, ибо все, что у Мольера выходитъ изъ нравовъ страны и времени, у нашихъ сочинителей ни на чемъ не основано и находится въ діаметральной противоположности съ именами дѣйствующихъ лицъ. Въ Thomas Diaforius Мольеръ вывелъ врача-педанта, очень возможнаго въ то время, а его передѣлыватели, магистра университета нашего времени заставили рекомендоваться будущему тестю и невѣстѣ порядковыми хріями: — какое тонкое знаніе современнаго общества! какіе «критиканы»! Чтобы не отстать отъ современности, они вывели на сцену аллопатовъ, гомеопатовъ, гидропатовъ и представили ихъ шарлатанами, глупцами и подлецами... Ужасные право «критиканы»!...

БРИЛЛЯНТЪ. *Комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, переводъ съ французскаго.*

Что бишь это такое? Позвольте. Кажется дѣло въ томъ, что одинъ молодой человѣкъ, Густавъ Бреслау, владѣлецъ огромнаго брильянта, добытаго имъ въ Индіи, измѣнилъ своей возлюбленной Вильгельминѣ, для Амаліи Гельдингеръ, дочери богатаго, но близкаго къ разоренію банкира. За это, нареченный отецъ Вильгельмины, знаменитый ювелиръ австрійскаго двора, добродѣтельный Миллеръ, объявляетъ брильянтъ — фальшивымъ, вслѣдствіе чего реченный любовникъ, обращенный въ прежнее ничтожество, снова обращается къ Вильгельминѣ, изъ чего слѣдуетъ цѣлый рядъ пошлыхъ мелодраматическихъ сценъ.

ДРУЗЬЯ ЖУРНАЛИСТЫ, ИЛИ НЕЛЬЗЯ ВЕЗЪ ШАРЛАТАНСТВА. *Комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи, передѣланная изъ Скрибовой Le Charlatanisme 1-мъ А. А.*

Тутъ, кажется, дѣло въ томъ, что ловкій журналистъ, думая помочь своему пріятелю, ученому, искусному, но черезъ

чуръ скромному и добросовѣстному молодому врачу, создаетъ ему, черезъ свою газету, ужасную славу, такъ что всѣ зовутъ его къ себѣ и требуютъ, — приглашеніямъ нѣтъ конца. Разумѣется, врачу слава нужна больше всего для того, чтобъ жениться на своей возлюбленной — дочери богатаго помѣщика, который помѣшанъ на авторской славѣ и слышать не хочетъ, чтобъ дочь его вышла не за знаменитаго сочинителя. Любскій (юный и скромный врачъ) издалъ когда-то книжонку, которая не разошлась, — и Загвоскинъ (журналистъ) посылаетъ своихъ людей скупить всѣ экземпляры въ книжныхъ лавкахъ; Тверской (помѣщикъ) ищетъ книги и узнаетъ къ неизрѣченному восторгу своему, что она вся раскуплена въ одинъ день. Потомъ какъ-то съ Любскимъ сталкивается (по претензіи на одну и ту же невѣсту) Шариковъ, сотрудникъ Загвоскина; но дѣло однакожъ улаживается, и Любскій женится на Софѣ. Можетъ-быть, все это и прекрасно — у Скриба, потому что все это выросло изъ почвы, а не на воздухѣ, — самобытно, а не изъ жалкаго обезьянства. Важнѣе всего тутъ то обстоятельство, что пьеса Скриба совершенно въ парижскихъ нравахъ: извѣстно, что въ Парижѣ журналъ и газета — всемогущія средства для извѣстности всякаго рода; но, скажите ради здраваго смысла, какая газета можетъ у насъ въ одинъ годъ, не только въ одинъ день дать извѣстность неизвѣстному молодому врачу?... Много много ей чести, если иногда удастся ей дать дневную извѣстность плохому водевилю своего сотрудника, водочистительному машинисту, или сигарочной лавочкѣ, если владѣлецъ этой лавочки неопровержимыми доказательствами увѣритъ газетчиковъ въ превосходствѣ своего товара...

ДОЧЬ АДВОКАТА, ИЛИ ЛЮБОВЬ ОТЦА И ДОЛГЪ ГРАЖДАНИНА.
Драма въ двухъ дѣйствіяхъ, переведенная съ французскаго.

Сынъ барона женился за границею на бѣдной дѣвушкѣ, жившей по волѣ отца, послѣ смерти матери своей, подѣ присмот-

ромъ гувернантки. Баронъ хочетъ разорвать этотъ бракъ, чтобъ женить сына на достойной его знатности и богатства невестѣ — и обращается къ знаменитѣйшему въ Парижѣ адвокату. Адвокатъ этотъ съ часа на часъ ждетъ къ себѣ дочь, которой не видалъ съ ея дѣтства. Дѣло барона кажется ему правымъ, и онъ даетъ ему честное слово, что выиграетъ его. Является дочь — и адвокатъ, едва успѣвъ обласкать ее, спѣшитъ въ судъ: завтра остается нанести ему послѣдній, рѣшительный ударъ, — и дѣло барона выиграно. Вообразите же его отчаяніе, когда онъ узнаетъ, что дѣйствовалъ противъ родной дочери, единственного и безцѣннаго дѣтища своего сердца! Отецъ борется съ адвокатомъ, но послѣдній побѣждаетъ, идетъ въ судъ, говоритъ — и окончательно выигрываетъ процессъ барона противъ собственной дочери: бракъ ея съ сыномъ барона объявленъ недействительнымъ, она опозорена! Но тронутый благородствомъ отца и дочери, баронъ согласіемъ своимъ утверждаетъ расторгнутый бракъ.

Это одна изъ тѣхъ піесъ, которыя пишутся для одного характера, или для одного драматическаго положенія, и въ «Дочери Адвоката» то и другое соединено очень удачно. Отсюда происходитъ рядъ сценъ, дѣйствительно трогательныхъ и потрясающихъ, тѣмъ болѣе, что на здѣшней сценѣ главная роль адвоката, выполняется превосходно. Даже второстепенныя лица очеркнуты недурно, кромѣ однакожъ лицъ любовниковъ и ихъ взаимныхъ отношеній, которыя черезчуръ фразисты и до крайности нарумянены, и потому водевильно-пошлы.

ПЕРВАЯ МОРИЩИНКА. *Водевиль въ одномъ дѣйствіи; переводъ съ французскаго.*

Г-жа Савинны, молодая вдова, замѣчаетъ, что отъ нея формально отложились двое ея обожателей, пожилой помыщикъ Бидо и молодой адвокатъ Леонъ, по случаю пріѣзда только что вышедшей изъ пансіона племянницы ея, Антонины. Бидо,

видя, что ему не удастся около пансіонерки, великодушно рѣшается жениться на вдовушкѣ. Между тѣмъ, Антонина, съ свойственной пансіонеркамъ скоростію, влюбляется въ Леона; а тотъ, по какому-то капризу, ухаживаетъ за вдовушкою. Тогда Бидо и Антонина составляютъ противъ вдовы интригу, чтобы отбить у ней Леона; но опытная кокетка ведетъ противъ нихъ контрамину и обращаетъ всѣ ихъ продѣлки въ ихъ же голову. Однакожъ комедія оканчивается свадьбою Леона съ Антониною и Бидо съ г-жею Савишъ. Піеса на сценѣ хороша, потому что въ ней хорошо выполняется главная роль — вдовы.

МЕЛЬНИЧИХА ВЪ МАРЛѢ ИЛИ ПЛЕМЯННИКЪ И ТЕТУШКА.
Водевиль въ одномъ дѣйствіи, переведенный съ французскаго.

Этотъ водевиль—старая погудка на новый ладъ: мы давно уже видѣли піесу съ такимъ содержаніемъ. Молодая и красивая мельничиха любитъ своего племянника-сироту котораго она приняла къ себѣ въ домъ еще мальчишкою. Племянникъ этотъ добрый малый, но простоватъ: онъ любитъ Маргариту, какъ племянникъ тетку свою и благодѣтельницу—не больше, и, нисколько не подозрѣвая причины ея капризовъ въ обращеніи съ нимъ, рѣшается ее оставить и съ горя идетъ въ солдаты. За пригожею мельничихою волочится старый маркизъ; жена же его, молодая маркиза, заѣзжаетъ на мельницу изъ ревности. Въ полночь маркизъ прокрадывается на мельницу, слуги его накрываютъ роскошный ужинъ—онъ идетъ искать мельничиху, но вмѣсто ея комнаты, попадаетъ въ амбаръ съ кулями муки.—Гильйомъ, который, спрятавшись, все видѣлъ, запираетъ его тамъ и преспокойно располагается съ своею теткою за ужиномъ маркиза, а, напившись пьянъ, догадывается, что ей хочется выйти за него замужъ. Тутъ является (не забудьте—въ полночь) маркиза, прямо съ *petite soignée* въ Версали, и видя, что полковникъ (маркизъ) намѣренъ отпла-

титъ рекруту Гильёму за его продѣлку, даетъ Гильёму подаренный ей королемъ бланкетъ и диктуетъ ему его отставку. Несмотря на всю эту запутанность и неправдоподобіе, водевиль такъ хорошо идетъ на сценѣ, что бранить его — не подымается рука.

ПОЛКОВНИКЪ НОВЫХЪ ВРЕМЕНЪ, ИЛИ ДѢВИЦА КАВАЛЕРИСТЪ.
Комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи; новый переводъ съ французскаго.

Дѣвѣнадцатый гусарскій полкъ ожидаетъ къ себѣ новаго полковника. Капитанъ этого полка, Адольфъ Роже, мечтаетъ въ трактирѣ о царицѣ своего капитанскаго сердца, которую гдѣ-то разъ и то, мелькомъ, видѣлъ. Въ этотъ же трактиръ прѣзжаетъ г-жа Гондревиль съ молоденькою своею кузиною, Элизой Крельвилль, и ни съ того ни съ сего, совѣтуетъ ей одѣться въ мужское военное платье, въ каковомъ нарядѣ она встрѣчается съ капитаномъ Роже и узнаетъ въ немъ «предметъ своей страсти». Тотъ провозглашаетъ ее ожидаемымъ полковникомъ и заставляетъ задать пиръ «господамъ офицерамъ». Является настоящій полковникъ — мужъ г-жи Гондревиль и распутываетъ глупую завязку. Неужели не довольно было и одного перевода этой нелѣпости?...

ГРОМКАЯ СЛАВА ЖЕНѢ НЕ НУЖНА. *Комедія въ одномъ дѣйствіи, передѣланная съ французскаго.*

Евгенія Петровна (фамиліи не знаемъ) такъ любила славу, что отказала въ любви страстно любившему ее троюродному брату, г. Тимееву, и вышла замужъ за знаменитаго (въ комедіи) поэта Аполлонскаго. Однакомъ она не была съ нимъ счастлива, и, къ удовольствію ея, онъ умеръ. Тогда она вспомнила о любви г. Тимеева, но чудакомъ забылъ о ней, — и проситъ сестрицу найти ему хорошую жену. Увидѣвъ у ней подругу ея, дѣвицу Александрина, Тимеевъ тотчасъ въ нее влюбляется, а она влюбляется въ него: но Евгенія Петровна

сѣумѣла заставить Александрину влюбиться въ своего учителя рисованія Акварельскаго, а сего сгараемаго водевильнымъ огнемъ юношу влюбить въ его ученицу; сама же она выходитъ за Тимеева. Благодаря прекрасному выполненію двухъ главныхъ ролей, этотъ невинный водевильный вздорецъ на сценѣ очень занимателенъ.

ЗДРАВСТВУЙТЕ БРАТЦЫ, ИЛИ ПРОЩАЙТЕ! *Комедія водевилъ въ одномъ дѣйствіи, передѣланная съ французскаго.*

У жены сѣтцеваго фабриканта, Франца Ивановича Дикназе, есть братецъ Бѣдовый, который скитается по Сибири, надѣлалъ долговъ, прислалъ къ зятю векселя, чтобы тотъ по нимъ уплатилъ, да въ добавокъ и самъ обѣщался скоро быть собственною своею особою. Но у г-жи Дикназе, кромѣ братца, есть еще обожатель — робкій, невинный платонникъ. Такъ какъ г. Дикназе засталъ незваннаго гостя у себя въ домѣ, — то его супруга и должна была выдать его за братца Бѣдоваго. Голубковъ робѣетъ, труситъ, а г. Дикназе бранитъ его за мотовство и буйство. Вдругъ является самъ Бѣдовый, разгдываетъ дѣло, выдаетъ себя за Голубкова, а Голубкова, учить представлять г. Бѣдоваго, отвѣчаетъ за него, суетится — заводитъ нѣсколько пресмѣшныхъ сценъ, и наконецъ научаетъ, или, лучше сказать, заставляетъ Голубкова выторговать уплату по векселю, да сверхъ того шесть тысячъ наличными, подъ условіемъ удаленія. Волею или неволею, г. Дикназе выполняетъ то и другое требованіе, чтобы только отдѣлаться отъ мнимаго Бѣдоваго. Истинный же Бѣдовый беретъ у мнимаго деньги, и уѣзжаетъ вмѣстѣ съ нимъ. Вся игра этого веселаго фарса основана на діаметральной противоположности характеровъ Бѣдоваго и Голубкова. Первый — нашъ давнишній знакомый — онъ забавлялъ уже насъ въ какомъ-то водевилѣ; но товарищъ его въ этотъ второй дебютъ свой передъ публикою явился въ новомъ и оригинальномъ видѣ, — чему, вѣроятно,

особенно способствовало — превосходное выполнение этой роли, сдѣлавшее особенно забавною всю піесу, которая, впрочемъ, и въ цѣломъ шла очень хорошо.

Вотъ, кажется, и всѣ октябрьскія новости русскаго театра...

Однакожъ — странная вещь! — оканчивая нашу театральную лѣтопись за октябрь мѣсяцъ, мы замѣтили, что она не такъ забавна, какъ была въ прошлой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ». Отчего бы это? Думали мы, думали, думали, да и придумали: изъ рассказанныхъ теперь нами піесъ нѣтъ ни одной, которая была бы такъ забавна, какъ «Новый Недоросль» г. Навроцкаго, — знаете? — того извѣстнаго «кандидата въ геніи, мѣткаго сатирика, какимъ онъ и самъ не ожидалъ быть» (его собственныя слова: зри 245 N^о «С. Пчелы» нынѣшняго года). Но — о, радость! — только что мы изъявили было свое удивленіе, что въ числѣ игранныхъ въ послѣднее время піесъ нѣтъ ни одной отмѣнно нелѣпой (ибо «Полковникъ Новыхъ Временъ, или Дѣвица-Кавалеристъ» далеко не можетъ идти въ сравненіе съ «Новымъ Недорослемъ», сочиненіемъ кандидата въ геніи, г. Навроцкаго), — какъ вдругъ вспомнили если не о такомъ же точно чудѣ, какъ произведеніе г. кандидата въ геніи, то похожемъ на него; это чудо называется:

СЮРПРИЗЪ ДОЧКЪ ИЛИ У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ. Шутка-водевиль въ одномъ дѣйствіи.

Одинъ помѣщикъ, еще отставной ротмистръ, помѣшанъ на разбойникахъ, ѣздитъ, вооруженный съ ногъ до головы, съ слугою, тоже вооруженнымъ съ ногъ до головы. Въ такомъ видѣ пріѣхалъ онъ къ помѣщику, своему пріятелю, на дочери котораго женится сынъ его. Хозяинъ готовитъ ночью сюрпризъ къ именинамъ дочери — фейерверкъ; Холинъ подслушиваетъ его разговоры съ дворецкими и людьми, перетолковываетъ ихъ такъ, что его хотятъ зарѣзать, — кричить, плачетъ, прячется съ слугою своимъ подъ столы —

стола валятся, раекъ хохоchetъ и плещетъ, шумъ, гамъ, шиканье, свистъ — занавѣсъ опускается... Но и это все еще не «Новый Недоросль»; гдѣ! далеко еще до «Новаго Недоросля»!... Умоляемъ васъ, о, иѣткій сатирикъ, о, знаменитый кандидатъ въ гении, о, самопрославленный сочинитель! напишите еще что-нибудь въ родѣ вашего «Новаго Недоросля», — а мы въ утѣшеніе ваше, сами готовы признавать себя въ вашихъ Митрофанахъ и Кутейкиныхъ — въ чемъ угодно: намъ отъ этой невинной продѣлки худа не будетъ, а вы будете утѣшены и поощрены къ дальнѣйшимъ подвигамъ...

1841.

—

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.



І.

КРИТИКА.



1.

КРИТИКА.



I.

КРИТИКА.



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1840 ГОДУ.

Дай оглянусь!

Пушкинъ.

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ, безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣканъ ни мысли плодотворной,
Ни геніемъ начатаго труда;
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ, —
Насмѣшкою горькой обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ!

Лермонтовъ.

Лѣтъ десять тому назадъ, когда были въ большомъ ходу альманахи, безпрестанно появлялись такъ называвшіяся тогда «обозрѣнія литературы». Частенько являлись они и въ журналахъ. Отъ этихъ «обозрѣній» сыры-боры загорались, поднимались страшныя чернильныя войны; «обозрѣнія» давали жизнь литературѣ—въ нихъ принимала жаркое участіе даже и публика, не только сами литераторы. Чтò же за причина была этому наводненію отъ «обозрѣній», этой страсти «обозрѣвать»? Или много литературныхъ сокровищъ было, такъ что боялись потерять имъ счетъ? Или такъ мало было этихъ сокровищъ, что хотѣли знать навѣрное, чѣмъ именно владѣютъ, и даже владѣютъ ли чѣмъ-нибудь?... Совершенно противоположныя

причины рождаютъ иногда одинаковое слѣдствіе. Если тогда не были дѣйствительно богаты, то считали себя богатыми: назади было свѣтлое торжество рѣшительной побѣды юнаго романтизма (какъ выражались тогда) надъ дряхлымъ и чахлымъ классицизмомъ; въ настоящемъ было если не дѣйствительное достоинство, то, разнообразная, яркая пестрота все новыхъ и новыхъ явленій литературы; а въ будущемъ... о, какъ полно блестящихъ надеждъ было это будущее!... И въ самомъ дѣлѣ, если тогда и слишкомъ обольщались своимъ богатствомъ, то все-таки потому что преувеличивали его, а не потому, чтобъ не было богатства. Нѣтъ, оно было: одинъ Пушкинъ могъ бы своею поэтической дѣятельностію наполнить цѣлый періодъ любой европейской литературы. Если ошибка заключалась въ томъ, что тогда думали имѣть не одного, а нѣсколькихъ Пушкиныхъ, — то все же предполагали это въ людяхъ, которые, хотя далеко не были Пушкиными, однакожь, сами по себѣ имѣли и теперь имѣютъ свое значеніе, свое неотъемлемое достоинство. Если тогда надежды въ будущемъ основывались частію на томъ, что всѣ журналы и альманахи наполнялись отрывками изъ большихъ, но еще неконченныхъ поэмъ, драмъ, повѣстей, романовъ, и даже появлялись первые томы «исторій», которымъ никогда не суждено было окончиться, хотя и суждено было собрать обильную жатву заблаговременной подписки, — то не забудьте, что это было время, когда о смерти Пушкина никто и не думалъ, когда Жуковский часто напоминалъ о себѣ превосходными произведеніями. При жизни Грибоѣдова, чего не могли ожидать отъ творца «Горя отъ Ума»? Какую роскошною зарею занялся разсвѣтъ таланта Веневитинова, какой пышный полдень, какой обильный вечеръ предсказывало прекрасное утро егo поэтической дѣятельности! А въ послѣдствіи, чего не почитали себя въ правѣ ожидать отъ талантовъ, произведшихъ, не говоря о «Новикѣ»,

«Кощея Безсмертнаго», Юрія Милославскаго», но даже и «Киргизъ-Кайсака»?... Конечно, эти надежды поддержаны и оправданы только первыми, и отчасти вторыми; но, повторяемъ, въ то время естественно было ожидать чего-то великаго и отъ послѣднихъ двухъ. Если тогда иные выходили, какъ говорится, «въ люди», и приобрѣтали громкое титло поэтовъ только за гладкіе стихи, то развѣ теперь не повторяется подобное явленіе, съ тою разницею, что даже и не за гладкія, а за шершавыя вирши, но только наполненныя дикими, изысканными и безвкусными вычурами въ оборотѣ мыслей и фразъ?... Какъ бы то ни было, но тогда имѣли слишкомъ достаточныя причины «обозрѣвать».

Нужны ли теперь «обозрѣнія»? Есть ли теперь что обозрѣвать?... Мы уже сказали, что иногда совершенно противоположныя причины производятъ одинакія слѣдствія,—и потому утвердительно отвѣчаемъ, что теперь снова настаетъ время «обозрѣній». Еслибъ у насъ не было ничего, достойнаго обозрѣнія, то мы еще болѣе должны были бы обозрѣвать, потому что мы будемъ въ выигрышѣ даже и тогда, когда окончательно узнаемъ, что у насъ нѣтъ ничего: самое горькое сознаніе въ бѣдности лучше смѣшнаго хвастовства воображаемымъ богатствомъ. Если намъ кажется нѣсколько забавнымъ прошлое время, когда обольщались «отрывками неконченныхъ сочиненій», то не подадимъ ли мы будущему времени болѣе основательныхъ причинъ смѣяться надъ нами, гордящимися — ничѣмъ?... Впрочемъ, кажется, еще нечего бояться итога, состоящаго изъ однихъ нулей: если мы взглянемъ по пристальнѣе на современную литературу, то въ небольшомъ количествѣ ея стразъ и большомъ количествѣ булыжниковъ, найдемъ нѣсколько и брильянтовъ.—Всему свое время: мы уже пережили періодъ самообольщенія, младенческихъ и юношескихъ восторговъ; намъ уже нужны не мечты, а дѣйствитель-

ность; для насъ уже мѣдный грошъ дороже миллионъ руб-
лей, вычеканенныхъ изъ воздуха: словомъ, для насъ настало
время сознанія. Посему «обозрѣнія» нашего времени должны
быть основательнѣе, солиднѣе, такъ-сказать: ибо ихъ цѣль не
похвалы людямъ своего прихода и брань на другихъ прихо-
жанъ, не лирическія изліянія чувства, гордящагося мгновен-
нымъ успѣхомъ; но приведеніе въ ясность существеннаго во-
проса, сознаніе факта.

Вслѣдствіе этого, мы и за дѣло должны приниматься не
попрежнему. Разсуждая о чемъ-нибудь, мы прежде должны
привести себѣ въ ясность, о чемъ мы разсуждаемъ. Мы дол-
жны болѣе всего избѣгать словъ, которыхъ значеніе утвер-
ждено не мыслию, а общественнымъ употребленіемъ, време-
немъ и обычаемъ, и подъ которыми, посему, всякій разу-
мѣетъ, что ему угодно, ни мало не безпокоясь о томъ, что ра-
зумѣютъ подъ нимъ другіе. Къ такимъ-то неопредѣленнымъ и
произвольнымъ словамъ принадлежитъ и слово «литература».

За всякимъ очарованіемъ неизбѣжно слѣдуетъ разочарова-
ніе—таковъ законъ жизни. Эпоха перехода изъ юности въ
мужество обыкновенно сопровождается разочарованіемъ. Обо-
гащенный опытами жизни, извѣдавшій ея противорѣчія, пере-
ходящій въ мужество человѣкъ уже не бросается въ крайности,
не презираетъ стараго потому только, что оно старое, не
обольщается новымъ потому только, что оно новое. Мало это-
го: часто случается, что онъ обращается къ старому, и въ
досаду всему новому, только въ прошедшемъ видитъ хорошее,
а въ новомъ упрямо не хочетъ ничего видѣть. Настоящій мо-
ментъ русской литературы ознаменованъ именно этимъ направ-
леніемъ. Повсюду слышится жалобы на настоящее, похвалы
прошедшему. Конечно, тутъ играетъ важную роль и разочаро-
ванное самолюбіе, и другія личныя причины, но въ основа-
ніи всего этого есть и часть истины; главная же причина—

досада на себя за прошлое очарованіе, которое оказалось ложнымъ. Съ тѣхъ поръ, какъ на Руси печатаются книги, до настоящаго мгновенія, всѣ повторяютъ: «литература! литература! русская литература!», не давъ себѣ отчета въ значеніи вообще слова «литература», а слѣдовательно, и въ значеніи словъ «русская литература». Обольщенные и ослѣпленные нѣсколькими дѣйствительно великими проявленіями творческой силы въ русскомъ духѣ, мы не позаботились опредѣлить ихъ отношенія къ такъ называемой русской литературѣ, и потому никакъ не могли догадаться, что произведенія нашихъ великихъ поэтовъ — сами по себѣ, а русская литература — сама по себѣ, что между ими нѣтъ ничего общаго, и ни одно изъ нихъ не доказываетъ существованіе другаго. Эта мысль не новая: она давно уже затаилась въ нѣкоторыхъ умахъ и временами пробивалась наружу, возбуждая удивленіе даже въ тѣхъ самихъ, которые ее выговаривали. Лѣтъ шесть тому назадъ вдругъ раздался рѣзко и громко вопросъ: есть ли у насъ литература? существуетъ ли русская литература? Такъ какъ этотъ вопросъ выговоренъ былъ среди общаго очарованія, когда публика въ «Библіотекѣ для Чтенія» думала найти пышный и роскошный цвѣтъ русской литературы, и такъ какъ этотъ вопросъ былъ совершенно неожиданъ — то тѣмъ сильнѣе и разнообразнѣе было произведенное имъ впечатлѣніе на всѣхъ и каждого. Одни приняли его за странность, имѣющую впрочемъ прелесть новости; другіе почли его за нелѣпый парадоксъ, за пошлую шутку надъ здравымъ смысломъ; третьи увидѣли въ немъ непреложную истину; четвертые приняли его за оскорбленіе чувства народной гордости. Кто былъ правъ, кто виноватъ? — Кажется, всѣ были и правы и виноваты, кромѣ послѣднихъ, которые рѣшительно не правы, ибо истина выше всякихъ чувствъ — и частныхъ и народныхъ, и смиренныхъ и гордыхъ, а сомнѣніе есть первый шагъ и единственный путь къ истинѣ. Что же

касается до вопроса о существованіи русской литературы,— много можно было бы сказать даже и въ пользу существованія ея; но мы хотимъ взглянуть поближе на отрицательную сторону вопроса и изслѣдовать ее основательнѣе. Для этого надобно прежде всего опредѣлить предметъ вопроса—значеніе слова «литература». Запутанность споровъ, дѣлающая невозможнымъ примиреніе спорящихъ сторонъ происходитъ чаще всего отъ несоблюденія этого правила: обыкновенно начинаютъ спорить, не сказавъ другъ другу о чемъ хотятъ спорить, и потому всѣ споры бываютъ большею частію за слова, а не за идеи.

Но прежде, нежели приступимъ къ опредѣленію вопроснаго пункта,—намъ должно поговорить о предметѣ, который собственно чуждъ всякой внутренней связи съ нимъ, но который, по причинѣ общественнаго нашего образованія, долженъ составлять приступъ ко всякому разсужденію. Конечно, говоря о немъ, мы будемъ имѣть въ виду совѣтъ не тѣхъ людей, которые знаютъ, что во всякой истинѣ главное дѣло—сама же истина, а не повтореніе пошлыхъ общихъ мѣстъ, которыя всѣ повторяютъ по привычкѣ, не вѣря имъ.

Нѣтъ ничего смѣшнѣе и нелѣпнѣе, какъ находить дерзкимъ и даже преступнымъ сомнѣніе въ существованіи нашей литературы. Истина есть высочайшая дѣйствительность и высочайшее благо; только одна она даетъ дѣйствительное, а не воображаемое счастье. Самая горькая истина лучше самаго пріятнаго заблужденія. О, вы, чувствительныя существа, такъ крѣпко держащіеся за свои бѣдныя убѣжденія, предпочитающія самое грубое, но пріятное для вашихъ конфетныхъ сердецъ заблужденіе горькой истинѣ,—къ вамъ въ особенности обращаемъ мы рѣчь свою. Вы приходите въ домъ умалишенныхъ, и видите человека, который, надѣвъ сверхъ своего вязаннаго колпака, бумажную корону, почитаетъ себя властели-

номъ: вѣдь онъ счастливъ своимъ убѣжденіемъ, такъ счастливъ, что вамъ, знающимъ всю тягость жизни, должно бѣ было отъ всей души завидовать его счастію—не правда ли?... Но отчего же вы смотрите на него съ невольнымъ сожалѣніемъ, и не можете безъ содраганія подумать о возможности для васъ самихъ подобнаго блаженства?... Видите ли, самая ужасная истина лучше самаго лестнаго заблужденія?... А между тѣмъ, какъ много на свѣтѣ такихъ бумажныхъ властелиновъ и не въ одномъ домѣ умалишенныхъ, а въ своихъ собственныхъ и, притомъ, иногда очень богатыхъ домахъ, между людьми, которые пользуются извѣстностію отлично умныхъ головъ?... Геніальный Сервантесъ, въ своемъ «Донъ Кихотѣ», творчески воспродизвелъ идею этихъ бумажныхъ рыцарей, для которыхъ пріятный обманъ дороже горькой истины... Какъ рады они своему несчастію, какъ горды своимъ позоромъ!... Неужели же имъ должно завидовать? Нѣтъ, вы смотрите на нихъ съ тѣмъ насмѣшливымъ состраданіемъ, которое уничижительнѣе, обиднѣе полнаго, презрительнаго невниманія!... И потому, еслибы результатомъ вопроса о существованіи нашей литературы было горькое убѣжденіе въ ея несуществованіи, и тогда мы были бы въ выигрышѣ, а не проигрышѣ, и обязанности были бы благодарностію и тому, кто сдѣлалъ этотъ вопросъ, и тому, кто рѣшилъ его. Лучше благородная, сознательная нищета въ дѣйствительности, нежели мишурное, шутовское богатство въ воображеніи. Изъ всѣхъ родовъ нищихъ, самые жалкіе — испанскіе нищіе, потому что они просятъ у васъ не копейки Христа ради, а ста тысячъ піастровъ взаимны, и, получивъ отъ васъ копейку, гордо увѣряютъ васъ, что скоро возвратятъ вамъ съ благодарностію ваши сто тысячъ піастровъ...

Но намъ нечего бояться вопроса о существованіи нашей литературы и по другой причинѣ: безпристрастное рѣшеніе это-

го вопроса не сдѣлаетъ насъ нищими, а только оставитъ насъ при небольшомъ, но цѣнномъ сокровищѣ, и пооблегчитъ наши карманы отъ мѣди и мусора, въ кучѣ которыхъ зарыто наше чистое золото. Пусть даже останется и мѣдь, но только чтобъ мы отличали свое золото отъ мѣди, и не принимали мѣдь за золото! Вотъ результатъ, которымъ будемъ мы обязаны вопросу о существованіи нашей литературы, — результатъ прекрасный! Но, кромѣ того, и самъ по себѣ этотъ вопросъ долженъ радовать насъ: съ него начинается новая эпоха нашей литературы и нашего общественнаго образованія, потому что онъ есть живое свидѣтельство потребности сознанія и мысли. Пушкинъ не разъ изъяснялъ свое негодованіе на духъ неуваженія къ историческому преданію и заслуженнымъ авторитетамъ отечественной литературы, — не уваженія, которымъ обозначилось новѣйшее критическое движеніе: мы понимаемъ это оскорбленіе великаго поэта, но не раздѣляемъ его. Этотъ духъ неуваженія не случайность, и причина его заключается не въ буйствѣ, не въ невѣжествѣ, но въ разумной необходимости. Дѣйствительна одна истина, и только въ одной истинѣ благо и счастье; но истина сурова, неумолима и жестока до тѣхъ поръ, пока человѣкъ только спустится къ ней и еще не овладѣлъ ею. Первый шагъ къ ней, какъ мы уже сказали, — сомнѣніе и отрицаніе. Истина есть единство противоположностей, и пока человѣкъ переживаетъ ея моменты — онъ бросается изъ одной крайности въ другую, безпрестанно впадаетъ въ преувеличеніе, исключительность и односторонность; но какъ скоро процессъ совершился и различія разрѣшились въ гармоническое единство, то всѣ ограниченныя частности улетучиваются въ общее, ложъ остается за временемъ, а истина за разумомъ. Слѣдовательно, нечего бояться истины, и лучше смотрѣть ей прямо въ глаза, нежели зажимиваться самимъ, и ложныя фантастическіе цвѣта принимать за дѣйствительные. Только роб-

кіе и слабые умы страшатся сомнѣнія и изслѣдованія. Кто вѣруеть въ разумъ и истину, тотъ не испугается никакого отрицанія. Мы видимъ въ Пушкинѣ великаго міроваго поэта; другіе видятъ въ немъ только великаго русскаго поэта (отрицая тѣмъ міровое значеніе Россіи), а иные находятъ въ немъ только отличнаго версификатора. Кто правъ, кто виноватъ? кого казнить, кого миловать?... Никого, милостивые государи! Въ свободномъ царствѣ мысли не должно быть казней и ауто-дафе! Пусть всякій свободно выговариваетъ свое убѣжденіе, если только оно свободно, т. е. чуждо личностей и меркантильнаго духа. О Пушкинѣ говорятъ и спорятъ: одно это уже показываетъ, что предметъ важенъ. Ложное мнѣніе и ошибочныя понятія о Пушкинѣ не повредятъ ему въ потомствѣ, но только скорѣе рѣшатъ вопросъ о немъ. Пушкинъ явится ни больше, ни меньше, какъ тѣмъ, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, и изъ всѣхъ различныхъ и противоположныхъ мнѣній о немъ утвердится только одно — именно то, которое истинно. Конечно, отвратительно видѣть осла, который, помня когти и страшное рыканіе льва, нѣкогда приводившіе его въ трепетъ, лягаетъ могилу этого «геральдическаго льва» своимъ «демократическимъ копытомъ» (по выраженію самого Пушкина), — однакожъ должно радоваться даже самымъ ложнымъ, но только независимымъ мыслямъ о великомъ поэтѣ: онѣ показываютъ потребность разумнаго сознанія, которое всегда начинается отрицаніемъ непосредственнаго знанія, т. е. знанія по привычкѣ, или по преданію. Вотъ точка, съ которой должно смотрѣть на такъ называемый духъ неуваженія въ современной литературѣ. Этотъ духъ неуваженія — предвѣстникъ, свѣтлая заря скорого и истиннаго духа уваженія, который будетъ состоять не въ минералогическихъ характеристикахъ поэзіи и не въ пустозвонныхъ фразахъ о потомкахъ Багрита, — фразахъ, подъ которыми, какъ подъ скорлупою гни-

лаго орѣха, кроется пустота, и которыя тѣшатъ своими побрякушками дѣтское самолюбіе; но духа, который будетъ состоятъ въ вѣрной критической оцѣнкѣ каждаго писателя по его заслугѣ и достоинству, — оцѣнкѣ, произнесенной на основаніи науки объ изящномъ и перешедшей въ общественное сознаніе.

Мы сказали, что въ первый разъ сомнѣніе въ существованіи русской литературы было высказано лѣтъ шесть тому назадъ. Это было, помнится, въ концѣ перваго года существованія «Библиотеки для Чтенія», слѣдовательно, случилось въ самое время, въ самую пору. Поразительно и грустно было видѣть, какъ мало представилъ такой плотный журналъ, соединившій въ себѣ дѣятельность почти всѣхъ извѣстныхъ, полужизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ русскихъ литераторовъ. Кто не помнитъ этого времени?... Но здѣсь мы должны обратиться нѣсколько назадъ, желая быть понятными равно для всѣхъ читателей.

Недавно мы говорили объ ошибочномъ употребленіи словъ «словесность» и «литература», которыя безсознательно смѣшивались и употреблялись одно за другое, какъ-будто бы они были не синонимы, а два разныхъ слова для выраженія совершенно одной и той же идеи. Вслѣдствіе этой ошибки, у насъ существовала литература еще до Рюрика и благополучно процвѣтала до эпохи Петра Великаго, а отсюда начала новое существованіе, благодаря великому таланту Кантемира. Да, была словесность, которая есть вездѣ, гдѣ есть слово, языкъ, но которая состоитъ изъ произведеній случайныхъ, ничѣмъ между собою несвязанныхъ, и для которой, поэтому, нѣтъ еще исторіи, а можетъ быть только каталогъ. Въ литературѣ совершается развитіе духа народа; литература— важная сторона исторіи народа. Въ произведеніяхъ словесности мы можемъ прослѣдить только развитіе языка, а не духа народнаго, который является въ ней въ неподвижности своего непосредствен-

наго, такъ сказать безыскусственного явленія. Но въ нашей словесности нельзя слѣдить даже и за развитіемъ языка, потому что она выражалась не живымъ народнымъ словомъ, а какимъ-то книжнымъ нарѣчіемъ, неподвижнымъ и мертвымъ. Однакожъ, лишь только данъ былъ толчокъ непосредственности народа, какъ въ самомъ книжномъ языкѣ оказалось движеніе, — и сатиры Кантемира въ самомъ дѣлѣ какъ будто открываютъ собою начало литературы. Но что это за литература! Кантемиръ былъ первый русскій поэтъ, и писалъ — сатиры! Поэзія всякаго народа начинается или эпосею, какъ впервые пробудившимся въ народѣ поэтическимъ сознаніемъ его прошедшей жизни, или лирикою, какъ голосомъ непосредственного чувства, впервые пробудившагося. Явленіе же сатиры относится скорѣе къ исторіи общества, а не искусства, не поэзіи; оно скорѣе — результатъ созрѣвшей гражданственности, а не пѣснь молодого народа, и тѣмъ болѣе — не первый цвѣтъ молодого искусства. Очевидно, что сатиры Кантемира — явленіе чисто случайное; что духъ народный въ нихъ не участвовалъ; что онѣ вышли не изъ этого духа, не его выразили и не къ нему возвратились. Одно уже иностранное происхожденіе ихъ автора показываетъ, что онѣ не имѣли въ самомъ себѣ никакой необходимости, могли быть и не быть, а потому самому и были — то онѣ словно не были. Книга приняла ихъ въ себя, въ книгѣ и остались онѣ; ихъ знаютъ школы, а не общество; но и школамъ извѣстны онѣ какъ мертвый историческій фактъ, а не какъ живое явленіе, по законамъ внутренней необходимости возникшее изъ предшествовавшаго ему явленія и оставившее послѣ себя какіе-нибудь результаты, которые въ свою очередь породили какіе-нибудь явленія. Да и кто составлялъ публику сатиръ Кантемира? — Самъ авторъ ихъ. Онѣ не разсердили даже тѣхъ, на кого были писаны, потому что жертвы остроумія Кантемира, за неумѣніемъ

грамотѣ, не могли читать ихъ. Хороша литература, для которой нѣтъ публики!... Явился Василій Кирилловичъ Тредіаковскій, «профессоръ элоквенціи, а паче хитростей піитическихъ», апотеозъ школьной бездарности, — и всѣ заслуги его языку состояли развѣ въ введеніи двухъ-трехъ новыхъ словъ (какъ, напр.; слова «предметъ»), и еще въ томъ, что онъ искажалъ языкъ своею варварскою фразеологією; а заслуги поэзіи только въ томъ, что онъ опрофанировалъ ее. Между тѣмъ, этотъ человѣкъ занимаетъ свое мѣсто въ исторіи русской литературы; о немъ говорятъ и судятъ, и даже въ наше время нашлись люди, которые очень осердились на Лажечникова за то, что онъ, въ своемъ «Ледяномъ Домѣ», вывелъ шута шутомъ, а не человѣкомъ, достойнымъ уваженія! — Ломоносовъ положилъ начало первому періоду русской литературы, — и школы утвердили за нимъ титулъ ея отца. Въ самомъ дѣлѣ, онъ для поэзіи сдѣлалъ гораздо больше, чѣмъ для прозы собственно. Онъ первый установилъ фактуру стиха, ввелъ въ русское стихосложеніе метры, свойственные духу языка; языкъ его стихотвореній, несмотря на свою напыщенность и изобиліе поэтическихъ вольностей, естественнѣе, лучше языка его прозы; сквозь ихъ риторическую одежду изрѣдка блещутъ искры поэзіи, а среди звучныхъ и великолѣпныхъ фразъ иногда попадаются поэтическіе образы. Что же до его прозы — трудно рѣшить, больше вреда, или больше пользы оказалъ онъ русскому языку, заковавъ его въ чуждое ему построеніе латинскихъ и нѣмецкихъ періодовъ. Въ томъ и другомъ, онъ былъ законодателемъ и имѣлъ сильное вліяніе, какъ основатель какой-то школьной, схоластической литературы, мало имѣвшей (если не совѣмъ неимѣвшей) отношенія къ обществу, но высоко уважаемой въ школахъ. Отсутствіе народныхъ элементовъ, рабская подражательность ложнымъ образцамъ, слѣпое уваженіе къ единожды признаннымъ авторитетамъ и схола-

стическія формы—вотъ характеръ всѣхъ его литературныхъ произведеній: и тяжелыхъ трагедій, и «Петріады», и высокопарныхъ рѣчей, и даже лирическихъ піесъ ¹⁾.)—Сумароковъ имѣлъ большое вліяніе на распространеніе въ полуграмотномъ обществѣ охоты къ чтенію, и его столь же справедливо называютъ отцомъ русскаго театра, какъ Ломоносова — отцомъ русской литературы. Сумароковъ, по положительной бездарности своей, оказалъ больше вреда, чѣмъ пользы зараждавшейся литературѣ, но нельзя отрицать, чтобъ онъ не оказалъ нѣкоторыхъ услугъ общественной образованности. Дѣятельность его была разнообразіе дѣятельности Ломоносова: онъ писалъ во всѣхъ родахъ, и еслибы имѣлъ поменьше претензій на гениальность и побольше—не говоримъ таланта, а — способности, не возносился бы въ недоступную для его ограниченности превыспренность, а писалъ бы въ легкомъ родѣ—комедіи, фарсы, сатиры, журнальныя статьи,—онъ былъ бы замѣчательнымъ для своего времени литераторомъ; и хотя его творенія такъ же были бы забыты, но вліяніе ихъ на свое время было бы дѣйствительнѣе и полезнѣе.—Херасковъ, также человекъ безъ всякаго поэтическаго призванія, еще больше утвердилъ направленіе, данное Ломоносовымъ литературѣ. Современники называли его русскімъ Гомеромъ и Виргиліемъ; Державинъ не смѣлъ думать даже о равенствѣ съ нимъ, не только о превосходствѣ надъ нимъ.—Надутый и холодный Петровъ былъ торжествомъ схоластической литературы. Самъ Державинъ, поэтъ по своей натурѣ и призванію, талантъ несравненно высшій Ломоносова, покорился этому схоластическому направленію, замѣтному даже въ лучшихъ его созданіяхъ... Итакъ, что же мы видимъ въ этомъ періодѣ русской

¹⁾ Просимъ замѣтить, что здѣсь говорится о Ломоносовѣ только какъ о поэтѣ-литераторѣ, а не какъ объ ученомъ. Ученныя заслуги его безсмертны и еще не оценены надлежащимъ образомъ.

литературы?—пустое и бесплодное подражаніе, схоластическое, враждебное обществу и жизни направленіе, и случайные проблески дарованій—не больше. Видимъ словесность, но не видимъ литературы.

Ломоносовскій періодъ русской литературы былъ смѣненъ Карамзинскимъ. Въмѣсто подражанія Римлянамъ и Нѣмцамъ XVII-го и первый половины XVIII-го вѣка, мы стали подражать Французамъ. Языкъ свергъ съ себя латинско-германскія вериги и вмѣсто ихъ облекся въ шитый французскій кафтанъ прошлаго вѣка. Это было шагомъ впередъ: языкъ приблизился къ языку живому, общественному; литература изъ надутого-героической сдѣлалась сантиментально-общественною и современною. «Бѣдная Лиза» убила «Кадма и Гармонію»; стихи къ Лилетамъ и Нинамъ сбавили цѣны съ громкихъ одъ. Трагедіи Озерова начали извлекать у зрителей слезы умиленія, вмѣсто того, чтобъ только возводить ихъ души на дыбу мишурныхъ фразъ. Между тѣмъ, независимо отъ Карамзина, является поэтический юноша, даетъ новый толчокъ языку и вводитъ въ русскую литературу туманы Альбіона и нѣжную мечтательность; а самостоятельная, художническая муза Батюшкова борется съ ложнымъ французскимъ направленіемъ—и то побѣждаетъ его, то побѣждается имъ. Вотъ, въ краткомъ очеркѣ, два періода русской литературы—Ломоносовскій и Карамзинскій, за которыми послѣдовалъ Пушкинскій... Теперь взглянемъ на значеніе слова «литература».

Слово «литература» по-русски можетъ быть переведено словомъ «письменность». Отсюда ясно, что литература есть совокупность словесныхъ произведеній, хранящихся не въ памяти и устахъ народа, но въ книгѣ, и развивавшихся въ послѣдовательномъ порядкѣ и зависимости другъ отъ друга. Словесность есть кладъ, зарытый въ землѣ и немногими знаемый; литература есть общее достояніе. Занятіе словесностью есть

родъ элезинскихъ таинствъ;—литературою—открытое дѣло, имѣющее прямое и опредѣленное значеніе. Произведенія словесности — тѣни, являющіяся на заклинаніе магика; произведенія литературы — живыя, всѣмъ извѣстныя и для всѣхъ равнодоступныя лица, съ опредѣленными именами. Арена словесности — келья монаха, кабинетъ мудреца, зала пиршествъ, темный лѣсъ, зеленыя дубровы и широкія поля; оттуда выходили всѣ произведенія ея — хроники, лѣтописи, легенды, пѣсни, сказки и пр. Арена литературы имѣетъ опредѣленное мѣсто: это родъ сцены, на которой разыгрывается драма передъ лицомъ многочисленнаго собранія, изъясняющаго рукоплесканіями и кликами участіе свое и восторгъ. Письмо спасло произведенія словесности отъ забвенія и изъ хранилища памяти перевело ихъ въ хранилище рукописи; книга родила и упрочила возможность литературы, и произведенія самой словесности сдѣлала принадлежностію литературы. Словесность существовала у всѣхъ народовъ, пока слово было достояніемъ цѣлаго народа, а не избранныхъ изъ среды лицъ, составляющихъ народъ: оттого-то и неизвѣстны творцы этихъ наивныхъ и могущественныхъ въ своей цѣломудренной простотѣ народныхъ пѣсень, легендъ и сказокъ. Если сохранились имена лѣтописцевъ, — этимъ они обязаны искусству писанія, а не сокровищницѣ народной памяти, удерживавшей въ себѣ только пословицы и пѣсни, какъ произведенія отдѣльныхъ лицъ, которыя превосходили всѣ прочія глубокостію своихъ натуръ, силою талантовъ, но не образованіемъ. И потому, лѣтописи, требовавшія людей, которые бы превосходили современниковъ своимъ образованіемъ, уже представляютъ собою какъ бы начало литературы. Всѣ европейскія литературы начались въ среднихъ вѣкахъ богословскими сочиненіями, и преимущественно богословскою полемикою; но только книгопечатаніе могло дать этой полемикѣ и обширнѣй-

шій кругъ дѣйствія, и большую энергію, и большее вліяніе, и большій интересъ: ибо только книгопечатаніе могло дать этой великой драмѣ приличную для нея сцену, съ которой всѣмъ равно были видны ея ходъ и развитіе. Отдѣльность, изолированность и сепаратность произведеній ума—характеристическая принадлежность словесности; общность, взаимная связь, зависимость и соотносительность — характеристическая принадлежность литературы.

Но все это только описаніе, признаки, а не опредѣленіе литературы, изъ котораго единственно можетъ быть видна сущность вопроса. Литература есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражается его духъ и жизнь; въ ней, какъ въ фактѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, моментъ всемірно-историческаго развитія человѣческаго духа, который онъ выражаетъ своимъ существованіемъ. Источникомъ литературы народа можетъ быть не какое-нибудь внѣшнее побужденіе или внѣшній толчекъ, но только міросозерцаніе народа. Міросозерцаніе всякаго народа есть зерно, сущность (субстанція) его духа, тотъ инстинктивный внутренній взглядъ на міръ, съ которымъ онъ родится, какъ съ непосредственнымъ откровеніемъ истины, и который есть его сила, жизнь и значеніе, — та призма съ однимъ или нѣсколькими первосущными цвѣтами радуги, сквозь которую онъ созерцаетъ тайну бытія всего сущаго. Міросозерцаніе есть источникъ и основа литературы. Это фонъ, на которомъ рисуются ея картины, канва, по которой вышиваются ея узоры. Чтобы объяснить это примѣромъ, мы должны указать на литературы важнѣйшихъ въ развитіи человѣчества народовъ. Разумѣется, это будутъ не характеристики, а только легкіе намеки; опредѣлить міросозерцаніе народа—задача великая, трудъ гигантскій, достойный усилій величайшихъ геніевъ, представителей современнаго филосо-

скаго знанія: это значитъ исчерпать всю жизнь народа, о которомъ идетъ рѣчь... Однакожъ, попытаемся сдѣлать хоть легкій очеркъ.

Оставляя въ сторонѣ санскритскую поэзію, въ исполненныхъ и чудовищныхъ образахъ которой ярко свѣтится пантеистическое міросозерцаніе, которое поняло Бога въ его воплощеніи въ природѣ и ея великихъ процессахъ, — обратимся къ другому народу древности, болѣе близкому къ намъ, считающимъ себя Европейцами, — къ Грекамъ.

Для выраженія нашей мысли достаточно будетъ одной легкой черты изъ «Илліады» — этого вѣчно-живаго слова, субстанціального источника жизни Грековъ, изъ котораго истекла вся дальнѣйшая ихъ литература и знаніе, и въ отношеніи къ которому и трагики, и лирики ихъ, и самъ философъ Платонъ, — только его развитіе и дополненіе. Помните ли вы то мѣсто въ XVIII пѣсни «Илліады», гдѣ Гепестъ-хромоногій готовится къ принятію посѣтившей его обитель Ѡемиды, серебряной матери Ахиллеса, пришедшей молить его, да сдѣлаетъ по замысламъ творческимъ божественный художникъ новые доспѣхи ея любезному сыну:

Рекъ, и отъ наковальни великанъ закопѣлый поднялся,
И, хромоногій, медлительно юлени слабыя двигалъ:
Снялъ отъ горна мѣха, и снаряды, какими работалъ,
Собралъ всѣ, и вложилъ ихъ въ красивый ларецъ серебрянный;
Губкою влажною вытеръ лице, и могучія руки,
Выю дебелию, жилистый тылъ и косматыя перси;
Ризой одѣлся, и толстымъ жезломъ подпирался, въ двери
Вышелъ хромымъ; прислужницы, подъ руки взявши владыку,
Шли.
Съ боку владыки онъ поспѣшалъ; а онъ, колышась,
Къ мѣсту прибѣжалъ, гдѣ Ѡемида сидѣла на тронѣ блестящемъ...

или то мѣсто, въ XX пѣснѣ, гдѣ боги, получившіе созволеніе отъ Зевса сражаться за ту сторону, за которую кто хо-

четь, сѣшать съ многохолмнаго Олимпа, кто къ рати Ахей-
цевъ, кто къ рати Данаевъ:

Съ нѣми къ судамъ и Гефестъ огромный и пышущій силой,
Шелъ хромая; съ трудомъ волочилъ онъ увѣчныя ноги.

Какая превосходная, дивно-прекрасная картина—чего же?—не красоты, а безобразія!... Какое поэтически-прекрасное безобразіе!... Такую черту можно подмѣтить только у народа, который на все смотрѣлъ и все понималъ сквозь призму красоты, котораго даже повседневная жизнь до того была проникнута чувствомъ красоты, что женщины, являвшіяся публично съ неубранными волосами, подвергались взысканію по закону. Да, только народъ художникъ, поклонникъ и служитель красоты, могъ изъ тѣлеснаго недостатка, изъ безобразія и уродства, создать типъ такой оригинальной, такой обаятельной красоты!...

Теперь укажемъ на три современныя намъ великія націи—представительницы современнаго человѣчества. Германія и Франція представляютъ собою два противоположные полюса, двѣ противоположныя крайнія стороны духа человѣческаго: первая—вся мысль, вся идея, вся созерцаніе: вторая—вся дѣло, вся жизнь. Германія понимаетъ (созерцаетъ) жизнь, какъ сознаніе, — и отсюда мыслительно созерцательный, субъективно-идеальный характеръ ея искусства и науки; отъ этого и само искусство ея не что иное, какъ паралель философіи, какъ особенная форма созерцательнаго мышленія, и отсюда же абсолютный, мірообъемлющій и вѣчно-юный характеръ произведеній ея литературы вообще—и науки, и поэзіи. Франція, напротивъ, понимаетъ (созерцаетъ) жизнь какъ развитіе общест-венности, какъ приложеніе къ обществу всѣхъ успѣховъ науки и искусства, и отсюда положительный характеръ ея науки и общественный (соціальный) характеръ ея искусства. Для Нѣмца наука и искусство—сами себѣ цѣль и высшая жизнь,

абсолютное бытіе; для Француза, наука и искусство — средства для общественнаго развитія, для отрѣшенія личности человѣческой отъ тяготящихъ и унижающихъ ее оковъ преданія, моментальнаго опредѣленія и временныхъ (а не вѣчныхъ) общественныхъ отношеній. И вотъ причина, почему литература французская имѣетъ такое огромное вліяніе на всѣ образованные народы; вотъ почему ея летучія произведенія пользуются такою всеобщностію, такою извѣстностію; вотъ почему они такъ и не долговѣчны, такъ эфемерны. Ихъ содержаніе — интересы и вопросы настоящей минуты: съ нею они возражаются, съ нею и проходятъ, ибо въ этой кипящей жизни землѣ завтра уже не интересуется то, что интересовало вчера. Что такое Корнель и Расинъ, какъ не поэты придворнаго этикета, придворной утонченности жизни? И что герои и героини ихъ такъ называемыхъ трагедій, эти пудренные Греки и Римляне, эти Гречанки и Римлянки, съ фижмами и мушками, какъ не представители выродившейся рыцарственности, любезные кавалеры и дамы блестящаго двора Людовика XIV?... Отцвѣла французская монархія, съ своими маркизами, контами и виконтами, съ своими париками и фижмами — и геніяльныя трагедіи плѣняютъ только людей, чуждыхъ эстетическаго вкуса. Теперь насталъ другой вѣкъ: Вольтеръ и Руссо забыты, энциклопедисты уже не почитаются извергами человѣческаго рода, хотя — надо сказать правду — за покойниками и много водилось грѣшковъ. Такъ называемая романтическая школа: Гюго, Сю, Жаненъ, Бальзакъ, Дюма, Жоржъ-Зандъ и другіе возникли и переходятъ на нашихъ глазахъ и готовятся къ смѣнѣ; но какъ еще недавно ярка была ихъ слава, какъ велико было ихъ вліяніе? И что же они? что такое «Послѣдній день осужденнаго къ смерти», «Мертвый оселъ и гильотинированная женщина»? что такое кровавыя нелѣпости Александра Дюма? — протестъ чловѣка противъ общества, апелляція человѣческой личности на общест-

во, поданная ею этому же самому обществу. Что такое восторженные бредни Жоржъ-Занда—profession de foi сен-симонизма въ формѣ повѣстей, драмъ и романовъ. Что такое «Notre dame de Paris» и всѣ драмы Гюго?—усиліе доказать, что и въ самыхъ искаженныхъ человѣческихъ натурахъ есть прекрасныя стороны; что чудовище Квазимодо можетъ нѣжно любить женщину, что развратная Маріонъ де-Лормъ можетъ возстать отъ униженія и возвратить свое утраченное женственное достоинство чрезъ чувство любви, развратный шутъ Трибюле можетъ нѣжно любить свою дочь, а гнусное чудовище Лукреція Борджіа можетъ обнаруживать глубокое материнское чувство, и т. п. Повторяемъ: вотъ причина, почему эфемерныя явленія французской литературы всегда имѣли и будутъ имѣть сильнѣйшее вліяніе на большинство публики всѣхъ образованныхъ народовъ и пользоваться общею извѣстностію, чѣмъ произведенія величайшихъ художниковъ. Тѣ, которые на нихъ нападаютъ, смотря на нихъ съ точки зрѣнія искусства, ищутъ въ нихъ не того, чего въ нихъ должно искать, — и потому ошибаются, отрицая даровитость и достоинство въ людяхъ, обращающихъ на себя вниманіе цѣлаго міра. Короче: изъ міросозерцанія французскаго народа можно вывести и хорошія и дурныя стороны его литературы: и искренность пламеннаго чувства, живую симпатію къ интересамъ человѣчества, увлекательную, общедоступную форму, въ которую съ такою легкостію облачаетъ онъ нерѣдко самыя отвлеченныя и юношескія, — не скажу мысли, но мечты, — и крайности, нелѣпости, фразистость, любовь къ эффектамъ, риторическую шумиху, явленіе жалкихъ талантовъ, подобныхъ Ламартину, и проч.

Англичане представляютъ собою какъ бы примиреніе Германіи съ Франціею. Страна по преимуществу общественная, практическая, Англія уважаетъ преданіе и борется съ нимъ, и побѣждаетъ его на законномъ основаніи, съ соблюденіемъ

формъ, рассчитаннымъ и размѣреннымъ шагомъ, медленно, осторожно, прочно и вѣрно. Чуждая французской отвлеченности и юношеской способности увлекаться мечтами и идеями, Англія глубоко понимаетъ жизнь; отчизна Шекспира, она владѣетъ литературою, представляющею изъ себя существенныя (субстанціальныя) произведенія искусства, которыя германская мыслительность торжественно признаетъ абсолютными и вѣчными; но, практическая и положительная, Англія чужда всякой отвлеченности въ мышленіи, и всѣ ея попытки въ философіи всегда были ничтожны сами по себѣ и нисколько недостойны ея великихъ успѣховъ въ поэзіи.

Характеръ германскаго мышленія и поэзіи—превыспренность и идеальность. Остроуміе есть орудіе Французовъ во всемъ, даже въ возвышенной поэзіи, чему самымъ разительнымъ примѣромъ служатъ игривыя и шипучія, подобно національному ихъ напитку, созданія Беранжѣ. Юморъ лежитъ въ основаніи британскаго міросозерцанія.

Теперь, въ чемъ же состоитъ наше русское міросозерцаніе? Наука еще не сдѣлала у насъ никакого успѣха, и потому не въ ней должно искать нашего міросозерцанія (ибо міросозерцаніе выражается не въ математикѣ и другихъ положительныхъ наукахъ, а въ исторіи и философіи, которыхъ, какъ наукъ, у насъ еще нѣтъ). Станемъ же искать его въ поэзіи. Развернемъ наши народныя пѣсни и легенды: что найдемъ въ нихъ? Духъ силы, какого-то удалства, которому море по колено, какого-то широкаго размета души, незнающаго мѣры ни въ горѣ, ни въ радости. Но сила эта пока еще чисто матеріальная: она проявляется въ богатыряхъ, которыхъ палица въ триста пудъ—что тросточка, которые кладутъ въ ротъ по ковригѣ и запиваютъ ушатою. Удалство и широкій разметъ души, опять-таки, показываютъ сильную, свѣжую и здоровую натуру народа, но въ нихъ еще невидно никакого міросозерцанія.

Правда, глубокая грусть, при этой исполинской силѣ, намѣкаетъ на какое-то темное ¹⁾ сознание противорѣчія судьбы народа съ его значеніемъ; но все это относится собственно къ его индивидуальности, а міросозерцаніе есть непосредственное разумѣніе общаго, вѣчнаго, непреходящаго. Но еслибы и можно было отыскать въ нашей естественной (народной) поэзіи слѣды какого-нибудь міросозерцанія, — оно не могло ни развиться, ни произвести какія-либо слѣдствія, потому что Россія жила изолированной отъ человѣчества жизнію, чуждая интересовъ человѣчества, и до Петра Великаго была, подобно восточнымъ монархіямъ — не государствомъ, а народомъ-семействомъ. Слѣдовательно, тутъ нѣтъ и слова о литературѣ. Теперь, откуда же могла взяться литература послѣ Петра?... И ея, естественно, не было, потому что не могло быть. Намъ скажутъ, что Россія, пріобщившись жизни европейской, пріобщилась и ея интересамъ. Прекрасно; но эти интересы нельзя было перевести съ товарами изъ-за границы; ихъ надо было развить изъ своей жизни, а Россіи было не до того: она хлопотала, какъ и слѣдовало, объ усвоеніи себѣ не содержанія, а пока только формъ европейской жизни. Потому, удивительно ли, что въ поэзіи Ломоносова нѣтъ никакой поэзіи, потому что нѣтъ никакого обще-человѣческаго (въ народной формѣ) содержанія? удивительно ли, что народъ остался къ ней равнодушенъ и доселѣ не знаетъ о ея существованіи? А между тѣмъ, въ Ломоносовѣ нельзя отрицать ни замѣчательнаго поэтическаго таланта, ни великаго ума, ни великой души. — Потомъ, Державинъ. Какое міросозерцаніе лежитъ въ основѣ его творчества? — Оно все высказалось въ его дивно прекра-

¹⁾ Здѣсь разумѣется исторія народа отъ ея начала до временъ Петра Великаго — времени, когда кончилась собственно-народная поэзія, и народу было указано его истинное, великое назначеніе.

свой одѣ «на смерть Мещерскаго», этомъ величайшемъ его созданіи, и особенно въ этихъ стихахъ:

Ликъ роскоши, прохлада и нѣтъ,
Куда, Мещерскій! ты сокрылся?
Оставилъ ты сей жизни берегъ,
Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился.
Здѣсь персть твоя, и духа нѣтъ.
Гдѣ жъ онъ? — онъ тамъ! — Гдѣ тамъ? — не знаемъ,
Мы только плачемъ и взываемъ:
«О горе намъ рожденнымъ въ свѣтъ!»

Эта мысль о переходимости жизни, неизвѣстности за гробомъ, какъ громъ среди пиршества, прохлада и нѣтъ, приводила въ оцѣпенѣніе игравшихъ жизнію дѣтей русскаго XVIII вѣка, — и въ одной этой мысли заключается все міросозерцаніе Державина. Вы ее увидите и въ другомъ великомъ его произведеніи «Водопадъ». Даже въ послѣднихъ его стихахъ, написанныхъ уже хладѣющими отъ смерти перстами, выразилась все она же, все эта же мысль. Но откуда вышло это міросозерцаніе столь исключительное и одностороннее? Изъ народной ли жизни? — нѣтъ! оно было чуждо народа, чуждо даже среднихъ сословій его: оно перешло изъ Европы въ изношенномъ видѣ къ вельможеству того времени — единственному слою тогдашняго общества, который прежде всѣхъ пробудился къ жизни и пріобщился, хотя и внѣшнимъ образомъ, къ интересамъ европейскаго существованія. Но вѣкъ тотъ прошелъ, а въ царствованіе Александра Благословеннаго пробудилось къ жизни среднее дворянство, уже незаставшее этого вѣка. Удивительно ли послѣ этого, что наше общество доселѣ такъ упорно равнодушно къ Державину и не хочетъ его читать, хотъ и признаетъ въ немъ великій талантъ? — Велики заслуги Карамзина русскому обществу, русскому образованію, русской литературѣ; безсмертно и велико имя его: но онъ сынъ своего времени, дѣйствительный своей эпохи, —

и не содержаніе русской жизни развивалъ онъ въ своихъ сочиненіяхъ, а знакомилъ Русскихъ съ содержаніемъ европейской жизни. — Мы сказали о значеніи Корнеля и Расина, какъ поэтовъ и трагиковъ; но, право, не умѣемъ сказать значенія Озерова: онъ былъ человѣкъ не безъ таланта и подражалъ французскимъ трагикамъ, — вотъ все. — Не менѣе Карамзина велика заслуга русскому обществу, образованію, литературѣ и со стороны Жуковского; но это опять знакомство Россіи съ Европою, а не Европы съ Россіею. — Не ищите также русскаго содержанія и въ художественной поэзіи Батюшкова; она чистый космополитизмъ: она понемногу и французская, и англійская, и древне-греческая, и никакая, а главное — нисколько не русская.

Гдѣ жъ тутъ литература, какъ сознаніе народа, какъ выраженіе его міросозерцанія? Гдѣ ея историческое развитіе? Скажите, въ какомъ отношеніи между собою находятся эти поэты — Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ? Докажите, что Жуковскій непременно долженъ былъ явиться послѣ Карамзина, а не прежде; Озеровъ и Батюшковъ — не прежде ихъ обоихъ!... Нѣтъ, каждый изъ нихъ дѣйствовалъ самъ по себѣ и отъ себя, независимо отъ прошедшаго, неспрашиваясь у настоящаго. Это герои, — великія, или замѣчательныя личности; но въ ихъ лицѣ не замѣтно историческихъ судебъ народа: герои сами по себѣ, народъ самъ по себѣ. Только одинъ изъ нихъ требуетъ исключенія: это Крыловъ, — и онъ всего лучше доказываетъ вѣрность нашего взгляда на этотъ предметъ. Его басни вышли изъ народнаго русскаго дума, изъ русскаго разсудочнаго созерцанія жизни. За то, въ лицѣ Крылова, басня русская достигла своего высшаго развитія, — и народъ знаетъ Крылова: вѣдь кто-нибудь да раскупилъ же сорокъ тысячъ экземпляровъ его басень!...

Только съ Пушкина начинается русская литература, ибо въ его поэзіи бьется пульсъ русской жизни. Это уже не знакомство Россіи съ Европою, но Европы съ Россією. Этотъ вопросъ однакожь требуетъ изслѣдованія. Для насъ, величайшее созданіе Пушкина — его «Каменный Гость». Но какое содержаніе этого произведенія? Оно родилось въ Испаніи и взлелѣяно ею; его воспроизводилъ великій Моцартъ въ музыкѣ, великій Байронъ въ поэзіи. Русскій поэтъ воспроизвелъ его чуть ли еще не полнѣе и не глубже Байрона; но его великое созданіе — какое оно? — европейское. Будь Анахарсисъ великимъ поэтомъ, какъ Эсхилъ, — онъ создалъ бы «Прометей», мифъ греческій, плодъ греческаго міросозерцанія, но твореніе было бы обще-человѣческое, и его оцѣнили бы Греки, а Скифы даже и не узнали бы о его существованіи. Съ этой же точки смотримъ мы на «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Цыганъ», «Скупаго Рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Египетскія ночи» и пр.: все это созданія великія, міровыя и чисто-европейскія; но какому народу, какому вѣку принадлежать они? — Человѣчеству и вѣчности!... Что такое, напримѣръ, Байронъ и Шиллеръ? Первый выразилъ собою переходъ отъ одного вѣка къ другому, другой былъ провозвѣстникомъ новаго вѣка. Тотъ и другой занимаютъ извѣстное и определенное мѣсто во всемірно-историческомъ развитіи человѣчества, и ни тотъ, ни другой не могъ бы явиться въ другое время, а еслибъ и явился, то его поэзія носила бы на себѣ другой характеръ, выразила бы другую мысль, другое содержаніе. Поэзія Байрона — это вопль страданія, это жалоба, но жалоба гордая, которая скорѣй даетъ, чѣмъ проситъ, скорѣе снисходитъ, чѣмъ умоляетъ; это Прометей, прикованный къ Кавказу; это личность человѣческая, возмущившаяся противъ общаго, и, въ гордомъ возстаніи своемъ, опершаяся на самое себя. Отсюда эта исполинская сила, эта непреклон-

ная гордыня, этот могучий стоицизмъ, когда дѣло касается до общаго, — и эта грустная любовь, эта кроткая задушевность, эта нѣжность и мягкость, при обращеніи къ несправедливо отягощенной страданіемъ личности. Шиллеръ — адвокатъ челоувѣчества, но полный любви и довѣренности къ общему, провозвѣстникъ высокихъ истинъ, голосъ, сзывающій братьевъ по челоувѣчеству отъ земли къ небу, органъ неистощимой любви къ челоувѣчеству; подобно Байрону, онъ весь въ созерцаніи правъ личнаго челоувѣка, индивидуума, противъ эгоизма общества, предразсудковъ и темныхъ, непросвѣтленыхъ разумнымъ сознаніемъ вѣрованій; но онъ полонъ любви и очарованія, полонъ надеждъ; его поэзія — явно моментъ, предшествующій поэзіи Байрона, и онъ выразилъ его въ духѣ своей націи. Оба они стоятъ на прагѣ, раздѣляющемъ XVIII вѣкъ отъ XIX го, и для обоихъ нѣтъ другого мѣста, другого момента времени. Поэзія того и другого — страница изъ исторіи челоувѣчества; вырвите ее — и цѣлость исторіи исчезла: останется пробѣлъ, ничѣмъ незамѣнимый. Гдѣ же мѣсто Пушкина? какую страницу исторіи заняла его поэзія?... Не менѣе Байрона и Шиллера великій, онъ тѣмъ не менѣе могъ не быть, какъ и былъ, — и въ исторіи челоувѣчества отъ этого не сдѣлалось бы ни малѣйшаго пробѣла. Явленіе міровое и великое по своей творческой силѣ, онъ — челоувѣкъ, общившійся, по праву челоувѣческой природы, а не по историческому праву, челоувѣческихъ интересовъ, усвоившій ихъ себѣ и вполне воспользовавшійся ими, какъ готовымъ содержаніемъ для своего исполинскаго генія... Здѣсь опять еще не видно собственно русской литературы...

Но Пушкинъ былъ въ то же время и поэтъ русскій по преимуществу, однакожъ не въ «Полтавѣ» и не въ «Борисѣ Годуновѣ», въ которыхъ сама исторія дала ему готовое содержаніе и готовое міросозерцаніе, а въ «Евгеніѣ Онѣгинѣ». Здѣсь

онъ исчерпалъ до дна современную русскую жизнь, но—Боже мой! — какое это грустное произведение!... Въ немъ жизнь является въ противорѣчїи съ самой собою, лишенною всякой субстанціальной'сулы. Герой поэмы — Онѣгинъ, человѣкъ, чувствующій свое превосходство надъ толпою, рожденный съ большими силами души, но въ тридцать лѣтъ уже безжизненный, отцвѣтшій, чуждый всякихъ интересовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неспособный войти въ общую колею пошлой жизни, равно зѣвающій «среди модныхъ и старинныхъ залъ»... Въ концѣ романа онъ воскресаетъ къ жизни, ибо въ немъ воскресаетъ желаніе, но потому только, что оно невыполнимо,—и романъ оканчивается ничѣмъ. Героиня его, Татьяна, и второстепенное лице Ленскій—чудные, прекрасные человѣческіе образы, благороднѣйшія натуры; но уже поэтому самому они чужды всего остального міра окружающихъ ихъ людей, связаны съ ними только внѣшними узами; между своими—они какъ будто между врагами, у себя дома—какъ будто въ непріятельскомъ станѣ; они — явленія отдѣльныя, исключительныя и какъ-бы случайныя, какъ великіе таланты въ русской литературѣ... Окружающая ихъ дѣйствительность ужасна — и они гибнутъ ея жертвою, и тѣмъ скорѣе, что не понимаютъ, подобно Онѣгину, ея значенія, и довѣрчивы къ ней... Весь этотъ романъ — поэма несбывающихся надеждъ, недостигающихъ стремленій,—и будь въ ней то, что люди непонимающіе дѣла называютъ планомъ, полнотою и оконченностію,—она не была бы великимъ созданіемъ великаго поэта, и Русь не заучила бы ея наизусть... Это приводитъ насъ на память другое русское созданіе—«Невскій Проспектъ» Гоголя, въ которомъ художникъ Пискаревъ погибъ жертвою своего перваго столкновенія съ дѣйствительностію, а подпоручикъ Пироговъ, поѣвши въ кондитерской сладкихъ пирожковъ и почитавши «Пчелки», забылъ о мщеніи за кровную обиду...

Вотъ гдѣ видно только начало русской литературы, но еще не русская литература. Она только что начинается, но ея еще нѣтъ,—и начинается она съ Пушкина, а до него рѣшительно не было русской литературы; вмѣсто ея была словесность — рядъ отдѣльныхъ, ничѣмъ несвязанныхъ между собою явлений, вышедшихъ не изъ родной почвы русскаго духа, а изъ подражанія чужимъ образцамъ...

Не знаемъ, какъ покажется читателямъ нашъ взглядъ на русскую литературу; но что касается до насъ собственно — по пословицѣ: «что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ» — мы и тому рады, что постарались рѣшить вопросъ ко взаимному удовольствію обѣихъ сторонъ — и той, которая не признаетъ существованія русской литературы, и той, которая держится за нее обѣими руками. Да, мы такъ этому рады, что продолжимъ наши доказательства, но теперь уже чисто практическими фактами, чтобъ всякій, имѣющій глаза, могъ видѣть.

Литература не можетъ существовать безъ публики, какъ и публика безъ литературы: это фактъ, столь же неоспоримый, какъ и почтенная истина, что дважды-два—четыре. А есть ли у насъ публика?... Прежде, чѣмъ рѣшимъ этотъ вопросъ, опредѣлимъ сперва, что такое публика. Если подъ этимъ словомъ разумѣется извѣстное число людей, читающихъ и покупающихъ книги, то, конечно, и у насъ есть публика, хоть и небольшая относительно всей массы народонаселенія, точно такъ же, какъ если подъ «литературою» должно разумѣть извѣстное количество печатныхъ книгъ, то у насъ есть литература, хотя и небольшая. Жители провинцій, — и это, право, почтенные люди, — пріѣзжая по дѣламъ въ Петербургъ или Москву, между другими, болѣе важными вещами, гостинцами для женъ, дочерей и сыновей, покупаютъ и книги; на макарьевской ярмаркѣ, дѣлая годовыя закупки чая, кофея, са-

хара, и прочаго домашняго обихода, они запасаются и книгами. Журналы наши находятъ себѣ подписчиковъ, и даже очень много: у одного журнала, говорятъ, было ихъ нѣкогда—давно ужъ, около пяти тысячъ. И такъ, у насъ есть публика!... Но нѣкоторые подъ «публикою» разумѣютъ другую сторону одного и того же народа, сознающаго себя въ литературѣ, — сторону, которая въ созданіяхъ пишущей стороны находитъ свой же собственный духъ, свою же собственную жизнь. По этому мнѣнію, котораго и мы придерживаемся, публика находится въ живомъ соотношеніи съ своими писателями: тѣ — производители, она — потребитель; тѣ — актёры, она — зрители, награждающіе актеровъ своимъ сочувствіемъ, своими восторгамъ. Литература есть ея сокровище, ея добро: она судить о ея произведеніяхъ, назначаетъ имъ цѣну, не даетъ возвышаться жалкой посредственности, ни гложуть въ забвеніи истинному таланту. Для публики, занятіе литературою не есть отдохновеніе отъ заботъ жизни, не сладкая дремота въ эластическихъ креслахъ послѣ жирнаго объѣда, за чашкою кофе, — нѣтъ, занятіе литературою для нея *res publica*, дѣло общественное, великое, важное, источникъ высокаго нравственнаго наслажденія, живыхъ восторговъ. Несмотря на безконечное множество лицъ, составляющихъ публику, она сама есть нѣчто единое, единичная живая личность, исторически развившаяся, съ извѣстнымъ направленіемъ, вкусомъ, взглядомъ на вещи. Поэтому, публика видитъ въ литературѣ свое, плоть отъ плоти своей, кость отъ кости своихъ, а не что-нибудь чуждое, случайно наполнившее собою извѣстное число книгъ и журналовъ. Гдѣ есть публика, тамъ писатели выговариваютъ народное содержаніе, вытекающее изъ народнаго міросозерцанія, а публика, своимъ участіемъ, выраженіемъ своего восторга или неудовольствія, показываетъ, до какой степени тотъ или другой писатель достигъ, въ своемъ твореніи,

этой высокой цѣли. Гдѣ есть публика, тамъ есть и общественное мнѣніе, опредѣленно произнесенное, есть родъ непосредственной критики, которая отдѣляетъ пшеницу отъ плевелъ, награждаетъ истинное достоинство, наказываетъ жалкую бездарность, или дерзкое шарлатанство. Публика есть высшее судилище, высшій трибуналъ для литературы. Мы не будемъ говорить, есть ли у насъ публика, или до какой степени она есть у насъ, но представимъ нѣсколько фактовъ, и старыхъ и новыхъ, по которымъ пусть всякій дѣлаетъ какое ему угодно заключеніе. У насъ былъ журналъ ¹⁾ старавшійся знакомить насъ съ современною Европою, распространявшій мысль о движеніи мысли по закону смѣненія стараго новымъ, объ отсталости и устарѣлости всего, что не слѣдитъ за успѣхами ума человѣческаго во времени. Вѣрный своему направленію, этотъ журналъ много пустилъ въ оборотъ дѣльных понятій, много уничтожилъ незаслуженныхъ авторитетовъ, еще больше уничтожилъ заплесневѣлыхъ убѣжденій, литературныхъ предрассудковъ, убилъ на-повалъ вліяніе на нашу литературу французскаго псевдо-классицизма. Большое дѣло было имъ сдѣлано! Правда, его заслуга была отрицательная: онъ много уничтожилъ дурнаго, и ничего не утвердилъ хорошаго; его призваніе было—разрушать, а не созидать, но если вы на мѣстѣ стараго, безобразнаго дома хотите выстроить новый и красивый — вамъ нельзя будетъ сдѣлать этого, если не сломаете стараго, а это трудъ немалый! И вотъ журналъ, о которомъ мы говоримъ, кончилъ свое дѣло вполне, такъ что ужъ сталъ повторять самого себя; не говоря ничего новаго, началъ становиться самъ въ ряды отсталыхъ, благодаря быстрому ходу и движенію всего новаго. Наконецъ, онъ прекратился. Надо сказать, что публика наша оцѣнила его, отличивъ его отъ дру-

¹⁾ «Телеграфъ».

гихъ: онъ былъ исключительнымъ ея любимцемъ, и у него доходило иногда, какъ говорятъ, до 1500, и никогда не бывало меньше 1200 подписчиковъ въ то время, какъ его собратіи довольствовались и тремя-стами, а при шестистахъ подписчиковъ считали себя богачами и счастливыми... Вдругъ на его мѣсто является другой журналъ ¹⁾, и, благодаря ловкой программѣ, оборотливости книгопродавца, и содѣйствію, пріятельской газеты, приобретаетъ вдругъ около 5000 подписчиковъ. Чтѣ же? — всѣ думаютъ, что это будетъ журналъ съ мнѣніемъ, направленіемъ, что онъ пойдетъ дальше своего предшественника, будетъ высказывать что-нибудь положительное, будетъ зрѣлѣе, основательнѣе, глубже, словомъ: — начнетъ съ того, на чемъ остановился его предшественникъ... Ничего не бывало! Новый журналъ дебютировалъ слѣдующими глубоко философскими идеями: «вещное не существуетъ само по себѣ, какъ абсолютная сущность, но есть понятіе относительное, которое основывается на личномъ ощущеніи всѣхъ и каждого, и выражается формулою: это хорошо, потому что мнѣ нравится, и это дурно, потому что мнѣ не нравится». Вотъ что называется идти съ вѣкомъ наравнѣ! Вотъ истинный шагъ впередъ!... Но этимъ проказа не кончилась: журналъ простеръ неслравненно далѣе свое «изволятъ потѣматься надъ публикою». Онъ вдругъ провозгласилъ, что прогрессъ человѣчества — вздоръ, что, слѣдовательно, исторія тоже — вздоръ; что разумъ — просто надуваетъ человѣчество; что знаніе невозможно, наука и ученіе — ни къ чему не ведутъ; что историческіе романы Вальтеръ-Скотта — плодъ незаконнаго совокупленія исторіи съ поэзіею, и пр. и пр. Вслѣдствіе всѣхъ сихъ мудрыхъ правилъ, этотъ журналъ поставилъ на одну доску великаго Гёте съ господиномъ Кукольниковъ, упалъ передъ обоими ими на

¹⁾ «Библиотека для чтенія».

колѣни и, закрывъ глаза, въ восторгѣ началъ кричать: «Великій Гёте! Великій Кукольникъ!» Это было сдѣлано имъ при разборѣ «Торквато Тассо», произведенія г. Кукольника, отличающагося нѣсколькими довольно удачными стихами и теперь совершенно забытаго. Вмѣстѣ съ произведеніями Пушкина, Жуковского, князя Одоевскаго, этотъ журналъ началъ печатать повѣстцы извѣстнаго рода веселаго содержанія, и стихи разныхъ господъ, неумѣвшихъ даже нанизывать рифмы. Не довольствуясь этимъ, онъ постоянно, съ какою-то систематическою разсѣчливостію, сталъ преслѣдовать все, въ чемъ есть хоть сколько-нибудь таланта, и покровительствовать всему, что отличалось бездарностію или непосредственностію. И что же? публика тотчасъ увидѣла, что надъ нею «изволятъ потѣшаться», что ее «надувають» за ея же деньги, и — перестала подписываться на этотъ журналъ?... Какъ бы не такъ! Несмотря на то, что съ обертки этого журнала, на другой же годъ его существованія, слетѣли всѣ блестящія имена, заманившія публику, несмотря на то, что всѣ литературныя знаменитости печатно отказались отъ участія въ изданіи, — публика руссiйская продолжала, восхищаясь имъ около пяти лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока не заучили наизусть его милыхъ остротъ, и пока онъ не началъ, истощивъ весь запасъ своего остроумія, повторять самого себя и подбивалъ ее «раздирательными» остротами, за неимѣніемъ лучшихъ... Вотъ вамъ и публика!... Публика прочла Державина, Крылова, Батюшкова, Жуковского, заучили наизусть всего Пушкина, не говоря уже о Баратынскомъ, Козловѣ, Веневитиновѣ, Полежаевѣ, Языковѣ, Подолинскомъ и многихъ другихъ: надо было ожидать, что ея вниманіе можетъ обратить на себя только что-нибудь необыкновенное, а возбудить восторгъ, только что-нибудь великое... И что же? она не только пришла въ восторгъ отъ умныхъ, но чуждыхъ вдохновенія и поэтической жизни драмъ

довольно извѣстнаго въ журнальномъ мірѣ драматиста, но даже повѣрила кому-то, сказавшему ей, что г. NN. — великій поэтъ выше и Жуковскаго и Пушкина!... Конечно, въ стихотвореніяхъ г. NN. проблескивали иногда искорки дарованія, но во первыхъ, дарованія чисто внѣшняго, ограниченнаго, а во вторыхъ, поэтическія искры его свѣтились сквозь глыбы дикихъ, изысканныхъ и безвкусныхъ фразъ и образовъ, — и этимъ ли талантомъ было восхищаться при Пушкинѣ!... Вотъ, едва прошло пять лѣтъ, — и стихи г. NN. не только не хвалятъ, даже и не бранятъ...

Дѣти мы, дѣти! намъ надо еще не изящныхъ созданій Рафаэля, а игрушекъ, съ яркими красными цвѣтами, съ блестящею позолотою!...

Тамъ гдѣ есть публика, слова «литераторъ» и «критикъ» имѣютъ опредѣленное значеніе, и не присваиваются себѣ всякимъ, кто только захочетъ, но приписываются только заслугѣ и достоинству. Тамъ нельзя провозгласить себя знаменитымъ писателемъ, опекуномъ языка и любимцемъ публики за нѣскольکو жалкихъ сочиненій, въ которыхъ видна рутина и бездарность, и еще за постоянное двадцатипятилѣтнее марање пишечей и корректурной бумаги. Тамъ осмистали бы за громкое титло «критика», самовольно присвоиваемое человекомъ, который признается печатно, что не только не понимаетъ, почему Гёте называютъ великимъ геніемъ, но даже почему почитаютъ его и просто поэтомъ, а не безталаннымъ писакою; — или который называетъ печатно плохимъ романомъ «Патфайндера» Купера, это геніальное произведеніе, какимъ только ознаменовалась, послѣ Шекспира, творческая дѣятельность; — или который утверждаетъ, что «Каменный Гость», это высшее, художественнѣйшее созданіе Пушкина, замѣчательно только гладкими стихами; — или который силится увѣрить весь свѣтъ, что вся заслуга Пушкина, какъ поэта, состоитъ въ усовер-

шенствованіи версификаціи и легкой, игривой формѣ, способной увлекать только легкомысленныхъ людей;—или который кричитъ, что Гоголь — забавный писатель, вѣрно списывающій съ натуры, что его «Ревизоръ» рядъ смѣшныхъ каррикатуръ, а не комедія, проникнутая глубокимъ юморомъ и ужасающая своею вѣрностію дѣйствительности; — или который объявляетъ во всеуслышаніе, что «Горе отъ Ума», это благодѣйшее созданіе гениальнаго человѣка, ниже «Недовольныхъ», плохой комедіи г. Загоскина;—или который клянется, что Лермонтовъ пишетъ плохіе стихи; — или который утверждаетъ, что стихи годны только для сбыта вздорныхъ и нелѣпыхъ мыслей, которыя уважаются читателями только за рифму, и что дѣльные мысли должно беречь для прозы... За подобный образъ мыслей печатно выражаемый, всѣхъ этихъ quasi-критиковъ, или лучше сказать — критикановъ, публика—только будь она—отвергла бы. Гдѣ есть публика, тамъ не будутъ вѣрить человѣку, который собственными сочиненіями всего лучше показалъ и доказалъ, что его душа чужда поэзіи, что въ его натурѣ не лежитъ никакого созерцанія поэзіи, какъ въ натурѣ глухаго не лежитъ никакого созерцанія музыки, а въ натурѣ слѣпаго—никакого созерцанія живописи. Еще менѣе станутъ вѣрить человѣку, который въ одно и то же время, въ одной и той же газетѣ пишетъ, объ одной и той же книгѣ, объ одномъ и томъ же авторѣ—и pro и contra, который, напримѣръ, въ одномъ номерѣ своего листка, кричитъ, что драма его пріятели — гениальное созданіе, достойное Шиллера, а черезъ два дня, въ той же газетѣ, объявляетъ, чтобы касательно оной драмы сего сочинителя ему не вѣрили, ибо де онъ написалъ объ ея достоинствахъ, увлекаясь кумовствомъ и «самагадеріе». Словомъ, гдѣ есть публика, — тамъ уже нѣтъ мѣста господамъ Выбойкинымъ, Проихинимъ, Тряпичкинымъ, Задаринымъ.

«Вотъ прекрасно!» воскликнетъ иной подиѣтатель чужихъ недомолвокъ, обмолвокъ и промаховъ: — «вотъ прекрасно! Стало-быть, у насъ нѣтъ совсѣмъ публики, а только одна толпа?» Погодите, милостивые государи; умныхъ людей вездѣ меньше дюжинныхъ, но тѣмъ не менѣе, умные люди есть вездѣ такъ имъ ли не быть въ Россіи, этой землѣ юной и мощной, кипящей умами и талантами? Но въ томъ-то и состоитъ отличіе нашего теперешняго образованія, что у насъ все разсыано, все особно, все врозь, все въ смѣси. Вотъ юноша, изучающій Гегеля—сынъ отца, незнающаго грамотѣ; вотъ профессоръ, который дальше схоластическихъ риторикъ не пускался въ бездну премудрости, а его молодой товарищъ даже ужъ и не смѣется надъ риториками, но краснорѣчиво умалчиваетъ о ихъ существованіи, и т. д. Посмотрите на наше общество: какаѣ калейдоскопическая пестрота! На иномъ вечерѣ увидишь и модный фракъ, и венгерку, и архалукъ, и длиннополый сюртукъ съ рыжею бородкою —

Какая смѣсь одеждъ и лицъ,
 Племень, нарѣчій, состояній!

У насъ есть люди и умные отъ природы, и европейски-образованные, и притомъ въ такомъ количествѣ, что могли бы составить собою «публику»; да то бѣда, что они разсыаны по безконечному пространству необъятной Россіи, и—потому они одиноки во множествѣ, потеряны въ толпѣ; благородные голоса ихъ заглушаются нестройнымъ крикомъ и жужжаніемъ толпы, и не могутъ составить общаго, гармоническаго хора, который бы надъ всѣмъ владычествовалъ и всему давалъ тонъ. Они одиноки среди поглотившей ихъ толпы, какъ великіе таланты среди «литераторовъ и сочинителей». Но справедливость велитъ замѣтить, что и тутъ не безъ исключенія изъ общаго правила. Если у насъ еще и доселѣ существуютъ люди, которые благоговѣютъ передъ именами Сумароковыхъ, Хераско-

выхъ и Петровыхъ, то еще гораздо больше людей, которые, послѣ Жуковского, Батюшкова и Пушкина, утратили способность восхищаться даже Державинимъ и Озеровымъ... Если толпа расхвотала романы гг. Булгарина, Греча, Зотова, это не помѣшало же таланту Лажечникова быть оцѣненнымъ по достоинству, хотя Лажечниковъ и не издавалъ газеты, въ которой могъ бы хвалить самого-себя... Если чуть-чуть не раскупили всего изданія сочиненій Марлинскаго, за то теперь трудно найти въ какой угодно книжной лавкѣ «Вечера на Хуторѣ» втораго изданія, «Арабески», «Миргородъ» и «Ревизора» Гоголя. А успѣхъ Пушкина, котораго каждый ненапечатанный стихъ принимался какъ ассигнація или вексель, и котораго творенія—богатое наслѣдство для его семейства?... А «Горе отъ Ума», еще въ рукописи выученное наизусть нѣсколькими поколѣнiami?... А между тѣмъ... но что бы вы ни сказали за или противъ этого пункта, все само собою приведется къ одному общему знаменателю: у насъ есть возможность публики, и со временъ Пушкина даже замѣтно начало, зародышъ литературной публики; но у насъ еще литературной публики въ собственномъ и обширномъ значеніи этого слова нѣтъ. Перейдите отъ публики снова къ литературѣ и увидите то же самое зрѣлище. Вопросъ о публикѣ рѣшаетъ вопросъ о литературѣ, и наоборотъ.

Сказаннаго нами достаточно, чтобъ вопросъ «есть ли у насъ литература?» неказался страннымъ. По крайней мѣрѣ, отнынѣ всѣ возгласы о богатствѣ нашей литературы, о ея равенствѣ со всѣми европейскими литературами, даже о превосходствѣ надъ ними должны считаться или болтовнею, или бредомъ тщеславія, помѣшавшагося на своемъ мнимомъ достоинствѣ. Извѣстное и даже значительное число превосходныхъ художественныхъ произведеній не можетъ составить литературы: литература есть нѣчто цѣлое, индивидуальное; части ея сочленены ме-

жду собою органически; самыя разнообразныя явленія ея находятъ во взаимномъ другъ съ другомъ соотношеніи. Несмотря на всю неизмѣримость пространства, отдѣляющаго Вальтеръ-Скотта отъ какого-нибудь Диккенса или Марріета, вы видите въ нихъ нѣчто общее, и это общее есть—британская національность. Между Вальтеръ-Скоттомъ съ одной стороны; и Диккенсомъ и Марріетомъ съ другой—сколько примѣчательныхъ талантовъ, болѣею частію совершенно неизвѣстныхъ у насъ на поприщѣ романистики! Подлѣ громаднаго генія Байрона, блестятъ могучіе и роскошныя таланты Томаса Мура, Уорсуорта, Сутея, Коупера и многихъ другихъ. И у насъ, назадъ тому двадцать лѣтъ вышелъ было могучій атлетъ съ дружиною замѣчательныхъ, хотя и ставшихъ отъ него на неизмѣримомъ разстояніи талантовъ; но теперь, кажется, литературной дѣятельности суждено проявляться въ отдѣльныхъ лицахъ, одиноко дѣйствующихъ и съ остальнымъ пишущимъ міромъ не имѣющихъ никакого соотношенія, ничего общаго. Съ 1832 по 1836 годъ писалъ Гоголь, и есть ли у насъ до сихъ поръ хоть что-нибудь, что, напоминая его, отличалось бы примѣчательнымъ талантомъ? Теперь Лермонтовъ и.... никто, совершенно никто, если исключить два-три таланта, гораздо прежде его явившіеся, и продолжающіе развиваться въ своей собственной и уже опредѣлившейся сферѣ. И посмотрите, какъ сонно тянется, а не развивается—то небольшое, совокупность чего называется у насъ литературою! Умеръ Пушкинъ — и мы до сихъ поръ, еще не имѣемъ полного собранія его сочиненій, изъ которыхъ нѣкоторыя еще нигдѣ и не были напечатаны!... Въ 1832 году Гоголь издалъ свои «Вечера на Хуторѣ», въ 1835 свои «Арабески» и «Миргородъ», въ 1836 «Ревизора»; потомъ напечаталъ въ «Современникѣ» сцену изъ комедіи, «Коляску» и «Носъ», — да съ тѣхъ поръ — ни слова... Лермонтовъ еще напечаталъ только одинъ романъ и небольшую книжку

стихотвореній. Такъ ли проявлялась первая дѣятельность у европейскихъ писателей? Изъ нашихъ лучшихъ писателей, Пушкинъ написалъ едва ли не больше всѣхъ; но все написанное имъ, собранное въ одну книгу, едва ли сравнится (разумѣется величиною книги) только съ поэмами Вальтеръ-Скотта, собранными въ одну книгу, — съ поэмами, которыя составляютъ его второе, не столь важное, какъ романы, право на славу, и которыя, несмотря на все высокое поэтическое свое достоинство, принадлежать къ второстепеннымъ или третьестепеннымъ сокровищамъ музея національной поэзіи; эти поэмы представляютъ собою уже роскошь, избытокъ необъятно-богатой литературы... Но если Пушкинъ дѣлалъ слишкомъ мало, въ сравненіи съ нестоимыми средствами своего плодовитаго генія, — нѣтъ сомнѣнія, что онъ чрезвычайно много сдѣлалъ бы, еслибъ прежде временная смерть, вмѣстѣ съ жизнію не прекратила и его дѣятельности; оставшіяся послѣ смерти его произведенія показываютъ, что его геній еще только вступалъ въ апогею своей дѣятельности, и что дѣйствуя онъ еще хотъ десять лѣтъ — компактное изданіе его сочиненій не уступило бы въ объемѣ этимъ огромнымъ, тяжелымъ книгамъ, въ два столбца мелкой печати, въ которыя собраны творенія Шекспира, Байрона, Гёте и Шиллера. Но другіе?... Воля ваша, у насъ авторство — какая-то тяжелая, медленная и напряженная работа! Вотъ, напримѣръ, Лажечниковъ: какой богатый талантъ, какая страстная натура, какое горячее сердце, какая благородная, возвышенная душа отпечатлѣвается въ его романахъ! Сколько пользы русскому обществу могутъ приносить они, внося въ его жизнь идеальные элементы, побуждая гуманическимъ началомъ прозаическую черствость его нравовъ! И что же? — въ десять лѣтъ только три романа!... И добро бы еще это было вслѣдствіе неуспѣха, холоднаго приѣма со сто-

роны публики первых романовъ Лажечникова: нѣтъ, первые изданія «Новика» и «Ледянаго Дома» были не раскуплены, а расхватааны, и скоро потребовались вторыя изданія обоихъ романовъ. Что ни напиши теперь Лажечниковъ — все будетъ имѣть большой успѣхъ... Между молодыми людьми, нѣкоторые обнаружили, или обнаруживаютъ, въ большей или меньшей степени, значительные таланты въ повѣствовательномъ родѣ, и что же? — Написавъ повѣсть и ожививъ ею на мѣсяцъ нашу мертвую литературу, или издавъ двѣ-три повѣсти отдѣльною книжкою, каждый изъ нихъ уже и самъ не знаетъ, когда онъ напишетъ еще повѣсть, или издастъ еще книжку... Одна изъ тѣхъ повѣстей, которыя у каждаго англійскаго, нѣмецкаго и особенно французскаго нувеллиста являются вдругъ десятками, наполняютъ собою и журналы, и альманахи, и отдѣльно издаваемые книги, — у насъ геркулесовскій подвигъ, великое дѣло — и наконецъ мы дошли до того, что журналъ, который не хочетъ пятнать своихъ чистыхъ страницъ дюжинными произведеніями посредственности, видитъ невозможность представлять своимъ читателямъ въ каждой изъ двѣнадцати книжекъ своихъ, по двѣ или даже по одной оригинальной повѣсти... тогда какъ французскіе журналы и даже газеты набиты оригинальными повѣстями...

Но если мы взглянемъ на другую сторону предмета, то увидимъ, что и самая посредственность у насъ бесплодна, — посредственность, которая, приходясь по плечу толпѣ, успѣвала иногда приобрѣтать успѣхи, свойственные только таланту и гевію. Иной «сочинитель» приобрѣлъ себѣ своими суздальскими картинками нравовъ, выдаваемыми имъ за романы, и извѣстность и «денегъ малую толику», что же? — вы думаете, увидѣвъ выгодную для себя отрасль промышленности въ романо-печеніи, онъ напекъ цѣлые десятки и сотни романовъ, которые ему такъ легко печь, благодаря обилію муссорныхъ матеріаловъ

и топорной обдѣлкѣ? нѣтъ, онъ напекъ ихъ всего на всего какой-нибудь пятокъ въ продолженіи цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ... Другой всего на все только пару... Передъ всѣми ими посчастливилось одному «Милорду Англинскому», который вотъ ужъ лѣтъ шестьдесятъ каждый годъ выходитъ новымъ изданіемъ, къ несказанному утѣшенію своихъ читателей и почитателей... Иной съ плеча отмахиваетъ драмы и водевили; всѣ дивятся легкости, съ какою онъ ихъ стряпаетъ; а повѣрьте дѣло — выйдетъ, что онъ въ три года настряпалъ не больше двухъ десятковъ... чего же? — такихъ тощихъ и такихъ бездарныхъ вещицъ, которыя ниже всякой возможной посредственности, и которыхъ цѣлую сотню легко наготовить въ одинъ мѣсяцъ... О, литература!...

Заведите съ кѣмъ угодно споръ о причинахъ этой безплодности, — вы всегда услышите одно и тоже: производители обвиняютъ потребителей, а публика авторовъ и сочинителей. Та и другая сторона совершенно справедливы въ своихъ доказательствахъ, равно какъ совершенно справедливъ и тотъ, кто сказалъ бы, что некому и не на кого жаловаться, потому что и то и другое, т. е. и наши авторы и наша литературная публика — существованія проблематическія, а не положительныя, что то такое, о чемъ нельзя сказать ни того, чтобъ его совершенно не было, ни того, чтобъ оно и было дѣйствительно. Слѣдовательно, причина не въ авторахъ и не въ публикѣ, потому что они сами только результаты другой, болѣе общей причины. Многіе обвиняли нашу литературу въ томъ, что она не сближается съ обществомъ, а рисуетъ какіе-то, нигдѣ не существующіе образы, выдавая ихъ за портреты общества:

Съ кого они портреты пишутъ?

Гдѣ разговоры эти слышатъ?

А если и случалось имъ,

Такъ мы ихъ слышать не хотимъ, —

сказалъ ностъ и сказалъ великую правду, хотя и не разрѣшилъ этихъ вопроса. Въ XI-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» прошлаго года напечатана статья почтеннаго титулярнаго совѣтника въ отставкѣ Плакуна Горюнова: «Записки для моего праправнука о русской литературѣ». Въ ней авторъ очень основательно, оригинально и сильно обвиняетъ нашу литературу въ ея постоянной стрѣльбѣ мимо цѣли, когда она берется за изображеніе общества, особенно высшаго; но въ то же время прибавляетъ, что наши гостинныя—родъ Китая, царство анатіи. Это напоминаетъ, великое слово Пушкина, что «сущность гостинной состоитъ, въ томъ, что въ ней всѣ стараются быть ничтожными съ приличіемъ и достоинствомъ». Гдѣ жъ вина литературы, если она не находитъ для своихъ портретовъ оригинальныхъ лицъ, съ отпечаткомъ внутренней жизни? Литература должна быть выраженіемъ жизни общества, и общество ей, а не она обществу даетъ жизнь. Нападая на нее, не надо быть и несправедливымъ къ ней: посмотрите, какъ иногда крѣпко вливается она въ общество, словно дитя всасывается въ грудь своей матери,—и ея ли вина, если съ перваго слабого усилія она высасываетъ все молоко изъ этой безплодной груди... Недостатокъ внутренней жизни, недостатокъ жизненнаго содержанія, отсутствіе міросозерцанія—вотъ причина... Гдѣ нѣтъ внутреннихъ, духовныхъ интересовъ, внутренней, сокровенной игры и переливовъ жизни, гдѣ все поглощено внѣшней, матеріальною жизнію — тамъ нѣтъ почвы для литературы, нѣтъ соковъ для питанія; тамъ остается только, какъ дѣлывали Ломоносовъ, Петровъ, Херасковъ и Державинъ, писать громкія оды, или, какъ это было лѣтъ десять назадъ, писать только элегіи—эти жалобные вопли разочарованія, эти грустные звуки жажды жизни, которая не находитъ себѣ ни удовлетворенія, ни исхода, и томится среди окружающей ее внутренней безжизненности...

Кончивъ съ литературою, обратимся опять къ публикѣ. Какое это неопредѣленное слово — «публика»? Что это такое? Собрание людей, которые съ сентября до марта каждого года покупаютъ книги и подписываются на журналы, а въ остальное время года, на досугѣ, читаютъ купленное? Говорятъ, наша публика больше всего требуетъ отъ журналовъ критики. Справедливо ли это? Да—отчасти, потому что больше всего любить она сказочки легкаго и веселаго содержанія, да стихи, не слишкомъ хорошіе, не слишкомъ плохіе, такъ, чтобъ была середка на половинѣ, а послѣ ихъ—и критику. Но что разумѣютъ у насъ подъ словомъ «критика»? статью, въ которой «славно отдѣлали» того или другаго; статью, въ которой авторъ много наговорилъ, ничего не сказавъ, и если наговорилъ плавно, легко и такъ гладко, что нельзя споткнуться на мысли, не надъ чѣмъ задуматься и подумать, то критика хоть куда! Появляется въ журналѣ статья—плодъ глубокаго убѣжденія, горячаго чувства, выраженіе тѣхъ внутреннихъ духовныхъ интересовъ, которые занимаютъ все существо человѣка на яву, тревожатъ его сонъ, отрываютъ его отъ выгодъ внешней жизни, отъ заботъ о своемъ житейскомъ благосостояніи, заставляютъ его приносить въ жертву всю жизнь, всѣ удобства въ настоящемъ, всѣ надежды въ будущемъ; въ статьѣ—новые взгляды, невысказанныя прежде идеи, — и что же? — на нее смотреть холодно, противъ нея кричать; одинъ недоволенъ тѣмъ, что она длинна (потому что ему некогда читать длинныхъ статей), другой сердитъ на то, что она заставляетъ думать (а онъ любитъ читать послѣ обѣда, для забавы и споспѣшествованія пищеваренію); третій кричитъ, что авторъ началъ издалека и о главномъ предметѣ сказалъ меньше, чѣмъ о побочныхъ, относящихся къ нему предметахъ. Положимъ, что нѣкоторыя изъ этихъ обвиненій и справедливы, что въ статьѣ есть недостатки, и даже очень важные; но развѣ горя-

чье чувство, живое изложение, дѣльность и новость мыслей не въ состояніи выкупить этихъ недостатковъ! Развѣ такихъ статей такъ много, что вы можете выбирать только лучшее изъ хорошаго?—Ничего не бывало! въ слухѣ вашемъ еще въ первый разъ раздается свѣжій голосъ; въ первый разъ слышите вы человека, который высказываетъ вамъ то, о чемъ онъ много думалъ, что горячо любилъ, чему пламенно вѣрилъ, чѣмъ исключительно жилъ... Да если иная статья и понравится всѣмъ безусловно, то не собственнымъ достоинствомъ, которое бы всѣ поняли и оцѣнили, а такъ какъ-то, случайно: потому что обругай ее какой-нибудь литературный торгашъ— всѣ ему повѣрятъ; а если авторъ статьи отвѣтитъ торгашу, опять всѣ повѣрятъ автору — до новаго ругательства со стороны торговца... Тутъ не берется въ расчетъ ни талантъ, ни личность, ни безукоризненность дѣятельности и жизни, ни убѣжденіе, ни чувство, ни умъ: мнѣніе всегда въ пользу того, кто въ полемической перепалкѣ послѣдній остался на аренѣ, т. е. чья статья осталась безъ отвѣта.

И чего ожидать отъ толпы, если и отъ людей образованныхъ и благонамѣренныхъ слышатся иногда такіе упреки литераторамъ и такіе упреки критикѣ, что вполне понимаешь тщету и ничтожество всякой извѣстности, пустоту всякой дѣятельности, и изъ глубины души восклицаешь: «не изъ чего хлопотать, не для чего тратить время и силы!» Такъ, напримеръ, намъ случалось слышать упреки «Отечественнымъ Запискамъ» именно отъ образованныхъ и благонамѣренныхъ людей, впрочемъ высоко цѣнящихъ это изданіе,—за то бы вы думали?—за то, что «Отечественныя Записки» Пушкина называютъ мировымъ поэтомъ, въ произведеніяхъ Гоголя видятъ гениальную, творческую дѣятельность, а въ его «Ревизорѣ»— великое художественное созданіе... Что же оскорбляетъ этихъ, впрочемъ ушныхъ и благородныхъ людей въ нашихъ похва-

лахъ?—ихъ, говорятъ, они преувеличенность. Прекрасно! Но, милостивые государи, не противорѣчите ли вы сами себѣ, если, отнимая у журнала право самостоятельнаго взгляда на предметы, тѣмъ не менѣе хотите пользоваться сами этимъ правомъ? Почему же вы должны имѣть свой образъ мыслей, а журналъ не долженъ имѣть его? Неужели, произнося о чемъ-нибудь свое сужденіе, журналъ долженъ соображаться съ мнѣніемъ г. А., г. В., г. С., и т. д., или бѣгать къ тому и другому, спрашивать ихъ: «какъ прикажете написать вотъ о томъ, или этомъ?» Въдъ вы сами согласны въ искренности, въ неподкупности нашихъ отзывовъ о помянутыхъ писателяхъ: почему же могутъ васъ оскорблять эти отзывы? Вы находите ихъ произвольными? но вамъ представляются причины, на которыхъ они основаны, доказательства, которыми они подтверждаются. Но эти причины и доказательства, можетъ быть, кажутся вамъ не довольно основательными и достаточными? Въ такомъ случаѣ, вы имѣете полное право не согласиться съ ними, но ни въ какомъ случаѣ не имѣете права запрещать журналу имѣть свой взглядъ на предметы, свое убѣжденіе и во всякомъ случаѣ должны уважать журналъ съ независимымъ мнѣніемъ и самобытною мыслию, хотя бы и противоположными вашимъ, и отличить его отъ журналовъ, въ которыхъ нѣтъ ни мнѣнія, ни мысли... Нѣкоторые называютъ похвалы «Отечественныхъ Записокъ» Пушкину и Гоголю пристрастными. Чтѣ отвѣчать на это? Если это пристрастіе къ лицамъ — оно не извинительно, предосудительно, — и какъ же «Отечественнымъ Запискамъ» оправдаться въ немъ передъ такими людьми, для которыхъ ничего не говорить за себя самодѣло, для которыхъ нѣмо свидѣтельство горячаго чувства, благороднаго одушевленія? Пусть подумаютъ они хоть о томъ, что Пушкина давно уже нѣтъ на свѣтѣ, и что онъ, поэтому, не можетъ быть ни вреденъ, ни полезенъ журналу; и что сочиненій Гоголя они не

встрѣчали еще въ «Отечественныхъ Запискахъ». Если же это пристрастіе къ сочиненіямъ, то уважьте его, ибо если это и пристрастіе, то пристрастіе благородное, и, къ несчастію, столь рѣдкое въ нашемъ холодномъ обществѣ, пристрастномъ только къ выгодамъ внѣшней, матеріальной жизни, деньгамъ,—и въ нашей журналистикѣ, пристрастной только къ подписчикамъ и выгодному сбыту своихъ издѣлій... А говорить ли о защитникахъ *своей* литературы и *своихъ* «сочинителей», которые какъ-будто лично оскорблены отзывами «Отечественныхъ Записокъ» о Марлинскомъ... Попробуйте растолковать имъ, что еслибъ журналъ былъ и неправъ въ мнѣніи о семъ сочинителѣ, то за нимъ все-таки остается право свободного и самобытнаго взгляда на всевозможныхъ сочинителей; что журналъ не обязанъ льстить толпѣ, повторяя ея устарѣлыя мнѣнія, и что *amicus Plato, sed magis amica veritas*... Смѣшно и досадно, что у насъ еще надо толковать о такихъ простыхъ и обыкновенныхъ понятіяхъ, о которыхъ уже не толкуютъ ни въ одной литературѣ... Да, мы начали съ конца, а не съ начала: мы вздумали «критиковать», не объяснивъ сперва, что такое «критика» и чѣмъ она отличается отъ полемики, отъ журнальных перебранокъ, отъ журнальнаго пересыпанья изъ пустаго въ порожнее. Мы начали издавать книги, не позаботившись растолковать сперва, что такое книга и чѣмъ она отличается отъ колоды картъ...

Хорошо также, напримѣръ, обвиненіе противъ «Отечественныхъ Записокъ» за употребленіе непонятныхъ словъ, именно: «безконечное, конечное, абсолютное, субъективное, объективное, индивидуумъ, индивидуальное». Право, мы не шутимъ! Иной пожалуй скажетъ, что эти слова употреблялись еще въ «Вѣстникѣ Европы», въ «Мнемозинѣ», въ «Московскомъ Вѣстникѣ», въ «Атенѣ», въ «Телеграфѣ» и пр., были всѣмъ понятны назадъ тому двадцать лѣтъ и не возбуждали ничего ни

удивленія, ни негодованія... Увы! что дѣлать! до сихъ поръ, мы жарко вѣрили прогрессу, какъ ходу впередъ, а теперь приходится намъ повѣрить прогрессу, какъ понятному движенію назадъ... Да, теперь уже многого не понимаютъ изъ того, что еще недавно очень хорошо понимали!... А все благодаря журналамъ съ «раздирательными» остротами и «уморительно-смѣшными» повѣстями!... Сверхъ упомянутыхъ словъ, «Отечественныя Записки» употребляютъ еще слѣдующія, до нихъ никѣмъ не употреблявшіяся (въ томъ значеніи, въ какомъ онѣ принимаютъ ихъ) и неслыханныя слова: «непосредственный, непосредственность, имманентный, особый, обособленіе, замкнутый въ самомъ себѣ, замкнутость, созерцаніе, моментъ, опредѣленіе, отрицаніе, абстрактный, абстрактность, рефлексія, конкретный, конкретность», и пр. Въ Германіи, напримѣръ, эти слова употребляются даже въ разговорахъ между образованными людьми, и новое слово, выражающее новую мысль, почитается пріобрѣтеніемъ, успѣхомъ, шагомъ впередъ. У насъ на это смотреть навыворотъ, т. е. задомъ впередъ, — и всего грустнѣе причина этого: у насъ хотятъ читать для забавы, а не для умственного наслажденія, глазами — а не умомъ; требуютъ чего-нибудь легкаго и пустаго, а не такого, что вызывало бы на размышленіе, погружало въ созерцаніе высшей, идеальной жизни. И какъ же иначе? подумать лѣнь и некогда, а если не подумать — непонятно; непонятное же оскорбляетъ всякое мелкое самолюбіе. Слово отражаетъ мысль: непонятна мысль — непонятно и слово, а мыслей у насъ боятся больше всего, потому что онѣ требуютъ слишкомъ тяжелой и непривычной для многихъ работы — размышленія. И можно ли ожидать, чтобы всѣ наши читатели понимали всѣ эти хитрости, если тѣ, которые снабжаютъ его умственною пищею, съ удивительнымъ добродушіемъ сознаются въ своемъ невѣдѣніи?... Найдите въ Германіи хоть одного

ученика изъ среднихъ учебныхъ заведеній, который не понималъ бы что такое «вещь по себѣ» (Ding an sich) и «вещь для себя» (Ding für sich); а у насъ эти слова становятся въ тупикъ многихъ «опекуновъ языка» и возбуждаютъ смѣхъ во многихъ «любимцахъ публики», они даже не умѣютъ и переписать ихъ, ибо вмѣсто für sich пишутъ zu sich, подобно русскимъ солдатамъ, которые генерала Блюхера, называли генераломъ Брюховымъ.

Впрочемъ, нерасположеніе къ «Отечественнымъ Запискамъ» литературнаго люда имѣетъ еще и другую не менѣе важную причину: эти господа чувствуютъ, что истина рано или поздно беретъ свое — и успѣхъ «Отечественныхъ Записокъ» служить имъ слишкомъ жестокимъ доказательствомъ этой истины. Эти господа, браня «Отечественныя Записки» и стараясь выказывать имъ всевозможное негодованіе свое, тѣмъ съ неменьшимъ вниманіемъ и постоянствомъ прочитываютъ каждую книжку страшнаго и ненавистнаго имъ журнала, и прочитываютъ ее, какъ говорится, отъ доски до доски: отчего же иначе имъ такъ твердо помнить всѣ опечатки въ «Отечественныхъ Запискахъ»? Откуда же бы иначе могли они узнавать о существованіи неслыханныхъ ими ученыхъ словъ и новыхъ идей объ изящномъ и литературѣ, — идей, которыя сами собою никакъ не могли бы забрести въ ихъ почтенныя головы: вѣдь идеи ходятъ не съ закрытыми глазами и не заходятъ куда попало?... Нѣкоторые изъ господъ, ратующихъ противъ «Отечественныхъ Записокъ» и явно и тайно, и литературно и не литературно, даже невольно подчиняются ихъ духу, и смѣшно видѣть, какъ они мало-по-малу начинаютъ употреблять тѣ самыя непонятныя слова, которыя имъ столь ненавистны въ «Отечественныхъ Запискахъ»; и еще смѣшнѣе видѣть, какъ они, вооружаясь противъ нихъ гусинымъ оружіемъ, повторяютъ ихъ мысли, стараясь увѣрить и «поч-

теннѣйшую публику» и самихъ себя, что это—ихъ собственные мысли!... Разумѣется, что они первые видятъ всю тщету своихъ усилій, и тѣмъ болѣе сердятся на «Отечественныя Записки». Въ самомъ дѣлѣ, презатруднительное положеніе: хотѣть подбивать публику своимъ—своего нѣтъ ничего, потому что все уже было сказано и пересказано лѣтъ двадцать пять назадъ тому; хотѣть поддѣлаться подъ современность и поподбивать публику чужимъ, подслушаннымъ, — не то выходитъ, вмѣсто Блюхера является Брюховъ... Иной «любимецъ публики», лѣтъ тридцать читая свое имя на оберткѣ и внутри издаваемыхъ имъ книженокъ и литературныхъ сплетней, вмѣсто журналовъ и газеты, и другихъ успѣлъ въ это время увѣрить, что онъ литераторъ, и самъ отъ полноты сердца повѣрилъ этому, — и вдругъ... о ужасъ! ему доказываютъ, ясно и неопровержимо, что его литературная извѣстность составлена имъ на кредитъ, что онъ ничего не знаетъ, ничему не учился, что всѣ его сочиненія сшиты изъ чужихъ лоскутьевъ, что въ нихъ видны только терпѣніе и рутина, но ни искры свѣтлаго ума, ни тѣни таланта!... Каково ему?... По неволѣ придется употреблять противъ страшнаго врага всевозможныя средства... Такія продѣлки смѣшны, конечно, но и простительны: вѣдь у страха глаза велики, а смерть на носу придаетъ храбрость и зайцу; по крайней мѣрѣ, это фактъ, что баранъ, встрѣтившись съ волкомъ прехрабро бьетъ о землю передними копытами...

Мы не безъ умысла распространились объ «Отечественныхъ Запискахъ». Статья наша должна быть обзорѣніемъ литературы русской за прошлый 1840 годъ; въ литературѣ же журналистика играетъ у насъ первую роль, а въ области журналистики «Отечественныя Записки» играютъ роль какого-то центра, куда направляются удары всѣхъ прочихъ повременныхъ изданій, и откуда новыя слова и новыя мысли переходятъ,

хотя и въ искаженномъ видѣ, въ прочія повременныя изданія. Кромѣ того, «Отечественныя Записки» были центромъ современной журналистики еще и потому, что только въ нихъ слышанъ былъ свѣтскій голосъ живой современности, а не повтореніе стараго и всѣмъ давно наскучившаго; только въ нихъ принимали дѣятельное участіе и люди уже давно стяжавшіе себѣ славныя имена, и люди молодыхъ поколѣній, еще только выходящіе на поприще литературы. Мы не думаемъ сказать о себѣ слишкомъ много, сказавъ, что исторія современной журналистики и, частію, современной литературы русской, есть исторія «Отечественныхъ Записокъ»: вѣдь журналъ есть не одно то, что издается по подпискѣ и выходитъ книжками въ определенное время; но и то, въ чемъ, при этихъ условіяхъ, есть жизнь, движеніе, новость, разнообразіе, свѣжесть, извѣстное направленіе, извѣстный взглядъ на вещи, словомъ — характеръ и духъ. А гдѣ же все эти условія выполнены, если не въ «Отечественныхъ Запискахъ»? — По крайней мѣрѣ, самые ожесточенные враги ихъ печатно сознаются въ томъ, что за нихъ можно заступаться и на нихъ можно нападать, какъ на нѣчто определенно и дѣйствительно существующее... Боже мой! какихъ средствъ не было перепробовано противъ нихъ! Не только тайно посылались въ провинціи, но и въ самомъ Петербургѣ сколько разъ распространялись слухи, что «Отечественныя Записки» прекратятся, то на третьей, то на пятой, то на седьмой книжкѣ; а онѣ шли себѣ да шли, съ вѣрностію хронометра являясь каждое пятнадцатое число мѣсяца, увѣсистыя и плотныя отъ богатства матеріаловъ и — ужъ тоже не отъ бѣдности въ матеріальныхъ средствахъ... Вотъ вамъ и басня Крылова о «Слонѣ и Москвѣ» въ лицахъ...

Что же дѣлали въ это время другіе журналы?... Какіе другіе журналы? Что такое журналъ? — изданіе, невыдающее

въ срокъ обѣщанныхъ книжекъ?—Ну, если такъ, то они дѣлали свое дѣло очень исправно, кромѣ, впрочемъ «Пчелы», которая всегда выходила въ срокъ, съ извѣстіями уже напечатанными въ другихъ газетахъ. Вообще, она съ прежнимъ успѣхомъ занималась своимъ дѣломъ и, какъ всегда, при началѣ подписки была въ большихъ хлопотахъ. Нѣкоторые изъ старыхъ толстыхъ журналовъ, отставая книжками, «раздирательно» острили, и этотъ новый родъ остроумія уже никого не забавлялъ: *sic transit gloria mundi!* «Галатея», послѣ неудачнаго дебюта, безъ вѣсти пропала, въ то самое время, какъ ее вздумалъ было оживлять въ Москвѣ какой-то досужій «любимецъ публики». Спасибо «Галатеѣ» хоть за то, что о ней есть что сказать, благодаря ея *salto mortale*... Въ «Библіотекѣ для Чтенія» печатались преимущественно стихотворенія гг. Кукольника и Губера. Первый напечаталъ въ ней двѣ драмы историческія и двѣ какія-то историческія же повѣсти: первыя очень хороши, но сухи и скучны, а вторыя—просто анекдоты, довольно неудачно рассказанные на нѣсколькихъ страницахъ. Въ «Сынѣ Отечества» было напечатано три стихотворенія Пушкина, изъ которыхъ два интересны, какъ произведенія его дѣтской музы. Въ «Современникѣ», какъ и прежде, былъ много интересныхъ оригинальныхъ статей, изъ которыхъ особенно замѣчательны статьи о Финляндіи г. Грота. Талантливый Основьяненко напечаталъ въ «Современникѣ» нѣсколько интересныхъ повѣстей и живую, остроумную журнальную статью «Званные Гости». Въ стихотворномъ отдѣленіи «Современника» были прекрасныя стихотворенія гр—ни Р—ной; изъ нихъ особенно замѣчательно по теплотѣ чувства и прелести выраженія называющееся въ «Москву!».

Съ именемъ «Отечественныхъ Записокъ» неразрывно соединяется мысль о большей части замѣчательнѣйшихъ новостей по изящной литературѣ, потому что все новое и интересное

или напечатано, или рассмотрѣно въ нихъ, въ отдѣленіи критики и библіографіи.....

Въ прошломъ году началъ издаваться драматическій альманахъ-журналъ «Пантеонъ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ Театровъ». Успѣхъ этого повременнаго изданія, при существованіи «Репертуара», показалъ, что и у насъ драма становится тѣмъ, чѣмъ недавно былъ романъ—исключительно любимымъ родомъ поэзіи. Въ то время, какъ «Репертуаръ» подчивалъ свою публику невинными водевилями, частію переведенными, частію передѣланными съ французскаго, и чувствительными драмами домашняго печенія, «Пантеонъ» подарилъ своихъ читателей «Бурею» и «Цимбелиномъ» Шекспира и нѣсколькими, болѣе или менѣе, примѣчательными драмами, переведенными съ нѣмецкаго, англійскаго и французскаго; изъ нихъ особенно примѣчательны: «Двадцать-четвертое февраля», драма Вернера, превосходно переведенная съ подлинника г. Струговщиковымъ, и «Норманъ, морской капитанъ», драма Больвера, переведенная съ англійскаго прозою; а изъ оригинальныхъ—«Торжество Добродѣтели», драматическій очеркъ канцелярской жизни, г. Меншикова, «Благородные Люди», комедія въ двухъ дѣйствіяхъ его же, г. Меншикова, и «Петербургскія Квартіры», комедія-водевиль г. Конн, примѣчательная въ цѣломъ, какъ веселая и оригинальная шутка, и превосходная своимъ четвертымъ актомъ, составляющимъ какъ бы особую комедію въ комедіи. Если справедливы слухи, то на будущій годъ «Пантеонъ» подаритъ русскую публику драмою Шекспира, «Ромео и Юлія», которая превосходно переведена съ подлинника, стихами. «Пантеонъ» возбудилъ соревнованіе и въ «Репертуаръ», который подарилъ публику очень хорошимъ переводомъ въ прозѣ «Антонія и Клеопатры», выдавъ эту драму Шекспира въ видѣ особаго приложенія къ одной изъ своихъ книжекъ.

Въ концѣ прошлаго года журнальное движеніе проявилось еще сильнѣе. Возобновляется старый журналъ «Русскій Вѣстникъ», издававшійся извѣстнымъ литературнымъ ветераномъ и патріотомъ, С. Н. Глинкою, который будетъ имѣть сотрудиниками цѣлыхъ три дѣйствующихъ лица: г. Гречъ, бывшій нѣкогда владѣльцемъ и редакторомъ «Сына Отечества» и издававшій въ прошломъ году, вмѣсто обѣщанныхъ 12 книжекъ, только одну книжку «Дѣтскаго Собесѣдника», — г. Полевой, бывшій редакторъ «Сына Отечества» и недокончившій его, — г. Кукольникъ, бывшій редакторъ «Художественной Газеты», не издававшій ни одного нумера ея въ 1839 году. Странное явленіе — журналъ съ четырьмя редакторами! Дай Богъ, чтобы на немъ не сбылась пословица: у семи нянекъ дитя безъ глазу!... Какое будетъ его направленіе, что скажетъ онъ намъ новаго — можно предвидѣть по именамъ редакторовъ, которые еще такъ недавно и съ такимъ блескомъ выказали свои журнальныя способности. Г. Булгаринъ, не участвующій въ «Русскомъ Вѣстникѣ», нынѣшній годъ дѣлается редакторомъ хозяйственнаго журнала «Экономъ», который издается г. Песоцкимъ, издателемъ «Репертуара».

Итакъ журналовъ стало у насъ больше прежняго; но это только видимый выигрышъ со стороны литературы, а въ сущности дѣло остается все тѣмъ же, чѣмъ и было: имя не составляетъ вещи, и если одинъ и тотъ же человекъ издаетъ хоть десять журналовъ — эти десять равны единицѣ, раздѣленной на десять частей, и въ десять разъ раздѣлившей силы и дѣятельность редактора. Одно и то же направленіе, одинъ и тотъ же образъ мыслей и взглядъ на вещи только надоедаютъ, если повторяются въ нѣсколькихъ изданіяхъ. И потому, къ упомянутымъ нами новымъ журналамъ, очень идетъ этотъ старый стихъ:

Ни что не ново подъ луною!

До 1831 года въ одной Москвѣ было больше журналовъ въ сущности, чѣмъ теперь въ обѣихъ столицахъ по числу. Не говоря уже о «Телеграфѣ», котораго важная заслуга единодушно признана теперь и друзьями и недругами покойника; не говоря о «Московскомъ Вѣстникѣ», знакомившемъ нашу публику съ германскою литературою и германскимъ воззрѣніемъ на жизнь, науку и искусство, — самый «Вѣстникъ Европы», доживавшій тогда свои послѣдніе годы, былъ явленіемъ примѣчательнымъ и интереснымъ. Это была — умирающая мысль, отстаивающая себя, въ отчаянной схваткѣ, противъ враждебной новизны... Какое характеристическое изданіе было въ началѣ и въ концѣ своемъ — «Телескопъ»! Да, тогда имя было вмѣстѣ и дѣломъ, а теперь — только новыя имена журналовъ, а сущность остается все та же, все старая же...

Кстати о московскихъ журналахъ съ направленіемъ и характеромъ: въ Москвѣ издается съ нынѣшняго года новый журналъ «Москвитянинъ»... Главный редакторъ его г. Погодинъ, главный сотрудникъ г. Шевыревъ. Не беремся пророчить о судьбѣ новаго изданія, но смѣло можемъ поручиться, что онъ есть предпріятіе честное, добросовѣстное, благонамѣренное, чисто литературное и нисколько не меркантильное; что у него будетъ своя мысль, свое мнѣніе, съ которыми можно будетъ соглашаться и не соглашаться, но которыхъ нельзя будетъ не уважать, — противъ которыхъ можно будетъ спорить, но съ которыми нельзя будетъ браниться.

Отъ журналистики обратимся собственно къ литературѣ 1840 года, и посмотримъ, чѣмъ-то обогатила она насъ. Нельзя сказать, чтобъ, по изящной литературѣ, въ прошломъ году не вышло нѣсколькихъ примѣчательныхъ книгъ. «Римскія Элегіи» Гёте, переведенныя размѣромъ подлинника, г. Струговщиковымъ, «Котъ Мурръ», романъ Гоффмана, и «Путеводитель въ Пустынь» Купера — суть важныя приобрѣтенія,

или, лучше сказать, усвоенія нашей литературы изъ сокровищницы литературъ нѣмецкой и англійской, особенно первое, какъ переведенное стихами, достойными стиховъ подлинника. Къ числу этихъ приобрѣтеній должно отнести и «Подарокъ на Новый Годъ», двѣ сказки Гофмана («Неизвѣстное Дитя» и «Человѣкъ Щелкушка»), очень хорошо переведенныя, тогда какъ первый переводъ ихъ (въ «Серапіоновыхъ Братяхъ») очень дуренъ. Кстати о переводахъ вообще, т. е. и отдѣльно вышедшихъ, и помѣщенныхъ въ журналахъ, и даже нигдѣ не напечатанныхъ: наша литература принялась за Шекспира, несмотря на то, что публика еще не думаетъ серьезно приняться за него. Мы уже упоминали о «Бурѣ», «Цимбелинѣ», помѣщенныхъ въ «Пантеонѣ», и «Антоніи и Клеопатрѣ», вышедшій при «Репертуарѣ» особенною книжкою; теперь упоминаемъ о другомъ (въ стихахъ) переводѣ «Бури» — г. Сатина, только что вышедшимъ въ Москвѣ; сверхъ того, какъ слышно, печатаются два перевода «Сна въ Лѣтнюю Ночь» — г. Вельтмана и г. Сатина; приготовлены къ печати (хотя и неизвѣстно навѣрное, будутъ ли напечатаны): «Король Іоаннъ», «Ричардъ II» и «Генрихъ IV», переведенные въ прозѣ, съ подлинника, г. Кетчеромъ; «Ричардъ II», «Двѣнадцатая Ночь или Чтò угодно» и «Гамлетъ», переведенные съ подлинника стихами, г. Кронебергомъ; «Ромео и Юлія», переведенная съ подлинника, стихами, г. Катковымъ. Кромѣ того, говорятъ, переведены: «Коріоланъ», «Много шума изъ пустяковъ», и пр. Мы слышали даже, что одинъ молодой человѣкъ, посвятившій себя изученію Шекспира, и собственно для него изучившій англійскій языкъ, перевелъ стихами — страшно вымолвить! — всего Шекспира. Итакъ важность вопроса о Шекспирѣ теперь состоитъ не въ томъ, какъ и кому переводить его, а въ томъ — для кого, а слѣдовательно, какъ и кому печатать его... Воля ваша, а странна наша литература!...

Оригинальныхъ изящныхъ произведеній въ прошломъ году вышло немного; но «Герой нашего Времени» и «Стихотворенія Лермонтова» — эти двѣ книжки, которыя одинокими пирамидами высаты въ песчаной пустынѣ современной имъ литературы — дѣлаютъ 1840 годъ однимъ изъ плодороднѣйшихъ въ литературномъ отношеніи и даютъ ему цѣну хорошаго десятилѣтія. Къ этимъ же двумъ книжкамъ мы присоединили бы и сочиненія графини Сарры Толстой, еслибы первая часть ихъ вышла въ прошломъ, а не въ 1839 году. Въ прошломъ же году вышли новыя повѣсти г-жи Жуковой, впрочемъ, уже извѣстныя публикѣ изъ журналовъ; «Панъ-Халавскій» Основьяненка — эта превосходная сатира, написанная рукою отличнаго мастера; три повѣсти г. Александрова (Дуровой) — «Ярчукъ», «Уголъ» и «Кладъ»; новый романъ г. Вельтмана «Генералъ-Каломерось». Ко всему этому должно отнести «Одесскій Альманахъ», которымъ почти начался прошлый годъ: онъ примѣчательнъ многими прекрасными піесами. Въ концѣ года появилась «Утренняя Заря», которая уже принадлежитъ бібліографіи наступившаго новаго года. Важнымъ приобрѣтеніемъ для русской литературы считаемъ маленькую книжечку, изданную г. Бухановымъ, подъ названіемъ: «Древнія Русскія Стихотворенія, служащія дополненіемъ къ Киршѣ Данилову». Примѣчательна книжка г. Боричевского: «Повѣсти и Преданія Народовъ Славянскаго Племени». Изъ старыхъ вышли вновь роскошное изданіе Басень Крылова и Полное собраніе сочиненій Дениса Давыдова.

Вотъ исчисленіе примѣчательныхъ явленій по части ученой литературы прошлаго года: «Путевыя Записки, веденныя во время пребыванія на Ионическихъ островахъ, въ Греціи, Малой Азіи и Турціи, въ 1835 году, Владиміромъ Давыдовымъ», съ великолѣпнымъ атласомъ in folio; «Путешествіе по Египту и Нубіи въ 1834 — 1835 г. А. Норова»; «Путешествіе

Маршала Мармона въ Венгрію, Трансильванію, южную Россію, по Крыму и берегамъ Азовскаго моря, въ Константинополь, нѣкоторыя части Малой Азіи, Сирію, Палестину и Египеть»; «Записки Александры Фуксъ о Чувашахъ и Черемисахъ»; «Очерки Россіи», изд. В. Пассекомъ; «Описаніе посольства, отправленнаго въ 1659 отъ царя Алексѣя Михайловича къ Фердинанду II-му, великому герцогу тосканскому»; «Записки Желябужскаго»; «Сборникъ князя Оболенскаго»; «Влахо-Болгарскія грамоты, собранныя Ю. Венелинымъ»; «Оборона Лѣтописи Русской Несторовой, г. Буткова»; «Кіевлянинъ, г. Максимовича»; «Руководство къ познанію Древней исторіи С. Смарагдова»; «Изображеніе переворотовъ въ политической системѣ Европейскихъ государствъ, соч. Ансильона» (т. II, дурно переведенный); «Первые четыре вѣка Христіанства», «Первобытная исторія христіанской церкви у Славянъ, Мацѣевскаго»; «Естественная исторія Оренбургскаго Края, соч. Эверсмана», «Первобытный міръ Россіи, соч. Эйхвальда», «Основанія Чистой Химіи, Гесса», изд. пятое; «Гальваноопластика, Якоби», «Исторія философіи архимандрита Гавріила, изд. второе»; «Исторія философіи Древнихъ временъ, Риттера»; «Введеніе въ философію, г. Карпова»; «Система логики, Бахмана»; «О мѣрѣ наказаній. С. Баршева». — Продолжались изданія «Дѣяній Петра Великаго, Голикова», доведенныя до XIII т. включительно; «Живописнаго Путешествія по Азіи, соч. Эйріе», доведеннаго до конца; «Очерковъ съ произведеній Живописи» изд. г. Тромонинымъ; «Записокъ Герцогини Абрантесъ» (т. XV). — Вышло четвертымъ изданіемъ «Путешествіе къ Святымъ Мѣстамъ» и третьимъ — «Путешествіе къ Святымъ Мѣстамъ Русскимъ». — Гг. Язвинскій и Ольдекопъ издали нѣсколько руководствъ къ языкоученію. Кромѣ всѣхъ этихъ книгъ, можетъ-быть, мы не упомянули и еще

около десятка болѣе или менѣе примѣчательныхъ сочиненій, особенно по части математики, медицины и сельскаго хозяйства. Число же всѣхъ книгъ, вышедшихъ въ прошломъ году въ Россіи, на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, беллетрическихъ и ученыхъ, превосходныхъ, хорошихъ и дурныхъ,—не составляетъ и пятисотъ нумеровъ, если не включать сюда журнальныя статьи, отпечатанныя особыми брошюрами, азбуки, молитвенники и проч... Да, немного!

Прошедшее нашей литературы неблестяще, настоящее тускло; но за будущее намъ нисколько не нужно отчаиваться. У насъ нѣтъ литературы въ точномъ и опредѣленномъ значеніи этого слова, но у насъ есть уже начало литературы, и, сообщаясь съ средствами, особенно же съ временемъ, нельзя не дивиться, какъ уже много сдѣлано. Какихъ-нибудь столѣтъ едва прошло съ того времени, какъ мы не знали еще грамоты,—и вотъ уже мы по справедливости гордимся могущественными проявленіями необъятной силы народнаго духа въ отдѣльныхъ лицахъ, каковы: Ломоносовъ, Державинъ, Фонъ Визинъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ и другіе. Нападая на нашу литературу, мы хотѣли только противоборствовать смѣшному самообольщенію, которое въ немногомъ видитъ безконечно многое, и добродушно вѣрить, что русская литература превосходитъ и англійскую, и нѣмецкую, и французскую; мы хотѣли показать дѣло въ настоящемъ положеніи, не скрывая ни хорошихъ, ни дурныхъ его сторонъ, хотѣли разсмотрѣть безпристрастно вопросъ о существованіи русской литературы, не утаивая ни того, что можно сказать противъ него, ни того, что можно сказать за него. Повторяемъ: у насъ еще нѣтъ литературы, какъ выраженія духа и жизни народной, но она уже начинается,—а это, въ такой короткій періодъ времени, — успѣхъ и успѣхъ великій, который не долженъ обольщать насъ въ насто-

ящемъ, но который долженъ казаться залогомъ великихъ надеждъ въ будущемъ. Если сила и мощь отдѣльно дѣйствующихъ лицъ въ нашей литературѣ поражаютъ васъ невольнымъ удивленіемъ, то чѣмъ же должна быть наша литература, когда она сдѣлается выраженіемъ національнаго духа и національной жизни?... И мы уже видимъ начало это желаннаго времени... Да будетъ!...

СТИХОТВОРЕНІЯ М. ЛЕРМОНТОВА. *Санктпетербургъ. 1840.*

Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея призывный
Отзывной пѣснью отвѣчай!

ВЕНЕВИТИНОВЪ.

Всѣ говорятъ о поэзіи, всѣ требуютъ поэзіи. Повидимому, это слово для всѣхъ имѣетъ такое ясное и опредѣленное значеніе, какъ, напримѣръ, слово «хлѣбъ», или еще болѣе—слово «деньги». Но когда только двое начнутъ объяснять одинъ другому, что каждый изъ нихъ разумѣетъ подъ словомъ «поэзія», то и выходитъ на повѣрку, что одинъ называетъ поэзію воду, другой—огонь. Что жъ, еслибы всѣ-то такъ называемые любители поэзіи заговорили о предметѣ своей любви! Это была бы настоящая картина вавилонскаго смѣшенія языковъ! И очень естественно: если трудно опредѣлить поэзію ученымъ образомъ, то еще труднѣе намекнуть на ея значеніе повседневнымъ языкомъ общества, всѣмъ и каждому равно понятнымъ. Еслибъ вамъ и удалось это, вы все-таки удовлетворите только людей, которые съ вами симпатизируютъ, которые одинаково съ вами настроены. Въ самомъ дѣлѣ, если я подъ словомъ «поэзія» разу-

иѣю разиѣренныя и зариѣменныя строчки, заключающія въ себѣ правила добронравія и добродѣтели, то какъ вы убѣдите меня, что поэзія есть воспроизведеніе, живопись явленій жизни?— Если я подѣ словомъ «идеализированіе» разумѣю представленіе дѣйствительности совѣмъ не такъ, какъ она есть,— ходили мыслей, дыбы чувства, то какъ увѣрите вы меня, что идеализированіе дѣйствительности есть только подчиненіе взятыхъ изъ нея матеріаловъ извѣстной цѣли, извлеченіе изъ нея, такъ сказать, ея сущности, и сочлененіе въ живое и органическое цѣлое разнородныхъ, повидимому частей?— Если я подѣ словомъ «вдохновеніе» разумѣю нравственное опьяненіе, какъ бы отъ приѣма опиума, или дѣйствія виннаго хмѣля, изступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляють непризваннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами, неестественными оборотами рѣчи, придавать обыкновеннымъ словамъ насильственное значеніе: то какъ вразумите вы меня, что «вдохновеніе» есть состояніе духовнаго ясновидѣнія, кроткаго, но глубокаго созерцанія таинства жизни, что оно, какъ бы магическимъ жезломъ, вызываетъ изъ недоступной чувствамъ области мысли свѣтлые образы, полные жизни и глубокаго значенія и окружающую насъ дѣйствительность, нерѣдко мрачную и нестройную, являетъ просвѣтленною и гармоническою?... Поэзія и наука тождественны, если подѣ наукою должно разумѣть не одиѣ схемы знанія, но сознаніе кроющейся въ нихъ мысли. Поэзія и наука тождественны, какъ постигаемые не одною какою-нибудь изъ способностей нашей души, но всею полнотою нашего духовнаго существа, выражаемое словомъ «разумъ». Въ этомъ отношеніи, онѣ рѣзкою чертою отдѣляются отъ такъ-называемыхъ «точныхъ» наукъ, не требующихъ ничего, кромѣ разсудка, и развѣ еще воображенія. Можно быть очень умнымъ человѣкомъ и не понимать поэзіи,

считать ее за вздоръ, за побрякушку риѣмъ, которою забавляются праздные и слабоумные люди; но нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не сознать въ себѣ возможности постичь значеніе, напр., математики и не сдѣлать въ ней, при усиленномъ трудѣ, большіе или меньшіе успѣхи. Можно быть умнымъ, даже очень умнымъ человѣкомъ, и не понимать, что хорошаго въ «Иліадѣ», «Макбетѣ» или лирическомъ стихотвореніи Пушкина; но нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не понимать, что два, умноженные на два, составляютъ четыре, или, что двѣ параллельныя линіи никогда не сойдутся, хотя бы продолжены были въ безконечность. Ясно, что подъ словомъ «точныхъ» истинъ разумѣются тѣ истины, которыхъ очевидности и непреложности не можетъ не признать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ, нелишенный здраваго смысла, прежде всего отличающаго людей отъ животныхъ. Въ этомъ отношеніи, наука, въ высшемъ ея значеніи, т. е. философія, и поэзія — повторяемъ — тождественны: та и другая равно далеки отъ того, что имѣетъ хотя видъ «точности». Но въ хаотической борьбѣ и противоположности понятій, убѣжденій и вкусовъ насчетъ произведеній искусства, внимательный взоръ открываетъ, какъ и во всѣхъ великихъ явленіяхъ жизни, торжество единства, которое тѣмъ выше и поразительнѣе торжества «точности», чѣмъ повидимому неопредѣленнѣе и неуловимѣе для разсудка сущность искусства. Океанъ времени, смывшій съ лица земли греческія республики, вынесъ имена: Гомера, Гезіода, Эсхила, Софокла, Пиндара, Анакреона, — и теперь всѣ, считающіе себя причастниками даровъ вдохновенія, охотно или по неволѣ, все-таки дивятся этимъ именамъ. Удачно сдѣланная копія съ Аполлона Бельведерскаго возбуждаетъ всеобщій восторгъ, а оригиналамъ, состряпаннымъ изъ двухъ кусковъ мрамора, нѣтъ цѣны. Невѣжды, зѣвующіе отъ драмъ Шекспира и втайнѣ предпочитающіе имъ мыльные пузыри водевилей, вслухъ хва-

лять Шекспира и оскорбляются, если съ нимъ сравниваютъ кого бы то ни было. Но это работа времени: въ пестротѣ современности торжество единства мнѣнія еще поразительнѣе, ибо оно есть вмѣстѣ и торжество разумности надъ близорукою ограниченностью, надъ борьбою мелкихъ страстей. Пушкинъ явился у насъ во время классической неподвижности, и потому какъ благосклонно и привѣтливо встрѣтило его молодое поколѣніе, такъ непріязненно и сурово приняло его старое поколѣніе, и въ особенности записные поэты, литераторы и словесники того времени. Но истина взяла свое,—и, несмотря на смѣшанные крики и ожесточенные споры, общее мнѣніе тотчасъ же превознесло имя молодого поэта превыше всѣхъ поэтическихъ лауреатовъ, прежде его и при немъ бывшихъ.

Но это торжество единства надъ разнообразіемъ и противорѣчіемъ во мнѣніяхъ о такомъ неопредѣленномъ и неточномъ предметѣ, каково искусство, выходитъ не изъ множества, не изъ толпы, но отъ немногихъ и избранныхъ переходитъ въ толпу. Не всѣ могутъ и не всѣ должны понимать изящное; его понимаютъ только немногіе, избранные. Кто, по натурѣ своей, есть духъ отъ духа, — тотъ по праву рожденія причастенъ всѣхъ даровъ духа, недоступныхъ плоти и ея душѣ—разсудку. Разсудокъ ставитъ человѣка выше всѣхъ животныхъ; но только разумъ дѣлаетъ его человѣкомъ по превосходству. Разсудокъ не шагаетъ далѣе «точныхъ» наукъ и не понимаетъ ничего, выходящаго изъ тѣснаго круга «полезнаго» и «нашущнаго»; разумъ же объемлетъ безконечную сферу сверхъ-опытнаго и сверхъ-чувственного, дѣлаетъ яснымъ непостижное, очевиднымъ—неопредѣленное, опредѣленнымъ—«неточное». Искусство принадлежитъ къ этой сферѣ бытія, доступной только разуму — и потому понимать поэзію нельзя выучиться, такъ же какъ нельзя выучиться писать стихи. Воспріимлемость впечатлѣній изящнаго есть своего рода талантъ: она не

пріобрѣтается ни наукою, ни образованіемъ, ни упражненіемъ, но дается природою. Постигненіе поэзіи есть откровеніе духа, а таинство откровенія сокрывается въ натурѣ человѣка; между тѣмъ извѣстно, что натуры людей разнообразны до безконечности и представляютъ собою безконечную лѣствицу съ безконечными ступенями—снизу вверхъ и сверху внизъ, смотря по тому, съ котораго конца будете смотрѣть на нее. Поэзія первоначально воспринимается сердцемъ, и уже имъ передается головѣ. Потому, чье сердце жестко и черство отъ природы для воспринятія впечатлѣній изящнаго,—окажите его съ малолѣтства произведеніями искусства, толкуйте ему цѣлую жизнь о поэзіи, — онъ пріобрѣтетъ только навыкъ къ ея формамъ и пріучится судить о ихъ внѣшней отдѣлкѣ; но сущность творчества навсегда останется для него тайною, которой онъ и подозрѣвать не будетъ. И такихъ людей, чуждыхъ поэзіи по натурѣ своей, несравненно больше, чѣмъ людей, одаренныхъ инстинктомъ изящнаго. Почему же это? — Потому же, почему число художниковъ относится къ толпѣ, какъ единица къ милліону. — А почему же существуетъ это отношеніе? На такой вопросъ даетъ превосходный отвѣтъ Моцартъ Пушкина, говоря Сальери:

Когда бы всѣ такъ чувствовали силу
Гармоніи! Но нѣтъ: тогда бъ не могъ
И міръ существовать; никто бъ не сталъ
Заботиться о нуждахъ низкой жизни;
Всѣ предались бы вольному искусству.
Насъ мало избранныхъ счастливцевъ праздныхъ,
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единого прѣкраснаго жрецовъ.

Обыкновенно толпа такъ же холодна и равнодушна къ искусству, какъ привержена и предана пользѣ; — и поэтъ имѣетъ полное право, въ порывѣ благороднаго негодованія, отвѣчать на ея бессмысленные крики:

Молчи, бессмысленный народъ,
 Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ!
 Несносенъ нѣ твой ропотъ дерзкій.
 Ты черы земли, не сынъ небесъ;
 Тебѣ бы пользы все—на вѣсь
 Купишь ты цѣнишь Бельведерскій.
 Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.
 Но ираноръ сей вѣдь богъ!... Такъ что же!
 Печной горшокъ тебѣ дороже;
 Ты пищу въ немъ себѣ варишь...

Но чѣмъ равнодушнѣе и холоднѣе толпа къ дѣлу искусства, тѣмъ выше и поразительнѣе торжество искусства надъ толпою: невольно подчиняясь вліянію избранныхъ природы, оно признаетъ его автономію ¹⁾, несмотря на его «неточность» и тѣмъ самымъ дѣлаетъ явнымъ единодержавіе разума. И поэтъ, существо, называющее пользу—этотъ идолъ толпы—презрѣнною, поэтъ возбуждаетъ къ себѣ суевѣрное удивленіе толпы, собираетъ дань ея рукоплесканій, возбуждаетъ въ ней восторгъ своимъ появленіемъ. Это такое явленіе, передъ которымъ поневолѣ задумается самый жаркій поклонникъ «полезнаго», постигшій всю глубину «точной» премудрости.

И такъ, оставивъ въ сторонѣ всѣхъ враговъ изящнаго; забудемъ о равнодушіи толпы къ дѣлу искусства и не будемъ бояться, что одни насъ не поймутъ, другіе съ нами не согласятся, а третьи будутъ надъ нами смѣяться — и возвратимся къ вопросу, которымъ мы начали статью: чтó такое поэзія? Только во дни кипучей и неискушенной опытами жизни юности, человѣку сродно питать благородное, но не быточное желаніе—увѣрить весь свѣтъ въ истинѣ своихъ убѣжденій, одинаковымъ языкомъ и съ одинаковымъ жаромъ говорить со всѣми

¹⁾ Автономія есть право предмета, основанное не на вѣншихъ уваженіяхъ, какъ-то пользѣ, преданіи (traditio), или постороннемъ авторитетѣ, но на сущности самого предмета.

о томъ, что доступно только нѣкоторымъ, и огорчаться, что нѣкоторые не понимаютъ того, чего и не дано, и не нужно имъ понимать... Будемъ говорить для всѣхъ и всѣмъ, но будемъ надѣяться только на отзывъ немногихъ... И что жъ — развѣ не великое счастье—пробудить полетъ къ высокому въ иной дремлющей душѣ? развѣ не великое счастье—родить въ себѣ сочувствіе съ сердцѣ, которого мы никогда не знали и не узнаемъ, которое живетъ, можетъ-быть, въ далекомъ отъ насъ уголку этого міра, но которое отъ нашихъ строкъ забьется въ ладъ съ нашимъ сердцемъ и, въ общемъ человѣческомъ интересѣ, сознаетъ свое родство съ нами по духу, въ ознаменованіе торжества духа надъ условіями пространства и времени!...

Что же такое поэзія?—спрашиваете вы, желая услышать рѣшеніе интереснаго для васъ вопроса, или, можетъ быть, лукаво желая привести насъ въ смущеніе отъ сознанія нашего безсилія рѣшить столь важный и трудный вопросъ... То или другое—все равно; но прежде, чѣмъ мы вамъ отвѣтимъ, сдѣлаемъ вопросъ и вамъ, въ свою очередь. Скажите: какъ называть то, чѣмъ отличается лице человѣка отъ восковой фигуры, которая чѣмъ съ бодѣшимъ искусствомъ сдѣлана, чѣмъ похожѣе на лице живаго человѣка, — тѣмъ большее возбуждаетъ въ насъ отвращеніе? Скажите: чѣмъ отличается лице живаго человѣка отъ лица покойника?—Вѣдь форма одинаково правильна въ томъ и другомъ, тѣ же части и та же соотвѣтственность и стройность въ частяхъ? Отчего эти глаза такъ свѣтлы, такъ полны смысла и разумности, что вы читаете въ нихъ какую-то мысль, что они какъ будто хотятъ сказать вамъ что-то задушевное и любовное; а тѣ—такъ тусклы, стеклянны!... Дѣло ясное: въ первыхъ есть жизнь, а вовторыхъ ея нѣтъ. Но что же такое эта «жизнь»? Мы знаемъ процессы человѣческаго тѣла, знаемъ, что жизнь человѣка въ его организмѣ, что она продолжается вмѣстѣ съ обращеніемъ крови въ

его жилахъ и прекращается вѣстѣ съ прекращеніемъ кровообращенія; но мы знаемъ также, что нашъ организмъ не машина, которая заводится или останавливается, подобно часамъ, чрезъ известное колесо, или известный органъ. И чѣмъ дальши углубимся мы въ таинство организма, чѣмъ, повидимому, ближе будемъ къ тайнѣ жизни, — тѣмъ на самомъ дѣлѣ будемъ дальше отъ нея, тѣмъ неуловимѣе будетъ она для насъ. Но мертвые бываютъ и между живыми, такъ же какъ и живые между мертвыми, ибо что жизнь для животнаго, то смерть для человѣка; что жизнь для Ирокеза, то смерть для Европейца; что жизнь для раба житейскихъ нуждъ и пользы, которой ничего не видитъ дальше удовлетворенія потребностямъ голода и кармана, или мелкаго тщеславія, — то смерть для человѣка мыслящаго и чувствующаго. И что существуетъ въ идеѣ, то выражается въ формахъ: посмотрите, какое животное лице у этого человѣка, съ сонными и мутными глазами, съ апатическимъ выраженіемъ, — толстаго, одержимаго одышкою, сейчасъ только плотно покушавшаго, — и посмотрите, какимъ огнемъ сверкаютъ черные глаза этого худощаваго, блѣднолицаго человѣка, какая подвижность въ его фізіономіи, сколько страсти въ его голосѣ! Не правда ли, первый — мертвецъ; другой — полонъ жизни? Но жизнь безконечно разнообразна въ своихъ проявленіяхъ. Тигръ полонъ жизни въ сравненіи съ черепахою, но жизнь его все-таки чисто органическая, животная; ея источникъ — горячая кровь, обильные электричествомъ нервы. Такъ и въ иномъ человѣкѣ много жизни, но эта жизнь не покоряетъ васъ себѣ неотразимымъ обаяніемъ, и вы готовы сказать ей:

Въ ней признака небесъ напрасно не ищи:
То кровь кипятъ, то слезъ избытокъ!
Скорѣ жизнь свою въ заботахъ истощи,
Разлей отравленный напитокъ!

Безконечное разстояніе раздѣляетъ человѣка страсти отъ
 человѣка чувства; но еще большее разстояніе раздѣляетъ че-
 ловѣка, оставшагося при одномъ непосредственномъ чувствѣ,
 отъ человѣка, въ которомъ рабскій инстинктъ хотя бы даже
 и благородныхъ наклонностей, перешелъ въ свободное созна-
 ніе, котораго чувство просвѣтлено мыслию. Ни гдѣ жизнь не
 является столько жизнію, какъ въ сферѣ духовныхъ интере-
 совъ и разумнаго сознанія, которые движутъ волею человѣка
 и поддерживаютъ ея неистощимую дѣятельность: это самый
 пышный цвѣтъ жизни, ея высшее развитіе, ея высшая сту-
 пень, это жизнь по превосходству; въ сравненіи съ нею вся-
 кая другая, низшая степень жизни, есть настоящая смерть.
 Но жизнь всегда жизнь, въ чемъ бы ни проявлялась она, на
 какой бы степени развитія ни стояла. Неизмѣримо разстояніе,
 раздѣляющее духовную жизнь генія отъ безсознательныхъ яв-
 леній природы, но и въ природѣ, даже на самыхъ низшихъ
 ступеняхъ ея развитія, жизнь является святымъ и великимъ
 таинствомъ. Духъ человѣческій съ безграничнымъ упоеніемъ
 прислушивается къ прозябанію дольной лозы, къ подводному
 ходу морскаго гада, къ шелесту листьевъ, колеблемыхъ въ
 знойный полдень лѣтнимъ вѣтеркомъ: онъ сознаетъ съ ними
 свое родство; онъ чувствуетъ въ нихъ незримое присутствіе, слы-
 шеть въ нихъ вѣяніе того же безсмертнаго духа жизни, кото-
 рый, подобно огню Прометееву, живетъ и его собственное су-
 ществованіе. Для живаго человѣка, природа всюду является
 одушевленною: онъ слышитъ ея голосъ и въ безмолвномъ об-
 разованіи металловъ, въ таинственной лабораторіи нѣдръ зем-
 ныхъ, и въ завываніи вѣтра—тамъ, у полюсовъ, въ царствѣ
 вѣчной зимы и смерти, на звонкихъ льдахъ воздымающаго пу-
 шистые вьюги; въ приливѣ и отливѣ водъ, она видитъ какъ-бы
 тяжелое, напряженное дыханіе исполинской груди сѣдаго стар-
 ца океана... Полонъ таинственной думы для души нашей чер-

нѣющійся вдали лѣсъ, и когда подходимъ мы къ нему, нами невольно овладѣваетъ какая-то дѣтская робость, какой-то мистическій, но полный обаянія ужасъ,—и мы повторяемъ съ поэтомъ:

О чемъ шумитъ сосновый лѣсъ?
 Какія въ немъ сокрыты думы?
 Уже ль въ его холодномъ царствѣ
 Затаена живая мысль?

 Порой, во тѣмъ пустынной ночи,
 Былыхъ вѣковъ живыя тѣни
 Изъ глубины его выходятъ,
 И на людей наводятъ страхъ.
 Съ приходомъ дня уходятъ тѣни:
 Слѣдовъ ихъ нѣтъ; лишь на вершинахъ
 Одинъ туманъ, да, въ темной грусти,
 Ночь безразсѣтная лежитъ...
 Какая жь тайна въ дикомъ лѣсѣ
 Такъ безотчетно насъ влечетъ,
 Въ забвенье погружаетъ чувство
 И тайны новыя рождаетъ въ немъ?...
 Уже ли въ насъ духъ вѣчной жизни
 Такъ безсознательно живетъ,
 Что въ царствѣ безотрадной смерти
 Свое величье сознаетъ...

Нѣтъ, не безсознательность, но чувство своего сродства, своей общности, своего тождества со всѣмъ великимъ царствомъ жизни, заставляетъ нашъ духъ видѣть свое отраженіе въ таинственныхъ явленіяхъ природы!... Повидимому отторгнутый отъ общаго своею индивидуальностію, ставши въ человѣкъ, личностію—духъ нашъ тѣмъ живѣе и глубже чувствуетъ свое таинственное единство съ безсознательною природою, которая не чувствуетъ своего единства съ нимъ... Въ природѣ нѣтъ нашего духа, но въ насъ есть духъ природы, ибо законъ бытія таковъ, что высшее необходимо заключаетъ въ себѣ низшее. Да, у духа нашего есть общее съ природою,—и это общее

есть жизнь, и потому-то она говоритъ ему такимъ понятнымъ и родственнымъ языкомъ, и все въ ней влечетъ его къ себѣ, все—

И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ,
 Стозвучный говоръ голосовъ,
 Дыханье тысячи растений,
 И полдня сладострастный зной,
 И ароматною розой
 Всегда увлажненные ночи,
 И звѣзды яркія, какъ очи
 Грузинки жарко-молодой...

Неизчислимы и разнообразны предметы міра, но въ нихъ есть единство, и всѣ они—частныя явленія общаго. Вотъ почему философія говоритъ, что существуетъ одно общее. Вздохи дышущей груди жизни—ея частныя явленія рождаются и умираютъ, приходятъ и проходятъ, а жизнь никогда не умираетъ, никогда не проходитъ: такъ въ океанѣ рождаются волны, и волна гонитъ волну, волна смѣняетъ волну,—а океанъ все такъ же великъ и глубокъ, такъ же живетъ и движется на своемъ бездонномъ, необъятномъ ложѣ;—а въ его кристаллѣ все такъ же торжественно отражается лучезарное солнце, и все такъ же колышется и трепещетъ ночное небо, усыпанное міриадами звѣздъ. Каждый человѣкъ есть отдѣльный и особенный міръ страстей, чувства, желаній, сознанія; но эти страсти, это чувство, это желаніе, это сознаніе—принадлежать не одному какому-нибудь человѣку, но составляютъ достояніе человѣческой природы, общее всѣхъ людей. И потому, въ комъ больше общаго, тотъ больше и живетъ; въ комъ нѣтъ общаго — тотъ живой мертвецъ. Чѣмъ же выражается причастность человѣка общему?—Въ доступности всему, что сродно человѣческой натурѣ, что составляетъ ея сущность и характеръ; въ правѣ сказать о себѣ: «я человѣкъ — и ничто человѣческое не чуждо мнѣ». Кто причастенъ общему, для того личныя вы-

годы и потребности житейскія—интересы второстепенные, а природа и человечество—главнѣйшіе интересы. Чья личность есть выраженіе общаго, тотъ жаждетъ сочувствія ближнихъ, трепетнаго упоенія любви, кроткаго счастья дружбы, жаждетъ волненій чувства, бурь и непогодъ жизни, борьбы съ препятствіями; тотъ все понимаетъ, на все откликается: и въ раззолоченныхъ палатахъ, среди богатства и роскоши, онъ слышитъ стоны нищеты и бѣдствія, и сердце его содрогается, но не отвращается отъ ихъ пронзительныхъ диссонансовъ; окруженный всѣми, что горячо любить онъ, что зоветъ родными и милыми,—онъ откликается на вопль и слезы вѣчной разлуки и невозвратимой утраты, и плачетъ о чужомъ горѣ, котораго самъ не испыталъ; пылкій юноша—онъ умиротворяетъ рѣзкость своихъ движеній, смягчаетъ силу своихъ порывовъ, и благоговѣнно, стыдливо, дѣвственно опускаетъ пламенные взоры въ присутствіи старца, на лицъ котораго сіяетъ кроткій свѣтъ чувства, дрожащій голосъ котораго льется свѣтлою волною любви; согбенный лѣтами старецъ — онъ съ умиленіемъ смотритъ на рѣзвое дитя, которое по зеленому лугу гонится за пестрою бабочкою; онъ радуется его дѣтской радости, принимаетъ участіе въ его младенческой печали; онъ прощаетъ заблужденіе пламенной юности, снисходителенъ къ кипѣнію ея порывистыхъ страстей, онъ понимаетъ мгновенный пламень и внезапную блѣдность на ланитахъ молодой дѣвушки, ея тоскующій взоръ и нѣмую горестъ, волненіе ея молодой груди, и печаль безъ горя, и страхъ безъ бѣды, и радость безъ причины... Съ благословеніемъ на устахъ, съ умиленіемъ во взорѣ, смотритъ онъ на пылкую юность, которая кружится въ вихрѣ жизни и, полная надеждъ и отваги, гордая сознаниемъ своей силы, спѣшитъ безъ оглядки на встрѣчу будущему, обольщаемая его заманчивою далью, не зная и не желая знать его предательскихъ обмановъ,—и передъ нимъ воскресаетъ прошед-

шее его собственной жизни, возстают милые призраки и знакомые образы невозвратно протекших лѣтъ, и вмѣсто резонерскихъ поученій и докучнаго ворчанія, онъ повторяетъ про себя съ грустно радостною улыбкою:

... Такъ было прежде
Во время оно и со мной!

Да, жить не значитъ столько-то лѣтъ ѣсть и пить, биться изъ чиновъ и денегъ, а въ свободное время бить хлопущою мухою, зѣвать и играть въ карты: такая жизнь хуже всякой смерти, и такой человекъ ниже всякаго животнаго, ибо животное, повинаясь своему инстинкту, вполне пользуется всѣми средствами, данными ему отъ природы для жизни, и неуклонно выполняетъ свое назначеніе. Жить значитъ — чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать; всякая другая жизнь — смерть. И чѣмъ больше содержанія охватываетъ собою наше чувство и мысль, чѣмъ сильнѣе и глубже наша способность страдать и блаженствовать, тѣмъ больше мы живемъ: мгновеніе *такой* жизни существеннѣе ста лѣтъ, проведенныхъ въ апатической дремотѣ, въ мелкихъ дѣйствіяхъ и ничтожныхъ цѣляхъ. Способность страданія условливаетъ въ насъ способность блаженства, и незнающіе страданія не знаютъ и блаженства, неплакавшіе не возрадуются. Когда Мефистофель предлагаетъ Фаусту всѣ блага, всѣ наслажденія, столь высоко-цѣнныя толпою, — Фаустъ отвѣчаетъ ему:

Не думалъ я о наслажденяхъ.
Я кинуся въ бурный чадъ страстей,
Уплюсь восторгами мученій;
Я ненавижу любви, отраду огорченій
Сыщу въ печальной жизни сей.
Святая истина отъ глазъ моихъ сокрыта.
Высокой мудрости уму не суждено.
Всѣмъ горестямъ отнынѣ грудь открыта,
И всѣмъ, что человечеству дано,
Въ самомъ себѣ хочу я насладиться

И въ адъ, и въ небо погрузиться,
 И грусть людей, и радость ихъ испить,
 Съ ихъ бытіемъ свое совокупить
 И съ ними наконецъ въ уничтоженіе слиться.

Да, все постичь духомъ, все обнять чувствомъ, всѣмъ обладать и ничему исключительно не покориться—вотъ жизнь! Но эта жизнь есть достояніе тѣхъ немногихъ, которые стоятъ въ главѣ человѣчества, играютъ роль его представителей. Вотъ одинъ изъ нихъ:

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
 Искусствъ вдохновенныхъ созданья.
 Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
 Цвѣтущихъ временъ упованья.
 Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ
 И въ нищую хату и въ царскій чертогъ.
 Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
 Ручья разумѣлъ лепетанье,
 И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
 И чувствовалъ травъ прозябанье;
 Была ему звѣздная книга ясна,
 И съ нею говорила морская волна.

Въ этихъ двѣнадцати стихахъ Баратынскаго о Гёте заключается высшій идеалъ человѣческой жизни и все, что можно сказать о жизни внутренняго человѣка.

Но, кромѣ природы и личнаго человѣка, есть еще общество и человѣчество. Какъ бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человѣка, какимъ бы горячимъ ключемъ ни была она во внѣ, и какими бы волнами не лилась черезъ край, — она неполна, если не усвоить въ свое содержаніе интересовъ внѣшняго ей міра, общества и человѣчества. Въ полной и здоровой натурѣ тяжело лежать на сердцѣ судьбы родины; всякая благородная личность глубоко сознаетъ свое кровное родство, свои кровныя связи съ отечествомъ. Общество, какъ всякая индивидуальность, есть нѣчто живое и органическое,

которое имѣтъ свои эпохи возрастанія, свои эпохи здоровья и болѣзней, свои эпохи страданія и радости, свои роковые кризисы и переломы къ выздоровленію и смерти. Живой человѣкъ носить въ своемъ духѣ, въ своемъ сердцѣ, въ своей крови, жизнь общества: онъ болѣетъ его недугами, мучится его страданіями, цвѣтетъ его здоровьемъ, блаженствуетъ его счастьемъ, вѣ своихъ собственныхъ, своихъ личныхъ обстоятельствахъ. Разумѣется, въ этомъ случаѣ, общество только беретъ съ него свою дань, отторгая его отъ него самого въ извѣстные моменты его жизни, но не покоряя его себѣ совершенно и исключительно. Гражданинъ не долженъ уничтожать челоѣка, ни челоѣкъ гражданина: въ томъ и другомъ случаѣ выходитъ крайность, а всякая крайность есть родная сестра ограниченности. Любовь къ отечеству должна выходить изъ любви къ челоѣчеству, какъ частное изъ общаго. Любить свою родину значить—пламенно желать видѣть въ ней осуществленіе идеала челоѣчества и по мѣрѣ силъ своихъ способствовать этому. Въ противномъ случаѣ, патріотизмъ будетъ китаизмомъ, который любитъ свое только за то, что оно свое, и ненавидитъ все чужое за то только, что оно чужое, и не радуется собственнымъ безобразіемъ и уродствомъ. Романъ англичанина Морьера «Хаджи-Баба» есть превосходная и вѣрная картина подобнаго кваснаго (по счастливому выраженію князя Вяземскаго) патріотизма. Челоѣческой натурѣ сродно любить все близкое къ ней, свое родное и кровное; но эта любовь есть и въ животныхъ, слѣдовательно, любовь челоѣка должна быть выше. Это превосходство любви челоѣческой передъ животною состоитъ въ разумности, которая тѣлесное и чувственное просвѣтляетъ духомъ, а этотъ духъ есть общее. Примѣръ Петра Великаго, говорившаго о родномъ сынѣ, что лучше чужой да хорошій, чѣмъ свой да негодный,—лучше всего поясняетъ и оправдываетъ нашу мысль. Конечно,

изъ частнаго нельзя дѣлать правило для общаго, но можно черезъ сравненіе объяснить частнымъ общее. Можно не любить и роднаго брата, если онъ дурной человѣкъ, но нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была не мертвымъ довольствомъ тѣмъ, что есть, но живымъ желаніемъ усовершенствованія; словомъ—любовь къ отечеству должна быть вмѣстѣ и любовью къ человѣчеству.

И вотъ мы сказали о жизни все, что хотѣли сказать о ней, и хотя, повидимому, отдалились черезъ это отъ нашего вопроса, но въ сущности только приблизились къ его рѣшенію.

Поэзія есть выраженіе жизни, или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: въ поэзіи жизнь болѣе является жизнью, нежели въ самой дѣйствительности. Отсюда вытекаетъ новый вопросъ, рѣшеніе котораго и будетъ рѣшеніемъ вопроса о поэзіи,—вопросъ: если сама жизнь заключаетъ въ себѣ столько поэзіи, такъ что въ сущности своей жизнь и поэзія тождественны,—то зачѣмъ же еще другая поэзія, и какую необходимость можетъ носить въ себѣ искусство, и какое самостоятельное значеніе можетъ имѣть оно?

Много прекраснаго въ живой дѣйствительности, или, лучше сказать, все прекрасное заключается только въ живой дѣйствительности; но чтобы насладиться этою дѣйствительностію, мы сперва должны овладѣть ею въ нашемъ разумѣніи, а это возможно только при двухъ условіяхъ: мы должны обнимать ее въ цѣлости и притомъ предметно, такъ чтобы наша личность, наши отношенія не заслоняли ее отъ насъ. И мы этимъ пользуемся, но только въ рѣдкія минуты восторга, въ неожиданныя мгновенія какого-то внезапнаго внутренняго откровенія; по большей части, мы теряемся во множествѣ частныхъ и, не видя за ними цѣлаго, ничего въ нихъ не понимаемъ. Даже собственныя наши чувства только тогда бываютъ предметомъ нашего наслажденія, когда мы освобождаемся отъ ихъ томя-

щей тяжести, или отъ ихъ трепетнаго волненія, въ которомъ занимается дыханіе, теряется сознаніе, и когда мы возобновляемъ ихъ въ воспоминаніи. Настоящее никогда не наше, ибо оно поглощаетъ насъ собою; и самая радость въ настоящемъ тяжела для насъ, какъ и горе, ибо не мы ею, но она нами преобладаетъ. Чтобъ насладиться ею, мы должны отойти отъ нея на извѣстное разстояніе, какъ отъ картины, по требованіямъ освѣщенія,—должны взглянуть на нее, свободные отъ нея, какъ на нѣчто внѣ насъ находящееся, *предметное*. Вотъ отчего мы облегчаемся отъ томительной тяжести горя, какъ скоро сообщимъ его другому, или изольемъ его на бумагу для самихъ же себя: мы видимъ его отдѣленнымъ отъ нашей чистоты, наша личность не заслоняетъ его отъ насъ,—и тогда намъ мило наше горе, мы любимъ вспоминать о немъ, любимъ говорить о немъ, какъ воинъ о своихъ походахъ и опасностяхъ, которымъ онъ подвергался. Все прошедшее получаетъ для насъ новый колоритъ, является какъ-бы преображеннымъ: счастье кажется лучшимъ, нежели тогда, какъ мы имъ наслаждались; въ самомъ несчастіи видимъ мы одну поэтическую сторону. Причина этому та, что отдаленность скрадываетъ отъ нашихъ глазъ всѣ неровности, случайности, нечистыя пятна, которыя вблизи первыя бросаются въ глаза. Въ дѣйствительности все покорено законамъ пространства и времени, естественнымъ требованіямъ: и герои ѣдятъ, пьютъ, чувствуютъ холодъ и голодъ, какъ и обыкновенные люди. Вы видите въ природѣ прекрасный ландшафтъ, но какъ? — непремѣнно вдаль и притомъ съ извѣстной точки зрѣнія: отдаленность придаетъ ему живописную прелесть, точка зрѣнія придаетъ ему цѣлость. Сдѣлайте шагъ, перемѣните точку зрѣнія—и ландшафтъ исчезъ: передъ вами что-то нестройное, разбросанное, безъ начала, безъ конца и середины, безъ всякой общности, безъ всякой фizioноміи. Подойдите вблизи къ

очаровавшему васъ ландшафту—и вы очутитесь у какой-нибудь негодной избушки, дрянной мельницы, ничтожнаго ручья, обыкновенной рощи, гдѣ на каждомъ шагу спотыкаетесь отъ неровностей, или попадаете въ лужу. А издалека все было такъ чисто, опратно, красиво, цѣлостно, обрамлено,—настоящая картина! И такъ, картина лучше дѣйствительности? Да, ландшафтъ, созданный на полотнѣ талантливымъ живописцемъ лучше всякихъ живописныхъ видовъ въ природѣ. Отчего же?—Оттого, что въ немъ нѣтъ ничего случайнаго и лишняго, всѣ части подчинены цѣлому, все направлено къ одной цѣли, все образуетъ собою одно прекрасное, цѣлостное и индивидуальное, Дѣйствительность прекрасна сама по себѣ, но прекрасна по своей сущности, по своимъ элементамъ, по своему содержанію, а не по формѣ. Въ этомъ отношеніи, дѣйствительность есть чистое золото, но неочищенное, въ кучѣ руды и земли: наука и искусство очищаютъ золото дѣйствительности, перетопляютъ его въ изящныя формы. Следовательно, наука и искусство не выдумываютъ новой и небывалой дѣйствительности, но у той, которая была есть и будетъ, берутъ готовые матеріалы, готовые элементы. словомъ — готовое содержаніе; даютъ имъ приличную форму, съ соразмѣрными частями и доступнымъ для нашего взора объемомъ со всѣхъ сторонъ. Что Петръ Великій создалъ въ Россіи армію и флотъ — это фактъ исторической дѣйствительности; но исторія, излагая это дѣло, беретъ изъ него только главные характеристическія черты, выпуская подробности: не ея дѣло описывать, какъ набирали солдатъ и матросовъ, какъ учили каждого изъ нихъ, и прочее. Шекспиръ въ ограниченномъ объемѣ драмы сосредоточиваетъ всю жизнь историческаго лица, напримѣръ, какого-нибудь Ричарда II, или важнѣйшее событіе изъ жизни героя, которое въ дѣйствительности могло совершиться только въ нѣсколько лѣтъ. Онъ включаетъ въ свою драму только тѣ черты изъ жизни ея

героя, только тѣ факты изъ событія, избраннаго для драматической картины, которые имѣютъ прямое отношеніе къ идеѣ его созданія, а все прочее, хотя бы само-по-себѣ и интересное, но не относящееся къ основной идеѣ его произведенія, онъ исключаетъ, какъ ненужное. Хотя рамы романа и несравненно обширнѣе стѣсненныхъ рамъ драмы, хотя романистъ пользуется и несравненно большею противъ драматурга свободою; но любой романъ Вальтеръ-Скотта или Купера не отниметъ у насъ больше дня непрерывнаго чтенія, а подробное описаніе, въ родѣ мемуаровъ, года жизни каждаго человѣка наполнило бы собою въ десятеро большее число томовъ, нежели цѣлая жизнь героя, или важнѣйшее событіе изъ нея въ романѣ, состоящемъ изъ четырехъ небольшихъ книжекъ. Поэтъ не обязанъ описывать, какъ герой его романа обѣдалъ каждый разъ; но поэтъ можетъ изобразить одинъ изъ его обѣдовъ, если этотъ обѣдъ имѣлъ вліяніе на его жизнь, или если въ этомъ обѣдѣ можно представить характеристическія черты обѣдовъ извѣстнаго народа въ извѣстную эпоху. Если герой романа рыцарь, то поэту не для чего описывать всѣ его поединки и сраженія, которыя у каждаго рыцаря были такъ часты и обыкновенны, какъ у русскаго купца питье чая; но поэтъ можетъ описать важнѣйшіе поединки и сраженія своего героя, или даже и одинъ поединокъ, если только въ немъ духъ рыцарства выразился столь характеристически, что новое описаніе въ этомъ родѣ ничего не дополнитъ, или если характеръ героя въ немъ обозначился такъ полно и рѣзко, что, мы по одному его поединку знаемъ уже, какъ бы онъ сталъ сражаться въ тысячѣ другихъ. Для поэта не существуютъ дробныя и случайныя явленія, но только одни идеалы, или типическіе образы, которые относятся къ явленіямъ дѣйствительности, какъ роды къ видамъ, и которые, при всей своей индивидуальности и особенности, заключаютъ въ себѣ всѣ общія, родовыя примѣты

цѣлаго рода явленій въ возможности, выражающихъ собою одну извѣстную идею. И потому каждое лице въ художественномъ произведеніи есть представитель безчисленнаго множества лицъ одного рода, и потому-то мы говоримъ: этотъ чело-вѣкъ настоящій Отелло, эта дѣвушка совершенная Офелія. Такія имена, какъ Онѣгинъ, Ленскій, Татьяна, Ольга, Зарѣцкій, Фамусовъ, Скалозубъ, Молчалинъ, Репетиловъ, Хлестова, Сквозникъ-Дмухановскій, Бобчинскій, Добчинскій, Держиморда и прочіе — суть какъ бы не собственные, а нарицательныя имена, общія характеристическія названія извѣстныхъ явленій дѣйствительности. И потому-то въ наукѣ и искусствѣ, дѣйствительность больше похожа на дѣйствительность, чѣмъ въ самой дѣйствительности, — и художественное произведеніе основанное на вымыслѣ, выше всякой были, а историческій романъ Вальтеръ-Скотта, въ отношеніи къ нравамъ, обычаямъ, колориту и духу извѣстной страны въ извѣстную эпоху, достовѣрнѣе всякой исторіи. Наука отвлекаетъ отъ фактовъ дѣйствительности ихъ сущность — идею; а искусство, заимствуя у дѣйствительности матеріалы, возводитъ ихъ до общаго, родоваго, типическаго значенія, создаетъ изъ нихъ стройное цѣлое. Какъ, повидимому, ни нелѣпа мысль французскихъ эстетиковъ прошлаго вѣка, что искусство должно украшать природу, но въ ней есть своя часть истины; только они не поняли самихъ себя, и, по разсудочному противорѣчію, отрицая простое списываніе съ природы, приняли подражаніе природѣ, хотя и украшенной. И если ихъ подражанія были манерны, искусственны и мертвы, то не дальше ихъ ушли и эти quasi-романтическія списыванія съ натуры, въ которыхъ красуются мужицкія побранки и поговорки во всей ихъ неопытной естественности. Можно очень натурально изобразить пытку, казнь, несчастную смерть чело-вѣка, упавшаго въ нетрезвомъ видѣ въ помойную яму, — но всѣ эти

изображенія будутъ возмутительны для души, неизящны и бессмысленны, ибо въ нихъ не будетъ никакой разумной мысли, никакой разумной цѣли. Но когда живописецъ представитъ вамъ естественно истязаніе человѣка за истину, и въ лицѣ его выразитъ побѣду душевной твердости надъ физическимъ страданіемъ, — то чѣмъ больше въ картинѣ будетъ естественности, тѣмъ картина будетъ изящнѣе и художественнѣе, ибо въ ней будетъ видна разумная цѣль и разумная мысль. Чтò дѣйствительно, то разумно, и чтò разумно, то и дѣйствительно: это великая истина; но не все то дѣйствительно, чтò есть въ дѣйствительности, а для художника должна существовать только разумная дѣйствительность. Но и въ отношеніи къ ней, онъ не рабъ ея, а творецъ, и не она водить его рукою, но онъ вносить въ нее свои идеалы и по нимъ преобразуетъ ее.

Итакъ, поэзія есть жизнь по преимуществу, есть сущность, такъ сказать тончайшій эфиръ, триплъ-экстрактъ, квинтъ-эссенція жизни. Поэзія не описываетъ розы, которая такъ пышно цвѣтетъ въ саду, но, отбросивъ грубое вещество, изъ котораго она составлена, беретъ отъ нея только ея ароматическій запахъ, нѣжные переливы ея цвѣта, и создаетъ изъ нихъ свою розу, которая еще лучше и пышнѣе. Поэзія — это невинная улыбка младенца, его ясный взоръ, его звонкій смѣхъ и живая радость. Поэзія — это стыдливый румянецъ на ланитахъ прекрасной дѣвушки, кроткій блескъ ея глубокихъ, какъ море, какъ небеса, голубыхъ очей, или яркій огонь ея черныхъ глазъ, волны кудрей, разбѣжавшихся по ея мраморнымъ плечамъ, волненіе ея нѣжной груди, гармонія ея серебрянаго голоса, музыка ея чарующихъ рѣчей, стройность ея стана, художественная рельефность и роскошь ея живыхъ формъ, граціозность и нѣга ея плѣнительныхъ движеній... Поэзія — это огненный взоръ юноши, кипящаго избыткомъ силъ; это его отвага и дерзость, его жажда желаній, неудержимые по-

рывы его стремленія — схватъ въ пламенныхъ объятіяхъ и небо и землю, разонъ осушить до дна нестойчивую чашу жизни... Поэзія — это сосредоточенная, овладѣвшая собою сила мужа, вполне созрѣлаго для жизни, искушеннаго ея опытами, съ уравновѣшенными силами духа, съ просвѣтленными взорами, готового на битву и на подвигъ... Поэзія — это тихій блескъ безцвѣтныхъ глазъ старца, кроткое какъ ласка, глубокое какъ дума выраженіе сіяющаго блескомъ нездѣшной жизни морщинатаго лица его, спокойный и полный души звукъ его дрожащаго и прерывающагося голоса, его тихая и важная рѣчь, любящая и величающая улыбка его мудрыхъ устъ... Поэзія — это свѣтлое торжество бытія, это блаженство жизни, нежданно посѣщающія насъ въ рѣдкія минуты; это упоеніе, трепетъ, млѣніе, нѣга страсти, волненіе и буря чувствъ, полнота любви, восторгъ наслажденія, сладость грусти, блаженство страданія, ненасытимая жажда слезъ; это страстное, томительное, тоскливое порываніе куда-то, въ какую-то всегда обольстительную и никогда недостигаемую сторону, — это вѣчная и никогда неудовлетворимая жажда все обнять и со всѣмъ слиться; это тотъ божественный паѳосъ, въ которомъ сердце наше бьется въ одинъ ладъ со всею вселенною, предъ упоеннымъ взоромъ летаютъ безъ покрова безплотныя видѣнія высшаго бытія, а очарованному слуху слышится гармонія сферъ и міровъ, — тотъ божественный паѳосъ, въ которомъ земное сіяетъ небеснымъ, а небесное сочетается съ земнымъ, и вся природа является въ брачномъ блескѣ, разгаданнымъ іероглифомъ помирившагося съ нею духа... Весь міръ, всѣ цвѣты, краски и звуки, всѣ формы природы и жизни, могутъ быть явленіемъ поэзіи; но сущность ея — то, что скрывается въ этихъ явленіяхъ, живить ихъ бытіе, очаровываетъ въ нихъ игрою жизни. Поэзія — это біеніе пульса міровой жизни, это ея кровь, ея огонь, ея свѣтъ и солнце.

Поэтъ—благороднѣйшій сосудъ духа, избранный любимецъ небесъ, таинникъ природы, эолова арфа чувствъ и ощущеній, органъ мировой жизни. Еще дитя, онъ уже сильнѣе другихъ сознаетъ свое родство со вселенной, свою кровную связь съ нею; юноша — онъ уже переводить на понятный языкъ ея нѣмую рѣчь, ея таинственный лепетъ... Но послушаемъ лучше самого поэта: свидѣтельство, которому нельзя не повѣрять. Онъ говоритъ:

Все вознoвало нѣжный умъ?
 Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
 Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
 Старушки чудное преданье.
 Какой-то демонъ обладалъ
 Мои ми игры, досуговъ;
 За мной повсюду онъ леталъ,
 Мнѣ звуки дивныя шепталъ,
 И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
 Была полна моя глава;
 Въ ней грезы чудныя рождались;
 Въ размѣры стройныя стекались
 Мои послушныя слова
 И звонкой рифмой замыкались.
 Въ гармоніи соперникъ мой
 Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйной,
 Иль нволи напѣвъ живой.
 Иль ночью моря гулъ глухой,
 Иль шопотъ рѣчи тихоструйной.

Есть еще другіе стихи Пушкина, болѣе чудные, болѣе глубокіе, и потому самому незнаемые толпою и извѣстные только немногимъ истиннымъ поклонникамъ и жрецамъ изящнаго; въ этихъ стихахъ заключается полнѣйшая характеристика поэта и высочайшая апофеоза художника. Поэтъ обращается къ эху:

Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ, Ѧ
 Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ,
 Поеть ли дѣва за холмомъ —

На всенній звукъ
 Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
 Родили ты вдругъ.
 Ты внесла въ грохотъ грома,
 И гласу бури и валовъ,
 И крику сельскихъ пастуховъ —
 И плещь отвѣтъ;
 Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
 И ты, поэтъ!

Да, все, чѣмъ живетъ міръ и что живетъ въ мірѣ—находитъ свой отзывъ во всеобъемлющей груди поэта; и ни одно существо на землѣ не имѣетъ большаго права примѣнить къ себѣ слова Фауста:

Всевышній духъ! Ты все, ты все мнѣ далъ,
 О чемъ тебя я умолялъ;
 Не даромъ зрѣлся мнѣ
 Твой ликъ сіяющій въ огнѣ.
 Ты далъ природу мнѣ, какъ царство, во владѣнье;
 Ты далъ душѣ моей
 Даръ чувствовать ее, далъ силу наслаждаться.
 Иной едва скользнуть по ней
 Холоднымъ взглядомъ удивленья;
 Но я могу въ ея таинственную грудь,
 Какъ въ сердце друга, заглянуть.

Но кто же онъ, самъ поэтъ, въ отношеніи къ прочимъ людямъ? — Это организація воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая при малѣйшемъ прикосновеніи даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненнѣе другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ, сильнѣе ненавидитъ; словомъ—глубже чувствуетъ; натура, въ которой развиты въ высшей степени обѣ стороны духа—и пассивная и дѣятельная. Уже по самому устройству своего организма, поэтъ больше, чѣмъ кто-нибудь, способенъ впасть въ крайности, и, возносясь выше всѣхъ къ небу, можетъ-быть,

ниже всѣхъ падаетъ въ грязь жизни. Но и самое паденіе его не то, что у другихъ людей: оно слѣдствіе ненасытимой жажды жизни, а не животной алчбы денегъ, власти и отличій. Эта жажда жизни въ немъ такъ велика, что за одну минуту упоенія страсти, за одинъ мигъ полноты чувства, онъ готовъ жертвовать всѣмъ своимъ будущимъ, всѣми надеждами, всею остальною жизнью. У него — по выраженію Гезіода — «пѣснь всегда на умѣ, а въ груди сердце беззаботное». Когда онъ чувствуетъ приближеніе бога и обдумываетъ зарождающееся въ немъ новое созданіе, тогда —

Пройди безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ, тихихъ сновъ!
Взгляни съ слезой благоговѣнья,
И молви: это сынъ боговъ,
Питомицъ музъ и вдохновенья!

Когда онъ творить — онъ царь, онъ властелинъ вселенной, повѣренный тайнъ природы, прозирающій въ таинства неба и земли, природы и духа человѣческаго, только ему одному открыты; но когда онъ находится въ обыкновенномъ земномъ расположеніи — онъ *человѣкъ*, но *человѣкъ*, который можетъ быть ничтожнымъ, и никогда не можетъ быть низкимъ, который чаще другихъ можетъ падать, но который такъ же быстро возстаетъ, какъ падаетъ, — который всегда готовъ отозваться на голосъ, несущійся къ нему отъ его родины — неба. Но послушаемъ его собственной исповѣди:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчать его святая лира;
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,

Быть может, всёхъ ничтожнѣй онъ.
 Но лишь божественный глаголь
 До слуха чуткаго коснется,
 Душа поэта вострепнется
 Какъ пробудившійся орелъ.
 Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
 Людской чуждается молвы,
 Къ ногамъ народнаго кумира
 Не клонитъ гордой головы;
 Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
 И звуковъ и смятенъя полнъ,
 На берега пустынныхъ волнъ
 Въ широкошумныя дубровы...

Какая цѣль поэзіи? — вопросъ, который для людей, обдѣ-
 ленныхъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, кажется такъ
 важенъ и неудоборѣшимъ. Поэзія не имѣетъ никакой цѣли внѣ
 себя, но сама себѣ есть цѣль, такъ же, какъ истина въ знаніи,
 какъ благо въ дѣйствіи. Не все ли намъ равно—знать или не
 знать, что не относится къ нашей жизни или нашимъ выго-
 дамъ, что и высоко и далеко отъ насъ, какъ это небо, кото-
 раго и бесконечно малой частицы никогда не придвинемъ мы
 къ себѣ всѣми телескопами? Однакожъ астрономъ посвящаетъ
 всю жизнь свою этому небу, — и открытіе новой звѣзды, кото-
 рая не прибавитъ ни полтины къ его годовому доходу, дѣлаетъ
 его счастливымъ и блаженнымъ. Развѣ потому должны мы лю-
 бить добро, что насъ за него хвалятъ или награждаютъ? Развѣ
 мы должны отречься отъ него и сворачивать на широкую
 дорогу зла, какъ скоро увидимъ, что добро не только не при-
 носитъ намъ никакихъ процентовъ, но еще подвергаетъ насъ
 гоненіямъ и несчастіямъ? Подобно истинѣ и благу, красота
 есть сама себѣ цѣль и по праву царствуетъ надъ вселенной
 только властію своего имени, неотразимымъ обаяніемъ своего
 дѣйствія на душу людей. Вотъ въ ярко освѣщенную, велико-
 лѣпную залу входитъ красавица, — и трепещетъ пылкая юность,

разглаживаются морщины на челѣ старости, улыбка радости проявляетъ сонныя отъ пустоты и скуки лица; кажется, царства мало за одинъ взглядъ ея; лавровый вѣнокъ героя, лучезарный ореолъ поэта готовы пасть къ ногамъ ея, лишь бы только захотѣла она замѣтить ихъ... А между тѣмъ, вы въ лицѣ ея тщетно отыскиваете выраженія какой-нибудь определенной идеи, оттѣнка какого-нибудь определенного чувства: ничего, ничего, кромѣ безбрежнаго моря красоты и граціи, въ которомъ тонутъ ваши очарованные взоры, исчезаетъ все существо ваше... Объясните мнѣ: для чего такая красота, какая цѣль ея,—и я объясню вамъ со всевозможною ясностію и даже «точностію», для чего существуетъ поэзія, какая цѣль ея... И еслибы нашлись люди, надъ которыми красота не имѣетъ никакой власти, не будемъ спорить съ ними! Хладные скопцы (по выраженію Пушкина), лишенные огня Прометея, — стоятъ ли они словъ, и имъ ли можно растолковать, почему дилеттантъ такъ благоговѣйно и цѣломудренно любитъся обнаженною красотою Венеры Медичейской, и за обломокъ древней капители, барельефа, или камешу, готовъ жертвовать всѣмъ достоинствомъ своимъ, съ безумною горячію любовью, которому и жизни не жаль за одну улыбку возлюбленной...

Вотъ какъ понималъ красоту «божественный Платонъ», и какъ во всѣ вѣка будутъ понимать ее умы благородные и возвышенные:

Наслажденіе красотою въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ человѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родицѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрылять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты.

Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ хоромъ, слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи, другіе же за другими богами; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ; приобщались ему всецѣлѣ, не причастные бѣдствіямъ, которыя въ позднее

время насъ постигли; погружались въ видѣнія совершенныя, простыя, нестрашныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и не запятаны тѣмъ, что мы, нынѣ влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину.

Красота одна получила здѣсь этотъ жребій: быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполне посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не смотря на то, что носить ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а подобно четвероногому, ищетъ одного чувственного наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ бѣгавъ подобное лице, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и еслибы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...

Какъ красота, такъ и поэзія — выразительница и жрица красоты, сама себѣ цѣль, и виѣ себя не имѣетъ никакой цѣли. Если она возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настроиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ—это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности; это дѣлается само собою, безъ всякаго предначертанія со стороны поэта. Поэтъ есть живописецъ, а не философъ. Всегдашній предметъ его картинъ и изображеній есть «полное славы творенье»—міръ со всею безконечностію и разнообразіемъ его явленій. Поэзія говоритъ душѣ образами,—и ея образы суть выраженіе той вѣчной красоты, первообразъ которой блещетъ въ мірозданіи и во всѣхъ частныхъ явленіяхъ и формахъ природы. Поэзія не терпитъ отвлеченныхъ идей въ ихъ безтѣлесной наготѣ, но самыя отвлеченныя понятія воплощаетъ въ живые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль сквозитъ, какъ свѣтъ въ граненномъ хрусталѣ. Поэтъ видитъ во всемъ формы, краски и всему даетъ форму и цвѣтъ, овеществляетъ невещественное, дѣлаетъ земнымъ небесное—да свѣтитъ земное небеснымъ свѣтомъ! Для поэта, всѣ явленія въ мірѣ существуютъ сами-по-себѣ; онъ переселяется въ нихъ, живетъ ихъ жизнію, и съ любовію лепѣтъ ихъ на своей груди, такъ какъ

они есть, не измѣняя по своему произволу ихъ сущности. Это не значитъ, чтобъ поэтъ не могъ отрываться отъ созерцанія міра, взятаго въ самомъ себѣ, и вносить въ него свой идеалъ, чтобъ лиру пѣснопѣнія, кинжалъ трагедіи и трубу эпопеи не могъ онъ мѣнять на громы благороднаго негодованія и даже на свистокъ сатиры; молитву оставлять для проповѣди, и прошедшее, міровое и вѣчное, забывать на минуту для современности и общества; но смѣшно требовать, чтобъ въ этомъ онъ увидѣлъ цѣль своей жизни и за долгъ себѣ поставилъ подчинить свое свободное вдохновеніе разнымъ «текущимъ потребностямъ». Свободный какъ вѣтеръ, онъ повинуется только внутреннему своему призванію, таинственному голосу движущаго имъ бога, а на крики тупой черни, которая бы стала приставать къ нему, въ своей дикой слѣпотѣ:

Нѣтъ, если ты небесъ избравникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратьевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердца въ ледяные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки:
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя, —

онъ можетъ и долженъ отвѣчать, если только стоитъ она отвѣта:

Подите прочь — какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратъ каменѣйте смѣло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ!
Душѣ противны вы какъ гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры

Бичи, темницы, топоры:
 Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
 Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
 Считаютъ соръ — полезный трудъ!
 Но, позабывъ свое служенье,
 Алтарь и жертвоприношенье,
 Жрецы ль у васъ метлу берутъ?
 Не для житейскаго волненья,
 Не для кормства, не для битвъ:
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!

Поэтъ не подражаетъ природѣ, но соперничествуетъ съ нею, — и его созданія исходятъ изъ того же источника, и тѣмъ же самымъ процессомъ какъ и всѣ явленія природы, съ тою только разницею, что на сторонѣ процесса его творчества есть еще и сознание, котораго лишена природа и ея дѣятельность. Вся природа со всѣми ея явленіями есть плодъ вдохновеннаго порыва духа — изъ идеальной области возможнаго перейти въ реальную область дѣйствительнаго, стать фактомъ, чтобъ потомъ въ разумнѣйшемъ своемъ явленіи — человѣкъ, взглянуть на себя, какъ на нѣчто особое, сознать себя. И всякое произведеніе искусства есть плодъ вдохновеннаго усилія художника — вывести наружу, осуществить во внѣ внутренній міръ своихъ безплотныхъ идеаловъ. И такъ, вдохновеніе есть источникъ всякаго творчества; но искусство выше природы на столько, на сколько всякое сознательное и свободное дѣйствіе выше безсознательнаго и невольнаго. Но сознание при актѣ творчества, есть не дѣятель, а только какъ бы свидѣтель, дабы творчество было художнику въ наслажденіе и награду. Конечно, всякое дѣйствіе есть уже необходимо и сознание; но подъ сознаниемъ въ творествѣ не должно разумѣть дѣятельность разсудка, трудъ соображенія, разсчета, и механическую работу: вдохновеніе, которое Платонъ называетъ манією, — вотъ единственный дѣятель творчества, а разсудокъ вражде-

бень творчеству и мертвить его. «Кто—говорить Платонъ— безъ маніи, внушаемой музами, приходитъ къ вратамъ поэзіи, убѣжденный въ томъ, что искусствомъ (εὐτεχνύς) сдѣлается изъ него хорошій поэтъ, тотъ никогда не будетъ совершеннымъ, и поэзія его, какъ поэзія благоразумнаго, будетъ отличаться отъ поэзіи безумствующихъ».

Вообще, понятіе Платона о вдохновеніи такъ глубоко вѣрно и такъ поэтически, вдохновенно выражено, что, сообщивъ его, мы скажемъ о вдохновеніи все, что только можно сказать:

... Не искусствомъ (*техникою*), но энтузіазмомъ и вдохновеніемъ, великіе эпическіе поэты сочиняютъ свои прекрасныя произведенія. Славныя лирики также, подобно людямъ, волнуемымъ безуміемъ корабантовъ, пляшущихъ вѣд себя, не остаются въ умѣ своемъ, когда творятъ изысканныя пѣнопѣнія: какъ скоро вошли они въ ладъ гармоніи и рима, то преисполняются безуміемъ, объемлются восторгомъ, подобнымъ восторгу вакханокъ, которыя въ минуту упоенія черпаютъ въ рѣкахъ млеко и медъ, чего не бываетъ съ ними во время покоя. Въ душѣ поэтовъ лирическихъ на самомъ дѣлѣ совершается то, чѣмъ они хвалятся. Они говорятъ намъ, что черпаютъ въ медовыхъ источникахъ, что, подобно пчеламъ, летаютъ они по садамъ и долинамъ музъ, и въ нихъ собираютъ пѣсни, которыя поютъ намъ. Они говорятъ правду. Поэтъ въ самомъ дѣлѣ есть существо легкое, крылатое и святое; онъ можетъ творить тогда только, когда восторгъ его объемлетъ, когда онъ выйдетъ изъ себя и разсудокъ покинетъ его. Но покажется онъ съ ними, человѣкъ неспособенъ творить все и произносить пророчества.

Итакъ, если не искусствомъ, а божественнымъ вдохновеніемъ творятъ поэты, — то каждый изъ нихъ, по жребію Божію, успѣваетъ только въ томъ родѣ, къ которому муза его призываетъ. Одинъ превосходенъ въ диамрамѣ, другой въ похвальной одѣ, третій въ плясовой пѣснѣ, четвертый въ эпосѣ, пятый въ ямбахъ, и всѣ будутъ слабы во всякомъ другомъ родѣ, потому что не искусство, а сила божественная внушаетъ ихъ. Еслибы искусствомъ они умѣли творить, то могли бы успѣть въ разныхъ родахъ. А конецъ, на какой богъ, отъемля у нихъ смыслъ, употребляетъ ихъ какъ служителей своихъ наравнѣ съ пророками и гадателями, есть тотъ, чтобы мы, внимая имъ, познавали, что не сами собою они говорятъ намъ вещи дивныя, ибо они вѣд своего разума, но что самъ богъ чрезъ нихъ къ намъ глаголетъ.

Этотъ взглядъ на вдохновеніе, такъ простодушно, въ духѣ младенческой древности выраженный, удивителенъ по своей

глубокости. Ясно, что Платонъ «благоразуміемъ» называетъ разсудочное, обыкновенное, будничное, такъ сказать, состояніе нашего духа; а подъ «безуміемъ» разумѣетъ тотъ божественный пафосъ, то состояніе вдохновеннаго ясновидѣнія, когда разумъ челоѣка созерцаетъ таинство высшаго міра, а воля его движетъ горы. Въ самомъ дѣлѣ, восторгъ наслажденія, изступленіе радости, упоеніе страданія, тоска разлуки, трепетъ свиданія, обаяніе любви, отвага самаго жертвованія, готовность пострадать за правое дѣло и истину, сладострастіе вдохновенія:— что все это, если не безуміе? . . . Но это безуміе разумное, безуміе божественное, которое возноситъ челоѣка превыше премудрыхъ міра сего и равняетъ его съ богами. . . А мертвое равнодушіе, затаенное въ формы приличія, расчеты мелкаго самолюбія и эгоизма, размѣренные шаги къ ничтожной цѣли, отреченіе отъ истиннаго назначенія челоѣческаго для достиженія ея:— что все это, если не благоразуміе? . . . Но не будемъ говорить о благоразуміи: оно врагъ поэзіи, а предметъ нашей статьи—поэзія. . .

Все, сказанное нами о поэзіи вообще, легко приложить къ поэзіи Лермонтова. Гдѣ вдохновеніе неподдѣльно, тамъ есть и поэзія, и чьей натурѣ сродно вдохновеніе, тотъ поэтъ; но и вдохновеніе имѣетъ свои степеніи, и въ каждомъ поэтѣ отличается особеннымъ характеромъ: въ одномъ оно искрится и шипитъ пѣною, какъ шампанское и подобно шампанскому тотчасъ же оживляетъ легкимъ, но и скоропреходящимъ похмѣльемъ; въ другомъ оно льется свѣтлою, прозрачною рѣчкою, съ смѣющимися зелеными берегами; въ третьемъ оно бьетъ и стремится бурными волнами, съ громомъ, пѣною и брызгами, подобно ніагарскому водопаду; въ четвертомъ оно подобно океану, безъ береговъ и дна, отражающему въ себѣ и небесный куполъ, съ его солнцемъ, луною и мириадами звѣздъ, и страшныя тучи, съ ихъ мракомъ и молніями,—океану, который

равно величественъ и торжественъ и въ тишину, и въ бурю, который носитъ на своихъ могучихъ волнахъ и утлый челнокъ рыбака, и огромные флоты, и который въ необъятныхъ таинственныхъ нѣдрахъ своихъ заключаетъ цѣлыя міры живыхъ существъ, и великихъ и малыхъ, и горы раковинъ, и лѣса коралловъ... Жизнь одна и та же во всѣхъ своихъ явленіяхъ, но одно изъ нихъ объемлетъ собою только извѣстную часть ея, другое же заключаетъ въ себѣ бесконечно-великое содержаніе жизни. Таково же и отношеніе между поэтами: въ отношеніи къ акту творчества, къ процессу вдохновенія, пѣсня Беранже совершенно равна любой драмѣ Шекспира, но въ отношеніи къ содержанію жизни, которое объемлетъ собою то и другое изъ упомянутыхъ произведеній, между ими бесконечная разность въ важности, цѣнности и достоинствѣ. И эта разница существуетъ не только въ піесахъ различнаго рода, какъ на примѣръ, застольная пѣсенка и высокая драма: она можетъ существовать и между двумя застольными пѣснями, написанными на одинъ и тотъ же предметъ, но только разными поэтами. И вотъ здѣсь-то можно видѣть превосходство одного поэта передъ другимъ: пѣсня одного читается съ наслажденіемъ, но рѣдко вспоминается и скоро забывается; другаго—чѣмъ больше читается, тѣмъ больше наслажденія доставляетъ, и даже прочитанная разъ, навсегда остается въ памяти—если не словами своими, то своимъ колоритомъ, тѣмъ «нѣчто», для выраженія котораго нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ. Сравните «Поэта» Языкова съ «Поэтомъ» Пушкина, котораго мы написали выше, въ нашей статьѣ, и съ его же стихотвореніемъ «Поэту»: сначала вамъ можетъ показаться, что піеса Языкова выше обѣихъ Пушкинскихъ; но вы скоро—если въ васъ есть эстетическое чувство, замѣтите, въ первой, при всемъ ея блескѣ, нѣкоторую напряженность, съ какою она составлена,—и благородную простоту, естественность, неизмѣримую

глубину двухъ послѣднихъ и ихъ безконечное превосходство надъ первою... Причина этой разности есть разность сколько въ талантѣ, столько и въ натурахъ обоихъ поэтовъ: одинъ смотритъ на природу вещей извнѣ, видитъ только ея наружность; другой проникъ въ ея сущность и обратилъ ее въ свое достояніе, по праву законнаго властелина...

Немного поэтовъ, къ разбору произведеній которыхъ было бы нестранно приступать съ такимъ длиннымъ предисловіемъ, съ предварительнымъ взглядомъ на сущность поэзіи: Лермонтовъ принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ... Подробное разсмотрѣніе небольшой книжки его стихотвореній покажетъ, что въ ней кроются всѣ стихи поэзіи, что она заключаетъ въ себѣ возможность въ будущемъ нѣсколькихъ и притомъ большихъ книгъ... Мы увидимъ, что свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелесть и благородная простота образовъ, энергія, могучесть языка, алмазная крѣпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе идей, необъятность содержанія — суть родовыя характеристическія примѣты поэзіи Лермонтова и залогъ ея будущаго, великаго развитія...

Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ тѣснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества. Пушкинъ началъ свое поэтическое поприще «Русланомъ и Людмилою» — содержаніемъ, котораго идея отзывается слишкомъ раннею молодостію, но которое кипитъ чувствомъ, блещетъ всеми красками, благоухаетъ всеми цвѣтами природы, созданіемъ неистощимо веселымъ, игривымъ... Это была шалость генія послѣ первой опорожненной имъ чаши на свѣтломъ пиру жизни... Лермонтовъ началъ историческою поэмою, мрачною по содержанію, сурово и важною по формѣ... Въ первыхъ своихъ лирическихъ произведеніяхъ,

Пушкинъ явился провозвѣстникомъ человѣчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; но эти лирическія стихотворенія были столько же полны свѣтлыхъ надеждъ, предчувствій торжества, сколько силы и энергіи. Въ первыхъ лирическихъ произведеніяхъ Лермонтова, разумѣется, тѣхъ, въ которыхъ онъ особенно является русскимъ и современнымъ поэтомъ, также видѣнъ избытокъ несокрушимой силы духа и богатырской силы въ выраженіи; но въ нихъ уже нѣтъ надежды, они поражаютъ душу читателя безотрадностію, безвѣріемъ въ жизнь и чувства человѣческія, при жадѣ жизни и избыткѣ чувства... Нигдѣ нѣтъ Пушкинскаго разгула на пиру жизни; но вездѣ вопросы, которые мрачатъ душу, леденятъ сердце... Да, очевидно, что Лермонтовъ поэтъ совѣтъ другой эпохи, и что его поэзія—совѣтъ новое звѣно въ цѣпи историческаго развитія нашего общества ¹⁾).

Первая піеса Лермонтова напечатана была въ «Современникѣ» 1837 года, уже послѣ смерти Пушкина. Она называется «Бородино». Поэтъ представляетъ молодого солдата, который спрашиваетъ стараго служаку:

Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Французу отдана?
Вѣдь были жъ схватки боевыя?
Да, говорятъ, еще какія!
Не даромъ помнить вся Россія
Про день Бородина.

Вся основная идея стихотворенія выражена во второмъ куплетѣ, которымъ начинается отвѣтъ стараго солдата, состоящій изъ тринадцати куплетовъ:

¹⁾ Заимѣемъ для большей ясности и «точности», что, говоря объ обществѣ, мы разумѣемъ только чувствующихъ и мыслящихъ людей новаго поколѣнія.

— Да, были люди въ наше время,
 Не то, что нынѣшнее племя:
 Богатыри — не вы!
 Плохая имъ досталась доля:
 Немногіе вернулись съ поля..
 Не будь на то Господня воля,
 Не отдали бъ Москвы!

Эта мысль — жалоба на настоящее поколѣніе, дремлющее въ бездѣйствіи, зависть къ великому прошедшему, столь полному славы и великихъ дѣлъ. Дальше мы увидимъ, что эта «тоска по жизни», вынудила нашему поэту не одно стихотвореніе, полное энергіи и благороднаго негодованія. Чтѣ же до «Бородина», — это стихотвореніе отличается простотою, безыскусственностію: въ каждомъ словѣ слышите солдата, языкъ котораго, не переставая быть грубопростодушнымъ, въ то же время благороденъ, силенъ и полонъ поэзіи. Ровность и выдержанность тона дѣлаютъ осязаемо-ощутительною основную мысль поэта. Впрочемъ, какъ ни прекрасно это стихотвореніе, оно не могло еще показать, чего отъ его автора должна была ожидать наша поэзія. Въ 1838 году, въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» была напечатана его поэма «Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова»; это произведеніе сдѣлало извѣстнымъ имя автора, хотя оно явилось и безъ подписи этого имени. Спрашивали: кто такой безымянный поэтъ? кто такой Лермонтовъ? писалъ ли онъ что-нибудь кромѣ этой поэмы? Но, несмотря на то, эта поэма все-таки еще не оцѣнена, толпа и не подозреваетъ ея высокаго достоинства. Здѣсь поэтъ отъ настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни, перенесся въ ея историческое прошлое, подслушалъ біеніе его пульса, проникъ въ сокровеннѣйшіе и глубочайшіе тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всѣмъ существомъ своимъ, обвѣялся его звуками, усвоилъ себѣ складъ его старинной

рѣчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій размахъ его чувства, и, какъ будто современникъ этой эпохи, принявъ условія ея грубой и дикой общественности, со всѣми ихъ отбѣнками, какъ-будто бы никогда и не знавалъ о другихъ,—и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовѣрнѣе всякой дѣйствительности, несомнѣннѣе всякой исторіи. И подлинно этой пѣсни можно заслушаться, и все нельзя ея довольно послушаться: какъ маніемъ волшебнаго скипетра воскрешаетъ она прошедшее — и мы не можемъ на-смотреться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него взоровъ, боясь, чтобъ оно не исчезло отъ насъ. На первомъ планѣ, видимъ мы Іоанна Грознаго, котораго память такъ кровава и страшна, котораго колоссальный обликъ живъ еще въ преданіи и въ фантазіи народа... Что за явленіе въ нашей исторіи былъ этотъ «мужъ кровей», какъ называетъ его Курбскій? Былъ ли онъ Лудовикомъ XI нашей исторіи, какъ говоритъ Карамзинъ?... Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о его историческомъ значеніи; замѣтимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себѣ великаго развитія для великаго подвига; но какъ условія тогдашняго полуазіатскаго быта и внѣшнія обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь развитіи, оставивъ ее при естественной силѣ и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать дѣйствительность, — то эта сильная натура, этотъ великій духъ по неволѣ исказились и нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеніи этой ненавистной и враждебной имъ дѣйствительности... Тиранинъ Іоанна Грознаго имѣетъ глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ нему скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можетъ-быть, это былъ своего рода великій человѣкъ, но только не вовремя, слишкомъ рано явившійся Россіи, — пришедшій

въ міръ съ призваніемъ на великое дѣло и увидѣвшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ: можетъ-быть, въ немъ бессознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвреженно явился, которая не побѣдила, но разбила его и которой онъ такъ страшно жегъ всю жизнь свою, разрушая и ее и себя самого въ болѣзненной и бессознательной ярости... Вотъ почему изъ всѣхъ жертвъ его свирѣпства онъ самъ наиболѣе заслуживаетъ собогѣзнованія; вотъ почему его колоссальная фигура, съ блѣднымъ лицомъ и впадыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величіемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей поэзіи... И такимъ точно является онъ въ поэмѣ Лермонтова: взглядъ очей его—молнія, звукъ рѣчей его—громъ небесный, порывъ гнѣва его — смерть и пытка; но сквозь всего этого, какъ молнія сквозь тучи, проблескиваетъ величіе падшаго, униженнаго, искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природѣ духа...

Поэма начинается картиною царскаго пира: въ золотомъ вѣнцѣ своемъ сидитъ грозный царь, окруженный столбѣнками, боярами, князьями и опричниками,

И пируетъ царь во славу Божию,
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Онъ велитъ наполнить золотой ковшъ заморскимъ виномъ, обнести пирующихъ — «И всѣ пили, царя славили». Лишь только одинъ изъ опричниковъ «Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ», и сидѣлъ съ крѣпкою думою на сердцѣ. Гнѣвно взглянулъ на него царь, словно ястребъ съ высоты небесъ на молодого голубя сизокрылаго, — «Да не поднялъ глазъ молодой боецъ».

Царь стукнулъ объ полъ своею палкою, съ желѣзнымъ наконечникомъ — палка на четверть вонзилась въ дубовый полъ, но и тутъ не дрогнулъ добрый молодецъ;

Вотъ промолвилъ царь слово грозное
И очнулся тогда добрый молодецъ.
«Гей ты, вѣрный нашъ слуга Кирибѣевичъ,
Аль ты думу затаилъ нечестивую?
Али слава нашей завидуешь?
Али служба тебѣ честная прискучила?
Когда всходитъ мѣсяцъ — звѣзды радуются,
Что свѣтлый имъ гулять по поднебесью;
А которая въ тучку причется,
Та стремглавъ на землю падаетъ...
Не прилично же тебѣ, Кирибѣевичъ,
Царской радостью гнушаться;
А изъ роду ты вѣдь Скуратовыхъ
И семьей ты вскормленъ Малютиной!...

Низко кланяясь, опричникъ просить у царя извиненія, говоря.

Сердца жаркаго не залить виномъ,
Душу черную — не запотчивать!
А прогнѣвалъ я тебя — воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову;
Тяготить она плечи богатырскія
И сама къ сырой землѣ она клонится.

Царь разспрашиваетъ о причинѣ печали, и его вопросы — перлы народной нашей поэзіи, полнѣйшее выраженіе духа и формъ русской жизни того времени. Таковъ же и отвѣтъ, или лучше сказать, отвѣты опричника, потому-что, по духу русской національный поэзіи, онъ отвѣчаетъ почти стихомъ на стихъ. Боясь длинноты, не выписываемъ этого мѣста; но вторая половина рѣчи Кирибѣевича дышитъ такою полнотою чувства, блещетъ такими самоцвѣтными камнями народной поэзіи, что мы не можемъ удержаться, чтобы не перечестъ его вѣстѣ съ нашими читателями. Вина печали удалова бойца — молодуха, которая закрывается фатою, когда на него любуются красныя дѣвушки:

На святой Руси, нашей матушкѣ:
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходитъ плавно — будто лебедушка,

Смотритъ сладко — какъ голубушка,
 Молвитъ слово — соловей поетъ;
 Горятъ щеки ея румяныя,
 Какъ зоря на небѣ божіей;
 Косы русыя, золотистыя,
 Въ ленты яркія заплетенныя;
 По плечамъ бѣгутъ, извиваются,
 Съ грудью бѣлою цѣлуются.
 Во семьѣ родилась она купеческой,
 Прозывается Алёной Дмитревной.
 Какъ увижу ее, я и самъ не свой:
 Опускаются руки сильныя,
 Помрачаются очи бойкія;
 Скучно, грустно мнѣ, православный царь,
 Одному по свѣту маяться.
 Опостыли мнѣ кони легкіе,
 Опостыли наряды парчевые.
 И не надо мнѣ золотой казны:
 Съ кѣмъ казною своею подѣлюсь теперь?
 Передъ кѣмъ покажу удалство свое?
 Передъ кѣмъ я нарядомъ похваляюсь?
 Отпусти меня въ степи приволжскія,
 Па житье на вольное, на казацкое.
 Ужъ сложу я тамъ буйную головушку
 И сложу на копье бусурманское,
 И раздѣлютъ по себѣ злы Татаровы
 Коня добраго, саблю острую
 И свидѣло бранное черкасское.
 Мои очи слезныя коршунъ выклюетъ,
 Мои кости сыря дождикъ вымоетъ,
 И безъ похоронъ горемычный прахъ
 На четыре стороны развѣется...

Какая сильная, могучая натура! Ея страсть — лава, ея горсть тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчаяніе, которое въ молодечествѣ, въ подвигѣ крови и смерти ищетъ своего утolenія! Сколько поэзіи въ словахъ этого опричника, какая глубокая грусть дышетъ въ нихъ, — это грусть, которая разрываетъ сильную душу, но не убиваетъ ея, это грусть,

которая составляет основной элементъ, родную стихію, главный мотивъ нашей національной поэзіи!

Со смѣхомъ отвѣчаетъ царь своему любимому слугѣ, что его горю-бѣдѣ не мудрено помочь, предлагаетъ ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье, велитъ сперва поклониться «смыслѣной» свахѣ, а потомъ послать къ своей Алѣнѣ Дмитриевнѣ дары драгоценныя:

Какъ полюбисься—празднуй свадьбу,
Не полюбисься—не прогнѣвайся.
— Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
Обмануъ тебя твой лукавый рабъ,
Не сказалъ тебѣ правды истинной,
Не повѣдалъ тебѣ, что красавица
Въ церкви Божіей перевѣнчана,
Перевѣнчана съ молодымъ купцомъ
По закону нашему христіанскому...

Какъ ударъ грома, какъ приговоръ смерти, поражаетъ душу читателя этотъ отвѣтъ опричника, — и тщетно испуганный слухъ его ждетъ, что скажетъ на это грозный царь: поэтъ опускаетъ занавѣсъ на эту такъ трагически недоконченную картину, такъ страшно прерванную сцену; передъ вами нѣтъ героевъ поэмы, и вы съ трудомъ вѣрите, что видѣли все это не на яву, что все это—только разсказъ пѣсенниковъ...

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дѣло разумѣйте!
Ужь потѣшьте вы добраго боярина
И боярню его бѣзлицую!

Но этотъ удалой припѣвъ, эти затѣйливые прибаутки народнаго остроумія не веселятъ васъ; сердце ваше сжимается болѣзненной тоскою: оно чувствуетъ горе, предвидитъ бѣду; повѣсть превращается для васъ въ мрачную драму, съ трагическою катастрофою, и завязка уже готова, дѣйствіе уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирибѣевича—не шуточное дѣло, не

простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. Вы понимаете, что для этого человѣка нѣтъ середины: или получить, или погибнуть! Онъ вышелъ изъ-подъ опеки естественной нравственности своего общества, а другой, болѣе высшей, болѣе человѣческой, не приобрѣлъ: такой развратъ, такая безнравственность въ человѣкѣ съ сильною натурою и дикими страстями опасны и страшны. И при всемъ этомъ, онъ имѣетъ опору въ грозномъ царѣ, который никого не пожалѣетъ и не пощадитъ, даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя бы этотъ былъ рѣшительно виноватъ.

Занавѣсь поднять—и передъ нами новая картина: молодой купецъ, статный молодецъ, Степанъ Парамоновичъ, по прозванію Калашниковъ, за прилавкою,

Шелковые товары раскладываетъ,
Рѣчью ласковой онъ гостей заманиваетъ,
Злато, серебро пересчитываетъ.

Это другая сторона русскаго быта того времени; на сценѣ является представитель другаго класса общества. Первое его появленіе на сцену располагаетъ васъ въ его пользу: почему-то вы чувствуете, что это одинъ изъ тѣхъ упругихъ и тяжелыхъ характеровъ, которые тихи и кротки, только до тѣхъ поръ, пока обстоятельства не расколыхаютъ ихъ, одна изъ тѣхъ желѣзныхъ натуръ, которыя и обиды не стерпятъ и сдачи дадутъ. Сильнѣе и сильнѣе щемитъ ваше сердце—чувствуетъ оно недоброе, тѣмъ больше, что «молодому купцу, статному молодцу» задался не добрый день:

Ходятъ мимо бояре богатые,
Въ его лавочку не заглядываютъ...
Отзвонили вечерни во святыхъ церквахъ;
За Кремлемъ горитъ заря туманная,
Набѣгаютъ тучки на небо,—
Гонятъ ихъ мятелица распѣваючи;
Опустѣлъ широкій гостинный дворъ.

Калашниковъ запираетъ свою лавочку дубовою дверью, «да нѣмецкимъ замкомъ со пружиною», привязываетъ на желѣзную цѣнь зубастаго пса,

И пошелъ онъ домой, *призадумавшись*,
Къ молодой хозяйкѣ за Москву-рѣку.

Отчего же онъ призадумался? — Или душа человѣка чувствуетъ шелестъ шаговъ незримо-слѣдующей по пятамъ его судьбы, которая обрекла его въ свои жертвы?...

Пришедъ въ свой «высокій» домъ, Степанъ Парамоновичъ дивится, что его не встрѣчаютъ ни молода жена, ни малыя дѣтушки, что дубовый столъ не покрытъ бѣлою скатертью, и свѣчка передъ образомъ еле-теплится. Кличетъ онъ старуху Еремѣвну и спрашиваетъ, куда въ такой поздній часъ «дѣвалась, затаилася» Алёна Дмитриевна, и не заигрались ли его любезныя дѣти, что такъ рано уложились спать? И слышитъ въ отвѣтъ:

...Къ вечеру пошла Алёна Дмитриевна;
Вотъ ужъ ночь прошла съ молодой попадѣй,
Засвѣтили свѣчу, сѣли ужинать, —
А по-сю пору твоя хозяйшка
Изъ приходской церкви не вернулась.
А дѣтки твои малыя
Почивать не легли, не играть пошла —
Плачемъ плачутъ все, не унимаются.

Въ этихъ стихахъ полная картина домашняго быта и простыхъ, малосложныхъ, простодушныхъ, семейственныхъ отношеній у нашихъ предковъ.

Смутился Степанъ Парамоновичъ крѣкою думою.

И онъ сталъ къ окну, глядитъ на улицу —
А на улицѣ ночь темнехонька;
Валитъ бѣлый снѣгъ, разстилается,
Заметаешь слѣдъ человѣческій.
Вотъ онъ слышитъ, въ сѣняхъ дверь хлопнула,
Потомъ слышитъ шаги торопливые;

Обернулся, глядит — сила крестная!
 Передъ нимъ стоитъ молодая жена,
 Сама блѣдная, простоволосая,
 Косы русыя расплетены
 Синьгомъ-инеемъ пересынаны:
 Смотрать очи мутныя, какъ безумныя,
 Уста шепчуть рѣчи непонятныя.

Онъ спрашиваетъ ее, гдѣ она шаталася: ужъ не гуляла ли, не пировала ли съ дѣтьми боярскими, что волосы ея такъ растрепаны и одежда изорвана.

Не на то передъ святыми иконами
 Мы съ тобой, жена, обручались
 Золотыми кольцами мѣнялись!...

Онъ грозитъ запереть ее за дубовую дверь окованную, за желѣзный замокъ, чтобъ она и свѣту Божьего не видѣла, его имени честнаго не порочила.

Какъ осиновый листъ затряслася Алѣна Дмитріевна, упала мужу въ ноги, прося его выслушать ее и говоря, что она «не боится смерти лютыя, а боится его немилости»: въ двѣнадцати стихахъ полная картина супружескихъ отношеній варварскаго времени! Жена рассказываетъ мужу, что, шедши отъ вечерни домой, услышала за собою чьи-то шаги, «оглянулася — человѣкъ бѣжитъ»; этотъ человѣкъ схватилъ ее за руки, говоря ей, что она слуга царя грознаго, прозывается Кирибѣвичемъ, а изъ славныхъ семей изъ Малютиной...

Испугалась я пуще прежняго;
 Закружилась моя бѣдная головушка.
 И онъ сталъ меня цѣловать-ласкать,
 А цѣлуя все приговаривалъ:
 — Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно,
 Моя милая, драгоценная!
 Хочешь золота, али жемчугу?
 Хочешь яркихъ камней, аль цвѣтной парчи?
 Какъ царицу я наряжу тебя,
 Станутъ всѣ тебѣ завидовать,

.Только не дай мнѣ умереть смертью грѣшною:
 Полюби меня, обними меня
 Хотя единый разъ на прощаніе!
 И ласкалъ онъ меня, цѣловалъ меня:
 На щекахъ моихъ и теперь горятъ,
 Живымъ пламенемъ разливаются
 Поцѣлуй его океаны...
 А смотрѣли въ калитку сосѣдушки,
 Сидѣли, на насъ пальцемъ показывали...

Рванувшись изъ рукъ его, она оставила у него свою фату
 бухарскую и узорный платокъ, — подарочекъ мужа. Заклю-
 ченіе ея разсказа состоитъ въ жалобахъ на свой позоръ и въ
 просьбахъ мужу — не дать ей, свою вѣрную жену, въ пору-
 ганіе злымъ охульникамъ. Тогда Степанъ Парамоновичъ посы-
 лаетъ за своими двумя меньшими братьями и рассказываетъ
 объ обидѣ, нанесенной ему злымъ опричникомъ царскимъ;

А такой обиды не стерпѣть душѣ,
 Да не вынести сердцу молодецкому!

говоритъ имъ о своемъ намѣреніи — биться на смерть съ
 опричникомъ на кулачномъ бою, который будетъ завтра на
 Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ царѣ, и просить ихъ постоять за
 правду, если самъ будетъ побить.

И въ отвѣтъ ему братья молвили:
 .Куда вѣтеръ дуетъ въ поднебесьи,
 Туда мчатся и тучки послушныя;
 Когда сизый орелъ зоветъ голосомъ
 На кровавую долину побоища,
 Зоветъ пиръ пировать, мертвецовъ убирать,
 Къ нему малые орлята слетаются:
 Ты нашъ старшій братъ, намъ второй отецъ;
 Дѣлай самъ, какъ знаешь, какъ вѣдаешь,
 А ужъ мы тебя роднаго не выдадимъ».

Изъ этого отвѣта видно, что семья Калашниковыхъ хоть и не
 славилась столько, какъ Малютиныхъ, но состояла изъ сиза-

го орла съ орлятами... Превосходно очеркнулъ поэтъ, въ этомъ отвѣтѣ, будто мимоходомъ, и простоту родственныхъ отношеній нашихъ предковъ, гдѣ право первородства было и правомъ власти, гдѣ старшій братъ заступалъ мѣсто отца для младшихъ. И это сдѣлано имъ не въ описаніи, а въ живой картинѣ, въ самомъ разгарѣ, въ высшей степени драматическаго дѣйствія. Этою сценою семейнаго совѣщанія оканчивается вторая часть драматической поэмы: дѣйствующія лица и завязка дѣйствія уже рѣзко обозначились, — и сердце наше замираетъ отъ предчувствія горестной развязки...

Надъ Москвой великой, златоглавою
Надъ стѣной кремлевской бѣлокаменной
Изъ-за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за синихъ горъ,
По тесовымъ кровелькамъ играючи,
Тучки сѣрыя разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистыя,
Умывается слѣгами разсыпчатыми,
Въ небо чистое смотреть, улыбается.
Ужъ зачѣмъ ты, алая заря просыпалася?
На какой ты радости разыгралася!

На Москву-рѣку сходились удалые молодцы, «разгуляться для праздника, потѣшиться». Самъ царь пріѣхалъ съ дружиною, боярами и опричниками, и велѣлъ оцѣпить серебряною цѣпью мѣсто въ 25 саженъ «для охотническаго бою, одиночнаго». Потомъ царь велѣлъ вызывать охотниковъ:

Кто побьетъ кого, того царь наградить,
А кто будетъ побить тому Богъ простить!

Выходить Кирибѣзичъ и съ похвалбою вызываетъ супротивниковъ, обѣщая «лишь потѣшить царя-батюшку, но для праздника отпустить живаго». Вдругъ раздалась толпа—и выходитъ Степанъ Парамоновичъ.

Поклонился прежде царю грозному,
 Послѣ бѣлому Кремлю да святымъ церквамъ,
 А потомъ всѣму народу русскому.
 Горять его очи соколиныи,
 На опричника смотреть пристально.
 Супротивъ него онъ становится,
 Боевыя рукавицы натягиваетъ,
 Могутныя плечи распрямливаетъ
 Да кудряву бороду поглаживаетъ.

Кирибѣевичъ, не выходя изъ тона своей удалой, молодецкой похвальбы, спрашиваетъ Калашникова о родѣ-племени и имени, «чтобъ знать по комъ панихиду служить, чтобъ было чѣмъ и похвастаться».

Отвѣчаетъ Степанъ Парамоновичъ:
 А зовутъ меня Степаномъ Калашниковымъ,
 А родился я отъ честнова отца,
 И жилъ я по закону Господнему:
 Не позорилъ я чужой жены,
 Не разбойничалъ ночью темною,
 Не таялся отъ свѣта небеснаго...
 И промолвилъ ты правду истинную:
 По одному изъ насъ будутъ панихиду пѣть,
 И не позже, какъ завтра въ часъ полуденный;
 И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,
 Съ удалыми друзьями пируючи...
 Не шутку шутить, не людей смѣшить
 Къ тебѣ вышелъ я теперь, бусурманскій сынъ,
 Вышелъ я на страшный бой, на послѣдній бой!
 И услышавъ то, Кирибѣевичъ
 Поблѣднѣлъ въ лицѣ, какъ осенній снѣгъ:
 Бойки очи его затуманились,
 Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ морозъ,
 На раскрытыхъ устахъ слово замерло...

Вотъ оно—ужасное торжество совѣсти въ глубокой натурѣ, которая никогда не отрѣшится отъ совѣсти, какъ бы ни была искажена развратомъ, какъ бы ни страшно погрязла въ по-

рокъ!... Всегда надъ нею грозная длань нравственнаго закона, грозный голосъ суда Божія, потому что она сама—свой нравственный законъ и свой неуломный судъ!...

Начинается бой (мы пропускаемъ его подробности); правая сторона побѣдила,

И опричникъ молодой застоналъ слегка,
Завылался, упалъ за-жертво;
Повалился онъ на холодный снѣгъ,
На холодный снѣгъ, будто сосенка,
Будто сосенка, во сырѣхъ бору
Подъ смолистый подъ корень подрубленная.

Не правда ли: вамъ жалъ удалаго, хотя и преступнаго бойца? съ невыразимою тоскою повторите вы за поэтомъ жалобную мелодію, которою выразилъ онъ его паденіе?... А между тѣмъ, вы же сами желали побѣды благородному купцу и гибели его преступному оскорбителю?... Таково обаяніе великихъ натуръ; какъ бы ни было велико ихъ преступленіе, но, наказанныя, онѣ привлекаютъ все удивленіе и всю любовь нашу: — мы видимъ въ нихъ жертвы неотразимой судьбы, и братскимъ поцѣлуемъ прощанія и прощенія въ холодныя, посинѣлыя уста ихъ запечатлѣваемъ торжество возстановленной смертію гармоніи общаго, которую нарушили было они своей виною...

Грозный царь воспадался гнѣвомъ, и спрашиваетъ Калашникова: вольною волею или нехотя убилъ онъ его вѣрнаго слугу и лучшаго бойца? Вѣроятно, Калашниковъ могъ бы еще спасти себя ложью, но для этой благородной души, дважды такъ страшно потрясенной—и позоромъ жены, разрушившимъ его семейное блаженство, и кровавою местию врагу, невозвратившему ему прежняго блаженства,—для этой благородной души жизнь уже не представляла ничего обольстительнаго, а смерть казалась необходимою для уврачеванія ея неисцѣли-

мыхъ ранъ... Есть души, которыя довольствуются кое-чѣмъ— даже остатками бывшаго счастія; но есть души, лозунгъ которыхъ— все или ничего, которыя не хотятъ запятнаннаго блаженства, разъ потемненной славы: такова была и душа удалого купца, статнаго молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Онъ сказалъ царю всю правду, скрывъ однако причину своего мщенія:

А за что, про что— не скажу тебѣ!
Скажу только Богу одному!

Какая дивная черта глубокаго знанія сердца человѣческаго и древнихъ нравовъ! Какая высокая, трагическая черта! Онъ охотно идетъ на казнь, и лишь просить царя «не оставить своей милостью милыхъ дѣтушекъ, молодой жены да двухъ братьевъ его». Въ отвѣтъ царя, рѣзко, во всемъ страшномъ величїи, выказывается колоссальный образъ Грознаго:

Хорошо тебѣ, дѣтинушка,
Удалой боецъ, сынъ купеческій,
Что отвѣтъ держалъ ты по совѣсти.
Молодую жену и сиротъ твоихъ
Изъ казны моей я пожалую,
Твоимъ братьямъ велю отъ сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, безошлинно.
А ты самъ ступай, дѣтинушка,
На высокое мѣсто лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топоръ велю наточить-навострить,
Палача велю одѣть-нарядить,
Чтобъ знали всѣ люди московскіе.
Что и ты не оставленъ моей милостью...

Какая жестокая иронія, какой ужасный сарказмъ! и мертвый содрогнулся бы отъ него во гробѣ! А между тѣмъ, въ согласіи на милость женѣ, покровительствѣ дѣтямъ и братьямъ осужденнаго, проблескиваетъ лучъ благородства и величїя царст-

венной натуры, и какъ бы невольное признаніе достоинства человѣка, который обреченъ судьбой безвременной и насильственной смерти!... Какая страшная трагедія! сама судьба, въ лицѣ Грознаго, присутствуетъ предъ нами и управляетъ ея ходомъ!... И едва-ли во всей исторіи человечества можно найти другой характеръ, который могъ бы съ большимъ правомъ представлять лицо судьбы, какъ Іоаннъ Грозный!...

На площади собирается народъ; гудитъ-воетъ заунывный колоколъ; по высокому лобному мѣсту весело похаживаетъ палачъ, руки голыя потираючи:

Удалова бойца дожидается,
А лихой боецъ, молодой купецъ, —
Со родными братьями прощается.

Онъ велитъ имъ поклониться отъ него Алѣнѣ Дмитревнѣ да заказать ей меньше печалиться, а дѣтушкамъ про него не велитъ сказывать...

И казнили Степана Казашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка безталанная
Въ крови на плаху покатилася.
Схоронили его за Москвой-рѣкой,
На чистомъ полѣ, промежъ трехъ дорогъ:
Промежъ Тульской, Рязанской, Владимірской,
И бугоръ земли сырой тутъ насыпали,
И кленовый крестъ тутъ поставили.
И гуляютъ-шумятъ вѣтры буйные
Надъ его безыменной могилою.

И вотъ, занавѣсъ опустился, трагедія кончилась, колоссальные образы ея героевъ исчезли изъ глазъ нашихъ, прошедшее стало опять прошедшимъ —

И что жъ осталось
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?

Что? — могила, жилище тлѣнія и смерти; но надъ этою моги-

люю, вѣдетъ жизнь, царитъ воспоминаніе, нѣмоу рѣчью говоритъ преданіе:

И проходятъ мимо люди добрые:
Пройдетъ старъ челоѣкъ — перекрестится,
Пройдетъ молодецъ — пріосанится,
Пройдетъ дѣвица — пригорюнится,
А пройдутъ гуслары — споютъ пѣсенку.

Какія роскошныя дани, какія богатыя жертвы приносятся этой могилѣ живыми! И она стѣбитъ ихъ, ибо не живые въ ней, мертвой, — но она мертвая, рождаетъ жизнь въ живыхъ: заставляетъ ихъ и креститься, и пріосаниваться, и пригорюниваться, и пѣть пѣсни!... Васъ огорчаетъ, заставляетъ страдать горестная и страшная участь благороднаго Калашникова; вы жалѣете даже и о преступномъ опричникѣ: — понятное, челоѣческое чувство! Но безъ этой трагической развязки, которая такъ печалитъ ваше сердце, не было бы и этой могилы, столь краснорѣчивой, столь живой, столь полной глубокаго значенія, и не было бы великаго подвига, который такъ возвысилъ вашу душу, и не было бы чудной пѣсни поэта, которая такъ очаровала васъ... И потому, да пережѣнится печаль ваша на радость, и да будетъ эта радость свѣтлымъ торжествомъ побѣды безсмертнаго надъ смертнымъ, общаго надъ частнымъ! Благословимъ непреложные законы бытія и міродержавныхъ судебъ, и повторимъ, за поэтомъ, музыкальный финалъ, которымъ, по старинному и достохвальному русскому обычаю, заставляеть онъ гусларовъ заключить свою поэтическую пѣсню:

Гей вы, ребята удалые,
Гуслары молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали—красно и кончайте,
Каждому правдою и честию воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавицѣ боярынь слава!
И всему народу христіанскому слава!

Излагая содержаніе этой поэмы, уже извѣстной публикѣ, мы имѣли въ виду наметнуть на богатство ея содержанія, на полноту жизни и глубину идей, которыми она запечатлѣна: что же до поэзіи образовъ, роскоши красокъ, прелести стиха, избытка чувства, охватывающаго душу огненными волнами, свѣжести колорита, силѣ выраженія, трепетнаго, полного страсти одушевленія,—эти вещи не толкуются и не объясняются... Мы выписали цѣлую часть поэмы — пусть читаютъ и судятъ сами: кто не увидитъ въ этихъ стихахъ того, что мы видимъ, для тѣхъ нѣтъ у насъ очковъ, и едва ли какой оптикъ въ мірѣ поможетъ имъ...

Содержаніе поэмы, въ смыслѣ разсказа происшествія само по себѣ полно поэзіи; еслибы оно было историческимъ фактомъ, въ немъ жизнь являлась бы поэзією, а поэзія жизнію. Но тѣмъ не менѣе, онъ не существовалъ бы для насъ, нашли бы мы его въ простодушной хроникѣ старыхъ временъ, или, по какому-нибудь чуду, сами были его свидѣтелями—оно было бы для насъ мертвымъ матеріаломъ, въ который только поэтъ могъ бы вдохнуть душу живу, отдѣливъ отъ него все случайное, произвольное, и представивъ его въ гармоническомъ цѣломъ, поставленномъ и освѣщенномъ сообразно съ требованіями точки зрѣнія и свѣта. И въ этомъ отношеніи, нельзя довольно удивиться поэту: онъ является здѣсь опытнымъ, гениальнымъ архитекторомъ, который умѣетъ такъ согласить между собою части зданія, что ни одна подробность въ украшеніяхъ не кажется лишнею, но представляется необходимою и равно важною съ самыми существенными частями зданія, хотя вы и понимаете, что архитекторъ могъ бы легко, вѣсто ея, сдѣлать и другую. Какъ ни пристально будете вы вглядываться въ поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишняго или недостающаго слова, черты, стиха, образа; ни одного слабого мѣста: все въ ней необходимо, полно, сильно! Въ этомъ отношеніи,

ея никакъ нельзя сравнить съ народными легендами, носящими на себѣ имя ихъ собирателя — Кирши Данилова: то дѣтскій лепетъ, часто поэтическій, но часто и прозаическій, нерѣдко образный, но чаще символическій, уродливый въ цѣломъ, полный ненужныхъ повтореній одного и того же; поэма Лермонтова — созданіе мужественное, зрѣлое, и столько же художественное, сколько и народное. Безыменные творцы этихъ безыскусственныхъ и простодушныхъ произведеній составляли одно съ вѣющимъ въ нихъ духомъ народности; они не могли отъ ней отдѣлиться, она заслоняла въ нихъ саму же себя; но нашъ поэтъ вышелъ въ царство народности какъ ея полный властелинъ и, проникнувшись ея духомъ, слившись съ нею, онъ показалъ только свое родство съ нею, а не тождество: даже въ минуту творчества онъ видѣлъ ее предъ собою, какъ предметъ, и такъ же по волѣ своей вышелъ изъ нея въ другія сферы, какъ и вошелъ въ нее. Онъ показалъ этимъ только богатство элементовъ своей поэзіи, кровное родство своего духа съ духомъ народности своего отечества; показалъ, что и прошедшее его родинѣ такъ же присуще его натурѣ, какъ и ея настоящее; и потому онъ, въ этой поэмѣ, является не безыскусственнымъ пѣвцомъ народности, но истиннымъ художникомъ, — и если его поэма не можетъ быть переведена ни на какой языкъ, ибо колоритъ ея весь въ русско-народномъ языкѣ, то тѣмъ не менѣе она — художественное произведеніе, во всей полнотѣ, во всемъ блескѣ жизни, воскресившее одинъ изъ моментовъ русскаго быта, одного изъ представителей древней Руси. Въ этомъ отношеніи, послѣ Бориса Годунова больше всѣхъ посчастливилось Іоанну Грозному: въ поэмѣ Лермонтова колоссальный образъ его является изваяннымъ изъ мѣди или мрамора...

По внутреннему плану нашей статьи, мы должны были сперва говорить о тѣхъ стихотвореніяхъ Лермонтова, въ которыхъ

онъ является не безусловнымъ художникомъ, но внутреннимъ человекомъ, и по которымъ однимъ можно увидѣть богатство элементовъ его духа, и отношенія его къ обществу. Мы такъ и начали, такъ и продолжаемъ: взглядъ на чисто-художественныя стихотворенія его заключить нашу статью. Если мы остановились на «Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалца купца Калашникова», которую сами признаемъ художественною, то потому что, во первыхъ, самая ея художественность болѣе или менѣе условна, ибо въ этой «Пѣсни» онъ поддѣлывается подъ ладъ старинный и заставляетъ гусляровъ пѣть ее; во вторыхъ, эта «Пѣсня» представляетъ собою фактъ о кровномъ родствѣ духа поэта съ народнымъ духомъ, и свидѣтельствуетъ объ одномъ изъ богатѣйшихъ элементовъ его поэзіи, намекающемъ на великость его таланта. Самый выборъ этого предмета свидѣтельствуетъ о состояніи духа поэта, недовольнаго современною дѣйствительностію и перенесшагося отъ нея въ далекое прошлое, чтобъ тамъ искать жизни, которой онъ не видитъ въ настоящемъ. Но это прошлое не могло долго занимать такого поэта: онъ скоро долженъ былъ почувствовать всю бѣдность и все однообразіе его содержанія и возвратиться къ настоящему, которое жило въ каждой каплѣ его крови, трепетало съ каждымъ біеніемъ его пульса, съ каждымъ вздохомъ его груди. Не отдѣлится ему отъ него! Оно витѣрилось въ него, обвилося вокругъ него, оно сосетъ кровь изъ его сердца, оно требуетъ всей жизни его, всей дѣятельности! Оно ждетъ отъ него своего просвѣтлѣнія, врачеванія своихъ язвъ и недуговъ. Онъ, только онъ можетъ совершить это, какъ полный представитель настоящаго, другой властитель нашихъ думъ! Въ созданіяхъ поэта, выражающихъ скорби и недуги общества, общество находитъ облегченіе отъ своихъ скорбей и недуговъ: тайна этому цѣлительнаго дѣйствія—сознаніе причины болѣзни чрезъ представленіе болѣзни, какъ

мы говорили объ этомъ выше въ нашей статьѣ. Великую истину заключаютъ въ себѣ эти простодушныя слова изъ «Гимна Музамъ» древняго старца Гезіода: «Если кто чувствуетъ скорбь, свѣжую рану сердца, и сидитъ съ своею горькою душою, а пѣвецъ, служитель мужъ, запереть о славѣ первыхъ человѣковъ и блаженныхъ боговъ, на Олимпѣ живущихъ, — въ тотъ же мигъ забываетъ несчастный горе и не помнитъ ни одной заботы: такъ скоро даръ боговъ измѣнилъ его». Но это сила поэзіи вообще, сила всякой поэзіи; дѣйствіе же поэзіи, воспроизводящей наши собственные страданія, еще чуднѣе оказывается на нашихъ же собственныхъ страданіяхъ: увидѣвъ ихъ внѣ насъ самихъ, очищенными и просвѣтлѣнными общимъ значеніемъ скрывающагося въ нихъ таинственнаго смысла, мы тотчасъ же чувствуемъ себя облегченными отъ нихъ...

Нашъ вѣкъ — вѣкъ по преимуществу историческій. Всѣ думы, всѣ вопросы наши и отвѣты на нихъ, вся наша дѣятельность вырастаетъ изъ исторической почвы и на исторической почвѣ. Человѣчество давно уже пережило вѣкъ полноты своихъ вѣрованій; можетъ-быть, для него наступить эпоха еще высшей полноты, нежели какою когда-либо прежде наслаждалось оно; но нашъ вѣкъ есть вѣкъ сознанія, философствующаго духа, размышленія, «рефлексіи». Вопросъ — вотъ альфа и омега нашего времени. Ощутимъ ли мы въ себѣ чувство любви къ женщинѣ, — вѣсто того, чтобъ роскошно уживаться его полнотою, мы прежде всего спрашиваемъ себя, что такое любовь, въ самомъ ли дѣлѣ мы любимъ? и пр. Стремясь къ предмету съ ненасытною жаждою желанія, съ тяжелою тоскою, со всеѣмъ безумствомъ страсти, мы часто удивляемся холодности, съ какою видимъ исполненіе самыхъ пламенныхъ желаній нашего сердца. — и многіе изъ людей нашего времени могутъ примѣнить въ себѣ сцену между Мефистотелемъ и Фаустомъ, у Пушкина:

Когда врасплох тебя
 Била из восторга, из удивленья,
 Ты беззаботной душой
 Так погружался въ размышленья
 (А доказали мы съ тобой,
 Что размышленья — окупъ снѣга).
 И знаешь ли, озабоченъ мой,
 Что думалъ ты въ такое время,
 Когда не думать никто?
 Сказать ли?

Флора.

Говори. Ну, что?

Никонстанти.

Ты думалъ: агнецъ мой послушный!
 Какъ жадно я тебя желалъ!
 Какъ хитро въ дѣлѣ простодушной
 Я грезы сердца возмущалъ!
 Любви невольной, безкорыстной
 Невинно предаюсь она...
 Что жъ грудь теперь моя полна
 Тоской и скукой ненавистной?...
 На жертву притоты моей
 Глику, упившись наслажденьемъ,
 Съ неодолимымъ отвращеньемъ.
 Такъ безразсчетный дурачекъ,
 Вотще рѣшась на злое дѣло,
 Зарѣзавъ нищаго въ лѣсу,
 Бранить ободранное тѣло;
 Такъ на продажную красу,
 Насытись ею торопливо,
 Развратъ коснется болячиво...

Ужасно!... Но это не смерть и даже не старость міра, какъ думаетъ старое поколѣніе, которое, въ своей молодости, такъ беззаботно пило и ѣло, такъ весело плясало, такъ бессознательно наслаждалось жизни. Нѣтъ, это не смерть и не старость: люди нашего времени также или еще больше полны жаждою желаній, сокрушительною тоскою порываній и стре-

млений. Это только болѣзненный кризисъ, за которымъ должно послѣдовать здоровое состояніе, лучше и выше прежняго. Та же рефлексія, то же размышленіе, которое теперь отравляетъ полноту всякой нашей радости, должно быть въ послѣдствіи источникомъ высшаго, чѣмъ когда-либо блаженства, высшей полноты жизни. Но горе тѣмъ, кто является въ эпоху общественнаго недуга! Общество живетъ не годами — вѣками, а человѣку данъ мигъ жизни: общество выздоровѣетъ, а тѣ люди, въ которыхъ выразился кризисъ его болѣзни — благороднѣйшіе сосуды духа, навсегда могутъ остаться въ разрушающемъ элементѣ жизни!...

Какъ бы то ни было, но нашъ вѣкъ есть вѣкъ размышленія. Поэтому, рефлексія (размышленіе) есть законный элементъ поэзіи нашего времени, и почти всѣ великіе поэты нашего времени заплатили ему полную дань: Байронъ въ «Манфредѣ», «Кайнѣ» и другихъ произведеніяхъ; Гёте особенно въ «Фаустѣ»; вся поэзія Шиллера по преимуществу рефлектирующая, размышляющая. Въ наше время, едва ли возможна поэзія въ смыслѣ древнихъ поэтовъ, созерцающая явленіе жизни безъ всякаго отношенія къ личности поэта (поэзія объективная), и въ наше время тотъ не поэтъ и особенно не художникъ, у котораго въ основаніи таланта не лежитъ созерцательность древнихъ и способность воспроизводить явленіе жизни безъ отношеній къ своей личности; но въ наше время отсутствіе въ поэтѣ внутренняго (субъективнаго) элемента есть недостатокъ.

Въ самомъ Гёте не безъ основанія порицаютъ отсутствіе историческихъ и общественныхъ элементовъ, спокойное доволство дѣйствительностію, какъ она есть. Это и было причиною, почему менѣе Гётевской художественная, но болѣе человѣчественная, туманная поэзія Шиллера нашла себѣ больше отзыва въ человѣчествѣ, чѣмъ поэзія Гёте.

Преобладаніе внутренняго (субъективнаго) элемента въ поэтахъ обыкновенныхъ есть признакъ ограниченности таланта. У нихъ субъективность означаетъ выраженіе личности, которая всегда ограничена, если вылезаетъ отъ общаго. Они обыкновенно говорятъ о своихъ нравственныхъ идеалахъ, и всегда одно и то же: читая ихъ, несомненно вспомнишь эти стихи Лермонтова:

Какое дѣло мнѣ, страдаю ты или нѣтъ,
 На что мнѣ знать твои санины,
 Надежды глупы первоначальныхъ лѣтъ,
 Разсудка злыя сожалѣны?
 Вышли: передъ тобой играючи идетъ
 Тѣла дорогою привычкой,
 На лицахъ праздничныхъ чуть видѣть слѣды заботы,
 Слезы не встрѣтишь непримечной,—
 А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ,
 Тяжелой пыткой не измученъ,
 До преждевременныхъ добравшійся морщинъ
 Безъ преступленія, или утраты!...
 Повѣрь: для нихъ ситишомъ твой плачъ и твой укоръ,
 Съ своими напьются заученныхъ,
 Какъ разуманный трагическій актеръ,
 Махающій мечомъ картоннымъ...

Въ талантѣ великомъ, избытокъ внутренняго, субъективнаго элемента есть признакъ гуманности. Не бойтесь этого направленія: оно не обманетъ васъ, не введетъ васъ въ заблужденіе. Великій поэтъ, говоря о себѣ самомъ, о своемъ я, говорить объ общемъ — о человѣчествѣ, ибо въ его натурѣ лежитъ все, чѣмъ живетъ человѣчество. И потому въ его груди всякій узнаетъ свою грусть, въ его душѣ всякій узнаетъ свою и видитъ въ немъ не только поэта, но и человека, брата своего по человѣчеству. Признавая его существомъ несравненно высшимъ себя, всякій въ то же время сознаетъ свое родство съ нимъ.

Вотъ что заставило насъ обратить особенное вниманіе на субъективныя стихотворенія Лермонтова, и даже порадоваться, что ихъ больше, чѣмъ чисто-художественныхъ. Поэтому признаку, мы узнаёмъ въ немъ поэта русскаго, народнаго, въ высшемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова,—поэта, въ которомъ выразился историческій моментъ русскаго общества. И всѣ такія его стихотворенія глубоки и многозначительны; въ нихъ выражается богатая дарами духа природа, благородная человѣчественная личность.

Черезъ годъ послѣ напечатанія «Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова», Лермонтовъ вышелъ снова на арену литературы, съ стихотвореніемъ «Дума», изумившимъ всѣхъ алмазною крѣпостію стиха, громовою силою бурнаго одушевленія, исполинскою энергіею благороднаго негодованія и глубокой грусти. Съ тѣхъ поръ, стихотворенія Лермонтова стали являться одни за другими безъ перемежки, и съ его именемъ.

Поэтъ говоритъ о новомъ поколѣніи, что онъ смотритъ на него съ печалью, что его будущее «иль пусто, иль темно», что оно должно состарѣться подъ бременемъ познанія и сомнѣнья; укоряетъ его, что оно изсушило умъ безплодною наукою. Въ этомъ нельзя согласиться съ поэтомъ: сомнѣнье—такъ; но излишества познанія и науки, хотя бы и «безплодной», мы не видимъ: напротивъ, недостатокъ познанія и науки принадлежитъ къ болѣзнямъ нашего поколѣнія:

Мы всѣ учились понемногу
Чему-нибудь и какъ-нибудь!

Хорошо бы еще, еслибъ, въ замѣнъ утраченной жизни, мы насладились хоть знаніемъ: былъ бы хоть какой-нибудь выигрышъ! Но сильное движеніе общественности сдѣлало насъ обладателями знанія, безъ труда и ученія—и этотъ плодъ безъ корня, надо признаться, пришелся намъ горекъ: онъ только

пресытилъ насъ, а не напичалъ, притупилъ нашъ вкусъ, но не усладилъ его. Это обыкновенное и необходимое явленіе во всѣхъ обществахъ, вдругъ вступающихъ изъ естественной непосредственности въ сознательную жизнь, не въ нѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, а пересаженную отъ развившихся народовъ. Мы въ этомъ отношеніи — безъ вины виноваты!

Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и познанимъ ихъ умомъ,
И жизнь ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ!

Какая вѣрная картина! Какая точность и оригинальность въ выраженіи! Да, умъ отцовъ нашихъ, для насъ — поздній умъ: великая истина!

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ни чѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови!
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ легкомысленный, ребяческій развратъ;
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодотворной,
Ни гениемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына;
Надъ промотавшимся отцомъ!

Эти стихи писаны кровью; они вышли изъ глубины оскорбленнаго духа: это вопль, это стонъ человѣка, для котораго отсутствіе внутренней жизни есть зло, въ тысячу разъ ужаснѣе физической смерти!... И кто же изъ людей новаго поколѣнія не найдетъ въ немъ разгадки собственного унынія, ду-

шевной апатіи, пустоты внутренней, и не откликнется на ней своимъ воплемъ, своимъ стономъ? ... Если подъ «сатиры» должно разумѣть не невинное зубоскальство веселенькихъ остроумцевъ, а громы негодованія, грозу духа, оскорбленнаго позоромъ общества, — то «Дума» Лермонтова есть сатира, сатира есть законный родъ поэзіи. Если сатиры Ювенала дѣшутъ такою же бурей чувства, такимъ же могуществомъ оленнаго слова, то Ювеналъ дѣйствительно великій поэтъ!..

Другая сторона того же вопроса выражена въ стихотвореніи «Поэтъ». Обдѣланный въ золото галантерейною игрушкою кнжалъ наводитъ поэта на мысль о роли, которую это орудіе смерти и мщенія играло прежде... А теперь?... Увы!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистить, не ласкаетъ,
И надписи его, молясь передъ зарей,
Никто съ усердьемъ не читаетъ...
Въ нашъ вѣкъ извѣженный, не такъ ли ты, поэтъ,
Свое утратилъ назначенье,
На злато промѣнявъ ту власть, которой свѣтъ
Внималъ въ нѣмомъ благоговѣнн?
Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
Воспламенялъ бойца для битвы;
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
Какъ свѣтъ въ часы молитвы!
Твой стихъ, какъ Божій духъ носился надъ толпой,
И отзывъ мыслей благородныхъ
Звучалъ какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.
Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ,
Нашъ тѣшутъ блески и обманы;
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ
Морщины прятать подъ румяны...
Проснешься ли ты опять, осмѣянный пророкъ?
Иль никогда, на голосъ мщенія,
Изъ золотыхъ ноженъ не вырешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной призрѣнья?...

Вотъ оно, то бурное одушевленіе, та трепещущая, изнемогающая, отъ полноты своей страсть, которую Гегель называетъ въ Шиллерѣ паэссомъ!... Нѣтъ, хвалить такіе стихи можно только стихами, и притомъ такими же... А мысль?... Мы не должны здѣсь искать статистической точности фактовъ; но должны видѣть выраженіе поэта, — и кто не признаетъ, что то, чего онъ требуетъ отъ поэта, составляетъ одну изъ обязанностей его служенія и призванія? Не есть ли это характеристика поэта — характеристика благороднаго Шиллера?...

«Не вѣрь себѣ» есть стихотвореніе, составляющее триумвиратъ съ двумя предшествовавшими. Въ немъ поэтъ рѣшаетъ тайну истиннаго вдохновенія, открывая источникъ ложнаго. Есть поэты пишущіе въ стихахъ и въ прозѣ, и, кажется, удивительно какъ сильно и громко; но чтеніе которыхъ дѣйствуетъ на душу какъ угаръ или тяжелый хмѣль, и ихъ произведенія, особенно увлекающія молодость, какъ то скоро испаряются изъ головы. У этихъ людей нельзя отнять дарованія и даже вдохновенія, но

Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи:
То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!...

Со времени появленія Пушкина, въ нашей литературѣ показались какія-то неслыханныя прежде жалобы на жизнь, пошло въ оборотъ новое слово «разочарованіе», которое теперь уже успѣло сдѣлаться и старымъ и приторнымъ. Элегія смѣнила оду и стала господствующимъ родомъ поэзіи. За поэтами даже и плохіе стихотворцы начали воспѣвать

Погибшіи жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ.

Ясно, что это была эпоха пробужденія нашего общества къ жизни: литература въ первый разъ еще начала быть выраженіемъ общества. Это новое направленіе литературы вполне выразилось въ дивномъ созданіи Пушкина — «Демонъ». Это

демонъ сомнѣнія, это духъ размышленія, рефлексія, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное дѣло: пробудилась жизнь, и съ нею объ-руку пошло сомнѣніе — врагъ жизни! «Демонъ» Пушкина съ тѣхъ поръ остался у насъ вѣчнымъ гостемъ, и съ злою, насмѣшливою улыбкою показывается то тутъ, то тамъ... Мало этого: онъ привелъ другаго демона, еще болѣе страшнаго, болѣе неразгаданнаго, высказавшагося въ стихотвореніи Лермонтова:

И скучно и грустно, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды...
Желанья!... Что пользы напрасно и вѣчно желать?..
А годы проходить—всѣ лучшіе годы!
Любить... но кого же?... На время—не стоитъ труда.
А вѣчно любить невозможно.
Въ себя ли заглянешь?—тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:
И радость, и мука, все тамъ ничтожно!...
Что страсти?—вѣдь рано или поздно ихъ сладкій недугъ
Исчезнетъ при словѣ разсудка.
И жизнь—какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ—
Такая пустая и глупая шутка...

Страшенъ этотъ глухой могильный голосъ подземнаго страданія нездѣшной муки, этотъ потрясающій душу реkvіэмъ всѣхъ надеждъ, всѣхъ чувствъ человѣческихъ, всѣхъ обаяній жизни! Отъ него содрогается человѣческая природа, стынетъ кровь въ жилахъ, и прежній свѣтлый образъ жизни представляется отвратительнымъ скелетомъ, который душитъ насъ въ своихъ костяныхъ объятіяхъ, улыбается своими костяными челюстями и прижимается къ устамъ нашимъ! Это не минута духовной дисгармоніи, сердечнаго отчаянія: это похоронная пѣсня всей жизни! Кому не знакомо по опыту состояніе духа, выраженное въ ней, въ чьей натурѣ не скрывается возможность ея страшныхъ диссонансовъ,—тѣ, конечно, увидятъ въ ней не больше, какъ маленькую піеску грустнаго содержанія, и будутъ правы; но тотъ, кто не разъ слышалъ внутри себя ея могильный

напѣвъ, а въ ней увидѣлъ только художественное выраженіе давно знакомаго ему ужаснаго чувства, тотъ припишетъ ей слишкомъ глубокое значеніе, слишкомъ высокую цѣну, дастъ ей почетное мѣсто между величайшими созданіями поэзіи, которыя когда-либо, подобно свѣточамъ Эвменидъ, освѣщали бездонныя пропасти человѣческаго духа... И какая простота въ выраженіи, какая естественность, свобода въ стихѣ! такъ и чувствуешь, что вся піеса мгновенно излилась на бумагу сама собою, какъ потокъ слезъ, давно уже накипѣвшихъ, какъ струя горячей крови изъ раны, съ которой вдругъ сорвана перевязка...

Вспомните «Героя Нашего Времени», вспомните Печорина—этого страннаго человѣка, который, съ одной стороны, томится жизнію, презираетъ и ее и самого себя, не вѣритъ ни въ нее, ни въ самого тебя, носить въ себѣ какую-то бездонную пропасть желаній и страстей, ничѣмъ ненасытимыхъ, а съ другой—гонится за жизнію, жадно ловить ея впечатлѣнія, безумно упивается ея обаяніями; вспомните его любовь къ Бѣлѣ, къ Вѣрѣ, къ княжнѣ Мери, и потомъ поймите эти стихи:

Любить... но кого же?... на время—не стоитъ труда:

А вѣчно любить невозможно?

Да невозможно! Но зачѣмъ же эта безумная жажда любви, къ чему эти гордые идеалы вѣчной любви, которыми мы встречаемъ нашу юность, эта гордая вѣра въ неизмѣнимость чувства и его дѣйствительность?... Мы знаемъ одну піесу, которой содержаніе высказываетъ тайный недугъ нашего времени, а которая за нѣсколько лѣтъ передъ симъ казалась бы даже бессмысленною, а теперь для многихъ слишкомъ много-значительна. Вотъ она:

Я не люблю тебя: мнѣ суждено судьбою

Не полюбивши разлюбить;

Я не люблю тебя: больной моею душою,

Я никогда не буду здѣсь любить.
 О не кляни меня! Я обманулъ природу,
 Тебя, себя, когда, въ волшебный мигъ,
 Я сердце праздное и бѣдную свободу
 Повергъ въ слезахъ у милыхъ ногъ твоихъ.
 Я не люблю тебя, но, полюбя другую,
 Я презиралъ бы горько самъ себя;
 И, какъ безумный, я и плачу и тоскую,
 И все о томъ, что не люблю тебя!...

Неужели прежде этого не бывало? Или, можетъ-быть, прежде этому не придавали большой важности: пока любилось—любили; разлюбилось—не тужили; даже соединясь какъ бы по страсти тѣми узами, которыя навсегда рѣшаютъ участь двухъ существъ, и потомъ увидѣвъ, что ошиблись въ своемъ чувствѣ, что не созданы одинъ для другаго, вмѣсто того, чтобъ приходить въ отчаяніе отъ страшныхъ цѣпей, предавались лѣнивой привычкѣ, свыкались и равнодушно изъ сферы гордыхъ идеаловъ, полноты чувства, переходили въ мирное и почтенное состояніе пошлой жизни?... Вѣдь у всякой эпохи свой характеръ?... Можетъ-быть, люди нашего времени слишкомъ многого требуютъ отъ жизни, слишкомъ необузданно предаются обаяніямъ фантазіи, такъ что, послѣ ихъ роскошныхъ мечтаній, дѣйствительность кажется имъ уже слишкомъ безцвѣтною, блѣдною, холодною и пустою?... Можетъ-быть, люди нашего времени слишкомъ серьезно смотрятъ на жизнь, даютъ слишкомъ большое значеніе чувству?... Можетъ-быть, жизнь представляется имъ какимъ-то высокимъ служеніемъ, священнымъ таинствомъ, и они лучше хотятъ совѣмъ не жить, нежели жить, какъ живется?... Можетъ-быть, они слишкомъ прямо смотрятъ на вещи, слишкомъ добросовѣстны и точны въ названіи вещей, слишкомъ откровенны насчетъ самихъ себя: протяжно зѣвая, не хотятъ называть себя энтузіастами, и ни другихъ ни самихъ себя не хотятъ обманывать ложными чув-

ствами, и становиться на ходули?... Можетъ-быть, они слишкомъ совѣстливы и честны въ отношеніи къ участи другихъ людей, и, обѣщавъ другому существу любовь и блаженство, думаютъ, что непременно должны дать ему то и другое, а не видя возможности исполнить это, предаются тоскѣ и отчаянію?... Или можетъ-быть, лишенные сочувствія съ обществомъ, сжатые его холодными условіями, они видятъ, что не въ пользу имъ щедрые дары богатой природы, глубокаго духа, и представляютъ собою младенца въ англійской болѣзни?... Можетъ быть — чего не можетъ быть!...

«И' скучно и грустно» изъ всѣхъ піесъ Лермонтова обратила на себя особую непріязнь стараго поколѣнія. Странные люди! имъ все кажется, что поэзія должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тѣшить побрякушками, а не гремѣть правдою! Имъ все кажется, что люди — дѣти, которыхъ можно заговорить прибаутками, или утѣшать сказочками! Они не хотятъ понять, что если кто кое-что знаетъ, тотъ смѣется надъ увѣреніями и поэта и моралиста, зная, что они сами имъ не вѣрятъ. Такія правдивыя представленія того, что есть, кажутся нашимъ чудакамъ безнравственными. Питомцы Бульи и Жан-Лисъ, они думаютъ, что истина сама по себѣ не есть высочайшая нравственность... Но вотъ самое лучшее доказательство ихъ дѣтскаго заблужденія: изъ того же самаго духа поэта, изъ котораго вышли такіе безотрадные, леденящіе сердце человеческое звуки, изъ того же самаго духа вышло и стихотвореніе «Въ минуту жизни трудную» — эта молитвенная, елейная мелодія надежды, примиренія и блаженства въ жизни жизнию.

Другую сторону духа нашего поэта представляетъ его превосходное стихотвореніе «Памяти А. И. О — го»: это сладостная мелодія какихъ-то глубокихъ, но тихихъ думъ, чувства сильного, но цѣломудреннаго, замкнутаго въ самомъ себѣ... Есть

въ этомъ стихотвореніи что-то кроткое, задушевное, отрадно-успокоивающее душу... И какою грандіозною, гармонизирующею съ тономъ цѣлаго картиною заключается это стихотвореніе: вотъ истинно безконечное и въ мысли и въ выраженіи; вотъ то, что въ эстетикѣ должно разумѣть подъ именемъ высокаго (sublime)...

Не выписываемъ чудной «Молитвы» (стр. 43), въ которой поэтъ поручаетъ Матери Божіей, «теплой заступницѣ холоднаго міра», невинную дѣву. Кто бы ни была эта дѣва—возлюбленная ли сердца, или милая сестра — не въ томъ дѣло; но сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько нѣжности безъ всякой приторности; какое благоуханное, теплое, женственное чувство! Все это трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка; но въ духѣ мощномъ и гордомъ, въ натурѣ львиной—все это больше, чѣмъ умирительно... Изъ какихъ богатыхъ элементовъ составлена поэзія этого человѣка, какими разнообразными мотивами и звуками гремѣть и льются ея гармонія и мелодія! Вотъ піеса, означенная рубрикою «1-е Января»: читая ее, мы опять входимъ въ совершенно новый міръ, хотя и застаёмъ въ ней все ту же думу, то же сердце, словомъ — ту же личность, какъ и въ прежнихъ. Поэтъ говоритъ, какъ часто, при шумѣ нестрой толпы, среди мелькающихъ вокругъ него бездушныхъ лицъ — «стянутыхъ приличьемъ масокъ», когда холодныхъ рукъ его съ небрежною смѣлостью касаются «давно безтрепетныя» руки модныхъ красавицъ, какъ часто воскресаютъ въ немъ старинныя мечты, святыя звуки погибшихъ лѣтъ...

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родина все нѣста: высокій барскій домъ

И садъ съ разрушенной теплицей;
Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ.

А за прудомъ село дымится—и встаютъ

Вдали туманы надъ полями.

Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листья
Шумятъ подъ робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такія картины въ этомъ родѣ!
Когда же, говоритъ онъ; шумъ людской толпы «спугнетъ мою
мечту»,

О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзныи стихи,
Облитый горечью и злостью!...

Еслибы не всѣ стихотворенія Лермонтова были одинаково
лучшія, то это мы назвали бы однимъ изъ лучшихъ.

«Журналистъ, Читатель и Писатель» напоминаетъ и идею,
и формою, и художественнымъ достоинствомъ «Разговоръ кни-
гопродавца съ поэтомъ» Пушкина. Разговорный языкъ этой
піесы — верхъ совершенства; рѣзкость сужденій, тонкая и
ядкая насмѣшка, оригинальность и поразительная вѣрность
взглядовъ и замѣчаній — изумительны. Исповѣдь поэта, кото-
рою оканчивается піеса, блеститъ слезами, горитъ чувствомъ.
Личность поэта является въ этой исповѣди въ высшей степе-
ни благородною.

«Ребенку» — это маленькое лирическое стихотвореніе за-
ключаетъ въ себѣ цѣлую повѣсть, высказанную намѣками, но
тѣмъ не менѣе понятную. О, какъ глубоко поучительна эта
повѣсть, какъ сильно потрясаетъ она душу!... Въ ней глухія
рыданія обманутой любви, стоны исходящаго кровію сердца,
жестокія проклятія, а потомъ, можетъ-быть, и благословеніе
смирѣннаго испытаніемъ сердца женщины... Какъ я люблю
тебя, прекрасное дитя! Говорятъ, ты похожъ на нее, и хоть
страданія измѣнили ее прежде времени, но ея образъ въ моемъ
сердцѣ...

.... А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебѣ непрощенныя ласки?

Не слишкомъ часто ль я твои цѣлюю глазки?
 Слеза моихъ ланитъ твоихъ не обожгла ль?
 Смотри жъ, не говори ни про мою печаль,
 Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ее, быть-можетъ,
 Ребическій разсказъ разсердить, или встревожить...
 Но ты мнѣ все повѣрь. Когда въ вечерній часъ,
 Предъ образомъ съ тобой заботливо склонясь,
 Молитву дѣтскую она тебѣ шептала
 И въ знаменье креста персты твои сжимала,
 И всѣ знакомыя, родныя имена
 Ты повторялъ за ней, — скажи: тебя она
 Ни за кого еще молиться не учила?
 Блѣднѣя, можетъ-быть, она произносила
 Названіе, теперь забытое тобой...
 Не вспоминай его... Что имя? — Звукъ пустой!
 Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной.
 Но если, какъ-нибудь, когда-нибудь случайно
 Узнаешь ты его, — ребическіе дни
 Ты вспомни, и его, дитя, не проклинай!

Отчего же тутъ нѣтъ раскаянія? — спросятъ моралисты. Надѣньте очки, господа, и вы увидите, что герой піесы спрашиваетъ дитя — не учила ли она его молиться еще за кого-то, не произносила ли, блѣднѣя, теперь забытаго имъ имени?... Онъ проситъ ребенка не проклинать этого имени, если узнаетъ о немъ. Вотъ истинное торжество нравственности!

Поэтическая мысль можетъ иногда родиться и вслѣдствіе какого-нибудь изъ тѣхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ складывается наша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное, какъ случай дѣйствительности въ возможности, и потому въ поэзіи не имѣетъ никакого мѣста вопросъ: «было ли это?»; но она всегда должна положительно отвѣчать на вопросъ: «возможно ли это, можетъ ли это быть въ дѣйствительности?» Самое обстоятельство можетъ только, такъ сказать, натолкнуть поэта на поэтическую идею, и будучи выражено имъ въ стихотвореніи, является уже совсѣмъ другимъ, новымъ и небывалымъ, но могущимъ быть. Потому, чѣмъ выше

талантъ поэта, тѣмъ больше находимъ мы въ его произведеніяхъ примѣненій и къ собственной нашей жизни, и къ жизни другихъ людей. Мало этого: въ неиспытанныхъ нами обстоятельствахъ мы узнаёмъ какъ будто коротко знакомое намъ по опыту,—и тогда понимаемъ, почему поэзія, выражая частное, есть выраженіе общаго. Прочтете «Сосѣда» Лермонтова—и хотя бы вы никогда не были въ подобномъ обстоятельствѣ, но вамъ покажется, что вы когда-то были въ заключеніи, любили незримаго сосѣда, отдѣленнаго отъ васъ стѣною, прислушивались и къ мѣрному звуку шаговъ его, и къ унылой пѣсни его, и говорили къ нему про себя:

Я слушаю—и въ мрачной тишинѣ
Твои напѣвы раздаются...
О чемъ они—не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой.
Какъ слезы, тихо льются, льются...
И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь
Въ груди моей все оживаетъ вновь,
И мысли далеко несутся,
И полонъ умъ желаній и страстей,
И кровь кипитъ—и слезы изъ очей,
Какъ звуки другъ за другомъ льются...

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крѣпкой, эти унылые, мелодическіе звуки, льющіеся другъ за другомъ, какъ слеза за слезою; эти слезы льющіяся одна за другою, какъ звукъ за звукомъ,—сколько въ нихъ таинственнаго, невыговариваемаго, но такъ ясно понятнаго сердцу! Здѣсь поэзія становится музыкою: здѣсь обстоятельство является, какъ въ оперѣ, только поводомъ къ звукамъ, намекомъ на ихъ таинственное значеніе; здѣсь отъ случая жизни отнята вся его матеріальная, внѣшняя сторона, и извлеченъ изъ него одинъ чистый эфиръ, солнечный лучъ свѣта, въ возможности скрывавшійся въ немъ... Выраженное въ этой піесѣ обстоятельство

можетъ быть фактомъ, но сама піеса относится къ этому факту — какъ относится къ натуральной розѣ поэтическая роза, въ которой нѣтъ грубаго вещества, составляющаго натуральную розу, но въ которой только нѣжный румянецъ и кроткое ароматическое дыханіе натуральной розы...

Гармонически и благоуханно высказывается дума поэта въ піесахъ: «Когда волнуется желтѣющая нива», «Разстались мы, но твой портретъ», и «Отчего», — и грустно, болѣзненно въ піесѣ «Благодарность». Не можемъ не остановиться на двухъ послѣднихъ. Онѣ коротки, повидимому лишены общаго значенія и не заключаютъ въ себѣ никакой идеи; но, Боже мой! какую длинную и грустную повѣсть содержитъ въ себѣ каждое изъ нихъ! какъ онѣ глубоко знаменательны, какъ полны мыслию!

Мнѣ грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цвѣтущую твою
Не пощадишь молвы коварное гоненье.
За каждый свѣтлый день, изъ сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбѣ.
Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.

Это вздохъ музыки, это мелодія грусти, это кроткое страданіе любви, послѣдняя дань нѣжно и глубоко любимому предмету отъ растерзаннаго и смирѣннаго бурей судьбы сердца!... И, какая удивительная простота въ стихѣ! Здѣсь говоритъ одно чувство, которое такъ полно, что не требуетъ поэтическихъ образовъ для своего выраженія; ему не нужно убранства, не нужно украшеній, оно говоритъ само за себя, оно вводитъ въ сказалося бы и прозою...

За все, за все тебя благодарю я:
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За мечь враговъ и клевету друзей;
За жаръ души, растратенный въ пустынь, —
За все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ...

Устрой лишь такъ, чтобы тебя отыгнѣ
Недолго я еще благодарилъ...

Какая мысль скрывается въ этой грустной «благодарности», въ этомъ сарказмѣ обманутаго чувствомъ и жизнію сердца? Все хорошо: и тайныя мученія страстей, и горечь слезъ, и всѣ обманы жизни; но еще лучше, когда ихъ нѣтъ, хотя безъ нихъ и нѣтъ ничего, что просить душа, чѣмъ живетъ она, что нужно ей, какъ масло для лампы!... Это утомленіе чувствомъ; сердце просить покоя и отдыха, хотя и не можетъ жить безъ волненія и движенія... Въ pendant къ этой піесѣ можетъ идти новое стихотвореніе Лермонтова, «Завѣщаніе»: это похоронная пѣснь жизни и всѣмъ ея обольщеніямъ, тѣмъ болѣе ужасная, что ея голосъ не глухой и не громкій, а холодно спокойный; выраженіе не горитъ и не сверкаетъ образами, но небрежно и прозаично... Мысль этой піесы: и худое и хорошее — все равно; сдѣлать лучше не въ нашей волѣ, и потому пусть идетъ себѣ какъ оно хочетъ... Это ужъ даже и не сарказмъ, не иронія, и не жалоба: не на что сердиться, не на что жаловаться,—все равно! Отца и мать жаль огорчить... Возлѣ нихъ есть сосѣдка — она не спроситъ о немъ, но не чего жалѣть пустаго сердца—пусть поплачетъ: вѣдь это ей ни почемъ! Страшно!... Но поэзія есть сама дѣйствительность, и потому она должна быть неумолима и безпощадна, гдѣ дѣло идетъ о томъ, что есть или что бываетъ... А человѣку необходимо должно перейти и черезъ это состояніе духа. Въ музыкѣ, гармонія условливается диссонансомъ, въ духѣ—блаженство условливается страданіемъ, избытокъ чувства сухостію чувства, любовь ненавистію, сильная жизненность отсутствіемъ жизни: это такія крайности, которыя всегда живутъ вмѣстѣ, въ одномъ сердцѣ. Кто не печалился и не плакалъ, тотъ и не возрадуется, кто не болѣлъ, тотъ и не выздоровѣетъ, кто не умиралъ за-живо, тотъ и не возстанетъ...

Жалѣйте поэта, или лучше, самихъ себя: ибо показавъ вамъ раны своей души, онъ показалъ вамъ ваши собственные раны; но не отчаивайтесь ни за поэта, ни за человѣка: въ томъ и другомъ бурю смѣняетъ ведро, безотрадность — надежда...

Два перевода изъ Байрона, — «Еврейская мелодія» и «Въ Альбомъ», тоже выражаютъ внутренній міръ души поэта. Это боль сердца, тяжкіе вздохи груди; это надгробныя надписи на памятникахъ погибшихъ радостей...

«Вѣтка Палестины» и «Тучи» составляютъ переходъ отъ субъективныхъ стихотвореній нашего поэта къ чисто-художественнымъ. Въ обѣихъ піесахъ видна еще личность поэта, но въ то же время видѣнъ уже и выходъ его изъ внутреннего міра своей души въ созерцаніе «полнаго славы творенья». Первая изъ нихъ дышетъ благодатнымъ спокойствіемъ сердца, теплою молитвы, кроткимъ вѣяніемъ святыни. О самой этой піесѣ можно сказать то же, что говорится въ ней о вѣткѣ Палестины:

Заботой тайною хранима,
Передъ иконою золотой,
Стояшь ты, вѣтвь Іерусалима,
Святыни вѣрный часовой!
Прозрачный сумракъ, лучъ лампы
Кивотъ и крестъ, символъ святой...
Все полно мира и отрады
Вокругъ тебя и надъ тобой...

Вторая піеса «Тучи» полна какого-то отраднаго чувства выздоровленія и надежды, и плѣняетъ роскошью поэтическихъ образовъ, какимъ-то избыткомъ умиленнаго чувства.

«Русалкою» начнемъ мы рядъ чисто-художественныхъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ личность поэта исчезаетъ за роскошными видѣніями явленій жизни. Эта піеса покрыта фантастическимъ колоритомъ, и по роскоши картинъ, богатству поэтическихъ образовъ, художественности отдѣлки,

составляет собою одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ русской поэзіи. «Три Пальмы» дышатъ знойною природою Востока, переносятъ насъ на песчаныя пустыни Аравіи, на ея цвѣтущіе оазисы. Мысль поэта ярко выдается, — и онъ поступилъ съ нею какъ истинный поэтъ, не заключивъ своей піесы нравственною сентенціею. Самая эта мысль могла быть опоэтизирована только своимъ восточнымъ колоритомъ и оправдана названіемъ «Восточное сказаніе»; иначе она была бы дѣтскою мыслию. Пластицизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ красокъ — сливаются въ этой піесѣ поэзію съ живописью: это картина Брюлова, смотря на которую, хочешь еще и осязать ее.

«Дары Терека» есть поэтическая апопееза Кавказа. Только роскошная, живая фантазія Грековъ умѣла такъ олицетворять природу, давать образъ и личность ея нѣмымъ и разбросаннымъ явленіямъ. Нѣтъ возможности выписывать стиховъ изъ этой дивно-художественной піесы, этого роскошнаго видѣнія богатой, радужной, исполинской фантазіи; иначе пришлось бы переписать все стихотвореніе. Терекъ и Каспій олицетворяютъ собою Кавказъ, какъ самыя характеристическія его явленія. Терекъ сулитъ Каспію дорогой подарокъ: но сладострастно-линивый сибаритъ моря, покоясь въ мягкихъ берегахъ, не внемлетъ ему, не обольщаясь ни стадомъ валуновъ, ни трупомъ удалаго Кабардинца; но когда Терекъ сулитъ ему сокровенный даръ — безцѣннѣе всѣхъ даровъ вселенной, и когда

... Надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,
Голова съ косою размытой,
Колыхая всплыла,—
И старикъ во блескъ власти
Всталъ могучій какъ гроза,
И одѣлся влагой страсти
Темносиніе глаза.
Онъ разыгралъ, веселья полный—

И въ объятіа свои
Набѣгающія волны
Принялъ съ ропотомъ любви...

Мы не назовемъ Лермонтова ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ; но не думаемъ сдѣлать ему гиперболической похвалы, сказавъ, что такіа стихотворенія, какъ «Русалка», «Три Пальмы», и «Дары Терека» можно находить только у такихъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте и Пушкинъ...

Не менѣе превосходна «Казачья колыбельная пѣсня». Ея идея — мать; но поэтъ умѣлъ дать индивидуальное значеніе этой общей идеѣ: его мать — казачка, и потому содержаніе ея колыбельной пѣсни выражаетъ собою особенности и оттѣнки казачьяго быта. Это стихотвореніе есть художественная апофеоза матери: все, что есть святаго, беззащитнаго въ любви матери, весь трепетъ, вся нѣга, вся страсть, вся безконечность кроткой нѣжности, безграничность безкорыстной преданности какою дышетъ любовь матери, — все это воспроизведено поэтомъ во всей полнотѣ. Гдѣ, откуда взялъ поэтъ эти простодушныя слова, эту умилительную нѣжность тона, эти кроткіе и задумчивые звуки, эту женственность и прелесть выраженія? Онъ видѣлъ Кавказъ, — и намъ понятна вѣрность его картинъ Кавказа: онъ не видалъ Аравіи, и ничего, что могло бы дать ему понятіе объ этой странѣ палящаго солнца, песчаныхъ степей, зеленыхъ пальмъ и прохладныхъ источниковъ, но онъ читалъ ихъ описанія: какъ же онъ такъ глубоко могъ проникнуть въ тайны женскаго и материнскаго чувства?

«Воздушный Корабль» не есть собственно переводъ изъ Зейдлица: Лермонтовъ взялъ у нѣмецкаго поэта только идею, но обработалъ ее по своему. Эта піеса, по своей художественности, достойна великой тѣни, которой колоссальный обликъ такъ грандіозно представленъ въ ней. — Какое тихое успокоительное чувство ночи послѣ звонкаго дня вѣетъ въ стихот-

вореніи «Горныя вершины» въ этой маленькой піесѣ Гёте, такъ граціозно переданной нашимъ поэтомъ.

Теперь намъ остается разобрать поэму Лермонтова «Мцыри». Плѣнный мальчикъ Черкесъ воспитанъ былъ въ грузинскомъ монастырѣ; выросши, онъ хочетъ сдѣлаться, или его хотятъ сдѣлать монахомъ. Разъ была страшная буря, во время которой Черкесъ скрылся. Три дня пропадалъ онъ, а на четвертый былъ найденъ въ степи, близъ обители, слабый, больной, и умирающій перенесенъ снова въ монастырь. Почти вся поэма состоитъ изъ исповѣди о томъ, что было съ нимъ въ эти три дня. Давно манилъ его къ себѣ призракъ родины, темно носившійся въ душѣ его, какъ воспоминаніе дѣтства. Онъ захотѣлъ видѣть Божій міръ—и ушелъ.

Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля,
Узнать, прекрасна ли земля,—
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда, гроза пугала васъ,
Когда, столпаясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
Я убѣжалъ. О! я, какъ братъ,
Обняться съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукою молнію ловилъ...
Скажи мнѣ, что́ средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ въ замѣнъ
Той дружбы краткой, но живой
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

Уже изъ этихъ словъ вы видите, что за огненная душа, что за могучій духъ, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеалъ нашего поэта, это отраженіе въ поэзіи тѣни его собственной личности. Во всемъ, что ни говоритъ мцыри, въѣтъ его собственнымъ духомъ, поражаетъ его собственной мощью. Это произведеніе субъективное.

Мысль поэмы отзывается юношескою незрѣlostiю, и если она дала возможность поэту рассыпать передъ вашими глазами такое богатство самоцвѣтныхъ камней поэзи, — то не сама собою, а точно какъ странное содержаніе инаго посредственнаго либретто даетъ геніальному композитору возможность создать превосходную оперу. Недавно, кто-то, резонёрствуя въ газетной статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова, назвалъ его «Пѣсню про царя Ивана Ваицльевича, удалова опричника и молодова купца Калашникова» произведеніемъ дѣтскимъ, а «Мцыри» — произведеніемъ зрѣлымъ; глубокомысленный критиканъ, разсчитывая по пальцамъ время появленія той и другой поэмы, очень остроумно сообразилъ, что авторъ былъ тремя годами старше, когда написалъ «Мцыри», и изъ этого казуса весьма основательно вывелъ заключеніе: ergo «Мцыри» зрѣлѣе. Это очень понятно: у кого нѣтъ эстетическаго чувства, кому не говорить само за себя поэтическое произведеніе, тому остается гадать о немъ по пальцамъ, или соображаться съ метрическими книгами...

Но несмотря на незрѣlostь идеи и нѣкоторую натянутость въ содержаніи «Мцыри», — подробности и изложеніе этой поэмы изумляютъ своимъ исполненіемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, — что поэтъ бралъ цвѣты у радуги, лучи у солнца, блескъ у молніи, грохотъ у громовъ, гулъ у вѣтровъ, — что вся природа, сама несла и подавала ему матеріялы, когда писалъ онъ эту поэму... Кажется, будто поэтъ до того былъ отягощенъ обременительною полнотою внутренняго чувства, жизни и поэтическихъ образовъ, что готовъ былъ воспользоваться первою мелькнувшею мыслию, чтобъ только освободиться отъ нихъ, — и они хлынули изъ души его, какъ горящая лава изъ огнедышущей горы, какъ море дождя изъ тучи, мгновенно объявшей собою распаленный горизонтъ, какъ внезапно прорвавшійся яростный потокъ, поглощающій окрестность на

далекое разстояніе своими сокрушительными волнами... Этотъ четырехстопный ямбъ съ одними мужескими окончаніями, какъ въ «Шильйонскомъ Узникѣ», звучитъ и отрывисто падаетъ, какъ ударъ меча, поражающаго свою жертву. Упругость, энергія и звучное, однообразное паденіе его удивительно гармонируютъ съ сосредоточеннымъ чувствомъ, несокрушимою силою могучей натуры и трагическимъ положеніемъ героя поэмы. А между тѣмъ, какое разнообразіе картинъ, образовъ и чувствъ! тутъ и бури духа, и умиленіе сердца, и вопли отчаянія, и тихія жалобы, и гордое ожесточеніе, и кроткая грусть, и мраки ночи, и торжественное величіе утра, и блескъ полудня, и таинственное обаяніе вечера!... Многія положенія изумляютъ своею вѣрностію: таково мѣсто, гдѣ мцыри описываетъ свое замираніе подлѣ монастыря, когда грудь его пылала предсмертнымъ огнемъ, когда надъ усталою головою уже вѣяли успокоительные сны смерти и носились ея фантастическія видѣнія. Картины природы обличаютъ кисть великаго мастера: онѣ дышутъ грандіозностію и роскошнымъ блескомъ фантастическаго Кавказа. Кавказъ взялъ полную дань съ музы нашего поэта... Странное дѣло! Кавказу какъ-будто суждено быть колыбелью нашихъ поэтическихъ талантовъ, вдохновителемъ и пѣстуномъ ихъ музы, поэтической ихъ родиною! Пушкинъ посвятилъ Кавказу одну изъ первыхъ своихъ поэмъ — «Кавказскаго Пѣтника», и одна изъ послѣднихъ его поэмъ — «Галубъ» тоже посвящена Кавказу; нѣсколько превосходныхъ лирическихъ стихотвореній его также относятся къ Кавказу. Грибоѣдовъ создалъ на Кавказѣ свое «Горе отъ Ума»: дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзія ея сыновъ вдохновила его оскорбленное человѣческое чувство на изображеніе апатическаго, ничтожнаго круга Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Загорѣцкихъ, Хлестовыхъ, Тугоуховскихъ, Репетиловыхъ, Молчалиныхъ — этихъ каррикатуръ на природу

человѣческую... И вотъ является новый великій талантъ— и Кавказъ дѣлается его поэтическою родиною, пламенно-любимою имъ; на недоступныхъ вершинахъ Кавказа, вѣчныхъ вѣчнымъ снѣгомъ, находитъ онъ свой Парнасъ; въ его свирѣ-помъ Терекѣ, въ его горныхъ потокахъ, въ его цѣлебныхъ источникахъ, находитъ онъ свой Кастаньскій ключъ, свою Ипокрену... Какъ жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, дѣйствіе которой совершается также на Кавказѣ, и которая въ рукописи ходитъ въ публикѣ, какъ нѣкогда ходило «Горе отъ Ума»: мы говоримъ о «Демонѣ». Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрѣлѣе, чѣмъ мысль «Мцыри», и хотя исполненіе ея отзывается нѣкоторою незрѣlostію; но роскошь картинъ, богатство поэтического одушевленія, превосходные стихи, высотность мыслей, обаятельная прелесть образовъ, ставятъ ее несравненно выше «Мцыри» и превосходить все, что можно сказать въ ея похвалу. Это не художественное созданіе, въ строгомъ смыслѣ искусства; но оно обнаруживаетъ всю мощь таланта поэта и общается въ будущемъ великія художественныя созданія.

Говоря вообще о поэзіи Лермонтова, мы должны замѣтить въ ней одинъ недостатокъ: это иногда не ясность образовъ и неточность въ выраженіи. Такъ, на примѣръ, въ «Дарахъ-Терека», гдѣ «сердитый потокъ» описываетъ Каспію красоту убитой казачки, очень неопредѣленно намекнуто и на причину ея смерти, и на ея отношенія къ гребенскому казаку:

По красотѣ-молодцѣ
Не тоскуетъ надъ рѣкой
Лишь одинъ во всей станицѣ
Казачина гребенской.
Осѣдлалъ онъ воронаго,
И въ горахъ, въ ночномъ бою,
На кинжалъ Чеченца злаго
Сломить голову свою.

Здѣсь на догадку читателя оставляется три случая, равно возможные: или, что Чеченецъ убилъ казачку, а казакъ обрекъ себя мщенію за смерть своей любезной; или что самъ казакъ убилъ ее изъ ревности и ищетъ себѣ смерти, или что онъ еще не знаетъ о гибели своей возлюбленной, и потому не тужитъ о ней, готовясь въ бой. Такая неопредѣленность вредитъ художественности, которая именно въ томъ и состоитъ, что говорить образами опредѣленными, выпуклыми, рельефными, вполнѣ выражающими заключенную въ нихъ мысль. Можно найти въ книжкѣ Лермонтова пять-шесть неточныхъ выраженій, подобныхъ тому, которыми оканчивается его превосходная піеса «Позгъ»:

Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?
Иль никогда, на голосъ мщенья,
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной презрѣнья.

«Ржавчина презрѣнья» — выраженіе неточное и слишкомъ сбивающееся на аллегорію. Каждое слово въ поэтическомъ произведеніи должно до того изчерпывать все значеніе требуемаго мыслию цѣлаго произведенія, чтобъ видно было, что нѣтъ въ языкѣ другаго слова, которое тутъ могло бы замѣнить его. Пушкинъ, и въ этомъ отношеніи, величайшій образецъ: во всѣхъ томахъ его произведеній едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь неточное или изысканное выраженіе, даже слово... Но мы говоримъ не больше, какъ о пяти или шести пятнышкахъ въ книгѣ Лермонтова: все остальное въ ней удивляетъ силою и тонкостію художественнаго такта, полномостнымъ обладаніемъ совершенно покореннаго языка, истинно Пушкинскою точностію выраженія.

Бросая общій взглядъ на стихотворенія Лермонтова, мы видимъ въ нихъ всѣ силы, всѣ элементы, изъ которыхъ складается жизнь и поэзія. Въ этой глубокой натурѣ, въ этомъ

могущимъ духъ все живетъ; имъ все доступно, все понятно; они на все откликаются. Онъ всевластный обладатель царства явленій жизни, онъ воспроизводитъ ихъ какъ истинный художникъ; онъ поэтъ русскій въ душѣ — въ немъ живетъ прошедшее настоящее русской жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутреннимъ міромъ души. Несокрушимая сила и мощь духа, смиреніе жалобъ, елейное благоуханіе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордаго страданія, стоны отчаянія, таинственная нѣжность чувства, неукротимые порывы дерзкихъ желаній, цѣломудренная чистота, недуги современнаго общества, картины міровой жизни, хмѣльные обаянія жизни, укоры совѣсти, умиленное раскаяніе, рыданія страсти и тихія слезы, какъ звукъ за звукомъ, льющіеся въ полнотѣ умирѣннаго бурею жизни сердца, упоеніе любви, трепетъ разлуки, радость свиданія, чувство матери, презрѣніе къ прозѣ жизни, безумная жажда восторговъ, полнота упивающагося роскошью бытія духа, пламенная вѣра, мука душевной пустоты, стонъ отвращающагося самого себя чувства замершей жизни, ядъ отрицанія, холодъ сомнѣнія, борьба полноты чувства съ разрушающею силою рефлексіи, падшій духъ неба, гордый демонъ и невинный младенецъ, буйная вакханка и чистая дѣва — все, все въ поэзіи Лермонтова: и небо и земля, и рай и адъ... По глубинѣ мысли, роскоши поэтическихъ образовъ, увлекательной, неотразимой силѣ поэтическаго обаянія, полнотѣ жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненнымъ фонтаномъ, его созданія напоминаютъ собою созданія великихъ поэтовъ. Его поприще еще только начато, и уже какъ много имъ сдѣлано, какое неисчислимое богатство элементовъ обнаружено имъ: чего же должно ожидать отъ него въ будущемъ?... Пока еще ни назовемъ мы его ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ, и не скажемъ, чтобъ изъ него современнымъ вышелъ Байронъ,

Гёте, или Пушкинъ: ибо мы убѣждены, что изъ него выйдетъ ни тотъ, ни другой, ни третій, а выйдетъ — Лермонтовъ... Знаемъ, что наши похвалы покажутся большинству публики преувеличенными; но мы уже обрекли себя тяжелой роли говорить рѣзко и опредѣленно то, чему сначала никто не вѣритъ, но въ чемъ скоро всѣ убѣждаются, забывая того, кто первый выговорилъ сознаніе общества и на кого оно за это смотрѣло съ насмѣшкою и неудовольствіемъ... Для толпы нѣтъ и безмолвно свидѣтельство духа, которымъ запечатлѣны созданія вновь явившагося таланта: она составляетъ свое сужденіе не по самымъ этимъ созданіямъ, а по тому, что о нихъ говорятъ сперва люди почтенные, литературы заслуженные, а потомъ, что говорятъ о нихъ всѣ. Даже, восхищаясь произведеніями молодого поэта, толпа косо смотритъ, когда его сравниваютъ съ именами, которыхъ значенія она не понимаетъ, но къ которымъ она прислушалась, которыхъ привыкла уважать на слово... Для толпы не существуютъ убѣжденія истины: она вѣритъ только авторитетамъ, а не собственному чувству и разуму — и хорошо дѣлаетъ... Чтобы преклониться передъ поэтомъ, ей надо сперва прислушаться къ его имени, привыкнуть къ нему, и забыть множество ничтожныхъ именъ, которыя на минуту похищали ея безсмысленное удивленіе. Profani profani...

Какъ бы то ни было, но и въ толпѣ есть люди, которые высятся надъ нею: они поймутъ насъ. Они отличаютъ Лермонтова отъ какого-нибудь фразёра, который занимается стукотною звучныхъ словъ и богатыхъ рифмъ, который вздумаетъ почитать себя представителемъ національнаго духа потому только, что кричитъ о славѣ Россіи (несколько ненуждающейся въ этомъ) и вандальски смѣется надъ издыхающею, будто бы, Европою, дѣлая изъ героевъ ея исторіи что-то похожее на нѣмецкихъ студентовъ... Мы увѣрены, что и наше сужденіе

о Лермонтовѣ отличать они отъ тѣхъ производствъ въ «лучшіе писатели нашего времени, надъ сочиненіями которыхъ (будто-бы) примирились всѣ вкусы и даже всѣ литературныя партіи», такихъ писателей, которые дѣйствительно обнаруживаютъ замчателное дарованіе, но лучшими могутъ казаться только для малаго кружка читателей того журнала, въ каждой книжкѣ котораго печатають они по одной и даже по двѣ повѣсти... Мы увѣрены, что они поймутъ какъ должно и ропотъ стараго поколѣнія, которое, оставшись при вкусахъ и убѣжденіяхъ цвѣтущаго времени своей жизни, упорно принимаетъ неспособность свою сочувствовать новому и понимать его — за ничтожность всего новаго...

И мы видимъ уже начало истиннаго (не шуточнаго) примиренія всѣхъ вкусовъ и всѣхъ литературныхъ партій надъ сочиненіями Лермонтова, — и уже недалеко то время, когда имя его въ литературѣ сдѣлается народнымъ именемъ, и гармоническіе звуки его поэзіи будутъ слышимы въ повседневномъ разговорѣ толпы, между толками ея о житейскихъ заботахъ...

ДѢЯНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО, МУДРАГО ПРЕОБРАЗИТЕЛЯ РОССИИ, собранныя изъ достоверныхъ источниковъ и расположенныя по годамъ. Соч. Н. Н. Голицева. Изд. второе. Москва 1837—1840. Тома I—XIII.

ИСТОРИЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. Соч. Векіаміа Бернана. Пер. съ нѣмецкаго Егоръ Аладьинъ. Второе, сжатое (компактное) изданіе, исправленное и умноженное. Спб. 1840. Три тома.

О РОССИИ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АЛЕКСІЯ МИХАЙЛОВИЧА. Современное сочиненіе Григорья Кошмизина. Спб. 1840.

I.

Все народное ничто передъ человѣческимъ.
Главное дѣло быть людьми, а не Славянами.
Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для Русскихъ; и что Англичане или Нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ!

КАРАМЗИНЪ.

Мы Русскіе, безпрестанно упрекаемъ самихъ себя въ холодности ко всему родному, въ равнодушіи ко всему отечественному, русскому. Справедливо ли это? — И справедливо и нѣтъ! Справедливо, потому что это фактъ; несправедливо, потому что въ уразумѣніи этого факта принимаютъ слѣдствіе явленія за самое явленіе. Что такое любовь къ своему безъ любви къ общему? Что такое любовь къ родному и отечественному безъ любви къ обще-человѣческому? Развѣ Русскіе сами по себѣ, а человѣчество само по себѣ? Сохрани Богъ!... Только какіе-нибудь Китайцы особы и самостоятельны въ отношеніи къ человѣчеству; но потому-то они и представляютъ собою каррикатуру, пародію на человѣчество, и человѣчество отвращается отъ братства съ нами. Но и Китайцы еще не

примѣръ въ этомъ вопросѣ, потому что было время, когда и Китайцы были связаны съ человѣчествомъ, выразивъ собою первый моментъ его сознанія въ формѣ гражданского общества; этому и обязаны они своимъ дивнымъ государственнымъ устройствомъ, въ которомъ все опредѣлено и ничего не оставлено безъ сознанія, и которое теперь потому только смѣшно, что, лишенное движенія, представляетъ собою какъ-бы окаменѣвшее прошедшее, или египетскую мумію довременнаго общества. Нѣтъ, здѣсь въ примѣръ идутъ развѣ какіе-нибудь Якуты, Буряты, Камчадалы, Калмыки, Черкесы, Негры, которые, дѣйствительно, ничего общаго съ человѣчествомъ не имѣли, которыхъ человѣчество не признаетъ живою, кровною частію самого себя, и для которыхъ, можетъ быть, есть только будущее . . . И такъ, развѣ Петръ Великій—только потому великъ, что онъ былъ Русскій, а не потому, что онъ былъ также человѣкъ, и что онъ болѣе нежели кто-нибудь имѣлъ право сказать о самомъ себѣ: я человѣкъ—и ничто человѣческое не чуждо мнѣ? Развѣ мы можемъ сказать о себѣ, что любимъ Петра и гордимся имъ, если мы не любимъ Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, Наполеона, Густава Адольфа, Фридриха Великаго и другихъ представителей человѣчества? Что онъ къ намъ ближе всѣхъ другихъ, что мы связаны съ нимъ болѣе родственными, болѣе такъ сказать кровными узами—объ этомъ нѣтъ и спора, это истина святая несомнѣнная; но все-таки мы любимъ и боготворимъ въ Петрѣ не то, что должно или можетъ принадлежать только собственно Русскому, но то общее, что можетъ и должно принадлежать всякому человѣку, не по праву народному, а по праву природы человеческой. Геній, въ смыслѣ превосходныхъ способностей и силъ духа, можетъ явиться вездѣ, даже у дикихъ племенъ, живущихъ внѣ человѣчества; но великій человѣкъ можетъ явиться только или у народа, уже принадлежащаго къ семейству человѣчества,

въ историческомъ значеніи этого слова, или у такого народа, который міродержавными судьбами предназначено ему, какъ, наприимѣръ, Петру, ввести въ родственную связь съ чело-вѣчествомъ. И потому-то есть разница между великими людьми чело-вѣчества и геніями племенъ и такъ сказать заштатныхъ наро-довъ; есть великая разница между Александромъ Македон-скимъ, Юліемъ Цезаремъ, Карломъ Великимъ, Петромъ Великимъ, Наполеономъ—и между Атиллою, Чингисомъ, Та-мерланомъ: первые должны называться великими людьми, вто-рые—*les grands Kalmuks....*

Да! Мы холодны къ своему, равнодушны къ родному, но не потому, чтобъ холодность и равнодушіе лежали въ нашей на-турѣ, не потому, чтобъ они были какими-нибудь нашимъ не-дугомъ, а потому что мы еще холодны и равнодушны къ обще-му, къ міровому, которое заслонено отъ насъ личнымъ. Слово «интересъ» мы еще принимаемъ въ смыслъ «выгоды», а не жи-ваго и страстнаго сочувствія ко всему чело-вѣческому, въ вы-шемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова. Мы еще только начинаемъ соглашаться, что не худо иногда, передъ вистомъ, въ ожиданіи, пока подойдетъ четвертый, должен-ствующій дополнить партію,—поговорить и объ искусствѣ, и объ исторіи, и о Наполеонѣ, и о Шекспирѣ, словомъ — о «Байронѣ и о матеряхъ важныхъ»... Петръ Великій есть ве-личайшее явленіе не нашей только исторіи, но и исторіи всего чело-вѣчества; онъ божество, воззавшее насъ къ жизни, вду-нувшее душу живу въ колоссальное, но поверженное въ смертную дремоту тѣло древней Россіи: и что же? чѣмъ пока-зали мы свое неравнодушіе къ такому великому для насъ яв-ленію? Ничѣмъ, потому что громкія фразы, великолѣпныя риторическія восклицанія еще меньше, чѣмъ ничто. Любовь проявляется въ дѣлѣ: слѣдовательно, вопросъ въ томъ, что мы сдѣлали для того, чтобъ понять Петра Великаго, какъ

великое историческое явленіе. Собрали ли мы матеріалы для его исторіи? Нѣтъ! — Свѣрили ль, сличили ль между собою, повѣрили ль историческою критикою хотя извѣстные намъ факты? — Нѣтъ! Есть ли у насъ хоть какія-нибудь, сколько-нибудь заслуживающія вниманіе попытки изобразить въ стройной исторической картинѣ жизнь и дѣянія Великаго? — Доселѣ еще — нѣтъ! Правда, былъ у насъ одинъ, который могъ бы алмазнымъ перомъ своимъ, какъ на мѣди или мраморѣ, нетлѣнными чертами передать вѣчности дѣла и образъ Великаго; но преждевременная смерть вырвала волшебное перо изъ творческихъ рукъ и надолго лишила Россію надежды имѣть учено-художественную исторію творца ея будущаго величія и счастья... Изъ прежнихъ попытокъ сдѣлать что-нибудь для исторіи Петра Великаго, достоинъ величайшаго уваженія только безкорыстный и простодушный трудъ Голикова. Прекрасное, отрадное явленіе въ русской жизни этотъ Голиковъ! Полуграмотный курскій купецъ, выучившійся на желѣзные гроши читать и писать, чувствуетъ сильную потребность во чтобы то ни стало узнать исторію Петра Великаго. Недостатокъ въ средствахъ лишаетъ его возможности собирать матеріалы; однако онъ дѣлаетъ для этого всевозможныя пожертвованія, урывками отъ коммерческихъ занятій и житейскихъ заботъ, читаетъ онъ все, что попадаетъ ему подъ руку о Петрѣ, дѣлаетъ выписки, и такимъ образомъ полагаетъ начало своему труду, огромности котораго и самъ не предчувствуетъ. Вдругъ подпадаетъ онъ уголовному суду, лишается свободы и чести; но черезъ два съ половиною года освобождается изъ заключенія вслѣдствіе милостиваго манифеста, по случаю открытія въ Петербургѣ монумента Петру Великому. Изъ тюрьмы спѣшитъ онъ въ церковь, оттуда на Петровскую Площадь, и, въ священномъ изступленіи, упавъ на колѣни предъ статуею великаго, громко и всенародно клянетъ

ся достойно отблагодарить его за благодарѣніе. Съ тѣхъ поръ, каждая минута жизни его посвящена на совершеніе высокаго подвига. Тридцать томовъ остались памятникомъ его благороднаго рвенія, и въ безыскусственномъ, безпорядочномъ его разсказѣ нерѣдко замѣтно одушевленіе, достойное предмета, его возбудившаго; въ основѣ лежатъ безсознательное, но тѣмъ не менѣе вѣрное созерцаніе идеи, выраженной явленіемъ Петра Великаго. Явись Голиковъ у Англичанъ, Французовъ, Нѣмцевъ—не было бы конца толкамъ о немъ, не было бы счета его біографіямъ; гипсовыя изображенія его продавались бы вмѣстѣ съ статуйками Наполеона, Вольтера, Руссо, Франклина; портреты выставялись бы въ окнахъ эстампныхъ магазиновъ, видѣлись бы на площадяхъ и перекресткахъ.

И такъ, трудъ Голикова есть почти все, что сдѣлано нашею литературою для исторіи Петра Великаго. Карамзинъ еще далеко не дошелъ до нея, Пушкинъ смертію застигнутъ въ приготовительныхъ работахъ къ ней. Записные наши историческіе критики заняты вопросомъ «откуда пошла Русь»—отъ Балтійскаго, или отъ Чернаго Моря. Имъ какъ-будто и нужды нѣтъ, что рѣшеніе этого вопроса не дѣлаетъ ни яснѣе, ни занимательнѣе баснословнаго періода нашей исторіи. Норманы ли за-балтійскіе, или Татары за-понтійскіе — все равно: ибо если первые не внесли въ русскую жизнь европейскаго элемента, плодотворнаго зерна всемірно-историческаго развитія, не оставили по себѣ никакихъ слѣдовъ ни въ языкѣ, ни въ обычаяхъ, ни въ общественномъ устройствѣ, то стоить ли хлопотать о томъ, что Норманы, а не Казыки пришли княжить надъ Словены; если же это были Татары, то развѣ намъ легче будетъ, если мы узнаемъ, что они пришли къ намъ изъ-за Урала, а не изъ-за Дона, и вступили въ словенскую землю правою, а не лѣвою ногою?... Ломать голову надъ подобными вопросами, лишенными всякой существенной важности, кото-

рая дается факту только мыслию — все равно, что пускаться въ археологическія изысканія и писать цѣлыя томы о томъ, какого цвѣта были доспѣхи Святослава, и на которой щекѣ была родинка у Игоря. А между тѣмъ, этотъ первый и безплодный періодъ русской исторіи поглощаетъ, или, по крайней мѣрѣ, поглощаль всю дѣятельность большей части нашихъ ученыхъ изслѣдователей, которые и знать не хотятъ того, что имена Рюриковъ, Олеговъ, Игорей и подобныхъ имъ героевъ наводятъ скуку и грусть на мыслящую часть публики, и что русская исторія начинается съ возвышенія Москвы и централизаціи около нея удѣльныхъ княжествъ, т. е. съ Іоанна Калиты и Симеона Гордаго. Все что было до нихъ должно составить коротенькій разсказъ на нѣсколькихъ страничкахъ, въ родѣ введенія, разсказъ съ выраженіями въ родѣ слѣдующихъ: «лѣтописи говорятъ, но думать должно; вѣроятно; можетъ-быть; могли быть», и т. д. Подобное введеніе должно быть коротко, ибо что интереснаго въ подробномъ повѣствованіи о колыбельномъ существованіи хотя бы и великаго человѣка? И малые и великіе люди въ колыбели равно малы: спать, кричать, ѣдать, пьютъ. Даже и собственно исторія Московскаго Царства есть только введеніе, разумѣется, несравненно важнѣе перваго, — введеніе въ исторію Государства Русскаго, которое началось съ Петра. Въ этомъ введеніи встрѣчаются интересныя лица, сильныя и могучіе характеры, даже драматическія положенія цѣлаго народа; но все это имѣетъ чисто-человѣческій, а не историческій интересъ; все это такъ же интересно въ русской исторіи, какъ и въ исторіи всякаго другаго народа во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. Исторія есть фактическое жизненное развитіе общей (абсолютной) идеи въ формѣ политическихъ обществъ. Сущность исторіи составляетъ только одно разумно-необходимое, которое связано съ прошедшимъ, и въ настоящемъ заключаетъ свое будущее. Содержа-

ніе історіи єсть общее: судьбы человѣчества. Какъ історія народа не єсть історія милліоновъ отдѣльныхъ лицъ, его составляющихъ, но только історія нѣкотораго числа лицъ, въ которыхъ выразились духъ и судьбы народа,—точно такъ же и человѣчество не єсть собраніе народовъ всего земнаго шара, но только нѣсколькихъ народовъ, выражающихъ собою идею человѣчества. Мы уже намекнули, что и самый Китай имѣлъ всемірно-историческое значеніе, выразивъ собою первый моментъ общественности; но хотя Китайцы и теперь существуютъ, да еще въ числѣ, какъ говорятъ, чуть ли не ста милліоновъ головъ, однако они столько же принадлежать къ человѣчеству, сколько и милліоны рогатыхъ головъ ихъ многочисленныхъ стадъ. Индійцы, Египтяне, и особенно племена семитическія, Греки и Римляне, — каждый изъ этихъ народовъ былъ звѣномъ въ цѣпи развитія человѣчества, — былъ но теперь уже не єсть, ибо Индійцы и Египтяне теперь нѣчто въ родѣ окаменѣлостей, а Греки и Римляне исчезли совѣтъ съ лица земли, уступивъ родную почву другимъ племенамъ. Мухаммеданскій востокъ раскинулся пышнымъ, хотя и мгновеннымъ цвѣтомъ; но и этому онъ обязанъ былъ той односторонней истинѣ, которую выразилъ въ многосторонней лжи своей. Аравитяне имѣли вліяніе на самую Европу и тѣмъ придали мухаммеданству характеръ исторической необходимости, и спасли его отъ забвенія. Но когда односторонняя истина его содержанія сшиблась съ общею, міровою истиною христіанскаго европеизма, — онъ уступилъ, потомъ палъ, и теперь одряхлѣвшій и безжизненный трупъ Турціи держится только милостію европейскихъ державъ. Умершій Римъ завѣщалъ богатое наслѣдство своей жизни разрушившимъ его варварами: онъ далъ имъ христіанство, цивилизацію и законы. Съ тѣхъ поръ, человѣчество явилось въ лицѣ тевтонскаго племени, широкимъ потокомъ разливагося по Европѣ; все же осталь-

ное представляло собою явленіи случайныя, которыя возникали Богъ знаетъ откуда и какъ, и исчезали Богъ знаетъ гдѣ и какъ, подобно вѣтру въ степяхъ Аравіи... Атиаллы и Тамерланы основывали огромныя монархіи и грозили всему міру и Европѣ; но міръ и Европа остались, а грозные вонтели исчезли вмалѣ; вмѣстѣ съ ними исчезли и ихъ эфемерныя монархіи, возникшія и развившіяся не изнутри, подобно явленіямъ растительнаго и животнаго царствъ природы, а снаружи, чрезъ налипаніе, подобно минераламъ, не органически, а химически и механически. Случайно было ихъ явленіе, случайно было и ихъ паденіе: могущество отдѣльной отъ человѣчества личности воззвало ихъ къ бытію, а смерть этой личности возвратила ихъ въ прежнее ничтожество. Между тѣмъ, Европа росла, крѣпла и развивалась, выдержала ужасные напоры случайныхъ силъ, и въ существенныхъ стихіяхъ собственной жизни нашла разрѣшеніе противорѣчій этой жизни, а въ борьбѣ разумной необходимости съ случайностію открыла неизчерпаемый источникъ, богатое содержаніе неизживаемой жизни, — и только простодушное невѣжество, или жалкое суевѣріе и фанатизмъ могутъ видѣть послѣдніе дни и смертное томленіе Европы въ успѣхахъ ея цивилизаціи, въ торжествѣ человѣческаго разума. Въ какомъ смутномъ броженіи, въ какой свирѣпой борьбѣ элементовъ и силъ является исторія Европы среднихъ вѣковъ! Но въ этомъ хаосѣ немолчно раздается всемогущій глаголъ жизни, творческое «да будетъ»; духъ Божій носится во мракѣ надъ ярящимися волнами безпредѣльныхъ водъ... и вотъ почему, при всей пестротѣ, при всей яркости цвѣтовъ, при всемъ разнообразіи и смѣшеніи борющихся между собою элементовъ, исторія Европы представляетъ стройную и величественную картину разумныхъ и великихъ событій; взоръ мыслителя усматриваетъ въ формѣ этой многосложной картины единство діалектически развивающейся мысли.

Чтобъ лучше показать, какая разница между интереснымъ характеромъ народа, нежившаго жизнью человѣчества, и интереснымъ характеромъ всемірно-историческаго народа, сравнимъ Іоанна Грознаго и Лудовика XI. Оба они — характеры сильные и могучіе, оба ужасны своими дѣлами; но Іоаннъ Грозный — важное лицо только для частной исторіи Россіи: онъ довершилъ уничтоженіе удѣловъ, окончательно рѣшилъ мѣстный вопросъ, многозначительный только для Россіи, — между тѣмъ, какъ тиранія Лудовика XI имѣла великое значеніе для Франціи, и, слѣдовательно, для Европы: Лудовикъ нанесъ ужасный ударъ феодализму, сколько можно было сосредоточилъ государство, поднялъ среднее сословіе, установилъ почты, хитрою и коварною своею политикою отстоялъ Францію отъ Карла Смѣлаго и другихъ опасныхъ враговъ, и пр. Въ характерѣ и дѣйствіяхъ Лудовика XI выразился духъ эпохи, конецъ среднихъ вѣковъ и начало нынѣшней исторіи Европы. Іоаннъ интересенъ какъ человѣкъ въ извѣстномъ положеніи, даже какъ частно-историческое лицо; Лудовикъ XI — какъ лицо всемірно-историческое. Іоаннъ палъ жертвою условій жизни народа, на которомъ вымѣщалъ свою погубель; Лудовикъ, чувствуя на себѣ вліяніе времени, былъ въ то же время не только работъ его, но и господиномъ, ибо давалъ ему направленіе и управлялъ его ходомъ.

Исторія Россіи отъ временъ Калиты и особенно отъ Іоанна III, до Петра Великаго, безъ всякаго сомнѣнія, несравненно интереснѣе, чѣмъ въ періодъ удѣловъ и первой половины татарскаго ига; но чѣмъ интереснѣе становится она, тѣмъ менѣе обращаетъ на себя вниманіе и трудолюбіе ученыхъ дѣятелей. По крайней мѣрѣ, въ послѣднее время издано много историческихъ памятниковъ, относящихся къ этому періоду, чему обязаны мы болѣе просвѣщенному содѣйствію правительства, нежели ревности частныхъ лицъ. Что же до самой ин-

тереснѣйшей эпохи нашей исторіи — царствованія Петра Великаго, ея какъ-будто и не существуетъ въ глазахъ нашихъ ученыхъ, поглощенныхъ общими мѣстами о происхожденіи Руси. А между тѣмъ, каждый, если случится ему написать имя Петра, почитаетъ за долгъ выйти изъ себя, накричать множество громкихъ фразъ, зная, что бумага все терпитъ. Иные изъ писавшихъ о Петрѣ, впрочемъ люди благонамѣренные, впадаютъ въ странныя противорѣчія, какъ-будто влекомые по двумъ разнымъ, противоположнымъ направленіямъ: благоговѣя передъ его именемъ и дѣлами, они на одной страницѣ весьма основательно говорятъ, что на чтѣ ни взглянемъ мы на себя и кругомъ себя — вездѣ и во всемъ видимъ Петра; а на слѣдующей страницѣ утверждаютъ, что европеизмъ — вздоръ, гибель для души и тѣла, что желѣзныя дороги ведутъ прямо въ адъ, что Европа чахнетъ, умираетъ, и что мы должны бѣжать отъ Европы чуть-чуть не въ степи киргизскія...

Мы очень рады, что появленіе втораго изданія Голикова, исторіи Бергмана и сочиненія Кошихина, даетъ намъ случай и возможность сказать нѣсколько словъ о величайшемъ явленіи русской исторіи и объ одномъ изъ величайшихъ явленій всемірной исторіи — о Петрѣ Великомъ. Просимъ нашихъ читателей не быть слишкомъ взыскательными, не выпускать изъ вида великости предмета и незначительности средствъ къ его уразумѣнію, не забывать также, что въ журнальной статьѣ нельзя высказать всего такъ, какъ бы хотѣлось. Мы почтемъ себя вполне достигшими цѣли, если статья наша займетъ не одинъ глава читателя, но и душу и разумъ его и наведетъ его на мысли и думы, которыхъ еще не возбуждали въ немъ историческіе возгласы о Петрѣ Великомъ.

Собраніе фактовъ, касающихся до исторіи Петра Великаго, критическое разсмотрѣніе и повѣрка матеріаловъ ея — вотъ чтѣ прежде всего ожидаетъ дѣателей. Прагматическое изло-

женіе этихъ фактовъ—второе великое дѣло, пока еще тщетно ожидающее для себя труда и таланта. Но ни то, ни другое не можетъ обойтись безъ опредѣленія настоящей точки зрѣнія на Петра Великаго, какъ на историческаго дѣйствителя. Пусть всякій дѣлаетъ свое: мы постараемся изложить свою мысль, или, если угодно, свое мнѣніе о дѣлѣ Петра, подкрѣпляя его, гдѣ будетъ нужно, живыми свидѣтельствами историческихъ фактовъ.

Въ чемъ заключается дѣло Петра Великаго? въ преобразованіи Россіи, въ сближеніи ея съ Европою. Но развѣ Россія и безъ того находилась не въ Европѣ, а въ Азіи? — Въ географическомъ отношеніи, она всегда была державою европейскою; но одного географическаго положенія мало для европеизма страны. Чтѣ же такое Европа и чтѣ такое Азія? — Вотъ вопросъ, изъ рѣшенія котораго только можно опредѣлить значеніе, важность и великость дѣла Петра.

Азія—страна такъ называемой естественной непосредственности, Европа — страна сознанія; Азія — страна созерцанія, Европа—воли и разсудка. Вотъ главное и существенное различіе Востока и Запада, причина исходный пунктъ исторіи того и другаго. Азія была колыбелью человѣческаго рода, и до сихъ поръ осталась его колыбелью: дитя выросло, но все еще лежитъ въ колыбели, окрѣпло — но все еще ходитъ на помочахъ. Въ жизни, дѣйствіяхъ и самомъ сознаніи Азіятца видна только первобытная естественность—и больше ничего. Азіятца нельзя назвать животнымъ, ибо онъ одаренъ смысломъ и словомъ; но онъ животное въ томъ смыслѣ, въ какомъ можно назвать животнымъ младенца. Младенецъ есть возможность человѣка въ будущемъ, но въ настоящемъ—чтѣ такое жизнь его? — растительность и животность. Воплемъ и слезами изъясляетъ онъ страданіе и горестъ; крикомъ и смѣхомъ — радость и удовольствіе. Источники его радостей и

страданій — его организмъ: здоровъ онъ и сытъ — онъ доволенъ; можетъ лакомиться — онъ счастливъ; болѣнь и голодень — онъ страдаетъ; есть у него пища, не кѣтъ лакомствъ — онъ спокоенъ, но унылъ, страсти его молчатъ, живость ощущеній притупляется; увидить лакомства — онъ испускаетъ вопли радости, глаза его сверкаютъ огнемъ и странною живостію. Таковъ и Азіятецъ. Основа его общественности есть обычай, освященный древностію, давностію и привычкою. «Такъ жили отцы наши и дѣды» — вотъ основное правило и высшее разумное оправданіе Азіятца въ его бытѣ и образѣ жизни. Прекрасное правило, все оправдывающая причина! Это альфа и омега всякой мудрости, это послѣдній отвѣтъ на все вопросы разума! И, къ тому же, онъ такъ легко для уразумѣнія, такъ коротко! Спросите Черкеса, зачѣмъ онъ свято соблюдаетъ права гостепріимства въ своей саклѣ, и грабить, рѣжетъ своего гостя на дорогѣ, подстрѣливаетъ его изъ-подъ куста, какъ дикую птицу, или хватается на арканъ, заковываетъ въ желѣзо и заставляетъ всю жизнь пасти стада, — онъ отвѣтитъ вамъ: «такъ дѣлали отцы и дѣды наши». Хорошо ли это, дурно ли, разумно или бессмысленно, — подобные вопросы не приходятъ ему въ голову; это слишкомъ тяжелая, слишкомъ неудобоваримая пища для его головы. Также точно нисколько не думаетъ Азіятецъ о своей человѣческой личности — о значеніи ея и правахъ. Сегодня богатъ онъ, завтра нищъ; сегодня онъ неограниченный повелитель миллионовъ, завтра рабъ презрѣнный и безгласный; сегодня, движеніе руки его, маніе бровей его изрекаютъ войну и миръ, жизнь и смерть, завтра подносятъ ему шелковый снурокъ, который онъ самъ надѣваетъ себѣ на шею. Почему все это такъ, а не иначе, и должно ли все это быть такъ, а не иначе, — онъ объ этомъ никогда не спрашивалъ ни себя, ни другихъ. Такъ было задолго до него, такъ бываетъ не съ

однимъ имъ, а со всѣми; слѣдовательно, такова воля Аллаха! И потому, онъ такъ же хладнокровно распоряжается счастьемъ или несчастіемъ, жизнію и смертію ближнихъ, какъ хладнокровно самъ подчиняется велѣніямъ судьбы. Вслѣдствіе этого, цѣнность человѣческой крови для него нисколько не выше цѣнности крови домашнихъ животныхъ. Отсюда неограниченный деспотизмъ и безусловное рабство. Отсюда же совершенный произволъ съ одной стороны, и совершенное отсутствіе чувства законной приверженности и непоколебимой вѣрности съ другой. Турокъ не ропщетъ, если дурное расположеніе духа властелина сажаетъ его на колъ, или вѣшаетъ на петлѣ; но Турокъ же не задумается ни на минуту пристать къ смѣлому мятежнику противъ законнаго властителя, къ сыну противъ роднаго отца. Вотъ непрочность однихъ естественныхъ связей, несознанныхъ посредствомъ разсудка! Семейственность есть общая форма азіятскаго быта; самое государство на Востокѣ—семейство въ огромномъ размѣрѣ. Но посмотрите, какъ ничтожны тамъ узы родства! У дѣтей нѣтъ матери, потому что мать ихъ не человѣкъ, не женщина, а самка и матка; но у дѣтей нѣтъ и отца, ибо и отецъ ихъ только самецъ, владѣющій извѣстнымъ числомъ самокъ, и притомъ господинъ и повелитель и своихъ самокъ и своихъ дѣтенышей, неограниченный властелинъ, при которомъ они, какъ рабы, должны безмолвно стоять потупивъ глаза въ землю, приложивъ руку къ груди. И потому, кровавыя сцены въ семействахъ на Востокѣ — обыкновенныя событія, и далеко не возбуждаютъ такого мистическаго ужаса, какъ въ безнравственной и безбожной (по мнѣнію китайскихъ мандариновъ пятой степени) Европѣ. Въ нѣкоторыхъ мусульманскихъ земляхъ повелитель, восходя на тронъ отца своего, умерщвляетъ всѣхъ своихъ братьевъ, а въ нѣкоторыхъ, только велитъ имъ выкалывать глаза. Разумѣется, подобное право не прости-

рается на частныхъ людей; но что освящено употребленіемъ и обычаемъ, то не можетъ казаться особеннымъ преступленіемъ, не можетъ внушать особеннаго ужаса. Вотъ что значать естественныя права крови, неосвященныя любовью и духомъ, несознанныя разумѣніемъ! Кажется, никто такъ не близокъ къ природѣ, какъ животныя, и, слѣдовательно, ни у кого узы крови не должны быть такъ крѣпки и нерушимы, какъ у животныхыхъ; но у нихъ-то и нѣтъ совсѣмъ никакихъ узъ родственныхъ: тигръ пожираетъ дѣтей своихъ даже безъ крайней необходимости, тигрица пожираетъ дѣтей въ голодѣ, и вообще самка какого бы то ни было животнаго только до тѣхъ поръ мать своимъ дѣтямъ, пока кормитъ ихъ грудью, а ея порожденія только до тѣхъ поръ ея дѣти, пока сосутъ ее; послѣ же этого термина, взаимныя отношенія дѣтей къ матери и матери къ дѣтямъ какъ-то странно измѣняются...

Почти все это можно видѣть и между людьми на Востока: торговля дѣтьми (особенно дочерьми) — одинъ изъ главнѣйшихъ промысловъ у нѣкоторыхъ азіатскихъ племенъ. Гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и взаимной довѣренности, а узы родства тамъ только увеличиваютъ взаимную недовѣрчивость, ибо личные интересы родныхъ чаще всего сталкиваются враждебно. Сила личнаго самохраненія не можетъ ослабѣвать или усыпляться отъ родства, если любовь не освобождаетъ отъ подозрѣнія и страха. Въ Европѣ власть родительская основана на правѣ любви сознательной и разумной, вышедшей изъ любви естественной; и потому, въ Европѣ право родства утрачиваетъ всю силу свою, какъ скоро перестаетъ опираться на правѣ любви. Объ исключеніяхъ говорить нечего; но можно почитать общимъ правиломъ, что отецъ не имѣетъ права жаловаться на дурныхъ дѣтей, потому что только у дурныхъ родителей могутъ быть дурныя дѣти. А такъ какъ отношенія столь близкихъ между собою людей, какъ родные, не могутъ быть

предметомъ вѣрнаго и непогрѣшительнаго суда постороннихъ, то эти отношенія и приведены въ общія и законныя формы. Законъ смотритъ только на внѣшнее, на форму, на приличіе, не позволяя себѣ проникать во внутреннее, которое передаетъ въ высшую инстанцію—въ судилище совѣсти. И потому гражданскій законъ въ Европѣ требуетъ отъ дѣтей только внѣшняго уваженія къ родителямъ, но не любви, для которой нѣтъ гражданскихъ законовъ. Съ другой стороны, права родителей надъ дѣтьми ограничены общественнымъ мнѣніемъ; въ извѣстныя лѣта, дѣти становятся полными господами своей участи и своихъ поступковъ. И потому въ Европѣ можно видѣть примѣры, какъ дѣти судятся съ своими родителями, или родители съ дѣтьми; но только въ Азіи можно видѣть примѣры дѣтоубійства и отцеубійства; въ Европѣ тѣ и другія—чудовищныя и рѣдкія исключенія.

Сознаніе Азіятца спитъ, ибо заключено въ магическомъ кругу младенческой естественности, непосредственности. Мысль его преимущественно проявляется въ религіозной сферѣ; но и тутъ далѣе естественнаго пантеизма она не восходила. Исключеніе остается за одними Евреями, которыми высокая воля поручила храненіе сокровища, цѣны котораго они сами не умѣли цѣнить. Поэтому, и христіанство могло развиваться только въ Европѣ. Но въ исламызмѣ Азія увидѣла полное выраженіе своего духа. «Ни о чемъ не думай, ибо за тебя думаетъ святая книга; наслаждайся чувственными удовольствіями и властью, если предопредѣленіе дастъ тебѣ ихъ; погибай безъ ропота, ибо такъ написано на доскахъ предопредѣленія; губи безъ смущенія, ибо такъ написано на доскахъ предопредѣленія твоей жертвы» — вотъ основаніе исламызма. Коранъ предписываетъ любовь къ ближнему, гостепріимство; высшимъ блаженствомъ называетъ онъ созерцаніе безконечныхъ совершенствъ Аллаха; но эта любовь къ ближнему уничто-

жаются понятіемъ о предопредѣленіи и простирается только на правовѣрныхъ, а не на поганныхъ джауровъ, которыхъ истинный мусульманинъ долженъ фанатически ненавидѣть; но это созерцаніе божескихъ совершенствъ переходитъ въ дремоту души, утомленной чувственностію, и въ бессмысленную формалистику, которая предписываетъ извѣстное число повтореній «нѣтъ Бога, кромѣ Бога» и пр., намазы, и т. п.

Основаніе всѣхъ религій, возникшихъ въ Азіи (кромѣ одной—единой, безусловной и божественной) есть физическій пантеизмъ (всебожіе), или обожествленіе субстанціальныхъ силъ природы. Какъ скоро этотъ пантеизмъ истощаетъ все свое содержаніе и отъ природы долженъ возвыситься до духа,—онъ тотчасъ же и уничтожается, впадая въ отвлеченныя случайности и мертвый формализмъ. Онъ движется, но въ ограниченной сферѣ самого себя, или, лучше сказать, кружится на одномъ мѣстѣ, а не движется отъ исходнаго пункта своего вдаль по прямой линіи. По крайней мѣрѣ, въ индійскомъ пантеизмѣ были видоизмѣненія, была борьба сектъ, были свои секты, тогда какъ исламизмъ явился чѣмъ-то определеннымъ, безъ всякой возможности даже круженія, не только развитія,—въ стоячей и мертвенной неподвижности. Отвергнувши, повидимому, всякій формализмъ служенія, всякое чувственное представленіе божества, и чрезъ то, повидимому, ставъ исповѣданіемъ въ духѣ,—онъ въ существѣ своемъ тотъ же индійскій пантеизмъ, то же робкое обожествленіе природы, а не духа, только болѣе ограниченное, и уже совершенно непосредственное и безсознательное. Это самыя крѣпкія оковы для ума человѣческаго; это самый мягкій и роскошный диванъ для его лѣни и усыпленія. Исламизмъ нисколько не допускаетъ въ себя элемента свободнаго и разумнаго мышленія; отъ этого дикій фанатизмъ и ожесточенное невѣжество есть его опора, сила и характеръ. Поэтому же самому, неподвижность

есть условіе исламизма; онъ сгніетъ и разрушится дѣйствіемъ собственнаго гніенія, но не измѣнится, не обновится, не прійметъ въ себя новыхъ элементовъ. Онъ предлагаетъ свои догматы и законы какъ повелѣнія, а не какъ истины на основаніи какихъ бы то ни было доказательствъ. Послѣ сего, удивительно ли, что хрістіанство не могло укорениться на Востокѣ: оно убѣждаетъ, а не поработачаетъ, оно отвергло матерію и поставило надъ нею Духа Святаго, который есть любовь и разумъ...

Та же неподвижность и въобщественномъ бытѣ Азіятцевъ. Условія его немногосложны и просты, какъ условія стадъ и табуновъ: соединенныя родственнымъ инстинктомъ, животныя спокойно пасутся, не мѣшая другъ другу; а когда въ нихъ разыграются страсти, то рѣшаютъ дѣйствительность правъ своихъ превосходствомъ силы, крѣпостію рога и копытъ. Право возмездія—древнѣйшее изъ всѣхъ правъ, потому что оно самое «естественное право». Хрістіанство отвергло его съ особенною энергіею; но это потому, что хрістіанство было освобожденіемъ человечества отъ оковъ грубой естественности. Для Азіятца право личности не въ законѣ, а въ кинжалѣ; его обидѣли, кровь закипѣла—и кинжалъ въ груди оскорбителя; убійца не всегда даже и хлопочетъ о спасеніи: если на доскахъ предопредѣленія не написано умереть ему отъ казни, его не казнятъ, а написано — ничѣмъ не спастись. Судилищъ и судейской процедуры Азіятецъ не терпитъ: судъ совершается въ домѣ судьи, рѣшеніе зависитъ не отъ силы и разума закона, а отъ мудрости судьи. Тутъ же и благотѣльная фалака, а если нужно, и висѣлица—дѣло только въ петлѣ, висѣлицею же можетъ служить первое попавшееся на глаза окно мирнаго гражданина. Азіятецъ лучше хочетъ быть невинно битъ по пятамъ палками, повѣшенъ, посажанъ на колъ, только чтобъ сію же минуту, безъ проволоочки,—чѣмъ

подвергаться судебному слѣдствію, которое лишило бы его возможности сидѣть поджавъ ноги, дѣлать кейфъ, или творить намазъ. Турокъ отъ искренняго сердца дивится глупости невѣрныхъ франковъ, проклятыхъ джауровъ, которые, попавшись подъ судъ, хотятъ, чтобъ ихъ судили и не требуютъ того, чтобъ ихъ поскорѣ отколотили по пятамъ, или посадили на колъ...

Однообразна частная жизнь Азіятцевъ. Это — или дикія оргіи грубой чувственности, или молчаливая бесѣда гостей, прерываемая изрѣдка вѣжливымъ вопросомъ: «каково состояніе вашего мозга» и не менѣе деликатнымъ отвѣтомъ: «оно сладко, какъ сахаръ». Наскучивъ наконецъ сидѣть поджавъ подъ себя ноги и курить завѣтный кальянъ, или прокурившись до послѣдней крайности, — мусульманинъ, бывало, снималъ съ стѣны свою дамаскую саблю и съ дикимъ бѣшенствомъ вторгался въ предѣлы франковъ, грабилъ Сербію, Венгрію, Польшу, полуденную Россію; а насытившись боевою тревогою и разжившись военнымъ грабежомъ, снова садился подъ тѣнь спокойствія, на коверъ наслажденія и погружался въ созерцаніе божества, повторяя «нѣтъ, Бога, кромѣ Бога, и Мухаммедъ пророкъ его», — и развѣ только для невиннаго разсѣянія рубилъ головы рабамъ своимъ и бросалъ въ море мѣшки съ своими женами. Прекрасная жизнь! Она вся въ чувствѣ — мятежный разумъ не смѣетъ и издадека подойти къ ней, чтобъ смутить ея животное блаженство!...

Неподвижность и окаменѣлость слиты съ Азією, какъ душа съ тѣломъ. Какова она была за нѣсколько тысячелѣтій до Рождества Христова, такова и теперь, такъ пребудетъ всегда, если Европа не подломитъ основаній ея непосредственнаго состоянія, и не преобразуетъ ее христіанствомъ. Въ Азіи нѣтъ ни науки, ни искусства, а есть, вмѣсто ихъ, преданіе и обычай. Нигдѣ не льется столько крови, какъ въ Азіи, нигдѣ

люди не рѣжутся такъ много, какъ въ Азіи, — и все-таки тамъ нѣтъ военнаго искусства! Побѣду даетъ случай, слѣпой случай, а не умъ, не искусство, и не всегда даже превосходство въ силѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если не случайность, то тутъ часто участвуетъ вдохновеніе, власть минуты. Въ Европѣ храбрость храбростию, одушевленіе одушевленіемъ — а математическій, прозаическій расчетъ своимъ чередомъ. Европейецъ умѣетъ помирить вдохновеніе съ разсудкомъ. Азіятецъ весь въ распоряженіи минутнаго расположенія духа, которое и въ массахъ, какъ и въ человѣкѣ, часто зависитъ отъ одной случайности. Правда, Китай служитъ какъ-бы исключеніемъ изъ этого правила; но это только кажется такъ: иначе отчего же бы всѣ его изобрѣтенія стали на полдорогѣ, всѣ учрежденія окаменѣли при возникновеніи своемъ, и онъ самъ — трехлѣтній ребенокъ съ сѣдыми волосами, съ желтою, морщинистою, какъ печеное яблоко, кожею, съ сгорбленнымъ станомъ?... Скажутъ, что сами Китайцы всѣми мѣрами поддерживаютъ самое безусловное *statu quo* въ своемъ государствѣ, понявъ, что онъ только этимъ и можетъ существовать? Глубокъ же источникъ жизни въ томъ государствѣ, которое при отступленіи отъ условій стариннаго своего быта, пріема новыя открытія и обычаи, должно разрушиться, какъ набальзамированный и хорошо сбереженный трупъ въ свинцовомъ гробѣ разрушается отъ прикосновенія къ нему воздуха!...

И вотъ Азія! Знаемъ, что мы тутъ ничего новаго о ней не сказали; но не та была и цѣль наша: намъ нужно было только напомнить читателю уже извѣстное всѣмъ объ Азіи, чтобы онъ, при чтеніи этой статьи, не выпустилъ изъ вида, что такое для человѣка, народа и человѣчества пребываніе въ такъ называемой естественной непосредственности сознанія.

Еще менѣе можемъ сказать мы новаго о Европѣ касательно ея противоположности съ Азією; но и это не цѣль наша; намъ

опять нужно только привести для соображенія читателю двѣ три самыя рѣзкія черты; собственная его проникаемость дополнить остальное.

Еще во времена язычества, въ древнемъ мірѣ, характеръ Европы былъ противоположенъ характеру Азіи. Противоположность эта состояла въ нравственной подвижности и измѣняемости Европы, которыхъ причина заключалась въ вѣчномъ усиленіи европейскихъ народовъ силою сознанія посредствовать съ собою всѣ отношенія свои къ міру и жизни. Воспользовавшись чувствомъ и вдохновеніемъ, какъ моментомъ развитія, какъ необходимымъ элементомъ жизни, Европейецъ издревле далъ полную волю своей мыслящей способности, судительной и анализирующей силѣ своего ума, привелъ въ движеніе свой рассудокъ, разрывающій полноту всякой непосредственности. Созерцаніе помирилъ онъ дѣйствіемъ, и въ созерцаніи своей дѣятельности нашелъ свое высочайшее блаженство, — и дѣятельность его состояла въ томъ, чтобъ безпрестанно вносить въ жизнь свои идеалы и осуществлять ихъ въ этой жизни. Для Грека жить значило мыслить: другой жизни не понималъ онъ. Его вѣрованіе было тотъ же пантеизмъ, но не отвлеченный и неподвижный, а распавшійся на множество живыхъ и прекрасныхъ божественныхъ личностей. Грекъ всегда предчувствовалъ больше, чѣмъ понималъ: доказательство — воздвигнутый имъ въ аѳинскомъ храмѣ алтарь Богу невѣдомому. Грекъ діалектически пережилъ свое *вѣрованіе*, дошелъ до точки, гдѣ оно стало *знаніемъ*. Онъ перепробовалъ всѣ формы жизни общественной и гражданской; онъ принадлежалъ и семейству, но жилъ на площади, въ храмахъ, въ мастерскихъ художниковъ, въ садахъ академій и лицеевъ, слушая ораторовъ и философовъ; конецъ его внутренней жизни былъ концомъ и его политическаго существованія. Суровый Римлянинъ развилъ своимъ политическимъ существованіемъ идею права,

основаннаго на авторитетѣ чистаго мышленія, отвлеченнаго разсудка. Для Римлянина легче было увидѣть себя ложно обвиненнымъ и несправедливо осужденнымъ, нежели оправданнымъ не по формѣ суда, не на основаніи закона, а по произволу судящихъ. Законъ для него былъ не преданіемъ и не обычаемъ, но сознаніемъ, — и вмѣстѣ съ развитіемъ его сознанія развивалось и его право, такъ что, не зная исторіи Рима при какихъ-нибудь Гораціяхъ и Куріаціяхъ, нельзя знать, откуда и какъ явилось то или другое узаконеніе при томъ или другомъ императорѣ до Юстиніана. Развивъ вполне отвлеченное понятіе положительнаго права, Римъ совершилъ свое назначеніе, изжилъ всю свою жизнь, — и его исторія отъ эпохи собранія законовъ въ кодексы до паденія отъ мечей варваровъ, есть журналъ смертельной болѣзни, который врачъ ведетъ, наблюдая своего пациента до послѣдней его минуты. Христіанство возродило Европу и дало ей неизживаемый запасъ жизни. Не будемъ говорить о рыцарствѣ, объ обожаніи женщины, о возникновеніи городовъ и средняго сословія, словомъ, о всѣхъ этихъ измѣненіяхъ, вслѣдствіе которыхъ варварскій Сѣверъ сталъ въ главѣ человѣчества и постыдилъ своимъ духовнымъ развитіемъ образованный Югъ. Что общаго между полудикимъ норманскимъ рыцаремъ, съ ногъ до головы закованнымъ въ желѣзо, ломающимъ копье въ честь своей дамы, и Наполеономъ въ сѣромъ сюртукѣ, съ маленькою шапкой? Что общаго между презираемымъ мѣщаниномъ среднихъ вѣковъ, который еще не забылъ боли отъ ошейника, и между могучимъ банкиромъ Ротшильдомъ? Что общаго между монахомъ среднихъ вѣковъ, въ тишинѣ кельи, при свѣтѣ лампы, писавшимъ свои простодушныя хроники, и профессоромъ нашего времени, съ кафедръ критически разсматривающимъ наивную лѣтопись монаха? Что общаго между алхимикомъ среднихъ вѣковъ, таинственно, съ опасностію подвергнуться пыткѣ и сожженію за

колдовство, отыскивавшимъ философскій камень, и Кювьё, Жоффруа Сентъ-Илеромъ, Гумбольдтомъ, открыто, передъ всѣмъ человѣчествомъ совлекающимъ съ природы таинственныя ея покровы? Чтò общаго между бродячимъ лубадуромъ среднихъ вѣковъ, украшавшимъ своими пѣснями пиры царей, и между поэтомъ новѣйшей Европы, или гонимымъ отъ общества, или носившимъ ливрею знатныхъ баръ, и наконецъ — между Байронами, Гёте, Шиллерами, Вальтеръ-Скоттами — этими гордыми властелинами нашего времени? — Чтò общаго? — Ничего! Однакожъ всѣ эти противоположности — не иное чтò, какъ крайнія звѣнья одной и той же великой цѣпи духовнаго развитія и цивилизаци. Самое непостоянство модъ въ платьѣ и мебели выходитъ въ Европѣ изъ глубокаго начала движущейся и развивающейся жизни и имѣетъ великое значеніе. Годъ для Европы — вѣкъ для Азіи; вѣкъ для Европы — вѣчность для Азіи. Все великое, благородное, человѣческое, духовное, возшло, выросло, расцвѣло пышнымъ цвѣтомъ и принесло роскошныя плоды на европейской почвѣ. Разнообразіе жизни, благородныя отношенія половъ, утонченность нравовъ, искусство, наука, поработеніе безсознательныхъ силъ природы, побѣда надъ матеріею, торжество духа, уваженіе къ человѣческой личности, святость человѣческаго права, словомъ все, во имя чего гордится человѣкъ своимъ человѣческимъ достоинствомъ, черезъ чтò считаетъ онъ себя владыкою всего міра, возлюбленнымъ сыномъ и причастникомъ благодати Божіей, — все это есть результатъ развитія европейской жизни. Все человѣческое есть европейское, и все европейское — человѣческое...

Россія не принадлежала, и не могла, по основнымъ элементамъ своей жизни, принадлежать къ Азіи: она составляла какое-то уединенное, отдѣльное явленіе; Татары, повидимому, должны были сроднить ее съ Азіею; они и успѣли механически

кими внѣшними узлами связать ее съ нею на нѣкоторое время, но духовно не могли, потому что Россія держава христіанская. Итакъ, Петръ дѣйствовалъ совершенно въ духѣ народномъ, сближая свое отечество съ Европою и искореняя то, что внесли въ него Татары временно азіятскаго.

Обратимся теперь къ твореніямъ, подавшимъ намъ поводъ къ этимъ мыслямъ. Вотъ книга Кошихина «О Россіи въ царствованіе Алексія Михайловича». Но сперва намъ слѣдуетъ дать читателямъ свѣдѣніе объ авторѣ этой книги.

Г. Соловьевъ, профессоръ Александровскаго Университета, во время своего путешествія по Швеціи въ 1837 году, узналъ, что въ Стокгольмскомъ Государственномъ Архивѣ хранится рукопись, которая содержитъ въ себѣ описаніе Россіи при царѣ Алексіѣ Михайловичѣ, и которая есть переводъ съ оригинальнаго русскаго сочиненія, принадлежащаго подъячему Посольскаго Приказа Кошихину. Въ скоромъ времени, г. Соловьеву удалось отыскать и самый подлинникъ, хранившійся въ библіотекѣ Упсальскаго Университета. Къ заглавію этой рукописи есть приписка: «Григорія Карпова Кошихина, посольскаго приказа подъячаго, а потомъ Иваномъ Александровичемъ Селицкимъ зовимаго, работы въ Стокгольмѣ 1666 и 1667». Въ предисловіи къ шведскому переводу рукописи Кошихина, находятся нѣкоторыя извѣстія о жизни ея автора. Кошихинъ служилъ въ Посольскомъ приказѣ, былъ неоднократно употребляемъ для писмоводства при дипломатическихъ сношеніяхъ съ иностранными дворами, и ѣздилъ гонцомъ въ Стокгольмъ. Князь Ю. А. Долгорукій, смѣнившій прежнихъ начальниковъ Кошихина, князей Черкаскаго и Прозоровскаго, потребовалъ отъ Кошихина, чтобъ онъ сдѣлалъ ложный доносъ на своихъ бывшихъ начальниковъ. Благородный подъячій, не чувствуя себя въ состояніи выполнить такое дѣло, и вмѣстѣ съ тѣмъ ожидая всего отъ мести, бѣжалъ въ Польшу (около

1664 года), гдѣ скрывался подъ именемъ Селицкаго, потомъ странствовалъ въ Пруссіи и былъ въ Любекѣ, послѣ чего, пробравшись въ Лифляндію, преданъ покровительству Рижскаго генералъ-губернатора Гельмфельдта, который исходатайствовалъ ему дозволеніе на свободное пребываніе въ Швеціи. Прибывъ въ Швецію въ 1666 году, Кошихинъ, по требованію государственнаго канцлера графа Магнуса Делагарди, окончилъ свое сочиненіе «О Россіи», начатое имъ вскорѣ по побѣгѣ изъ-подъ Смоленска. Кошихинъ былъ казненъ въ Стокгольмѣ за убіеніе своего хозяина Анастасіуса, совершенное въ нетрезвомъ видѣ, въ ссорѣ по подозрѣнію въ любовной связи съ его(?) женою.

Рукопись Кошихина издана Археографическою Коммиссіею, подъ редакціею почетнаго члена ея г. Берединкова.

Слѣдующія выписки изъ книги Кошихина, дадутъ читателямъ лучшее понятіе о самой книгѣ.

Вотъ какъ вступали въ бракъ русскіе цари:

... А вшедъ въ церковь, царь и царевна стануть среди церкви, близко олтаря, и постелятъ подъ нихъ, на чомъ стояти объяри золотой сколько доведется и съ одну сторону царя держитъ подъ руку дружка, а царевну *сваха*; и протопопъ устрояся въ одѣяніе церковное, начнетъ ихъ вѣнчати по чину, и въ то время царевну открываютъ; и возлагаетъ на нихъ протопопъ вѣнцы церковные, а по вѣнчаніи подноситъ имъ изъ единого сосуда пити вина французскаго краснаго, и снимаетъ съ нихъ церковные вѣнцы, и вложитъ на царя корону. И потомъ протопопъ поучаетъ ихъ, какъ имъ жити: женоѣ у мужа быти въ послушествѣи и другъ на друга не гнѣватися, развѣ иѣнія ради вины мужу поучити ея слегка жезломъ, занеже мужъ женоѣ яко глава на церковь, и жили бы въ чистотѣ и въ богобоязни, недѣлю и среду и пятю и всѣ посты постили, и Господскія праздники и въ которые дни прилучится пражновати апостоломъ и евангелистомъ и инымъ нарочитымъ святымъ грѣха не сотворили, и къ церквѣ Божіей приходили и подаваніе давали, и со отцемъ духовнымъ спрашивались по часту, той бо на вся блага научить. А соверша протопопъ поученіе, царицу возьметъ за руку и вдастъ ю мужови, и велитъ имъ межъ себя учинити цѣлованіе, и по цѣлованіи царицу поворотъ и потомъ протопопъ и свадебный чинъ царя и царицу поведяють вѣнчався...

А какъ начнеть царь съ царицею опочивать, въ то время конюшей ѣздятъ около той палаты на конѣ, нимаи ночь того, и близко къ тому мѣсту нито не приходятъ, и ѣздятъ конюшей во всю ночь до свѣта. И испугаи часть боевой, отецъ и мать, и тысяцкой, посылають къ царю и къ царицѣ спрашивать о здоровьѣ. И какъ дружка прихода спрашивается о здоровьѣ, и въ то время царь отвѣщаетъ, что въ добромъ здоровьѣ, будетъ доброе между ними совершилось; а ежели не совершилось, и царь приказываетъ приходить въ другой рядъ, или въ третей, а дружка потому жъ приходитъ и спрашивается. И будетъ доброе межъ ними учинилось, скажетъ царь, что въ добромъ здоровьѣ, и велитъ къ себѣ быти всему свадебному чину и отцамъ и матерямъ, а протономъ не бываетъ; а тогда доброго ничего не учинится, тогда всѣ бояре и свадебной чинъ разъѣдутся въ печали, не бытъ у царя. А какъ свадебной чинъ приходитъ къ царю, и отцы и матери и весь чинъ, царя и царицу поздравляють сочетався законнымъ бракомъ, и царь жалуетъ подаетъ имъ кубками и чашами питья, и потомъ и царица подаетъ же; и потомъ царь велитъ принести себѣ и царицѣ ѣсть легкое, потому что тотъ день весь постили, и ѣдятъ съ царицею виѣсть. А какъ откушаютъ, и въ то время свазываетъ царь свадебному чину, чтобы они ѣхали къ себѣ, и наутрѣ были въ обѣду, и съѣзжались бы всѣ прѣжъ обѣда; а самъ съ царицею начнеть непринему опочивать. И наутрѣ того дня царю и царицѣ готовить мылни, разные, и ходитъ царь въ мылню, а съ ними дружка и постельничей, а какъ царь выходитъ изъ мылни, и въ то время возлагають на него срачицу и порты и платье иное, а прежнюю срачицу велитъ сохранить постельничему; и послѣ того слушаетъ царь заутреню, доколѣ царица въ мылни; и какъ се во одѣяніе нарядятъ, и въ томъ времени бояре съѣзжаются къ царю. А какъ царица пойдетъ въ мылню и съ нею мать и нимаи ближнія жены и сваха, и осматривають еѣ сорочки, а осмотря сорочки покажутъ царской матери и нимымъ сродственнымъ менамъ немногимъ, для того, что еѣ дѣвство въ цѣлости совершилось, и тѣ сорочки, царскую и царицыну, и простыни, собравъ виѣсто сохранять въ тайное мѣсто, доколѣ веселіе минется; и потомъ изъ мылни выходитъ въ свои палаты.

А какъ царю о томъ вѣдомо учинится, что ужъ изъ мылни вышла и по чину изготовились, и въ то время царь со всѣмъ своимъ поѣздомъ ходитъ къ царицѣ; а царица въ то время бываетъ во всемъ своемъ одѣяніи и въ виѣщѣ царской; и чиновные люди царя и царицу поздравляють; а потомъ царица подноситъ мыльные дары царю, и бояромъ, и всему свадебному чину, сорочки и порты, а бывають тѣ сорочки и порты таѣяныя и полотняныя, шиты золотомъ и серебромъ. И потомъ царь съ поѣздомъ ходитъ къ патриарху, и патриархъ его благословляетъ; и отъ патриарха ходитъ царь по церквамъ своимъ и молебствуетъ, а по молебствованіи прилагывается къ образамъ (стр. 8—10).

За симъ начинается рядъ пировъ, обѣдовъ, раздача подарковъ, милостей, вкладовъ въ церкви, въ монастыри, въ богадѣльни, подачи хлѣбнымъ и деньгами низшему церковному клиру.

А по всей его царской радости, жалуется царь по царицѣ своей отца еѣ, а своего тестя, и родъ ихъ, съ низкіе степени возведетъ на высокую, и кто чѣмъ не достанетъ, сподобляетъ своею царскою казною, а иныхъ рассылаетъ для прокормленія по воеводствамъ въ города, и на Москвѣ въ приказы, и даетъ помѣстья и вотчины; и они тѣми помѣстьями и вотчинами, и воеводствами и приказнымъ сидѣньемъ побогачѣютъ (стр. 12).

Вотъ подробная картина семейнаго быта царскаго:

У царя и у царицы покой свои особые; и видаютъ царицу бояре и ближніе люди времянемъ, а простые люди мало когда видаютъ. И на праздники государскіе, и въ воскресные дни, и въ посты, царь и царица опочиваютъ въ своихъ покояхъ порознь; а когда случится быти опочивати имъ вмѣстѣ, и въ то время царь по царицу посылаетъ, велитъ быть къ себѣ спать или самъ къ ней похочетъ быть. А которую ночь опочиваетъ вмѣстѣ, и на утрѣ ходятъ въ мыльню порознь, или водою измываются; а не бывъ мыльнѣ, или не измывая водою, въ церковь и ко кресту не приходять, понеже поставлено то въ нечистоту и въ грѣхъ, и не токмо царю и царицѣ, но и простымъ людямъ запрещено.

Сестры же царскіе, или и дщери, царевны, имѣяй свои особые жъ покои разные, и живуще яко пустынницы, мало зряху людей, и ихъ люди; но всегда въ молитвѣ и въ постѣ пребываху и лица свои слезами омываху, понеже удовольствіе имѣяй царственное, не имѣяй бо себѣ удовольствія такого, какъ отъ всемогущаго Бога в дано человѣкомъ совокупитися и плодъ творити. А государства своего за князей и за бояръ замужъ выдавати ихъ не повелось, потому что князи и бояри ихъ есть холопи и въ челоубитѣхъ своимъ ищутся холопьями, и то поставлено въ вѣчный позоръ, ежели за раба выдать господа; а иныхъ государствъ за королевичей и за князей давати не повелось, для того что не одной вѣры, и вѣры своей отиѣннати не учинять, ставять своей вѣрѣ въ поруганіе, да и для того, что иныхъ государствъ языка и политики не знаютъ, и отъ того бы имъ было въ стыдъ (стр. 12).

При рожденіи царевича, бываютъ великіе пиры и богатые раздаютъ вклады, подарки и милостыни. При рожденіи царевны, эти расходы бываютъ вполовину меньше. Если кормилицы

царевича или царевны дворянского рода, мужу ея дается воеводство или вотчина, а если низшаго званія, то повышаютъ чинами и награждаютъ большимъ жалованьемъ. «А какъ при-
спѣетъ время учить царевича грамотѣ, и въ учителя избира-
ютъ учительныхъ людей, *тихихъ и лебразимиковъ*; а писать
и учить выбираютъ изъ посольскихъ подъячихъ; а иными язы-
комъ, латинскому, греческому, нѣмецкому, и нѣкоторыхъ,
кромя русскаго поученія, въ Россійскомъ государствѣ не бы-
вается». До 15-лѣтняго возраста, кромя близкихъ людей, ца-
ревича никто не видитъ; послѣ же этого срока, онъ ходитъ
съ отцомъ своимъ въ церковь и на потѣхи, а какъ увѣдаютъ люди,
что ужъ его объявили, и изъ многихъ городовъ люди на диво-
вище ѣздитъ смотрити его нарочно». Когда же царевны и
молодые царевичи ходятъ въ церковь, то, чтобы никто не могъ
ихъ видѣть, около нихъ несутъ суконныя полы, и въ церкви
завѣшиваются тафтою. Экипажи завѣшивались тафтою во время
поѣздокъ по монастырямъ. Когда царь умираетъ, — подобно
тому какъ и при женитьбѣ его, преступники освобождаются
изъ тюремъ.

Горе тогда людямъ, будучимъ при погребеніи, потому что погребеніе бы-
ваетъ въ ночи, а народу бываетъ много множество, московскихъ и приѣз-
жихъ изъ городовъ и изъ уѣздовъ; а московскихъ людей натура не богобоязли-
вая, съ мужеска пола и женска по улицамъ грабятъ платье и убиваютъ до смер-
ти; и случается того дни, какъ бываетъ царю погребеніе, мертвыхъ людей
убитыхъ и зарѣзанныхъ *болши ста человекъ*.... И изойдется на царское
погребеніе денегъ на Москвѣ и въ городѣхъ, близко того, что на годъ предеть
съ государства казны (стр. 17).

Свадьбы бояръ совершались почти также, какъ и царскія;
разница—въ отношеніяхъ царя къ подданнымъ, и на оборотъ.
Сватовство производилось всегда не самимъ женихомъ, а кѣмъ-
нибудь изъ его родственниковъ, или изъ друзей; и только въ
церкви, подъ вѣнцомъ, могъ женихъ увидѣть подругу всей
своей жизни. Вѣнчанію предшествовалъ формальный контрактъ,

или записи, въ которыхъ отецъ невѣсты выставялъ ея приданое, а женихъ обязывался жениться въ такой-то срокъ времени. Когда новобрачныхъ отведутъ спать, гости, по наивному выраженію Кошкина, «учнутъ ѣсть и пить по прежнему». *Спустя часъ боевой*, посылаютъ къ новобрачнымъ справляться о здоровьѣ; въ случаѣ удовлетворительнаго отвѣта, боярыни идутъ въ спальню, поздравляютъ и пьютъ задравныя чаши; потомъ оставляютъ новобрачныхъ и разѣзжаются, вмѣстѣ съ гостями мужеска пола, домой, «а женихъ съ невѣстою учнетъ по прежнему опочивать». На другой день послѣ бани, женихъ бьетъ челомъ родителямъ молодой, что соблюли ее въ цѣлости; въ противномъ случаѣ пѣняетъ имъ по-тиху, однако такъ, что объ этомъ все узнаютъ, и царь не принимаетъ его къ себѣ съ челобитьемъ. Если узнаютъ, что новобрачные въ родствѣ или кумовствѣ, ихъ разводятъ, съ правомъ искать — ему другой жены, а ей — другаго мужа; а поца отставляютъ, разыскавъ съ него большую пѣню.

Такимъ образомъ бываютъ свадьбы и у прочихъ дворянъ «какъ кто можетъ по силѣ своей славну и честну свадьбу учинити кромѣ того, что ѣздить къ царю челомъ ударить только думные люди и спалники. «Также и межъ торговыхъ людей и крестьянъ свадебные сговоры и чинъ бываетъ противъ того же обычая, во всемъ; но толко въ поступкахъ ихъ и въ платьѣ съ дворянскимъ чиномъ рознится, сколько кого станеть».

А будетъ у котораго отца, или матери, есть двѣ или три дочери дѣвицы, и первая дочь увѣчна очми, или рукою, или ногою, или глуха и нѣма, а другіе сестры ростомъ и врасоту и рѣчью исполнены и во всемъ здоровы; и будетъ кто учнетъ свататься у того человека на дочери его, и посылаетъ смотрити мать свою или сестру и кому вѣрить, и тѣ люди вмѣсто той своей увѣчной дочери, назвавъ именемъ той дочери, за которую не вѣдаючи учнутъ свататься, показывають другую или третью дочь, и та присланная смотря дѣвицы той излюбить и скажетъ жениху, что она добра и жениться ему на ней можно; и мать женихъ по тѣмъ словамъ полюбитъ и о свадьбѣ у нихъ съ отцемъ и съ матерью учинится сговоръ, что ему на той именемъ

дѣвицѣ жениться на срокѣ, а тому человѣку тое свою дѣвицу за него выдать на тотъ же установленной срокѣ, и напишуть въ писмѣ своемъ заряды великіе, что платить виноватому не мочно; а какъ будетъ свадьба, и въ то время за того жениха по сговору выдаютъ они замужъ увѣчную или худую свою дочь, которыя имя въ записяхъ напишуть, а не тое, которую сперва смотрилшицѣ показывали, и тотъ человѣкъ, женися на ней, того дни въ лицо ее не усмотритъ, что она слѣпа или крива, или что иное худое, или въ словахъ не услышитъ что она иѣма или глуха, потому что въ тое свадьбу бываетъ закрыта и не говорить ничего, также ежели хрома и руками увѣчна и того потому жъ не узнаетъ, потому что въ то время ее водять свахи подъ руки, а какъ отъ вѣнчанія и отъ обѣда поидеть съ нею спать, и тогда при свѣтѣ ее увидитъ, что добръ добра, вѣкъ съ нею жить, а всегда плавать и мучиться— и потому умыслить надъ нею учинить, чтобъ она постриглась; а будетъ по доброй его воли не учинить, не пострижется, и онъ ее бьетъ и мучитъ всячески, и спать съ нею не спитъ, до тѣхъ мѣстъ что она похочетъ пострижися сама... А который человѣкъ, видя свою жену увѣчную, или несо- вѣстливую, отступя отъ нее самъ пострижется; а иные мужья или жены, много того чинятъ, велятъ отравами отравляти... Также у того отца одна дочь дѣвица, а увѣчна будетъ чѣмъ нибудь худымъ, и виѣсто ее на обманство показывають нарочно служащую дѣвку или вдову, назвавъ именемъ инымъ и нарядя въ платье въ иное. А будетъ которая дѣвица ростомъ невелика, и подъ нее подставляють стулы, потому что видится добро- родна, а на чѣмъ стоитъ того невидѣть.

Благоразумный читателю! не удивляйся сему; истинная есть тому правда, что во всемъ свѣтѣ нигдѣ такого на дѣвки обманства нѣтъ, яко въ Москов-скомъ Государствѣ; а такого у нихъ обычая не повелось, какъ въ иныхъ государствахъ, смотреть и уговариватися временемъ съ невѣстою самому (стр. 126—127).

Прочія описанія частной жизни бояръ у Кошихина также любопытны. Кушанья готовились безъ приправъ, и всякій клалъ въ нихъ уксуса, соли и перца уже на столѣ. Число яствъ за обѣдомъ простиралось до 50 и до 100.

Обычай же таковъ: предъ обѣдомъ велятъ выходить въ гостиѣмъ чело- вѣкъ ударить менамъ своимъ. И какъ тѣ ихъ жены въ гостиѣмъ придуть, и станутъ въ полатѣ, или въ избѣ, гдѣ гостиѣмъ обѣдать, въ большомъ мѣстѣ, а гости станутъ у дверей, и кланяются жены ихъ гостиѣмъ налимъ обычаемъ, а гости менамъ ихъ кланяются всѣ въ землю; и потомъ господинъ дому бѣсть чело- вѣкъ гостиѣмъ и кланяется въ землю жъ, чтобъ гости жену его изволяли цѣловать, и напередъ, по прошенію гостей, цѣлуетъ свою жену господинъ,

потомъ гости единъ по одному кланяются женамъ ихъ въ землю жъ, и пришедъ цѣлуютъ, и поцѣловавъ отшедь потому жъ кланяются въ землю, а того цѣлуютъ, кланяется гостемъ малымъ обычаемъ; и потому того господина жена учнетъ подносить гостямъ по чаркѣ вина двойного, или тройного съ земли, величиною та чарка бываетъ въ четвертую долю квартера, или малымъ болши; и тотъ господинъ учнетъ бити челомъ гостемъ и кланяется въ землю жъ, сколько тѣхъ гостей ни будетъ всякому по поклону, чтобы они извоили у жены его пити вино; и по прошенію тѣхъ гостей, господинъ приважетъ пити напередъ вино женѣ своей, потомъ пьетъ самъ, и подносить гостемъ, и гости предъ питьемъ вина и выпивъ отдавъ чарку назадъ кланяются въ землю жъ; а кто вина не пьетъ, и ему виѣсто вина романѣи, или ренскаго, или иного питья по кубку; и по томъ питіи, того господина жена поклонясь гостемъ поидетъ въ свои покои, къ гостемъ же, къ боярынямъ тѣхъ гостей къ женамъ. А жена того господина, и тѣхъ гостей жены, съ мужскими поломъ, кромѣ свадебъ, не обѣдаютъ никогда, развѣ которые гости бываютъ кому самые сродственныя, а чужихъ людей не бываетъ, и тогда обѣдаютъ виѣстѣ. Такимъ же обычаемъ, и въ обѣдъ, за всякою ѣствою господинъ и гости пьютъ вина по чаркѣ, и романѣю, и ренское, и пива поддѣльные и простые, и меды розныя. И въ обѣдъ же какъ приносятъ на столъ ѣствы круглыя пироги, и передъ тѣми пирогами выходятъ того господина сыновни жены, или дочери замужніе, или кого сродственныхъ людей жены, и тѣ гости вставъ и вышедъ изъ-за стола къ дверямъ тѣмъ женамъ кланяются, и мужья тѣхъ женъ потому жъ кланяются и бьютъ челомъ, чтобы гости женъ ихъ цѣловали и вино у нихъ пили; и гости цѣловавъ тѣхъ женъ и пивъ вино садятся за столъ, а тѣ жены пойдутъ по прежнему, гдѣ сперва были. А дочерей они своихъ дѣвицъ къ гостямъ не выводятъ и не указываютъ никому, а живутъ тѣ дочери въ особыхъ дальнихъ покояхъ. А какъ столъ отойдетъ, и по обѣдъ господинъ и гости потому жъ веселятся и пьютъ другъ про друга за здоровья, разѣдуются по домамъ. Такимъ же обычаемъ и боярыни обѣдаютъ и пьютъ межъ себя, *по достоинству*, въ своихъ особыхъ покояхъ; а мужскаго полу, кромѣ женъ и дѣвицъ, у нихъ не бываетъ нивого (стр. 118—119).

Вотъ какъ Кошихинъ представляетъ наше боярство. Когда въ посольство назначались люди, равные породою и родомъ, но неравные заслугами отцовъ, изъ которыхъ одни никогда не бывали въ должностяхъ такого рода, — то потомки дѣдовъ, бывавшихъ въ посольствахъ, отказываются ѣхать съ другими, а эти бьютъ челомъ царю на нихъ въ безчестіи. Царь приказываетъ справиться въ разрядныхъ книгахъ, и если оказы-

вается, что тѣмъ и другимъ «ѣхати мочно», велить ѣхать; а если «не мочно», назначаетъ другихъ. Въ случаѣ непослушанія послѣ справки, царь выдаетъ виноватаго головою оскорбленному. Фраза «выдать головою» не разъ подавала у насъ поводъ къ ложнымъ толкамъ; вотъ въ чемъ состоялъ и вотъ какъ производился дѣйствительно процессъ «выдачи головою».

И котораго дня принимаетъ царь кого боярина, или околничаго, или столника, за безчестіе отослать головою къ боярину, или думнаго человѣка и столника къ околничему, и того дни тотъ бояринъ, или околничей, у царя не бываетъ, а посылаютъ къ нему съ вѣстью, которые люди съ нимъ быть не хотѣли принимать къ нему головою; и онъ того ожидаетъ. А посылаютъ къ нимъ такихъ людей съ дьякомъ, или съ подьячимъ, и взявъ тѣхъ людей за руки ведутъ до боярскаго двора приставы, а на лошади садиться не даютъ; а какъ приведутъ его на дворъ къ тому, съ кѣмъ онъ быть не хотѣлъ, оставляютъ его на нижнемъ крыльцѣ, а дьякъ, или подьячей, велитъ тому боярину о своемъ приходѣ сказать, что привелъ къ нему того человѣка, который съ нимъ быть не хотѣлъ, и его безчестить, и бояринъ къ дьяку, или подьячему, выдѣтъ на крыльцо; и дьякъ и подьячій учнетъ говорить рѣчь, что великій государь указалъ и бояре приговорили того человѣка, который съ нимъ быть не хотѣлъ, за его боярское безчестіе, отвѣсть къ нему боярину головою; и тотъ бояринъ на царскомъ жалованьи бьетъ челомъ, а того кого приведутъ велитъ отпустить его къ себѣ домой, и отпусти его домой на дворъ у себя на лошади ему садиться и лошади водить на дворъ не велитъ. И тотъ, кого посылаютъ къ кому головою, отъ царскаго двора плуча до боярскаго двора и у него на дворѣ, *дастъ его и безчестить всякою бранью*; а тотъ ему за его злорѣчивые слова ничего не чинитъ, и не смѣетъ, потому что того человѣка отсылаетъ царь къ тому человѣку за его безчестіе, любячи его, а не для чего иного, чтобъ тотъ человѣкъ учинилъ надъ нимъ убійство, или увѣчье; а кто бы что надъ такимъ отсланнымъ человѣкомъ что учинилъ, каковаго злого безчестія и увѣчья, и тому бы человѣку самому указъ былъ противъ того вдвое, потому что онъ обезчестить не того, кого къ нему отослать, истинно будто самого царя. А кто такихъ людей отводитъ дьякъ, или подьячей, и тотъ бояринъ, къ которому отводить, даритъ ихъ подарками не малыми. И назаутрѣ того дни ѣздитъ тотъ бояринъ къ царю, а приѣхавъ бьетъ челомъ царю на его жалованьи, что онъ къ нему велѣлъ за безчестіе противника его отослать головою. И послѣ того царь велитъ съ тѣмъ бояриномъ, или околничимъ, быть иному человѣку, кому мочно, а прежняго оставя; и бываетъ царь на того человѣка гнѣвенъ, и очей его царскихъ не видитъ многое время.

А которые не думного чину люди не похотятъ быть, по указу царскому и по сыску, съ тѣми людьми, съ кѣмъ имъ быть велѣно, и тѣмъ бываетъ за ослушаніе и за безчестье наказаніе въ тюрьму, по царскому разсмотрѣнію; а иными за такое ихъ ослушаніе и за безчестье того, съ кѣмъ быти не хотять, учинять наказаніе, бьютъ батоги въ приказѣхъ и въ верху передъ царскими полатями; а на иныхъ за безчестья правятъ денги, противъ жалованья, и отдаютъ тому, кого они безчестятъ; а у иныхъ за такіе ослушанія бываетъ наказаніе, отоймутъ честь и помѣстья и вотчины, и бивъ внутомъ или батоги, ссылаютъ въ ссылку на вѣчное житіе въ Сибирь въ казани.

Также какъ у царя бываетъ столъ на властей и на бояръ, и власти у царя садятся за столѣмъ, по правой сторонѣ, въ другомъ столѣ. И какъ тѣ бояре учнутъ садиться за столъ, по чину своему, бояринъ подъ бояриномъ, околничей подъ околничимъ и подъ боярами, думный человѣкъ подъ думнымъ человѣкомъ подъ околничими и подъ боярами, а иные изъ нихъ вѣдая съ кѣмъ въ породѣ своей ровность подъ тѣми людьми садятся за столѣмъ не учнутъ, поѣдутъ по домамъ, или у царя того дни отпрашиваются куды къ кому въ гости, и такихъ царь отпускаетъ. А будетъ царь увѣдаетъ, что они у него учнутъ проситися въ гости на обманство, не хотя подъ которыми чело-вѣкомъ сидѣть, или не прошався у царя поѣдетъ къ себѣ домой: и такимъ велитъ быть и за столѣмъ сидѣть, подъ кѣмъ доведется. И они садятся или учнутъ, а учнутъ бити челома, что ему ниже того боярина, или околничего, или думного челома, сидѣти не можно, потому что онъ родомъ съ нимъ ровень, или и честіня, и на службѣ и за столѣмъ прѣжъ того родъ ихъ съ тѣмъ родомъ, подъ которыми велитъ сидѣть, не бывалъ: и такоже царь велитъ посадити силою; и онъ посадити себя не даетъ, и того боярина безчеститъ и лаеетъ. А какъ его посадятъ силою, и онъ подъ нимъ не сидитъ и выбивается изъ-за стола вонъ, и его не пущаютъ и разговариваютъ, чтобъ онъ царя не приводилъ на гнѣвъ и былъ послушенъ; и онъ кричатъ: «хотя де царь ему велитъ голову отсѣчь, а ему подъ тѣмъ не сидѣть и спустится подъ столъ; и царь укажетъ его вывести вонъ и послать въ тюрьму, или до указу къ себѣ на очи пущати не велитъ. А послѣ того, за то ослушаніе отнимается у нихъ честь, боярство, или околничество и думное дворянство—и потомъ тѣ люди старые своей службы дослуживаются вновь.

А кому за такіе вины бываютъ наказанія, сажаютъ въ тюрьму, и отсылаютъ головою, и бьютъ батоги и внутомъ: и то записываютъ въ книги, нѣмано, впредъ для вѣдомости и спору (стр. 34—36).

Выписываемъ слова Кошкина объ администраціи.

И кто что въ посолствѣ своемъ говорилъ какія рѣчи, сверхъ наказу, или которые рѣчи не исполнять противъ наказу: и тѣ всѣ рѣчи, которые говорены, и которые не говорены, пишутъ они въ статейныхъ своихъ спискахъ

не противъ того, какъ говорено, прекрасно и разумно, выславляючи свой разумъ на обманство, чрезъ чтобъ достать у царя себѣ честь и жалованье болшее; и не срамяются того творити, понеже царю о томъ кто на нихъ можетъ о такомъ дѣлѣ объявить?

Вопросъ. Для чего такъ творять?

Отвѣтъ. Для того: Россійскаго государства люди порокою своею спесивы и необычайны ко всякому дѣлу, понеже въ государствѣ своемъ поученія никакого добраго не имѣютъ и непріемлютъ, кромѣ спесивства и безстыдства и ненависти и неправды: и не наученіемъ своимъ говорятъ многіе рѣчи къ противности, или скоростію своею къ подвижности, а потомъ въ тѣхъ своихъ словахъ бремянемъ запрутся и превращаютъ на иные мысли; а что они говоря какихъ словъ запираются, и тое вину возлагаютъ на переводчиковъ, будто измѣною толмачать Благоразумный читателю! чтучи сего писанія не удивляйся. Правда есть тому всему; понеже для науки и обычая въ иные государства дѣтей своихъ не посылаютъ, страшась того: узнавъ тамошнихъ государствъ вѣру и обычай, начали бы свою вѣру отиѣнять и приставлять къ инымъ, и о возвращеніи къ домамъ своимъ и къ сродичамъ никакого бы попеченія не имѣли и не мыслили. И о поѣздѣ московскихъ людей кромѣ тѣхъ, которые посылаются по указу царскому и для торговли съ проѣзжими, ни для какихъ дѣлъ ѣзди никому не позволено. А хотя торговые люди ѣздить для торговли въ иные государства, и по нимъ по знатныхъ нарочитыхъ людяхъ собираютъ поручныя записи, за крѣпкими поручками, что имъ съ товарамъ своими и съ животами въ иныхъ государствахъ не останиса, а возвратитися назадъ совсѣмъ. А который бы человекъ, князь или бояринъ, или кто нибудь, самъ, или сына, или брата своего, послалъ для кого нибудь дѣла въ иное государство безъ вѣдомости, не бивъ челомъ государю, и такому бы человеку за такое дѣло поставлено было въ измѣну, и вотчины и поимѣстья и животы взяты бы были на царя, и ежели бы кто самъ поѣхалъ, а послѣ его остались сродственники, и ихъ пытали, не вѣдали ли они мысли сродственника своего; или бы кто послалъ сына, или брата, или племянника, и его потому жь пытали бы, для чего онъ послалъ въ иное государство, не напроважачи ль какихъ воинскихъ людей на московское государство, хотя государствомъ завладѣти, или для какого иного воровскаго умышленія по чьему наученію и пытавъ того такимъ же обычаемъ (стр. 41).

Это сужденіе Кошкина очень замѣчательно; оно доказываетъ, что еще до Петра Великаго умные люди сѣтовали на невѣжество высшаго класса.

Замѣчательно у Кошкина описаніе извѣстнаго бунта черни, по поводу введенія мѣдныхъ денегъ, въ царствованіе Алек-

сія Михайловича. Царь въ то время былъ въ селѣ Коломенскомъ и стоялъ въ церкви, изъ которой, увидѣвъ толпы народа, вышелъ къ нимъ. Чернь начала требовать выдачи бояръ, «и Царь ихъ уговаривалъ тихимъ обычаемъ, чтобъ они возвратились и шли назадъ, къ Москвѣ, а онъ царь койчасъ отелушаетъ обѣдни будетъ въ Москвѣ, и въ томъ дѣлѣ учинить сыскъ и указъ; и тѣ люди говорили царю и держали его за платъ за пуговицы: «чему де вѣрить?» и царь общался имъ Богомъ и далъ имъ на своемъ словѣ руку, и *одинъ человекъ изъ тѣхъ людей съ царемъ билъ по рукамъ*, и пошли къ Москвѣ всѣ».

. начали у царя просить для убійства бояръ, и царь отговаривался, что онъ для сыску того дѣла ѣдитъ къ Москвѣ самъ; и *они учили царю говорить сердито и невѣжливо, съ грозами*: «будетъ онъ добромъ имъ тѣхъ бояръ не отдастъ, и они у него учнутъ имать сами, по своему обычаю». Царь, видя ихъ злой умыслъ, что *пришли не добро и говорятъ невѣжливо*, съ грозами, и провѣдавъ, что стрѣльцы къ нему на помощь въ село пришли, закричалъ и велѣлъ стольникамъ, и стряпчамъ, и дворяномъ, и жильцомъ, и стрѣльцомъ, и людямъ боярскимъ, которые при немъ были, тѣхъ людей бить и рубить до смерти и живыхъ ловить. И какъ ихъ начали бить и сѣчь и ловить, и имъ было противиться не умѣть, потому что въ рукахъ у нихъ не было ни чего, ни у кого, начали бѣгать и топитися въ Москву-рѣку—и потопилося ихъ въ рѣкѣ болши 100 человекъ, а пересѣчено и переловлено болши 7000 человекъ, а иные разбѣжались. И того жъ дни около того села повѣсили со 150 человекъ, а достальнымъ всѣмъ былъ указъ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсѣкали руки и ноги и у рукъ и у ногъ пальцы, а иныхъ били внутрь, и вляли на цѣли на правой сторонѣ признаки, разжегши желѣзо на красно, а поставлено на томъ желѣзѣ «буки» т. е. бунтовщикъ, чтобъ былъ до вѣку признатенъ; и чиня имъ на казаніи, розослали всѣхъ въ дальніи города, въ Казань и въ Астрахань, и на Терии и въ Сибирь, на вѣчное житье, и послѣ ихъ, по сказаніи ихъ, гдѣ кто жилъ и чей кто ни былъ, и женъ ихъ и дѣтей потому жъ за ними разослали; а иныхъ пущимъ воровъ того жъ дни, въ ночи, учиненъ указъ, завязавъ руки назадъ посадивъ въ болшіе суды, потопили въ Москвѣ-рѣкѣ. А которые люди пришли въ то село для челобитья дѣла своихъ, до того смутного времени, и люди ихъ знали, и челобитные ихъ сыскались: и такихъ уволиши. А всѣ тѣ которые казнены и потоплены и розосланы, не всѣ бы-

ли воры, а приныхъ воровъ болши не было, что съ 200 человекъ; и тѣ немилые люди пошли за тѣми ворами смотрѣть, что они будучи у царя въ своихъ дѣлѣ учинять, а воровъ на такое множество людей надежно было говорить и чинить что хотѣли, и отъ того всѣ погнули, виноватой и правдой. А были въ томъ смятеніи люди торговые, и ихъ дѣти, и рейтары, и хлѣбники, и мясники, и пирожники, и деревенскіе и гуляющіе и боярскіе люди; а Поляновъ и иныхъ иноземцевъ хотя на Москвѣ множество живутъ, не смыслили въ томъ дѣлѣ ни одинаго человека, кромѣ Русскихъ. И на другой день пріѣхалъ царь къ Москвѣ, и тѣхъ воровъ, которые грабили дома, велѣлъ повѣсить по всей Москвѣ у воротъ человекъ по 5 и по 4; а доставилихъ былъ указъ таковъ же, что и инымъ» (стр. 81—82).

Многія уголовныя дѣла предавались суду патріарха, а не свѣтской власти- «А будетъ учинять (бояре и дворяне) надъ подданными своими, крестьянскими женами и дочерьми, какіе блудныя дѣла, или у жонки выбьютъ робенка, или мученая и битая съ робенкомъ умереть, и будетъ на такихъ злочинцевъ челобитье: и по ихъ челобитью отсылають такія дѣла, и истцовъ и отвѣтчиковъ на Москвѣ къ Патріарху, а въ городѣхъ къ митрополитамъ и къ архіепископамъ и къ епископу, и судятъ такіе дѣла и указъ по нимъ чинять, до чего доведется, у нихъ на дворѣхъ, а въ царскомъ судѣ до того дѣла нѣтъ» (стр. 114).

Перейдемъ теперь къ судопроизводству, преимущественно уголовному. Кошкинъ говорить, что судьи въ старину были страшные взяточники. «Одѣакожъ хотя на такое дѣло положено наказаніе и чинять о тѣхъ посулахъ крестное цѣлованіе съ жестокимъ проклинательствомъ, что посуловъ не имати и дѣлати въ правду, по царскому указу и по уложенію: ни во что ихъ вѣра и заклинательство, и наказанія не страшатся, отъ прелести очей своихъ и мысли содержать не могутъ и руки свои ко взятію скоро допускають, хотя не сами собою, однако по задней дѣйствицѣ чрезъ жену, или дочь, или чрезъ сына и брата, и человека, и не ставятъ того себѣ во взятые посулы, будто про то и не вѣдаютъ» (стр. 93).

Главнѣйшее орудіе уголовныхъ процессовъ была пытка.

А на которыхъ они *(разбойники)* людей скажутъ и станы свои укажутъ, и тѣхъ людей сыславъ всѣхъ поставить съ очей на очи и тѣхъ воровъ пытаются на хрѣбто впрячь ли тѣ люди, на которыхъ они говорятъ, съ ними въ томъ воровствѣ товарищами или становщиками и оберегалщиками были, и ненапрасно ли на нихъ говорить, по насерадѣ: и будетъ съ пытокъ скажутъ, что впрячь ли тѣ люди ихъ товарищи и становщики или оберегалщики и тѣхъ всѣхъ потому жь начнутъ пытать. (А устроены для всякихъ воровъ пытки: симутъ съ вора рубашку и руки его назадъ завяжутъ, подлѣ исти, веревкою, обшита та веревка войлокомъ, и подымутъ его въ верху, учинено мѣсто что и висѣлица, а ноги его свяжутъ ремнемъ: и одинъ человекъ палецъ вступитъ ему въ ноги на ремень своею ногою, и тѣмъ его отгинеаетъ, и у того вора руки стануть прямо противъ головы его, а изъ суставовъ выдутъ вонъ; и потомъ озади палецъ начнетъ бить по спинѣ кнутомъ изрѣдка, въ часъ боевой ударовъ бываетъ тридцать или сорокъ; и какъ ударитъ по которому мѣсту по спинѣ, и на спинѣ станеть такъ слово въ слово будто большой ремень вырѣзанъ ножомъ, мало не до костей. А учиненъ тотъ кнутъ ременной, плетеной, толстой, на концѣ вязанъ ремень толстой шириною на палецъ, а длиною будетъ въ 6 локтей). И пытавъ его начнутъ пытать другихъ потому жь, и будетъ съ первыхъ пытокъ не внятенъ, и ихъ спустя недѣлю времени пытаются въ другорядъ и въ третіе, и жгутъ огнемъ, свяжутъ руки и ноги, и вложить межъ рукъ и межъ ногъ бревно, и подымутъ на огнь, а иными розжегши желѣзные плещи нарасно ломають ребра; и будетъ и съ тѣхъ пытокъ не повинятся, и такихъ сажаютъ въ тюрьму, докожъ по нихъ поруки будутъ, что имъ впредь за худымъ дѣломъ не ходити и впередъ худого ничего не мыслити никому . . . А бывають мужеску полу смертные и всякіе казни: головы отсѣкають топоромъ за убійства смертные и за иные злые дѣла; вѣшаютъ за убійства жь и за иные злые дѣла; *живого четвертають, а потомъ голову отсѣкутъ* за измѣну кто городъ сдать непріятелю, или съ непріятелями держитъ дружбу ластаи, или иные злые измѣнные и противные статьи объявятся; *жгутъ живого* за богохульство, за церковную татбу, за содомское дѣло, за волховство, за чернокнижство, за книжное преложение, кто учинитъ вновь толковать воровски противъ апостоловъ и пророковъ и святыхъ отцовъ съ похуленіемъ, оловомъ и свинцомъ заливають горло за денежное дѣло, кто воровски дѣлаетъ, серебрянникомъ и золотаремъ, которые воровски прибавляютъ въ золото и въ серебро мѣдъ и олово и свинецъ, а иными за малые такіе вины отсѣкають руки и ноги, или у рукъ и у ногъ пальцы; ноги жь и руки и пальцы отсѣкають за конеедательство, или и за смуту, которые въ томъ дѣлѣ бывають маловинны, а иныхъ казнятъ смертію; также

кто на царскомъ дворѣ или гдѣ нибудь, вышетъ на кого саблю, или ножъ, и ранить или и не ранить, также и за церковную за малую вину, и кто чѣмъ замахивается на отца бить и мать, а не билъ, таковыя жъ казни; за царское безчестіе, кто говоритъ противъ него за очи безчестныя или нныя какіе поносныя слова, бить внутомъ вырѣзываютъ языкъ. Женскому полу бываютъ нытки противъ того же, что и мужскому полу, окромѣ того, что на огнѣ жгутъ и ребра ломаютъ. А смертныя казни женскому полу бываютъ: за богохульство и за церковную татьбу, за содомское дѣло *жгутъ живыми*; за *чаровство* и за убійство отсѣкаютъ головы; за погубленіе дѣтей и за нныя такія жъ злыя дѣла *живыхъ закопываютъ въ землю по титки, съ руками емлютъ потаптываютъ ногами*, и отъ того умираютъ того жъ дни или на другой и на третій день; а за царское безчестіе указъ бываетъ таковъ же, что мужскому полу. А которые люди воруютъ съ чужими женами и съ дѣвками, и нахъ ихъ изымаютъ, и того жъ дни или на иной день обѣихъ мужа и жонку, кто бѣ таковъ ни былъ, вода по торгамъ и по улицамъ вышѣтъ нагахъ, бьютъ внутомъ (стр. 91—92).

Теперь оставимъ Кошихина и обратимся къ другому очевидцу и свидѣтелю времени, непосредственно послѣдовавшаго за тѣмъ, которое описано Кошихинымъ. Мы разумеѣмъ здѣсь Желябужскаго, любопытныя записки котораго объемлютъ собою періодъ времени отъ смерти царя Ѳеодора Алексіевича до 1709 года. Здѣсь намъ кстати и даже необходимо опять напомнить читателямъ объ этой книгѣ, чтобъ дополнить картину внутренняго быта прежнихъ временъ Россіи, изъ которыхъ исторгла ее могучая воля Петра Великаго.

..... Въ томъ же году учинено наказаніе Петру Васильеву сыну Книгу: бить внутомъ передъ стрѣлцимъ приказомъ за то, что онъ дѣву растлилъ. Да и прешъ сего онъ Петръ пытанъ былъ на Вятѣ за то, что подписался было подъ руку думнаго дьяна Емельяна Украинцова.—Въ 193 году Ѳедосей Филиповъ сынъ Хвощинскій пытанъ изъ стрѣлцаго приказу въ воровствѣ, и за то его воровство, на площадѣ чинено ему наказанье: бить внутомъ за то, что онъ своровалъ: на порожнемъ столбѣ составилъ было запись.—Князю Петру Кропоткину чинено наказанье передъ московскимъ суднымъ приказомъ: бить внутомъ за то, что онъ въ дѣлѣ своровалъ, выскребъ и приписалъ своею рукою.—Степану Коробкину учинено наказанье: бить внутомъ за то, что дѣву растлилъ (стр. 15). Биты батоги передъ холопскимъ приказомъ, Микита Михайловъ сынъ Кутузовъ, да Марышнинъ за то

что они ругались по Касимовскомъ царевичѣ въ человѣкѣ. — Въ томъ же году князь Яковъ Ивановъ сынъ Лобановъ-Ростовскій да Иванъ Андрѣевъ сынъ Микулинъ ѣздили на разбой по Троицкой дорогѣ, изъ красной соснѣ, разбивать государевыхъ мужиковъ съ ихъ великихъ государей казною, и тѣхъ мужиковъ они разбили, и казну взяли себѣ, и двухъ человѣкъ мужиковъ убили до смерти. И про то ихъ воровство розыскивано, и по розыску онъ князь Яковъ Лобановъ взятъ съ двора и привезенъ былъ въ красному крыльцу въ простыхъ саняхахъ, и за то воровство учинено ему князь Якову наказанье: бить внудомъ въ желѣзномъ подлѣтѣ по упрису верховой боярину и мамы княгини Анны Никифоровны Лобановой-Ростовской. Да у него жъ князь Ивана отнято за то его воровство безповоротно четыреста дворовъ крестьянскихъ. А человѣка его полмыка, да назначая, за то воровство повѣсили. А Ивану Микулину за то учинено наказанье: бить внудомъ на площади нещадно, и отняты у него помѣстья и вотчины безповоротно, и розданы въ роздачу, и сосланъ былъ въ ссылку въ Сибирь, въ городъ Томскъ. — Въ томъ же году чинено наказанье Дмитрію Артѣмьеву сыну Камынину, бить внудомъ передъ помѣстнымъ приказомъ за то, что высребъ въ помѣстномъ приказѣ, въ тяжбѣ съ патриархомъ. — Въ томъ же году Богданъ Засѣцкой, и съ сыномъ, кладены на плаху, и снемъ съ плахи, биты внудомъ нещадно, а помѣстья и вотчины розданы были въ роздачу безповоротно. Дѣло у него было съ Петромъ Безтужевскимъ. — Въ томъ же году, въ земскомъ приказѣ пытанъ Иванъ Петровъ сынъ Булаковъ, по челобитію боярина князь Василья Васильевича Голицына, для того, что вымалъ у него сѣдѣ. Съ пытанъ онъ Иванъ не винился, сказалъ: «землю для того де въ платонъ взялъ и завязалъ, что ухватилъ его утинъ, и прежде сего то бывало, гдѣ его ухватить, тутъ де землю онъ и беретъ» (стр. 18—22). — Въ 201 году князь Александръ Борисову сыну Крупскому чинено наказанье: бить внудомъ за то, что онъ жену убилъ. — Въ томъ же году пытанъ черкасскій полковникъ Михайло Гадичкой въ государственномъ дѣлѣ. Съ пытанъ онъ ни въ чемъ не винился, очистился кровью и сосланъ въ ссылку. А который чернецъ на него доводилъ, назначенъ въ Черкасскомъ городѣ Батуринѣ. — Въ 202 пытанъ въ стрѣлецкомъ приказѣ Леонтій Кривцовъ за то, что онъ высребъ въ дѣлѣ, да и въ иныхъ разбойныхъ дѣлахъ, и сосланъ въ ссылку. — Въ томъ же году пытанъ и сосланъ въ ссылку Федоръ Борисовъ сынъ Перхуровъ за то, что онъ подъячого убилъ. — Въ томъ же году въ приказѣ сыскныхъ дѣлъ пытанъ дьякъ Иванъ Шапкинъ: съ подъячимъ своровали въ дѣлѣ въ приказѣ холопыя суда. — Въ томъ же году бить батою въ стрѣлецкомъ приказѣ Григорей Павловъ сынъ Языковъ за то, что своровалъ съ площаднымъ подъячимъ съ Яковомъ Алексѣевымъ: въ записи написали задними числами за пятнадцать лѣтъ. А подъячему вмѣсто внуда учинено наказаніе, бить батою на Ивановской площади, и отъ площади отставленъ. — Въ томъ же году, въ Семеновскомъ, бить внудомъ

дьякъ Иванъ Харлаковъ.—Въ томъ же году, въ стрѣлцкомъ приказѣ пытанъ Володимѣръ Ѳеодоровъ сынъ Закыцкой, въ подговорѣ дѣвокъ, по язычной молвіи Филиппа Давыдова.—Земского приказу дьякъ Петръ Вазынитинъ, передъ Московскими судными приказомъ подыманъ съ позовъ и, виѣсто кнута, бить батоги нещадно: своровалъ въ дѣлѣ, на правѣхъ ставилъ своего человѣка виѣсто отвѣтника (стр. 26—27).—Дворянинъ Сехенъ Кулешевъ бить кнутомъ за разные лживыя сказки.—Генваря въ... день въ стрѣлцкомъ приказѣ пытаны кошаиные дѣти боярскіе: Михайло Баженовъ, Петръ да Ѳеодоръ Ерлоковы, за воровство.—Генваря въ 24 день, на Потѣшномъ дворцѣ пытанъ бояринъ Петръ Аврамовичъ Лопуханъ прозвище Лапы, въ государственномъ въ великомъ дѣлѣ, и генваря въ 25 день въ ночи умеръ.

Въ тѣхъ же числѣхъ явились въ воровствѣ, по язычной молвіи, стольники Володимѣръ, да брать его Василей Шереметевъ, Князь Иванъ Ухтомскій пытанъ. Левъ да Григорей Игнатьевы дѣти Ползиковы, и они въ томъ дѣлѣ пытаны. Также явились и иные многіе. А языки на нихъ съ пытки говорили: *Ивашко Зябровъ съ товарищи, что на Москвѣ, они прїѣзжали среди бѣла дни къ посадскимъ мужикамъ, и дома ихъ грабили, и смертное убійство чинили и назывались большими. И Шереметевы свободены на поруки съ записками и даны для бережи боярину Петру Васильевичу Шереметеву. И послѣ того языки ихъ названы Ивашко Зябровъ съ товарищи (стр. 42).*—И того жъ 203 года измѣнилъ изъ Московскаго государства Ѳеодоръ Яковлевъ сынъ Дашковъ, и поѣхалъ было служить къ польскому королю, и пойманъ на рубежѣ, и приведенъ въ Смоленскъ и роспрашиванъ. А въ роспросѣ онъ передъ стольникомъ и воеводою передъ княземъ Борисомъ Ѳеодоровичемъ Долгорукимъ, въ томъ своемъ отъѣздѣ повинился. А изъ Смоленска присланъ олованъ къ Москвѣ въ посольской приказъ, а изъ посольскаго приказу освобожденъ *для того, что онъ далъ Емельяну Украинцову двѣсти золотыхъ.*—Дячей сынъ Константинъ Литвиновъ въ стрѣлцкомъ приказѣ бить батоги за то, что онъ обманулъ было на польскомъ дворѣ Грена: принесть сто рублей мѣдныхъ денегъ въ мѣсто серебрянныхъ, и съ тѣмъ былъ приведенъ въ стрѣлцкой приказъ.—Изъ того же приказу вожены въ застѣнокъ люди Тимофея Кирилова сына Кутузова два человѣка въ томъ, что они были великихъ государей слесаря и пару пистолей у него отняли. И въ застѣнѣ тѣ люди повѣшены на виску, да третей человѣкъ подымалъ же Петра Безтушева, и на пыткѣ онъ винился, что того слесарь они были по приказу Тимофея Кутузова, и самъ онъ Тимофей билъ и пару пистолей отнялъ (стр. 50—52).

Представивъ бытъ Россіи въ томъ видѣ, въ какомъ изображаютъ его намъ очевидцы, перейдемъ теперь къ тому свѣтлому, благодатному моменту въ исторіи нашего отечества, когда Петръ своими мощными «да будетъ» разогналъ тьмы хаоса,

отдѣлилъ свѣтъ отъ тьмы и воззвалъ страну великую къ бытію великому, назначенію всемірному.

II.

Россія тьмой была покрыта много лѣтъ:
Богъ рекъ: да будетъ Петръ — и бысть въ Россіи свѣтъ!

Старинное двустышіе.

«Борода принадлежитъ къ состоянію дикаго человѣка; не брить ее то же, что не стричь ногтей. Она закрываетъ отъ холоду только малую часть лица: сколько же неудобности лѣтомъ, въ сильный жаръ! сколько неудобности и зимою, носить на лицѣ иней, снѣгъ и сосульки! Не лучше ли имѣть муфту, которая грѣетъ не одну бороду, но все лице? Избирать во всемъ лучшее, есть дѣйствіе ума просвѣщеннаго; а Петръ Великій хотѣлъ просвѣтити умъ во всѣхъ отношеніяхъ. Монархъ объявилъ войну нашимъ стариннымъ обыкновеніемъ во первыхъ для того, что они были грубы, недостойны своего вѣка; вторыхъ и для того, что они препятствовали введенію другихъ, еще важнѣйшихъ и полезнѣйшихъ иностранныхъ новостей. Надлежало, такъ сказать, свернуть голову закоренѣлому русскому упрямству, чтобы сдѣлать насъ гибкими, способными учиться и перенимать...

Всѣ жалкія *тереміады* объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной фizioноміи, или ничто иное, какъ шутка или происходить отъ недостатка въ размышленіи. Мы не таковы, какъ бородатые предки наши: тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею и въ самомъ высшемъ состояніи: для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ.

Карамзинъ.

Для Россіи наступаетъ время сознанія. Несмотря на холодность и равнодушіе, въ которыхъ мы Русскіе не безъ причины упрекаемъ себя, у насъ уже недовольствуются общими мѣстами и истертыми понятіями, но хотятъ лучше ложно и

ошибочно судить, нежели повторять готовые и на вѣру, или по лѣности и апатіи принятые сужденія. Такъ, напримѣръ, многіе, не слыша новыхъ сужденій о Пушкинѣ и сомнѣваясь въ справедливости давно высказанныхъ и устарѣвшихъ, сомнѣваются и въ поэтическомъ величіи Пушкина. И это явленіе отрадно: оно выражаетъ потребность самостоятельной мыслительности, потребность истины, которая прежде и выше всего, даже самого Пушкина. *Amicus Plato, sed magis amica veritas*—премудрое изреченіе! Чтò истинно велико, то всегда устоитъ противъ сомнѣнія, и не падетъ, не умалится и не затмится, но еще болѣе укрѣпится, возвеличится и просвѣтится отъ сомнѣнія и отрицанія, которыя суть первый шагъ ко всякой истинѣ, исходный пунктъ всякой мудрости. Сомнѣнія и отрицанія боится одна ложь, какъ боится воды поддѣльные цвѣты и неблагородные металлы. Мы не разъ уже повторяли эту истину, говоря о людяхъ, отрицающихъ великость Пушкина, какъ поэта. Мы думаемъ діаметрально противоположно съ такими людьми; но если ихъ мнѣніе выходитъ не изъ какихъ-нибудь внѣшнихъ и предосудительныхъ причинъ, мы готовы съ ними спорить ради истины, и увѣрены, что только черезъ такіе споры явится истина и войдетъ въ общее сознаніе—сдѣлается общимъ убѣжденіемъ. Тѣмъ болѣе мы далеки оттого, чтобъ смотрѣть на такихъ людей, какъ на раскольниковъ, на искажителей истины, оскорбляющихъ память великаго поэта и чувство національной гордости. Скажемъ болѣе: мы понимаемъ, что могутъ быть и такіе отрицатели генія Пушкина, которые въ тысячу разъ достойнѣе уваженія многихъ безусловныхъ почитателей славы великаго поэта, повторяющихъ чужія слова. Явленіе такихъ отрицателей обнаруживаетъ не холодность общества къ истинѣ, но скорѣе раждающуюся любовь къ ней; ибо безусловное признаніе чего-нибудь безъ разсужденія, безъ повѣрки разумомъ, скорѣе, чѣмъ сомнѣніе и отрицаніе,

есть признакъ апатическаго равнодушія общества къ дѣлу истины. Нѣтъ, явленіе такихъ отрицателей въ молодомъ обществѣ есть признакъ раждающейся мыслительной жизни. Въ безусловномъ уваженіи къ авторитетамъ и именамъ иногда дѣйствительно выражается и любовь и жизнь, но любовь и жизнь безсознательная, простодушная, дѣтская, Смиѣнно же требовать, или желать, чтобъ общество неподвижно оставалось въ состояніи дѣтства, когда этого не требуютъ и не желаютъ отъ человѣка; а если онъ, вопреки законамъ развитія, останется навѣкъ ребенкомъ, то презируютъ его, какъ идіота. Говорятъ, что сомнѣніе подрываетъ истину: ложная, нелѣпая мысль! Если истина такъ слаба и безсильна, что можетъ держаться не сама собою, но охранительными кордонами и карантинами противъ сомнѣнія, то почему же она истина, и чѣмъ же она лучше и выше лжи, и кто же станетъ ей вѣрить? Говорятъ: отрицаніе убиваетъ вѣрованіе. Нѣтъ, не убиваетъ, а очищаетъ его. Правда, сомнѣніе и отрицаніе бываютъ вѣрными признаками нравственной смерти цѣлыхъ народовъ; но какихъ народовъ? — устарѣвшихъ, изжившихъ всю жизнь свою, существующихъ только механически, какъ живые трупы, подобно Византійцамъ, или Китайцамъ. И можетъ ли это относиться къ русскому народу, столь юному, свѣжему и дѣвственному, столь могучему родовыми, первосущными стихіями своей жизни, — народу, который съ небольшимъ во сто лѣтъ своей новой жизни, воззванный къ ней творящимъ глаголомъ царя-исполина, проявилъ себя и въ великихъ властителяхъ, и въ великихъ полководцахъ, и въ великихъ государственныхъ людяхъ, и въ великихъ ученыхъ, и въ великихъ поэтахъ; народъ, который, во сто лѣтъ своей новой жизни, уже составилъ себѣ великое прошедшее, «полный гордаго довѣрія покой» въ настоящемъ, по выраженію поэта, и котораго ожидаетъ еще болѣе великое, болѣе славное будущее? Нѣтъ, мы унизили бы

свое національное достоинство, еслибъ стали бояться духовной гимнастики, которая во вредъ только хилымъ членамъ одряхлѣвшаго общества, но которая въ крѣпость и силу молодому обществу, полному здоровья и рвенія! Жизнь проявляется въ сознаніи, а безъ сомнѣнія нѣтъ сознанія, такъ же, какъ для тѣла безъ движенія невозможно отправление органическихъ процессовъ и жизненнаго развитія. У души, какъ и у тѣла, есть своя гимнастика, безъ которой душа чахнетъ, впадая въ апатію бездѣйствія.

Въ предыдущей статьѣ мы говорили о томъ, какъ малосдѣлано у насъ для исторіи Петра Великаго, и какъ много наговорено о немъ. Въ самомъ дѣлѣ, ему писали похвальные слова, его прославляли и въ стихахъ, и въ прозѣ. Ломоносовъ сдѣлалъ его даже героемъ эпической поэмы, на манеръ «Энеиды». Въ подражаніе достохвальному и почтенному по цѣли своей труду Ломоносова, другіе поэты — съ неменьшимъ успѣхомъ — воспѣли Петра въ лиро-эпическихъ поэмахъ. Но все это, и хорошее и посредственное, какъ-то не шевелило души. Съ почтенными авторами всѣ соглашались безусловно въ похвалахъ Великому, но читали ихъ мало, или совсѣмъ не читали. Причиною тому было — что всѣ они и писали и пѣли какъ-то на одинъ манеръ и на одинъ голосъ, и въ формѣ ихъ фразъ замѣтно было какое-то утомительное однообразіе, свѣдѣтельствовавшее объ отсутствіи содержанія, т. е. мысли. Самые жаркія похвалы, самые восторженные изліянія удивленія къ Великому отличались какими-то оффиціальнымъ характеромъ. Такъ продолжалось до временъ Пушкина, который одинъ, какъ великій поэтъ и выразитель народнаго сознанія, умѣлъ говорить о Петрѣ языкомъ, достойнымъ Петра. Но въ сочиненіяхъ ученаго содержанія говорилось все по старому, съ тою только разницею противъ прежняго времени, что возбуждало уже не холодное согласіе, а скорѣе досаду. Нако-

нецъ, нѣсколько лѣтъ назадъ начали появляться какія-то темныя сомнѣнія въ безусловной непогрѣшимости главнаго дѣла Петра — преобразованія Россіи. Говорили, что зданіе этого преобразованія было построено безъ фундамента, ибо начато было сверху, а не снизу, что оно состояло въ однѣхъ внѣшнихъ формахъ и, не прививъ къ намъ истиннаго европеизма, только исказило нашу народность и обрѣзало крылья національному гению. Далѣе, въ нашей статьѣ, мы коснемся этихъ возраженій, какъ ни поверхностны и ни пусты они въ своей сущности; но теперь скажемъ только, что въ минуту ихъ появленія въ печати, они многимъ понравились и обратили на себя общее вниманіе. Одни какъ-будто увидѣли въ нихъ собственное мнѣніе, дотоѣ бывшее для нихъ самихъ неяснымъ; другіе, не соглашаясь съ ними, все-таки принимали ихъ не за общія фразы и надутые возгласы, а за самостоятельное и притомъ новое мнѣніе, а нѣкоторые даже удостоили ихъ энергическихъ, хотя и косвенно сдѣланныхъ возраженій. Итакъ, сомнѣніе, вмѣсто того, чтобъ охладить привязанность къ Петру, только усилило общій интересъ къ нему, какъ великому историческому явленію, заставило всѣхъ больше думать, и говорить, и писать о немъ. Но время скоро рѣшило вопросъ и неосновательность сомнѣній: теперь только люди, живущіе заднимъ числомъ, могутъ не шутя говорить, зачѣмъ начато преобразование сверху, а не снизу, съ вельможъ, а не съ мужиковъ, зачѣмъ придавали большую важность формамъ — одеждѣ, бородобритію и пр., зачѣмъ построили Петербургъ, и т. п. Итакъ, сомнѣніе не принесло никакого вреда, а только принесло пользу, ибо, проявившись, уничтожило себя самимъ же собою и повело къ другому сомнѣнію, которое, въ свою очередь, минетъ и уступить мѣсто если еще не истинѣ, то третьему сомнѣнію, которое приведетъ уже къ истинѣ. Теперь вопросъ о Петрѣ перешелъ въ ясное противорѣчіе: мно-

гіе, почитаая преобразованія, свершенныя Петромъ, столько же необходимыми, сколько и великими, благоговѣя передъ памятью преобразователя, въ то же время отрицають европеизмъ и усиливаясь не только отстоять и оправдать такъ называемое нѣкоторыми историческое развитіе и народность, уничтоженныя Петромъ, но и противопоставить, даже возвеличить ихъ предъ европеизмомъ. Какъ ни странно это противорѣчіе, но оно есть уже шагъ впередъ и выше прежняго утвердительнаго сомнѣнія, хотя и вышло прямо изъ него: лучше явно противорѣчить себѣ и тѣмъ какъ бы невольно признавать власть истины, нежели, ради любимаго и односторонняго убѣжденія, отвергать и прямо закрывать глаза на фактическую достовѣрность противорѣчащихъ доказательствъ.

Противорѣчіе, о которомъ мы говоримъ, чрезвычайно важно: въ его примиреніи заключается истинное понятіе о Петрѣ Великомъ. Одно уже это указываетъ на разумность этого противорѣчія. Рѣшеніе задачи состоитъ въ томъ, чтобъ показать и доказать: 1) что хотя народность и тѣсно соединена съ историческимъ развитіемъ и общественными формами народа, но что то и другое совѣтъ не одно и то же; 2) что и преобразование Петра Великаго, и введенный имъ европеизмъ нисколько не измѣнили и не могли измѣнить нашей народности, но только оживили ее духомъ новой и богатѣйшей жизни, и дали ей необъятную сферу для проявленія и дѣятельности.

Изъ ничего не бываетъ ничего, и великій человекъ не творитъ своего, но только даетъ дѣйствительное существованіе тому, что прежде его существовало въ возможности. Что всѣ усилія Петра были направлены противъ русской старины — это ясно какъ день Божій; но чтобъ онъ стремился уничтожить нашъ субстанціальный духъ, нашу національность — подобная мысль болѣе, чѣмъ неосновательна: она просто нелѣпа! Правда, если бываютъ народы съ великими субстанці-

ями, то бываютъ народы и съ ничтожными субстанціями, и если первыя неизмѣнимы, то вторыя могутъ уничтожаться даже отъ случайностей, даже сами собою, не только волею генія. Но за то, изъ этихъ вторыхъ никакой геній ничего и сдѣлать не можетъ: лучшее, что можно сдѣлать изъ свекловицы, — голову сахару; но только изъ гранита, мрамора и бронзы можно создать вѣковѣчный памятникъ. Еслибы русскій народъ не заключалъ въ духѣ своемъ зерна богатой жизни, — реформа Петра только убила бы его на смерть и обезсилила, а не оживила и не укрѣпила бы новою жизнію и новыми силами. Мы уже не говоримъ о томъ, что изъ ничтожнаго духомъ народа и не могъ бы выйти такой исполинъ, какъ Петръ: только въ такомъ народѣ могъ явиться такой царь, и только такой царь могъ преобразовать такой народъ. Еслибы у насъ и не было ни одного великаго человѣка, кромѣ Петра, и тогда бы мы имѣли право смотрѣть на себя съ уваженіемъ и гордостію, не стыдиться нашего прошедшаго и смѣло, съ надеждою смотрѣть на наше будущее...

Отчего у одного народа такая субстанція, у другого иная, — это почти такъ же невозможно рѣшить, какъ еслибъ дѣло шло и объ отдѣльномъ человѣкѣ. Если принять гипотезу, что народы образовались изъ семействъ, — то первую причиною ихъ субстанціи должно положить кровь и породу (гасе). Внѣшнія обстоятельства, историческое развитіе, также имѣютъ вліяніе на субстанцію народа, хотя въ свою очередь и сами зависятъ отъ нея. Но нѣтъ ни одной причины, на которую бы такъ смѣло можно было указать, какъ на климатъ и географическое положеніе страны, занимаемой народомъ. Всѣ южныя народы рѣзко отличаются отъ сѣверныхъ: умъ первыхъ живѣе, легче, яснѣе, чувство воспримчивѣе, страсти воспламеняемѣе; умъ вторыхъ медленнѣе, но основательнѣе, чувство спокойнѣе, но глубже, страсти воспламе-

няются труднѣе, но дѣйствуютъ тяжелѣе. Въ южныхъ народахъ преобладаетъ непосредственное чувство, въ сѣверныхъ — дума и размышленіе; въ первыхъ больше подвижности, во вторыхъ больше дѣятельности. Въ послѣднее время, сѣверъ далеко оставилъ за собою югъ въ успѣхахъ искусства, науки и цивилизаціи. — Есть большое различіе между народами горными и народами долинными; между народами приморскими, или островитянами, и между народами, отдаленными отъ моря. И это различіе не внѣшнее, но внутреннее; оно замѣчается въ самомъ духѣ, а не въ однихъ формахъ. Взглянемъ въ этомъ отношеніи на Россію. Колыбель ея была не въ Кіевѣ, но въ Новѣгородѣ, изъ котораго, черезъ Владиміръ, перешла она въ Москву. Суровое небо увидѣли ея младенческія очи, разгульныя вьюги пѣли ей колыбельныя пѣсни, и жестокіе морозы закалили ея тѣло здоровьемъ и крѣпостію. Когда вы ѣдете зимою на лихой тройкѣ, и снѣгъ трещитъ подъ полозьями вашихъ саней, морозное небо устѣяно мириадами звѣздъ, и взоръ вашъ съ тоскою теряется на необъятной снѣжной равнинѣ, осеребренной уединеннымъ скитальцемъ-мѣсяцемъ и мѣстами прерываемой покрытыми инеемъ деревьями, — какъ понятна покажется вамъ протяжная, заунывная пѣсня вашего ямщика, и какъ будетъ гармонировать съ нею однообразный звонъ колокольчика, «надрывающій сердце», по выраженію Пушкина! Грусть есть общій мотивъ нашей поэзіи — и народной и художественной. Русскій человѣкъ встарину не умѣлъ шутить забавно и весело: онъ шутилъ или плоско, или саркастически, и лучшія народныя пѣсни наши — грустнаго содержанія, протяжнаго и заунывнаго напѣва. Нигдѣ Пушкинъ не дѣйствуетъ на русскую душу съ такою неотразимою силою, какъ тамъ, гдѣ поэзія его проникается грустію, и нигдѣ онъ столько не націоналенъ, какъ въ грустныхъ звукахъ своей поэзіи. Вотъ что говоритъ онъ самъ о грусти, какъ основномъ элементѣ русской поэзіи:

Фигурно, нѣ буквально: всей семьей,
 Отъ ящика до перваго поэта,
 Мы всѣ поемъ уныло. Грустный вой,
 Пѣснь русская. Извѣстная притѣта:
 Начавъ за здравіе, за упокой
 Сведемъ какъ разъ. Печалію согрѣта
 Гармонія и нашихъ музъ и дѣтъ.
 Но нравится ихъ жалобный напѣвъ.

Но эта грусть — не болѣзнь слабой души, не дряблость
 немощнаго духа: нѣтъ, эта грусть могучая, безконечная,
 грусть натуры великой, благородной. Русскій человѣкъ упи-
 вается грустью, онъ не падаетъ подъ ея бременемъ, и нико-
 му не свойственны до такой степени быстрые переходы отъ
 самой томительной, надрывающей душу грусти къ самой бѣ-
 шеной, изступленной веселости. Въ этомъ случаѣ, поэзія
 Пушкина также великій фактъ: нельзя довольно надивиться
 ея быстрымъ переходамъ въ «Онѣгинѣ» отъ этой глубокой
 грусти, которой источникъ — безконечное духа, къ этой бод-
 рой и могучей веселости, источникъ которой — крѣпость и
 здоровость духа.

Итакъ, вотъ ужъ мы и нашли общее, которое связываетъ
 нашу простонародную поэзію съ нашею художественною, на-
 циональною поэзіею. Слѣдовательно, родовое, субстанціальное
 начало въ насъ не подавлено реформою Петра, но только по-
 лучило чрезъ нее высшее развитіе и высшую форму. И въ
 самомъ дѣлѣ, развѣ со временъ Петра пространство Россіи
 сѣзусилось, а не расширилось, развѣ степи наши не также
 просторны и раздолжны, снѣга ихъ покрывающіе не также
 бѣлы, и не также серебрить ихъ унылый свѣтъ мѣсяца?...
 Какія хорошія свойства русскаго человѣка, отличающія его
 не только отъ иноплеменниковъ, но и отъ другихъ славян-
 скихъ племенъ, даже находящихся съ нимъ подъ однимъ ски-
 петромъ? Бодрость, смѣлость, находчивость, сметливость,

переничивость, — на обуѣ рожь молотить, зерна не обро-
нить, нужно учиться калачи ѣсть, — молодечество, разгулъ,
удальство, — и въ горе и въ радости море по колѣно! Но
развѣ европеизмъ можетъ изгладить эти коренныя, субстан-
ціалныя свойства русскаго народа? Развѣ образованный рус-
скій человѣкъ теперь нѣ такъ же, какъ и прежде, разма-
шистъ и въ горѣ и въ радости, и не родной братъ тому, кото-
рый нѣкогда, приложивъ руку къ уху, пѣвалъ богатырскимъ
голосомъ на весь Божій міръ:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота ли, глубота океанъ-море,
Широко раздолье по всей землѣ,
Глубоки омуты днѣпровскіе.

Смѣшно думать, что европеизмъ есть какой-то уровень,
все сравнивающий, сглаживающій, подводящій подъ одинъ
цвѣтъ! Англичанинъ, Французъ, Нѣмецъ, Голландецъ, Швей-
царецъ, — всѣ они равно Европейцы, во всѣхъ ихъ есть
много общаго, но національныя различія ихъ непримиримо рѣз-
ки, и никогда не изгладятся: для этого нужно было бы сперва
уничтожить ихъ исторію, измѣнить природу ихъ странъ, пере-
родить самую кровь ихъ.

Національность нельзя характеризовать и въ цѣлой книгѣ,
не только въ журнальной статьѣ, особенно національность
народа, который недавно началъ жить и еще весь погруженъ
въ своею настоящимъ. Нѣкоторые имѣютъ привычку указы-
вать на Англичанъ, которые любятъ отпускать національныя
фарсы; варварскіе и нелѣпыя, и до сихъ поръ оставляютъ су-
ществовать нѣкоторые обычаи дикой и невѣжественной стари-
ны, отъ набитаго шерстью мѣшка, на которомъ сидятъ члены
парламента, до права продавать на рынкѣ жену свою. Эти госпо-
да любятъ подобными ссылками дѣлать упреки равнодушію, съ
которымъ мы, Русскіе, расстаемся съ преданіями нашей ста-

рины, и готовности, съ которою мы принимаемъ и усвоиваемъ себѣ все новое. Чтò до насъ, — каемся въ грѣхѣ, мы видимъ въ этомъ хорошую черту нашей національности, залогъ нашего будущаго величія и ужь, разумѣется, не униженія, а превосходства надъ Англичанами, которые, впрочемъ, во всемъ другомъ великая нація, но только въ этомъ не могутъ и не должны быть для насъ примѣромъ, а сдѣлали бь лучше, еслибъ намъ подражали. Да, это великая черта русскаго народа: она показываетъ, что мы имѣемъ способность и желаніе безусловно отрѣшиться отъ всего дурнаго; чтò же до хорошаго, которое составляетъ основу и сущность нашего національнаго духа, — оно вѣчно, непреходяще, и мы не могли бы отъ него отрѣшиться, еслибъ и захотѣли. Но мы болѣе, нежели кто-либо другой имѣемъ возможность и право не стыдиться нашихъ національныхъ недостатковъ и пороковъ, и громко говорить о нихъ. Национальные пороки бываютъ двухъ родовъ: одни выходятъ изъ субстанціальнаго духа, — какъ напримѣръ, политическое своекорыстіе и эгоизмъ Англичанъ; религіозный фанатизмъ и изуверство Испанцевъ; мстительность и склонный къ хитрости и коварству характеръ Итальянцевъ, — другіе бываютъ слѣдствіемъ несчастнаго историческаго развитія и разныхъ внѣшнихъ и случайныхъ обстоятельствъ, какъ напримѣръ, политическое ничтожество итальянскихъ народовъ. И потому, одни національные пороки можно назвать субстанціальными, другіе прививными. Мы никакъ не думаемъ, чтобъ наша національность была верхъ совершенства: подь солнцемъ нѣтъ ничего совершеннаго; всякое достоинство условливаетъ собою и какой-нибудь недостатокъ. Всякая индивидуальность уже по тому самому есть ограниченіе, что она индивидуальность; всякій же народъ—индивидуальность, подобная отдѣльному человеку. Съ насъ довольно и того, что наши національные недостатки не могутъ насъ

унизить предъ благороднѣйшими націями въ челоѣчествѣ. Что же до прививныхъ,—чѣмъ громче будемъ мы о нихъ говорить, тѣмъ больше покажемъ уваженія къ своему достоинству; чѣмъ съ большею энергіею будемъ ихъ преслѣдовать, тѣмъ больше будемъ способствовать всякому преуспѣванію въ благѣ и истинѣ. Внутренній порокъ — болѣзнь, съ которою рождается нація, — болѣзнь, отверженіе которой иногда можетъ стоять жизни; прививной порокъ — наростъ, который, будучи срѣзанъ, хотя бы и безъ боли, искусною рукою оператора, ничего не отнимаетъ у тѣла, а только освобождаетъ его отъ безобразія и страданія. Недостатки нашей народности вышли не изъ духа и крови націи, но изъ неблагопріятнаго историческаго развитія. Варварскія тевтонскія племена, нахлынувъ на Европу бурнымъ потокомъ, имѣли счастье столкнуться лицомъ къ лицу съ классическимъ геніемъ Греціи и Рима—съ этими благородными почвами, на которыхъ выросло широколиственное, величественное древо европеизма. Дряхлый, изнеможенный Римъ, передавъ имъ истинную вѣру, въ послѣдствіи времени передалъ имъ и свое гражданское право; познакомивъ ихъ съ Virgiliemъ, Horatiemъ и Tacitumъ, онъ познакомилъ ихъ и съ Гомеромъ, и съ трагиками, и съ Плутархомъ, и съ Аристотелемъ. Раздѣляясь на множество племенъ, они какъ-будто столпились на пространствѣ, недостаточномъ для ихъ многолюдства, и безпрестанно, такъ-сказать, ударяясь другъ о друга; какъ сталь о камень, чтобъ извлекать изъ себя искры высшей жизни. Жизнь Россіи, напротивъ, началась изолированно, въ пустыняхъ, чуждой общаго челоѣческаго развитія. Первоначальныя племена, изъ которыхъ въ послѣдствіи сложилась масса ея народонаселенія, занимаая одинаково-долинные страны, похожія на однообразныя степи, не заключали въ себѣ никакихъ рѣзкихъ различій и не могли дѣйствовать другъ на друга въ пользу развитія

гражданственности. Богемія и Польша могли бы ввести Россію въ соотношенія съ Европою и сами по себѣ быть полезны ей, какъ племена характерныя; но ихъ навсегда раздѣлила съ Россіею враждебная разность вѣроисповѣданій. Слѣдовательно, отъ Запада Россія была отрѣзана въ самомъ началѣ бытія своего. Княжества враждовали между собою, но въ этой враждѣ не было разумнаго начала, и потому изъ нея не вышло никакихъ важныхъ результатовъ. Удивительно ли послѣ того, что исторія удѣльныхъ междоусобій такъ безсмысленна и скучна, что ей не могло придать никакого интереса даже и краснорѣчивое повѣствованіе Карамзина?... Нахлынули Татары, и спаяли разрозненные члены Россіи ея же кровью. Въ этомъ состояла великая польза татарскаго двухъ вѣковаго ига; но сколько же сдѣлало оно и зла Россіи, сколько привило ей пороковъ! Затворничество женщинъ, привычка зарывать въ землю деньги и ходить въ лохмотьяхъ отъ боязни обнаружить свое богатство, лихоимство, азіатизмъ въ образѣ жизни, лѣнь ума, невѣжество, презрѣніе къ себѣ, — словомъ, все то, что искоренялъ Петръ Великій, что было въ Россіи прямо противоположно европеизму, — все это было не наше родное, но привитое къ намъ Татарами. Самая нетерпимость Русскихъ къ иностранцамъ вообще была слѣдствіемъ татарскаго ига: Татаринъ сдѣлалъ отвратительнымъ въ понятіи Русскихъ всякаго, кто не былъ Русскимъ, — и слово басурманъ отъ Татаръ перешло и на другихъ. Что самыя важнѣйшіе недостатки нашей народности не наши существенные, кровные, но прививные, — лучшее доказательство въ томъ, что мы имѣемъ полную возможность освободиться отъ нихъ, и уже отъ многихъ освободились и освобождаемся. Обратите вниманіе, напримѣръ, на лихоимство. Благодаря преобразованіямъ Петра, у насъ не замедлило явиться противоборство этому общему злу. Къ чести нашей литературы, — въ ней въ первой возникла эта

благородная, благотворительная оппозиція. Муза Сумарокова объявила непримиримую войну подъячимъ и клеймила лихоимство и казнокрадство печатію позора и отверженія. Замѣтимъ мимоходомъ, что въ этомъ отношеніи, литературное направленіе Сумарокова было, такъ-сказать, жизненнѣе чисто-риторическаго направленія Ломоносова, — и вотъ причина, почему бездарный Сумароковъ былъ любимѣе, а даровитый Ломоносовъ — только уважаемѣе публикою своего времени. «Ябеда» Капниста была сильнымъ ударомъ ябедѣ. Нахимовъ составилъ себѣ громкое имя въ литературѣ своего времени постояннымъ вдохновеніемъ противъ кривосудія. Хотя остроуміе Фонъ-Визина было устремлено преимущественно противъ невѣжества, но мимоходомъ доставалось отъ него порядкомъ и сутяжничеству. Въ наше время, «Ревизоръ» Гоголя явился истиннымъ бичомъ этого порока, который, благодаря успѣхамъ просвѣщенія и благотворнымъ усиліямъ правительства, уже прячется въ норы... Говоря о заслугахъ литературы святому дѣлу преслѣдованія лихоимства бичомъ сатиры, нельзя не упомянуть и о Грибоѣдовѣ: хотя его безсмертная комедія устремлена и не прямо противъ этой гидры стоголавой, но горящія клейма наложилъ онъ на ея безстыдные лбы стихами, подобными слѣдующимъ:

Какъ будешь представлять къ крестинку, нль мѣстечку —

Ну, какъ не порадовать родному человѣчку?

И благородныя усилія литературы не остались тщетными: общество отозвалось на нихъ. Замѣчательно, что даже посредственныя сочиненія въ этомъ духѣ и направленіи всегда принимались нашею публикою съ особеннымъ восторгомъ, вмѣсто того, чтобъ оскорблять ее. Наконецъ, стали появляться люди, которые, уже не боясь прослыть за людей безпокойныхъ и не стыдясь названія глупцовъ, гордецовъ, выскочекъ и мечтателей, говорятъ въ слухъ, что скорѣе го-

товы умереть съ голоду, нежели богатѣть воровствомъ, — и съ голоду не умираютъ, а если и богатѣютъ, то честными средствами. Хотя такіе являются не тысячами, но все-таки число ихъ умножается со дня на день. До временъ же Петра Великаго, ихъ не было. Слѣдовательно общество наше идетъ впередъ, и не теряя своей національности, только разстается съ дурными привычками. И уже близко то время, когда не останется и слѣдовъ ихъ. А это дѣйствительно привычки — не болѣе, ибо съ чѣмъ можно разстаться, отчего можно отрѣшиться, — то не въ крови, не въ духѣ: то просто дурныя привычки, пріобрѣтенныя въ дурномъ обществѣ, при дурномъ воспитаніи. Только тѣ пороки дѣлаютъ безчестіе націи, которые неистребимы, несправимы.

Вообще, всѣ недостатки и пороки нашей общественности выходили изъ невѣжества и непросвѣщенія: и потому свѣтъ знанія и образованности разгоняетъ ихъ, какъ восходъ солнца ночные туманы. Пороки Китайца и Персіянина слиты съ ихъ духомъ: просвѣщеніе сдѣлало бы ихъ только утонченнѣе, коварнѣе и развратнѣе, но не благороднѣе. Просвѣщеніе дѣйствуетъ благотѣльно только въ такомъ народѣ, въ которомъ есть зерно жизни. Мы уже представили самый разительный фактъ, какъ неопровержимое доказательство, что въ русскомъ обществѣ есть здоровое и плодотворное зерно жизни. Прибавимъ къ этому, что многого можно надѣяться отъ народа, который, послѣ Нарвскаго сраженія, далъ Полтавскую и Бородинскую битвы, потрясъ Турецкую имперію и, какъ сказалъ его великій поэтъ, «повалилъ въ бездну кумирь, тяготѣющій надъ царствами, и кровью своею искупилъ свободу, честь, спокойствіе Европы?...» Едва пробудившись къ жизни, онъ громомъ побѣдъ возвѣстилъ Европѣ о своемъ пробужденіи; едва примкнувшись къ Европѣ, онъ уже рѣшилъ ея великое дѣло, далъ отвѣтъ на мудрый вопросъ...

Духъ народный всегда былъ великъ и могущъ: это доказываетъ и быстрая централизація московскаго царства, и Мамаевское побоище, и сверженіе татарскаго ига, и завоеваніе темнаго Казанскаго царства, и возрожденіе Россіи, подобно Фениксу, изъ собственнаго пепла въ годину междоцарствія, когда, подобно восходящему солнцу, прогоняющему призраки ночи и предразсвѣтную мглу, на престолъ, по единодушному избранію народа, возшелъ благословенный домъ Романовыхъ, даровавшій Россіи Петра Великаго и цѣлый рядъ знаменитыхъ и славныхъ властителей, возвеличившихъ и облагодѣтельствовавшихъ вѣренныи Богомъ попеченію ихъ народъ. Это же доказываетъ и обиліе въ такихъ характерахъ и умахъ государственныхъ и ратныхъ, каковы были — Александръ Невскій, Іоаннъ Калита, Симеонъ Гордый, Дмитрій Донской, Іоаннъ III, Іоаннъ Грозный, Андрей Курбскій, Воротынский, Шешнь, Годуновъ, Басмановъ, Скопинъ-Шуйскій, князь Дмитрій Пожарскій, мѣщанинъ Мининъ, святители Алексій, Филиппъ, Гермогенъ, келарь Авраамій Палицынъ... Это же доказываютъ и произведенія народной поэзіи, запечатлѣнной богатствомъ фантазій, силою выраженія, безконечностію чувства, то бѣшено-веселаго, размашистаго, то грустнаго, заунывнаго, но всегда крѣпкаго, могучаго, которому тѣсно и на улицѣ, и на площади, которое проситъ для разгула дремучаго лѣса, раздолья Волги-матушки, широкаго поля... Но такова участь даже и великаго народа, если враждебная судьба, или неблагоприятное историческое развитіе лишаютъ его потребной ему сферы, и для необъятной силы его духа не даютъ приличнаго ей содержанія: въ минуты испытанія, когда малые духомъ народы падаютъ, онъ просыпается, какъ левъ, окруженный ловцами, грозно сотрясаетъ свою гриву и ужаснымъ рыканіемъ оледеняетъ сердца своихъ враговъ. Прошла буря — и онъ опять погружается въ свою дремоту, не извлекая изъ потре-

сенія благопріятныхъ результатовъ для своей цивилизаціи. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ великіе перевороты и испытанія судьбы только обнаружили великій характеръ русскаго народа, роковой 1812 годъ, пронесшійся надъ Россіею грозною тучею, напрягшій всѣ ея силы, не только не ослабилъ ея, но еще и укрѣпилъ, и былъ прямою причиною ея новаго, высшаго благоденствія, ибо открылъ новые источники народнаго богатства, усилилъ промышленность, торговлю, просвѣщеніе. Вотъ какая разница между однимъ и тѣмъ же народомъ, въ его непосредственномъ, естественномъ и патріархальномъ состояніи, и въ разумномъ движеніи его историческаго развитія! Въ первомъ состояніи, и великое событіе у народа рождается какъ бы безъ причины, и оканчивается безъ результатовъ,— и потому его исторія лишена всякаго общаго интереса; во второмъ состояніи, даже всякое событіе имѣетъ разумную причину и разумное слѣдствіе, и составляетъ шагъ впередъ,— и его исторія полна драматическаго интереса, движенія, разнообразія, поэтически-интересна, философски-поучительна, политически-важна. Но народъ одинъ и тотъ же, и Петръ не пересоздалъ его (такого дѣла, кромѣ Бога, никто бы не могъ совершить), а только вывелъ его изъ кривыхъ, избитыхъ тропинокъ на столбовую дорогу всемірно-исторической жизни. Шереметевъ, Меншиковъ, Репнинъ, Долгорукій, Апраксинъ, Шафировъ, Голицынъ (Михаилъ), Головинъ, Головкинъ,— всѣ эти люди, одаренные такими блестящими талантами, «сіи птенцы гнѣзда Петрова», по выраженію Пушкина, были природные Русскіе и родились въ царствованіе Алексія Михайловича—въ Кошихинскія времена Россіи. Итакъ, Петръ отрицалъ и уничтожалъ въ народѣ несущественное и кровное, но наросшее и привившееся, и тѣмъ отвергъ новые пути въ духѣ народа, до того времени остававшіеся затворенными, для принятія новыхъ идей и новыхъ дѣлъ. Обвиняющимъ его въ по-

нравѣ и уничтоженіи народнаго духа Петръ имѣлъ бы полное право отвѣтить: «не думайте, что пришелъ нарушить законъ, или пророковъ: я не нарушить пришелъ, но исполнить...»

Читатели наши могли видѣть вѣрную картину общественнаго и семейнаго быта Россіи — въ выпискахъ, сдѣланныхъ нами въ предыдущей статьѣ изъ книги Кошкина, изданной нашимъ просвѣщеннымъ правительствомъ. Они могли видѣть, что въ Россіи до Петра Великаго не было ни торговли, ни промышленности, ни полиціи, ни гражданской безопасности, ни разнообразія нуждъ и потребностей, ни военнаго устройства, ибо все это было слабо и ничтожно, потому что было не закономъ, а обычаемъ. А нравы? Сколько тутъ азіятскаго, татарскаго! Сколько простонароднаго и грубаго въ пирахъ! Сравните эти тяжелыя ядѣнья, это нефѣроатное питье, эти грубыя цѣлованія, эти частыя стуканья лбомъ объ полъ, эти китайскія церемоніи, — сравните съ турнирами среднихъ вѣковъ, съ европейскими пиршествами XVII столѣтія... Вспомните, каковы были наши брадатые рыцари и кавалеры! каковы были наши бойкія дамы, потягивавшія «горькое»!... Все это нисколько не нравственно, и не эстетично... Но все это опять-таки нисколько не относится къ униженію народа ни въ нравственномъ, ни въ философскомъ отношеніи: ибо все это было слѣдствіемъ изолированнаго отъ Европы историческаго развитія и слѣдствія вліянія татарщины. Лишь только отворилъ Петръ двери своему народу на свѣтъ Божій, мало-по-малу тьма невѣжества разсѣялась: народъ не выролдился, не уступилъ своей родной почвы другому племени, но уже сталъ не тотъ и не такой, какъ былъ прежде... Да, господа защитники старины, воля ваша, а Петру Великому мало конной статуи на Исакиевской площади: алтари должно воздвигнуть ему на всѣхъ площадяхъ и улицахъ великаго царства русскаго!... Защитники нашей патріархальной старины обыкновенно говорятъ, что и

въ Европѣ, во времена варварства, было не лучше, чѣмъ у насъ. Но у насъ въ XVIII вѣкѣ (до царствованія Екатерины Великой) было то, что въ Европѣ было въ VI и V вѣкахъ — были пытки, изуверство, суевѣріе и пр. Но, что всего важнѣе, въ Европѣ было развитіе жизни, движеніе идеи; подлѣ яда тамъ росло и противоядіе—за ложнымъ или недостаточнымъ опредѣленіемъ общества тотчасъ же слѣдовало и отрицаніе этого опредѣленія другимъ, болѣе соответствовавшимъ требованію времени опредѣленіемъ.

Нѣкоторые думаютъ, что Россія могла бы сблизиться съ Европою безъ насильственной реформы, безъ отторженія, хотя бы и временнаго, отъ старины, но собственнымъ развитіемъ, собственнымъ геніемъ. Это мнѣніе имѣетъ всю виѣшность истины, и потому блестяще и обольстительно; но внутри пусто: его опровергаетъ самый опытъ,—факты исторіи. Никогда Россія не сталкивалась съ Европою такъ близко, такъ лицомъ къ лицу, какъ въ эпоху междоцарствія. Есть фактъ еще больше поразительный: это—Новгородъ. Прекрасно русское выраженіе: «новгородская вольница», и странно мнѣніе многихъ ученыхъ, которые отъ чистаго сердца, т. е. не шутя, видѣли въ Новгородѣ — живой членъ ганзеатическаго союза. Правда, Новгородцы были друзья «Нѣмцамъ», безпрестанно обращались съ ними; но нѣмецкія идеи и не коснулись ихъ. Это была «вольница»; порабощеніе Новгорода Іоанномъ III и Іоанномъ Грознымъ было дѣломъ, оправдывающимся не только политикою, но и нравственностію. Отъ созданія міра не было болѣе безтолковой и каррикатурной республики! Она возникла, какъ возникаетъ дерзость раба, который видитъ, что его господинъ боленъ изнурительной лихорадкой и уже не въ силахъ справиться съ нимъ какъ должно; она исчезла, какъ исчезаетъ дерзость этого раба, когда его господинъ выздоравливаетъ. Оба Іоанны понимали это: они не завоевывали, но умирляли

Новгородъ, какъ свою взбунтовавшуюся отчину. Усмиреніе это не стояло имъ никакихъ особенныхъ усилій: завоеваніе Казани было въ тысячу разъ труднѣе для Грознаго... Нѣтъ! была стѣна, отдѣлявшая Россію отъ Европы: стѣну эту могъ разбить только какой-нибудь Сампсонъ, который и явился Руси въ лицѣ ея Петра. Наша исторія шла иначе, чѣмъ исторія Европы, и наше очеловѣченіе должно было совершиться также иначе. Нецивилизованные народы образуются безусловнымъ подражаніемъ цивилизованнымъ. Сама Европа доказываетъ это: Италія называла остальную Европу варварами, и эти варвары безусловно подражали ей во всемъ—даже въ порокахъ. Могла ли Россія начинать съ начала, когда передъ ея глазами былъ уже конецъ? Неужели ей нужно было начать, напримѣръ, военное искусство съ той точки, съ которой оно началось въ Европѣ во времена феодализма, когда въ нее стрѣляли изъ пушекъ и мортиръ, а нестройную толпу ея могли поражать стройные ряды, вооруженные штыками, повертывавшіеся по командѣ одного человѣка? Смѣшная мысль! Если же Россія должна была изучать военное искусство въ томъ состояніи, въ какомъ было оно въ Европѣ XVII вѣка, то должна была учиться и математикѣ, и фортификаціи, и артиллерійскому и инженерному искусству, и навигаціи; слѣдственно, могла ли она приниматься за геометрію не прежде, какъ ариметика и алгебра уже укоренятся въ ней и ихъ изученіе окажетъ полныя и равныя успѣхи во всѣхъ сословіяхъ народа? Однообразіе въ одеждѣ для солдатъ не прихоть, а необходимость. Русская одежда не годилась для солдатской униформы, слѣдовательно необходимо должно было принять европейскую; а какъ же можно было сдѣлать это съ одними солдатами, не побѣдивъ отвращенія къ иностранной одеждѣ въ цѣломъ народѣ? И что бы за отдѣльную націю въ народѣ представляли собою солдаты, еслибы всѣ прочіе ходили съ бородами, въ балахонахъ и безъ

образныхъ сапожищахъ? Чтобъ одѣть солдатъ, нужны были фабрики (а ихъ не было): неужели же для этого надобно было ожидать свободнаго и естественнаго развитія промышленности? При солдатахъ нужны офицеры, а офицеры должны быть изъ сословія высшаго нежели то, изъ котораго набирались солдаты, и на ихъ мундиры нужно было сукно потоньше солдатскаго: такъ неужели же это сукно слѣдовало покупать у иностранцевъ, платя за него русскими деньгами, или дожидаться, пока (лѣтъ въ 50) фабрики солдатскаго сукна прійдутъ въ совершенство и изъ нихъ разовьются тонко-суконныя фабрики? Что за нелѣпости! Нѣтъ, въ Россіи надо было начинать все вдругъ, и высшее предпочитать низшему: фабрики солдатскаго сукна фабрикамъ мужицко-сермяжнаго сукна, академію уѣзднымъ училищамъ, корабли — баркамъ. Мало основать уѣздныя училища: надо было дать имъ учителей, которыхъ всего лучше могла образовать академія; надо было составить учебныя руководства, что опять могла сдѣлать только академія. Что ни говорите о бѣдности нашей литературы и ничтожности нашей книжной торговли, однако инныя книги у насъ раскупаются же, и инныя книгопродавцы одними періодическими изданіями имѣли же въ ежегодномъ оборотѣ по 250,000 рублей! А отчего это произошло? — Оттого, что наша великая Императрица, Екатерина II, заботилась о созданіи литературы и публички, заставила читать дворъ, отъ котораго, мало-по-малу, охота къ чтенію перешла, черезъ высшее дворянство, къ среднему, отъ него къ чиновническому люду, а теперь уже начинается переходить и къ купечеству.

Да, у насъ все должно было начинать сверху внизъ, а не снизу вверхъ, ибо въ то время, какъ мы почувствовали необходимость сдвинуться съ мѣста, на которомъ дремали столько вѣковъ, мы уже увидѣли себя на высотѣ, которую другіе взяли приступомъ. Разумѣется, на этой высотѣ увидѣлъ себя не

народъ (въ такомъ случаѣ, ему не для чего было бы и подыматься), а правительство, и то въ лицѣ только одного человека—царя своего. Петру некогда было медлить: ибо дѣло шло уже не о будущемъ величіи Россіи, а о спасеніи ея въ настоящемъ. Петръ явился въ-время: опоздай онъ четвертью вѣка, и тогда—спасай или спасайся кто можетъ!... Провидѣніе знаетъ, когда послать на землю человека. Вспомните, въ какомъ тогда состояніи были европейскія государства, въ отношеніи къ общественной, промышленной, административной и военной силѣ, и въ какомъ состояніи была тогда Россія во всѣхъ этихъ отношеніяхъ! Мы избалованы нашимъ могуществомъ, оглушены громомъ нашихъ побѣдъ, привыкли видѣть стройныя громады войскъ, и забываемъ, что всему этому только 132 года (считая отъ побѣды подъ Лѣснымъ—первой великой побѣды, одержанной русскими регулярными войсками надъ Шведами). Мы какъ-будто все думаемъ, что это было у насъ искони вѣковъ, а не съ Петра Великаго. Мы уже забыли и то, что при Петрѣ Великомъ, у Россіи явился опасный сосѣдъ—Карлъ XII, которому нужны были и люди и деньги, и который умѣлъ бы распорядиться и тѣмъ и другимъ, слѣдуя русской пословицѣ: «даровому коню въ зубы не смотрять». Любовь къ отечеству, могущество народнаго духа и богатство въ матеріальныхъ средствахъ—дѣйствительно сильныя орудія. Но воскресите героевъ Термопиль, Марафона, Платей, вонновъ Лакедемона, фаланги Македонянъ, когорты Рима, составьте изъ всѣхъ ихъ одно войско, сдѣлайте Мильтіада,Themistoclea, Кимона, Аристиду, Перикла, Фабія, Камилла, Сципіона, Марія начальниками отрядовъ, а въ главнокомандующіе дайте имъ Александра Македонскаго и Юлія Цезаря: это ужасное войско исполнивъ не устоитъ противъ пяти полковъ нашего времени подъ командою не Наполеона, а хоть кого-нибудь изъ его генераловъ. Сила солову ломить, говоритъ по-

словаца, а умъ, вооруженный наукою, искусствомъ и вѣковымъ развитіемъ жизни, ломить и силу, прибавили бы мы. Нѣтъ, безъ Петра Великаго, для Россіи не было никакой возможности естественнаго сближенія съ Европою. Повторяемъ: Петру некогда было медлить и выжидать. Какъ прозорливый кормчій, онъ во время тишины предузналъ ужасную бурю и велѣлъ своему экипажу не щадить ни трудовъ, ни здоровья, ни жизни, чтобъ приготовиться къ напору волнъ, порывамъ вѣтра,—и всеъ изготовились хоть и нехотя,—и настала буря, но хорошо приготовленный корабль легко выдержалъ ее неистовую силу,—и нашлись недалъновидные, которые стали роптать на кормчаго, что онъ напрасно такъ беспокоилъ ихъ! Нельзя ему было сѣять и спокойно ожидать, когда прозаябнетъ, взойдетъ и созрѣетъ брошенное сѣмя: одной рукою бросая сѣмена, другою хотѣлъ онъ тутъ же и пожинать плоды ихъ, нарушая обычные законы природы и возможности,—и природа отступила для него отъ своихъ вѣчныхъ законовъ, и возможность стала для него волшебствомъ. Новый Навинъ, онъ останавливалъ солнце въ пути его, онъ у моря отторгалъ его довременныя владѣнія, онъ изъ болота вывелъ чудный городъ. Онъ понималъ, что полумѣры никуда не годятся и только портятъ дѣло; онъ понималъ, что коренные перевороты въ томъ, что сдѣлано вѣками, не могутъ производиться вполонину, что надо дѣлать или больше, чѣмъ можно сдѣлать, или ничего не дѣлать, и понималъ, что на первое станетъ его силъ. Передъ битвою подъ Лѣснымъ, онъ позади своихъ войскъ поставилъ козаковъ съ строгимъ приказаніемъ убивать безъ милосердія всякаго, кто побѣжитъ вспять, даже и его самого, если онъ это сдѣлаетъ ¹⁾. Такъ точно поступилъ онъ и въ войнѣ съ невѣжествомъ: выстроивъ противъ него весь народъ свой, онъ

¹⁾ Голицынь Т. III, стр. 20 стараго изданія.

отрѣзалъ ему всякій путь къ отступленію и бѣгству. Будь полезенъ государству, учись,—или умирай: вотъ что было написано кровью на знамени его борьбы съ варварствомъ. И потому, все старое безусловно должно было уступить мѣсто новому, и обычаи, и нравы, и дома, и улицы, и служба. Говорять, дѣло въ дѣлѣ, а не въ бородѣ; но что жъ дѣлать, если борода ишла дѣлу? Такъ вонъ же ее, если сама не хочетъ валиться.....

Построеніе Петербурга тоже ставится многими въ упрекъ его великому основателю. Говорятъ: на краю огромнаго государства, на болотахъ, въ ужасномъ климатѣ, много стѣяло жертвъ, и пр.; но вопросъ въ томъ: было ли это необходимо, и можно ли было поступить иначе? Петръ долженъ былъ оставить Москву—тамъ шипѣли противъ него бороды; ему нужно было отвести безопасный пріютъ европеизму, сдѣлать этого гостя семейнымъ, своимъ человѣкомъ, чтобъ незамѣтно и тихо могъ онъ дѣйствовать на Россію и быть громовымъ отводомъ для невѣжества и изуверства. Для такого пріюта ему нужна была почва совершенно новая, безъ преданій, гдѣ бы его Русскіе очутились совершенно въ новой сферѣ и не могли бы сами собою не измѣниться въ обычаяхъ и привычкахъ жизни. Ему нужно было свести ихъ съ иностранцами и связать съ ними и службою, и торговлею, и согражданствомъ, поставить ихъ съ ними въ безпрестанное соприкосновеніе. Для этого была необходима завоеванная земля, необходимо, чтобъ она могла быть отечествомъ и для иностранцевъ, которыхъ невозможно было въ большомъ числѣ переманить въ Москву, и для Русскихъ, которые только вначалѣ неохотно селились тамъ, но потомъ, увидѣвъ тамъ центръ правительства, тянулись туда какъ желѣзо къ магниту. А гдѣ же могло быть лучшее для этого мѣсто, какъ не въ «отбитомъ у Шведа краѣ»? А великая идея создать флотъ и положить начало заграничной тор-

говлѣ не чрезъ посредство иностранцевъ, какъ въ Архангельскѣ, а прямо, собственною дѣятельностію, и не съ одними Англичанами, но совсѣмъ земнымъ шаромъ? — Гдѣ же лучшее для этого мѣсто, какъ не при четверномъ устьѣ Невы? Стоить только обратить вниманіе на важность Кронштадта для Петербурга, чтобъ увидѣть, какъ геніяльны и непогрѣшительны были соображенія Петра Великаго. Почему бы ему было не перенести столицу на берега Чернаго или Азовскаго Моря? Потому что ему, кромѣ флота и заграничной торговли, море нужно было и для успѣховъ европеизма отъ сосѣдства съ европейскимъ народомъ. Азовское или Черное море сблизило бы насъ съ Татарами, Калмыками, Черкесами и Турками, а не съ Европейцами. Для Одессы важно сосѣдство Турціи, въ которую она отпускаетъ огромное количество пшеницы; но оно не было бы важно для Петербурга, ибо Одесса только портовой и торговый городъ, а Петербургъ, сверхъ того и столица. И мысль Петра оправдалась дѣломъ: Москва безспорно имѣетъ свое значеніе для Россіи, но Петербургъ истинно европейская столица Россіи: Петербургъ для Россіи—биржа европеизма, изъ которой европеизмъ разносится по Россіи. Всякое удобство, всякій шагъ въ цивилизаціи дѣлается у насъ черезъ Петербургъ. Онъ окно и дверь въ Европу.

Что касается до жертвъ, съ какими построенъ Петербургъ—онѣ искупаются необходимостію и результатомъ. Петръ своими дѣлами писалъ исторію, а не романъ; онъ дѣйствовалъ какъ царь, а не какъ семьянинъ. Реформа была тяжкимъ испытаніемъ для народа, годиною трудною и грозною. Но когда же и гдѣ же великіе перевороты совершались тихо и безъ отягощенія современниковъ?... Развѣ легкою былъ для Россіи славный двѣнадцатый годъ? но неужели поэтому мы должны порицать его, а не гордиться имъ?... Спокойныхъ государствъ только два въ мірѣ—Китай и Японія; но лучшее, что произво-

дѣть первый, это чай, а вторая, кажется — лакъ: больше о нихъ нечего сказать. Осина ломится и сокрушается вѣтромъ; дубъ мужаеъ и крѣпнеетъ въ буряхъ.

.... Россія молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягаа,
Мужала гениемъ Петра.
Суровый былъ въ наукѣ славы
Ей данъ учитель: не одинъ
Урокъ неожиданный и кровавый
Задалъ ей шведскій паладинъ.
Но въ искушеньяхъ долгой кары,
Перетерпѣвъ судьбы удары,
Окрѣпла Русь. Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куеъ булатъ.

Да, тяжело было народу съ печей и палатей своихъ выйти на такую работу и борьбу. Онъ не виноватъ былъ, что выросъ не учась, и взрослому, ему не подъ силу показалось садиться за указку. Но самое худшее въ его положеніи было то, что онъ не могъ понять ни смысла, ни цѣли, ни пользы перемѣнъ, которымъ подвергала его желѣзная, несокрушимая воля царя-исполина. Здѣсь мы считаемъ приличнымъ выписать, или, лучше сказать, украсить нашу статью выпискою краснорѣчивыхъ строкъ о Петрѣ Великомъ одного изъ русскихъ ученыхъ ¹⁾:

«Чего жъ не доставало русскому народу? *преобразованія!* Его не доставало для XVII вѣка! Явился царь съ горячей мыслию въ очахъ, съ отважной душой на челѣ и съ громоноснымъ словомъ власти! Онъ страшный кинулъ взоръ на царствующій градъ, сурово посмотрѣлъ на дадь прошедшаго, и двинулъ царство отъ него. Что жъ не понравилось ему въ наслѣдіи предковъ? Что возмутило Петра въ твореніи его отцовъ? Но эта тайна души великой, глубокой, тайна гения! Мы видѣли только внѣшнее этого духа, который, какъ грозовое облако, прошелъ надъ русскою землею. Мы видѣли, какъ онъ сочувствовалъ Іоанну Грозному, какъ благоговѣлъ предъ кардиналомъ Ришелье,

¹⁾ О. Л. Морошкина, изъ рѣчи его «Объ Уложеніи и послѣдующемъ его развитіи».

как не терпѣлъ византийскаго двора, его роскошества и лѣни, его ханжей и лицемеровъ. Такое грозное соединеніе стихій въ душѣ смертнаго, рожденнаго повелѣвать и царствовать! И къ этому огненному началу нравственной его жизни присоединилось глубочайшее сознаніе собственныхъ силъ. Посланикъ неба, самодержавный смертный, рѣшительно рожденный для преобразованій! Въ какомъ бы онъ вѣкѣ ни родился, въ какомъ бы народѣ ни воспитался, онъ всегда и вездѣ былъ бы преобразователемъ. Это его природа. Еслибъ онъ былъ современнымъ древнему Язону, его простигла бы участь божественнаго Иракла. Онъ былъ бы слишкомъ тяжелъ для легкой греческой армады. Но Провидѣніе знало, гдѣ произвести на свѣтѣ необычайнаго смертнаго. Только русскій корабль могъ сдержатъ такого страшнаго пассажира! Только русское море могло носить на хребтѣ своемъ столь отважнаго мореходца! Только Россія могла не треснуть отъ этого духа, который напрягалъ ее, чтобъ уравнять ея силы съ своею исполнинскою мощію! Дивное явленіе! Отъ сложенія міра не бывало такого государя! Говорятъ, что крутость его ума и воли происходила оттого, что онъ не получилъ надлежащаго воспитанія; но, Боже мой, какая наука могла огранить эту адамантовую душу, какое воспитаніе могло смягчить эти несокрушимые нервы ума, эти желѣзные мышцы воли? Если природа должна была уступить ему, то что жъ могла сдѣлать изъ него наука? Какой Нѣмецъ могъ быть его дѣтководцемъ, какой Французъ учителемъ? И природа и наука отступились, когда этотъ великій духъ помчалъ русскую жизнь по открытому морю всемірной исторіи! Петръ Великій не вѣрилъ слабостямъ человѣческой природы; только на смертномъ ордѣ почувствовалъ, что и онъ смертный: *«изъ меня можно познать, сколь бѣдно твореніе есть челоѣкъ»*, произнесъ онъ въ смертныхъ страданіяхъ! Таковъ былъ Петръ Великій! Ему нужно было совершить преобразование. И какое преобразование! Отъ конечностей тѣла до послѣдняго убиженія человѣческой мысли! Онъ бритвой брѣлъ бороды и топоромъ рубить невѣжество. Тысячи стрѣлцкихъ головъ падаютъ на Преображенскомъ Полѣ! Ни даже крестный ходъ царствующаго града не могъ смягчить его правосудія! (стр. 60—61.)... Преобразователь въ теченіи всей своей жизни хранилъ въ себѣ тайное сознаніе, что не одно рожденіе возвелъ его на престолъ, но сила высшая призвала его царствовать надъ народами! Онъ чувствовалъ, что не кровь, а духъ долженъ ему предшествовать. Онъ отвергъ сына и возжелалъ оставить по себѣ *достойнѣйшаго*. Но великій челоѣкъ не приобщился нашимъ слабостямъ! Онъ не зналъ, что мы и кровь и плоть. Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились и *малы и худы*, намъ нужны были общіе уставы челоѣчества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить мѣсто Сенату; областные приказы—ландратамъ и ландгерихтамъ. Ему не нравились и наши цѣловальники, наши дѣяки и подъячіе. Онъ желалъ бы посадить на нихъ

мѣсто пѣнныхъ Шведовъ, секретарей и шрейберовъ цесарской службы. Ему не нравилось прошедшее Россіи. Но всѣ эти перемены ничто въ сравненіи съ преобразованиемъ государственной службы. Самъ, начавъ съ солдата гвардіи, онъ прошелъ медленно по лѣстницѣ подчиненія, и завѣщалъ ее своимъ подданнымъ. А что кормленіе прежнее, что царскій хлѣбъ и соль? Въ потѣ лица бѣли ихъ слуги Петра Великаго. Нигдѣ онъ не былъ такъ грозенъ своимъ правосудіемъ, какъ противъ дармождовъ, мірскихъ бѣдъ и казнокрадовъ. Не уважая частной собственности, когда думалъ объ отечествѣ, за каждую копейку, излишне взятую сборщикомъ податей, или переданную комиссіонеромъ торговцу, онъ былъ неумолимъ для виновнаго. (стр. 61—62.)

Да, тутъ народу было отчего призадуматься, было отчего вспоминать съ умиленіемъ о простодушномъ старинѣ и поэтизировать ее въ элегическихъ обращеніяхъ къ новому и старому времени, въ родѣ слѣдующаго, которымъ начинается одна сказка, вѣроятно, сложенная въ ту эпоху:

«Созволи́те выслушать, люди добрые, слово вѣстное, приголубьте рѣчью лебединою словеса немудрыя, какъ въ старыя годы, прежніе, жили люди старыя. А и то-то, родимые, были вѣки мудрыя, вѣки мудрыя, народъ все православный, жавали старики не по нашему, не по нашему, по заморскому, а по своему православному. А житье-то, а житье-то было все привольное, да раздольное. Вставали ранымъ-ранехонько, съ утренней зарей, умывшись ключевой водою, со бѣлой росой, кланялись всѣмъ роднымъ отъ востока до запада, выходили на красенъ крылецъ со рѣшеточкой, созывали слугъ вѣрныхъ на добры дѣла. Старики судъ радили, молодые слушали; старики придумывали крѣпкія думушки, молодые бывали во послушкахъ. Молодые молодцы правили домкомъ, красныя дѣвицы завивали вѣнки на Семикъ-день, старыя старушки судили, радили и сказки сказывали. Бывали радости великія на великъ день, бывали бѣды со кручинами на велико спростство. *А что было, то былою поросло, а что будетъ, то будетъ не по старому, а по новому?»*

И хорошо, что поросло! Какъ красно ни рассказываете, какъ сладко ни пойте, а, право, не соблазните насъ этимъ привольнымъ и раздольнымъ житьемъ. Гулянья, театры, балы и маскарады мы будемъ предпочитать завиванію вѣнковъ на Семикъ-день. Что до ранняго вставанья — дѣло не въ томъ, чтобъ раньше встать, а чтобъ не даромъ встать: кому нечего дѣлать, тотъ хорошо сдѣлаетъ, если подольше поспитъ. Мы не

только не кланяемся роднымъ заочно на всѣ четыре стороны, но и встрѣтившись съ ними, если наше родство съ ними заключается только въ крови, а не въ любви и духѣ. Молодые люди бывають и у насъ «во посылочкахъ» у старыхъ, но за то и старые бывають «во посылочкахъ» у молодыхъ: ибо право начальство принадлежитъ у насъ не старѣйшему, но достойнѣйшему; а достоинство мы измѣряемъ не сѣдиною, а умомъ талантомъ и заслугою. На посылкахъ у Суворова бывали не одни молодые офицеры, и генералы, гораздо старше его лѣтами и породю. Да, мы не можемъ безъ улыбки сожалѣнія слушать эти жалобныя похвалы доброму старому времени; но мы понимаемъ, что простодушный народъ тогдашній по своему былъ правъ. Скажемъ же ему отъ всего сердца: «вѣчная память и царство небесное!» Своими страданіями и тяжкимъ терпѣніемъ искупилъ онъ наше счастье и наше величіе. Надъ гробами историческаго кладбища, не должно быть ни проклятій, ни нестройнаго смѣха, ни ненависти, ни кощунства, но любовь и грустная, благоговѣйная дума...

Но такова сила истины, таково непосредственное вліяніе гения: еще въ разгаръ и самое тяжелое время реформы, Петръ имѣлъ почитателей не только въ приверженныхъ къ себѣ людяхъ, но и въ тѣхъ, которые косо смотрѣли на его преобразованіе. Казалось, всѣ вопреки своему сознанію, признавали необходимость коренной реформы. И не могло быть иначе: Петръ явился во-время. Потребность преобразованія сильно обнаружилась еще въ царствованіе Алексія Михайловича, и уничтоженіе мѣстничества при царѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ было тоже слѣдствіемъ этой потребности. Но все дѣло ограничивалось полумѣрами, не имѣвшими важныхъ послѣдствій. Нужна была полная, коренная реформа — «отъ окончностей тѣла до послѣдняго убѣжища человѣческой мысли»; а для произведенія такой реформы нуженъ былъ исполн-

скій геній, какинъ явился Петръ. Полтавская битва не могла не имѣть сильнаго нравственнаго вліянія на народъ: многіе изъ самыхъ ожесточенныхъ приверженцевъ старины должны были увидѣть въ этой битвѣ оправданіе реформы. Правосудіе и справедливость царя, свободный доступъ къ нему всѣхъ и каждаго, эта готовность прощать личныхъ враговъ и злодѣевъ при видѣ ихъ раскаянія, эта готовность даже возвышать ихъ, если при раскаяніи, видны были въ нихъ и способности, это божественное самоотреченіе отъ своей личности въ пользу вѣчной правды, это высокое самоуничтоженіе въ идеѣ своего народа и своего отечества, — все это покорило Петру сердца и души подданныхъ еще задолго до его кончины. Но когда онъ умеръ, не оставивъ послѣ себя никакого подобнаго себѣ, — Русь оцѣпенѣла, словно ударъ грома оглушилъ ее. Лучшая часть народа, принеся великія и невольныя жертвы преобразованію, трепетала уже за участь преобразованія и боялась возвращенія прежняго варварства. Русь какъ-будто предугадывала эту темную годину, когда ей надо будетъ влечься по колеѣ, проложенной Петромъ, не двигаясь впередъ; она какъ-будто чувствовала, что надолго закатилось ея лучезарное солнце, вновь взошедшее на ея небосклонъ съ Екатериною Великою, чтобы ужъ болѣе не оставлять его ¹⁾).

¹⁾ Предполагавшагося продолженія статей о «Дѣяніяхъ Петра Великаго», по независимымъ отъ редакціи причинамъ, не было.

СТО РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ. *Изд. книгопродавца А. Смирдина. Томъ второй. Буларинъ. Вельтманъ. Веревкинъ. Заюскинъ. Каменскій. Крыловъ. Масальскій. Надеждинъ. Панаевъ. Шишковъ. Спб. 1841.*

Наконецъ, послѣ долгихъ ожиданій, изъ темной и таинственной области великихъ замысловъ и предпріятій, появился на свѣтъ Божій второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»!... Важное и торжественное событіе для русской литературы!... Среди микроскопическихъ явленій книжнаго міра, въ настоящее время, когда романы, вмѣсто прежнихъ завитыхъ четырехъ частей, обыкновенно являются въ двухъ тоненькихъ книжечкахъ, разгонисто напечатанныхъ, или, отчаявшись найти себѣ читателей, растягиваются на страницахъ пяти шести книжекъ инаго объемистаго журнала, — теперь книга «Сто Русскихъ Литераторовъ» — это настоящій слонъ, тяжело и величаво шагающій между кротоми и кузнечиками въ пустынь русской литературы, поросшей глухою травой. Второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ» явленіе великое по толщинѣ, и не менѣе великое по своему значенію: оно отмѣчено перстомъ судьбы и предназначено къ рѣшенію великой задачи. Это особенно доказывается его несвоевременнымъ, столь позднимъ появленіемъ въ свѣтъ. Явился онъ въ свое время, когда былъ обѣщанъ публикѣ издателемъ, т. е. съ небольшимъ годъ назадъ, — и его значеніе, его смыслъ навсегда были бы утрачены для публики: публика послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ дочестъ — не говоримъ эту толстую книгу, но хоть что-нибудь въ ней, — выронила бы ее изъ рукъ. Но теперь другое дѣло: теперь эта книга явилась въ самую пору, чтобъ окончательно рѣшить самый современный, самый свѣжій вопросъ — вопросъ о существованіи русской литературы... Для тѣхъ, кому слова наши показались бы загадочны-

ми, мы должны замѣтить мимоходомъ, что въ послѣднее время снова возникли сомнѣнія въ существованіи русской литературы. Скептицизмъ такъ далеко зашелъ, что нѣкоторые дерзкіе умы признаютъ истинными и великими талантами только Пушкина да еще трехъ-четырехъ человѣкъ, изъ которыхъ одинъ явился задолго до Пушкина, другой при началѣ, третій при концѣ, а четвертый послѣ его жизни; все же прочее считаютъ болѣе или менѣе удачными стремленіями и порываніями къ поэзіи, — но по большей части пустоцвѣтѣмъ словеснаго міра. Но и подобное мнѣніе, какъ ни отважно оно, куда бы еще ни шло: хуже всего то, что и на таланты, которые они сами признаютъ за истинные и великіе, эти раскольники смотрятъ какъ на явленія общечеловѣческія... Хотя мы съ ними и нисколько не согласны, но, признаемся, ихъ возраженія не разъ приводили насъ въ смущеніе и заставляли задумываться. «Посмотрите, говорили они намъ—посмотрите на эти петербургскіе сады и острова: вѣдь это деревья, и еще съ листьями, а это розы, и еще въ полномъ цвѣту, но все-таки они отнюдь не доказываютъ, чтобъ теперь въ Петербургѣ была весна или лѣто». Такъ какъ, читатели, мы рѣшительно не вѣримъ существованію не только весны или лѣта, но даже и зимы въ Петербургѣ, а круглый годъ видимъ въ немъ продолжительную, большею частію мрачную, холодную, сырую, грязную и нездоровую осень, — то это доказательство скептиковъ, противъ воли нашей, имѣло для насъ свою сторону очевидности. Въ самомъ дѣлѣ, если деревья, безъ весны и лѣта, почти въ осеннюю слякоть могутъ одѣваться зеленью, и розы распускаться пышнымъ цвѣтомъ, — то почему же иному языку не гордиться нѣсколькими великими созданіями поэзіи и въ то же время совѣмъ не имѣть литературы?... Конечно, сравненіе не всегда доказательство, и все это, можетъ-быть, только парадоксъ, — но парадоксъ, надо сознать-

ся очень ловкій, такъ, что его легко принять и за истину. Впрочемъ, теперь вопросъ этотъ рѣшится просто и удовлетворительно: второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ» неоспоримо убѣдитъ всякаго въ существованіи русскихъ типографій... русской литературы, хотѣли мы сказать...

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте объ этомъ предметѣ по серьезнѣе, по основательнѣе, и вашъ скептицизмъ исчезнетъ передъ толстою книжицею «Ста», какъ исчезаетъ туманъ передъ восходомъ солнечнымъ. Сто литераторовъ, сто современныхъ, еще живыхъ (т. е. здравствующихъ) литераторовъ, — шутка ли это!... Двадцать изъ нихъ уже предстали предъ російскую публику, каждый съ повѣстью или какимъ-нибудь разсказомъ, а при нихъ съ картинкою, собственнымъ портретомъ и еще съ факсимилемъ, такъ что, по остроумному выраженію одного изъ двадцати, публика можетъ видѣть и голову «сочинителя» и то, что есть лучшаго въ ней, т. е. «мозги», какъ остроумно выражается тотъ же «одинъ изъ двадцати». Говорятъ, по почерку можно заключать о характерѣ человѣка: слѣдовательно въ отношеніи къ писателямъ, публика и съ этой стороны удовлетворена толстымъ альманахомъ г. Смирдина; по собственноручной подписи знаменитыхъ именъ гг. Зотова, Масальскаго и Веревкина, она можетъ судить и о личныхъ характерахъ сихъ знатныхъ «сочинителей». Итакъ, посмотрите, какая богатая литература: вотъ уже, ничего не вида, двадцать литераторовъ услаждаютъ нашъ вкусъ и зрѣніе своими произведеніями, своими портретами, и мы готовимся увидѣться еще съ восемьюдесятью лицами въ этомъ родѣ! Правда, изъ двадцати, представленныхъ публикѣ добродушнымъ усердіемъ г. Смирдина, шестерыхъ уже нѣтъ на свѣтѣ, а нѣкоторые изъ умершихъ и изъ живыхъ совершенно неизвѣстны публикѣ своими литературными заслугами; но что до первыхъ, они умерли недавно, и изъ нихъ только Пушкинъ не

дождался радости увидѣть себя рядомъ съ Рафаиломъ Михайловичемъ Зотовымъ; а что касается до вторыхъ, — если они не написали до сихъ поръ ничего порядочнаго и заслуживающаго хоть какого-нибудь вниманія со стороны публики къ ихъ портретамъ и факсимиліямъ, то они еще напишутъ; слѣдовательно, это не важное обстоятельство... Разумѣется, тѣ изъ нихъ, которые умерли, не успѣвъ написать ничего такого, что могло бы дать имъ право на званіе литераторовъ и сдѣлать интересными ихъ портреты, какъ напримѣръ, г. Веревкинъ, — ужъ ничего и не напишутъ; но въ этомъ виноваты не они, а ранняя смерть ихъ, недавняя времени развернуться ихъ талантамъ, которыхъ существованіе вѣроятно не безъ основанія предполагалось издателемъ — стариннымъ знатокомъ и цѣнителемъ талантовъ. Итакъ, двадцать уже представлены, а восемьдесятъ литераторовъ въ непродолжительномъ времени имѣютъ быть представлены россійской публикѣ — самой доброй, самой расположенной ко всему печатному (особенно съ картинками) изъ всѣхъ бывшихъ, существующихъ и будущихъ публикъ. Изъ это все живые съ небольшимъ только числомъ, и то недавно, такъ сказать, на дняхъ умершихъ литераторовъ; но тутъ нѣтъ и не будетъ ни Ломоносова, ни Сумарокова, ни Державина, ни Хераскова, ни Петрова, ни даже Батюшкова, Грибоѣдова, Веневитинова и другихъ, умершихъ ранѣе 1837 года. Такимъ образомъ, не считая ихъ, вотъ вамъ сто литераторовъ, нашихъ современниковъ, литераторовъ настоящаго времени, настоящаго мгновенія: какое богатство, какое обиліе! Это хоть бы Англіи, хоть бы Франціи, хоть бы Германіи!... «Да откуда же ихъ набралось столько? откуда возьмутъ другихъ?» восклицаетъ пораженная недоумѣніемъ и радостью публика. Какъ откуда? — Вольно жъ вамъ не знать русской литературы, не слѣдить за ея ходомъ, развитіемъ, успѣхами, не затвердить именъ ея неутомимыхъ дѣателей, ея благородныхъ предста-

вителей... «Но, говорите вы, Пушкинъ уже былъ, Крыловъ тоже явился; слѣдовательно, остаются только Жуковский, Вяземскій, Одоевскій, Лажечниковъ, Гоголь, Лермонтовъ, да развѣ еще двое — трое, и всѣ тутъ». Впервыхъ, изъ всѣхъ этихъ, можетъ-быть, вы ни одного и не увидите; мы не утверждаемъ этого навѣрное, но предполагаемъ не безъ основанія; вовторыхъ, эти *всѣ* отнюдь не *всѣ*, и, кромѣ ихъ, можно легко набрать не только сто, но, съ маленькою натяжкой, и двѣсти. Вотъ нѣсколько знаменитыхъ именъ на выдержку, для примѣра: г. Воскресенскій, авторъ многихъ превосходныхъ романовъ, московскій Зотовъ; — г. Славинъ, что прежде былъ г. Протопоповъ и г. Пртрпрпрррръ — московскій Тальма, Кинъ, актёръ и сочинитель; — г. Межевичъ, нашъ русскій Жюль-Жаненъ; — гг. Ленскій и Коровкинъ — достойные соперники Скриба; — г. Марковъ, удачный подражатель самой занимательной части романовъ Поль-де Кока; — г. Оедотъ Кузмичевъ, извѣстный и знаменитый «авторъ природы», какъ онъ самъ называетъ себя; — г. Навроцкій, извѣстный соперникъ Фонъ-Визина и кандидатъ въ геніи, какъ онъ самъ провозгласилъ себя; — г. Бахтуринъ, извѣстный лирикъ и драматургъ второй въ Россіи послѣ г. Полеваго; — г. Струйскій, онъ же и Трилунный, прославившій себя піесами въ восточномъ духѣ, каковы: «Смертаилъ», «Одинилъ», стихоплетонилъ и другіе «илы»; — г. Б. Ф(Θ)едоровъ, авторъ разныхъ азбукъ и нравоучительныхъ книжекъ для дѣтей, поэтъ съ сильнымъ воображеніемъ, хотя и съ полубогатыми виршами, прозаикъ образцовый, и прочіе, и прочіе, и прочіе — всѣхъ не перечесть и на десяти страницахъ. А сколько издателей такихъ изданій, которые хотя и наполняются только моральными статьями и бранью противъ толстыхъ журналовъ, въ чаяніи вызвать ихъ на неприличный бой съ собою и тѣмъ обратить на себя вниманіе публики, но которыхъ тѣмъ не менѣе все-

такъ никто не знаетъ и не читаетъ! Сколько сотрудниковъ въ этихъ неизвѣстныхъ изданіяхъ и полуизданіяхъ, которые съ большимъ талантомъ и краснорѣчіемъ пишутъ объ упадкѣ общественной нравственности и вкуса публики, основывая свое мнѣніе на томъ, что общество и публика не хочетъ читать ихъ нравственныхъ сочиненій, а восхищается Пушкинымъ и Лермонтовымъ! Нѣтъ, лишь стало бы охоты у г. Смирдина продолжать полезное предпріятіе и у публики читать его изданіе, — а то наберется и тысяча русскихъ литераторовъ, явятся имена, никогда не слыханныя и, кромѣ своихъ владѣльцевъ, никому неизвѣстныя... Итакъ, не опасайтесь, чтобъ дѣло кончилось только гг. Зотовымъ, Масальскимъ, Вережкинымъ: много найдется на святой Руси подобныхъ имъ талантовъ. И потому, будемъ надѣяться на Аполлона — да исполнитъ онъ ожиданія наши. А чтобъ онъ не томилъ насъ долгимъ ожиданіемъ, воспоемъ ему громкій пеанъ, да ужъ за одно попросимъ его, чтобы въ третьемъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ» не увидѣть Жуковского среди изчисленныхъ нами знаменитостей, какъ увидѣли мы Пушкина между гг. Зотовымъ и другими, и Крылова между гг. Масальскимъ, Каменскимъ, Вережкинымъ, и пр.

Въ ожиданіи же слѣдующихъ томовъ «Ста Русскихъ Литераторовъ», рассмотримъ второй. Одиннадцать произведеній десяти авторовъ, съ десятию портретами и факсимилиями и десятию картинками; книга въ большую осьмушку, почти въ семьсотъ страницъ, — и послѣ этого будто еще могутъ оставаться сомнѣнія не только въ существованіи русскаго литературы, но и въ ея неисчерпаемомъ обиліи, богатствѣ и роскоши? Не можетъ быть!... Для большаго удостовѣренія, советуемъ нашимъ читателямъ не забывать, что альманахи — роскошь литературы, и плодъ ея избытковъ, которыхъ такъ много, что ихъ некуда дѣвать, кромѣ альманаховъ; что слѣдовательно, альманахи

собираются легко, свободно, безъ натяжекъ и усилій, и что, наконецъ, они свидѣтельствуютъ о необыкновенномъ количествѣ и качествахъ капитальныхъ и большихъ произведеній искусства и бельетристики, о необыкновенномъ числѣ и достоинствахъ журналовъ всѣхъ родовъ... Итакъ, честь и слава русской литературѣ, достойнымъ представителемъ которой такъ кстати явился альманахъ г. Смирдина!... Взглянемъ же попристальнѣе на эту драгоценную книгу...

Она начинается статью покойнаго А. С. Шишкова: «Воспоминанія о моемъ пріятелѣ». Эта статья — нѣчто въ родѣ анекдотовъ, такъ бѣдныхъ содержаніемъ и такъ неловко рассказанныхъ, что рѣшительно нѣтъ никакой возможности понять въ чемъ тутъ дѣло и о чемъ рѣчь. По всему замѣтно, что статья писана сочинителемъ въ глубокой старости, и притомъ по внѣшнему, а не по внутреннему побужденію. Причина послѣдняго обстоятельства очевидна: издатель допускаетъ въ свой альманахъ только повѣсти и рассказы, и потому еслибы туда хотѣлъ попасть литераторъ вѣкъ свой писавшій объ исторіи, математикѣ, или корнесловіи, то непременно долженъ былъ бы что-нибудь рассказать, хоть свой сонъ, — нужды нѣтъ, еслибы въ этомъ снѣ не было и никакого значенія. Къ статьѣ г. Шишкова приложена картинка, сдѣланная Брюловымъ — лучшая картинка во всемъ альманахѣ. Что до самой статьи, о ней можно сказать только, что въ ней авторъ остался вѣренъ самому себѣ и употребилъ только одно иностранное слово, и то въ скобкахъ, именно «попугай», котораго онъ порусски нарекъ «переклиткою». Удивительное постоянство! Весь міръ переимѣнился съ тѣхъ поръ, какъ А. С. Шишковъ издалъ свое знаменитое «Разсужденіе о Старомъ и Новомъ Слогѣ Россійскаго языка»; самъ «россійскій» языкъ прошелъ сквозь горнило талантовъ Карамзина, Крылова, Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибоѣдова и

другихъ, сталъ совѣтъ иной, — а г. Шишковъ остался одинъ и тотъ же, какъ египетская пирамида, безжизненный и холодный свидѣтель тысячелѣтій, пролетѣвшихъ мимо его... Имя Шишкова имѣетъ полное право на свое, хотя небольшое мѣстечко въ исторіи русской литературы, если только дѣйствительно существуетъ на свѣтѣ вещь, называемая русскою литературою. Было время, когда весь пишущій и читающій людъ на Руси раздѣлялся на двѣ партіи: Шишковистовъ и Карамзинистовъ, такъ какъ въ послѣдствіи онъ раздѣлился на классиковъ и романтиковъ. Борьба была отчаянная: дрались не на животь, а на смерть. Разумѣется, та и другая сторона была и права и виновата вмѣстѣ; но охранительная котерія довела свою односторонность до *pes plus ultra*, а свое одушевленіе до неистоваго фанатизма, — и проиграла дѣло. Тутъ нѣтъ ничего мудренаго: она опиралась на мертвую ученость, неожиданную идею, на преданія старины и на авторитеты писателей безъ вкуса и таланта, но за то старинныхъ и запѣсневѣлыхъ, тогда какъ на сторонѣ партіи движенія былъ духъ времени, жизненное развитіе и таланты. Шишковъ боролся съ Карамзинымъ; борьба неровная! Карамзина съ жадностію читало въ Россіи все, что только занималось чтеніемъ; Шишкова читали одни старики. Карамзинъ ссылался на авторитеты французской литературы; Шишковъ ссылался на авторитеты даже не Державина, не Фонъ-Визина, не Крылова, не Озерова, а Симеона Полоцкого, Кантемира, Попова, Сумарокова, Ломоносова, Крашенинникова, Козичкаго, Хераскова и т. д. На сторонѣ Шишкова, изъ пишущихъ, не было почти никого; на сторонѣ Карамзина было все молодое и пишущее, и между многими Макаровъ, человекъ умный, образованный, хорошій переводчикъ, хорошій прозаикъ, ловкій журналистъ. Правда, котерія движенія доходила до крайности, вводя въ русскій языкъ новыя, большею частію иностранныя слова и ино-

странные обороты; но какой же переворотъ совершался безъ крайностей, и не смѣшно ли не начинать благаго дѣла, боясь какой-нибудь незначительной обмолвки? На что же были бы и врачи, еслибъ они не лѣчили больныхъ, боясь сдѣлать имъ лѣкарствами еще хуже? Подмѣтить ошибку въ дѣлѣ еще не значить—доказать неправоту самого дѣла. Работаютъ люди, но совершаетъ время. Конечно, теперь смѣшны слова: «викторія, сенсация, ондировать» (волноваться), и тому подобныя; смѣшно писать «аддиція» вмѣсто «сложеніе», «субстракція» вмѣсто «вычитаніе», «мультипликація» вмѣсто «умноженіе», «дивизія» вмѣсто «дѣленіе», но вѣдь эти слова начали употребляться вмѣстѣ съ словами — «геній, энтузіамъ, фанатизмъ, фантазія, поэзія, ода, лирика, эпопея, фигура, фраза, капитель, фронтонъ, линія, пунктъ, монотонія, меланхолія», и съ безчисленнымъ множествомъ другихъ иностранныхъ словъ, теперь получившихъ въ русскомъ языкѣ полное право гражданства, и потому ни мало не смѣшныхъ, не странныхъ, ни непонятныхъ. Люди безъ разбора вводили новыя слова, а время рѣшило—которымъ словамъ остаться въ употребленіи и укорениться въ языкѣ, и которымъ исчезнуть; нововводители же не знали и не могли знать этого. Шишковъ не понималъ, что, кромѣ духа и постоянныхъ правилъ, у языка есть еще и прихоти, которымъ смѣшно противиться; онъ не понималъ, что употребленіе имѣетъ права совершенно равныя съ грамматикою и нерѣдко побѣждаетъ ее вопреки всякой разумной очевидности. У насъ есть слово «торговля», вполне выражающее свою идею; но найдите хоть одного торговца, который бы не зналъ и не употреблялъ слово «коммерція», хотя это слово, по всей очевидности, совершенно лишнее. Такимъ же точно образомъ можно найти много коренныхъ русскихъ словъ, прекрасно выражающихъ свою идею, но совершенно забытыхъ и дикихъ для употребленія. Напримѣръ, что мо-

жетъ-быть лучше слова «иже» — оно и коротко и выразительно, а между тѣмъ мы замѣнили его длиннымъ и неуклюжимъ словомъ «который». Почему такъ? — Нѣтъ отвѣта на этотъ вопросъ! Почему можно сказать: «говоря рѣчь, дѣлая вещь», а неловко сказать «вѣя шнурокъ, пѣя» или «пѣя воду, тяня веревку»? Первоначальная причина введенія новыхъ словъ, взятыхъ изъ своего или чужаго языка, есть всегда знакомство съ новыми понятіями; а разумѣется, что нѣтъ понятія — нѣтъ и слова для его выраженія; явилось понятіе — нужно и слово, въ которомъ бы оно выразилось. Намъ скажутъ, что явленіе идеи и слова современны, ибо ни слово безъ идеи, ни идея безъ слова родиться не могутъ. Оно такъ и бываетъ: но что же дѣлать, если писатель познакомился съ идеею чрезъ иностранное слово? — Пріискать въ своемъ языкѣ, или составить соответствующее слово? — Такъ многія и пытались дѣлать, но немногія успѣвали въ этомъ. Слово «кругъ» вошло и въ геометрію, какъ терминъ, но для «квадрата» не нашлось русскаго слова, ибо хотя каждый квадратъ есть четвероугольникъ, но не всякій четвероугольникъ есть квадратъ; а замѣнить «хорду» «веревкою» никому, кажется и въ голову не входило. Слово «мокроступы» очень хорошо могло бы выразить понятіе, выражаемое совершенно бессмысленнымъ для насъ словомъ «галoши»; но не насильно же заставить цѣлый народъ вмѣсто галоши говорить мокроступы, если онъ этого не хочетъ! Для русскаго мужика слово «кучеръ» — прерусское слово; а «возница» такое же иностранное, какъ и «автомедонъ». Для идеи «солдата, квартиры» и «квитанція» даже и у мужиковъ нѣтъ болѣе понятныхъ и болѣе русскихъ словъ, какъ солдатъ, квартира и квитанція. Что съ этимъ дѣлать? Да и слѣдуетъ ли жалѣть объ этомъ? Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражала заключенную въ немъ мысль, — и если чужое, лучше выражаетъ ее, чѣмъ свое, давайте чужое, а

свое несите въ кладовую стараго хлама. У насъ не было поэзіи, какъ понятія, существующаго не только непосредственно, но и въ сознаніи народа — и потому, когда это понятіе должно было ввести въ сознаніе народа, то должно было ввести въ русскій языкъ и греческое слово «поэзія»; но какъ живопись существовала у насъ, если не непосредственно, то въ сознаніи народа, имѣвшаго въ ней нужду для изображенія религиозныхъ предметовъ, то въ нашъ языкъ и не вошло иностраннаго слова для этаго искусства, но осталось свое, даже съ нѣкоторыми терминами, какъ-то: черта, чертитъ, образъ, изображеніе, кисть, краски, тѣни, и пр. Хотя по-гречески «ода» значитъ и пѣснь, но тѣмъ не менѣе между одою и пѣснью есть разница, и потому слово «ода» необходимо должно было войти въ нашъ языкъ.

Каждый народъ, занимая страну, болѣе или менѣе особную отъ другихъ и, слѣдовательно, непохожую на другія, выражаетъ своимъ существованіемъ свою идею, которой не выражаетъ уже никакой другой народъ. Вслѣдствіе этого, каждый народъ дѣлаетъ свои, только ему принадлежащія завоеванія и приобрѣтенія въ области духа и знанія, и создаетъ языкъ и терминологию для своихъ духовныхъ стяжаній. Вотъ почему каждый народъ, въ смыслѣ «націи» (ибо не всякій народъ есть нація, но только тотъ, котораго исторія есть развивающая идея) владѣетъ извѣстнымъ количествомъ словъ, терминовъ, даже оборотовъ, которыхъ нѣтъ и не можетъ быть ни у какого другаго народа. Но какъ всѣ народы суть члены одного великаго семейства — человѣчества, и какъ, слѣдовательно, все частное каждаго народа есть общее человѣчества, то и необходимъ между народами размѣнъ понятій, а слѣдовательно, и словъ. Вотъ почему греческія слова: «поэзія, поэтъ, фантазія, эпосъ, лира, драма, трагедія, комедія, сатира, ода, элегія, метафора, тропъ, логика, риторика, идея,

философія, історія, геометрія, фізика, математика, герой, аристократія, демократія, олігархія, анархія, и безчисленное множество другихъ словъ вошли во всѣ европейскіе языки, точно такъ же, какъ арабскія — «алгебра, альманахъ», и вообще восточныя, означающія названія драгоценныхъ камней; латинскія: «республика, юриспруденція, штатъ (status), цивилизація, армія, корпусъ, легіонъ, рота, императоръ, диктаторъ, цензоръ, цензура, консулъ, префектъ, префектура», и вообще всѣ термины науки права и судопроизводства. Поэтому же самому, и русское слово «степь», означающее ровное, безводное и пустое пространство земли, вошло въ европейскіе языки. Мысль Шишкова была та, что, если ужъ нельзя обойтись безъ новаго слова (а онъ пыталъ сильную антипатію къ новымъ словамъ), то должно не брать его изъ чужаго языка, но составить свое сообразно съ духомъ языка, или отыскать старинное, обветшалое, близкое по значенію къ тому иностранному, въ которомъ предстоитъ нужда. Мысль прекрасная, но рѣшительно невыполнимая и потому никуда негодная! Правда, иныя слова удобно переводятся или замѣняются своими, какъ то было и у насъ; но большею частію, переведенныя или составленныя слова уступаютъ мѣсто оригинальнымъ, какъ «землемѣріе» уступило мѣсто «геометріи», «любомудріе» — «философіи»; или остаются вмѣстѣ съ оригинальными, какъ слова: «стихосложеніе» и «версификація», «мореплаваніе» и «навигація», «лѣтосчисленіе» и «хронологія»; или, удерживаясь вмѣстѣ съ оригинальными, заключаютъ нѣкоторый оттѣнокъ въ выраженіи при одинаковомъ значеніи, какъ слова: «народность» и «національность», «личность» и «индивидуальность», «природа» и «натура» ¹⁾, «нравъ» и «характеръ» и пр. Вообще, идеѣ какъ-то простор-

¹⁾ Хотя *природа* и *натура* значать и одно и то же, но въ употребленіи

нѣ въ томъ словѣ, въ которомъ она родилась, въ которомъ она сказала въ первый разъ; она какъ-то сливается и срастается съ нимъ, и потому выразившее ее слово дѣлается слитнымъ, сросшимся (конкретнымъ, говоря философскимъ терминомъ) и становится не переводимымъ. Переведите слово «катехизисъ» — «оглашеніемъ», «монополію» — «единодержіемъ», «фигуру» — «извѣстіемъ», «періодъ» — «кругомъ», «акцію» — «дѣйствіемъ» — и выйдетъ нелѣпость. Кромѣ того, какъ мы уже говорили, тутъ большую роль играетъ упрямство, капризъ употребленія. Выраженіе: «имѣть на чтѣ или на кого нибудь вліяніе», составлено явно противъ духа и всѣхъ правилъ языка; а между тѣмъ оно вполнѣ выражаетъ свою идею, и замѣнить его «наитіемъ» — значило бы понятное для каждаго Русскаго выраженіе замѣнить непонятнымъ и бессмысленнымъ.

Нельзя безъ улыбки состраданія, а иногда и просто безъ смѣху читать нападки почтеннаго защитника старины на Карамзина. Долго было бы выписывать разборъ Шишкова статьи Карамзина «Отчего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ?» Мысль Карамзина, что намъ нуженъ языкъ, которымъ могло бы объясниться образованное общество и дамы, — эта мысль казалась для Шишкова чуть не богохульствомъ. Чтобъ понять фанатизмъ старовѣрства, всю его нелѣпость и бесплодность, надобно видѣть, какъ глумится нашъ рыцарь старопечатныхъ книгъ надъ фразою Карамзина: «Когда путешествіе сдѣлалось потребностію души моею!» Онъ находитъ ее противною духу языка, грамматикѣ и логикѣ, и отъ чистаго сердца утверждаетъ, что ее можно замѣнить фразою: «Когда я любилъ путеше-

иногда не могутъ замѣнять другъ друга; можно сказать: *это очень натурально*, но нельзя сказать: *это очень природно*; нельзя сказать: *такова природа этого человека*, но говорится: *такова натура этого человека*.

ствовать, думал, что она выражаетъ точь въ точь то же самое, только лучше и болѣе по-русски. Удивительно ли послѣ этого, что Шинковъ, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не могъ произвести никакой реакціи реформы Карамзина, и что всѣ его усилія погибли втуне, не принесли плода? А между тѣмъ, онъ могъ бы оказать большую пользу русской стилистикѣ и лексикографіи, ибо нельзя не удивляться его начитанности въ церковныхъ книгахъ и знанію силы и значенія коренныхъ русскихъ словъ. Но для этого ему слѣдовало бы, во первыхъ ограничиться только стилистикою и словопроизводствомъ, не пускаясь въ толки о краснорѣчій и поэзіи, которыхъ онъ рѣшительно не понималъ; а во вторыхъ ему не слѣдовало бы доводить свою любовь къ старинѣ и ненависть къ новизнѣ до фанатизма, который былъ причиною, что его никто не слушалъ и не слушался, но всѣ только смѣялись надъ тѣми даже замѣчаніями, которыя были дѣльны. Поставь онъ себѣ цѣлю не оставить реформу, но дать ей прочныя основанія чрезъ знаніе духа и историческаго развитія славяно-церковнаго языка, ввести ее въ должные предѣлы,—повторяемъ, его труды не пропали бы вотьще, но принесли бы большую пользу языку и молодымъ писателямъ его времени. Но онъ вышелъ изъ своей роли и часто бросалъ то оружіе, которое въ его рукахъ могло быть и остро и крѣпко, и брался за то, которымъ не дано ему было владѣть. Главная его ошибка состояла въ томъ, что онъ заботился о литературѣ вообще, тогда какъ ему должно было заботиться только о языкѣ, какъ матеріалѣ литературы. Онъ не понималъ, что славянскія и вообще старинныя книги могутъ быть предметомъ изученія, но отнюдь не наслажденія, что ими могутъ заниматься только ученые, а не общество. Онъ думалъ, что дамы—не люди, и что для нихъ не нужно своей литературы. Ломоносовъ былъ для него высшій идеалъ поэта и оратора, стихотворца и прозаика; Кантемиръ

и Сумароковъ — истинные поэты. О последнемъ онъ такъ отзывался: «хотя изъ многихъ мѣстъ можно бы было показать, что Сумароковъ не довольно упражнялся въ чтеніи славянскихъ книгъ, и потому не могъ быть силенъ въ языкѣ, однакожъ онъ при всѣхъ своихъ недостаткахъ есть одинъ изъ превосходнѣйшихъ стихотворцевъ и трагиковъ, каковыхъ и во Франціи не много было» («соч. А. Шишкова», Т. II, стр. 124). Въ одномъ мѣстѣ онъ утверждаетъ, что «дабы имѣть право поправлять въ языкѣ Ломоносова, надлежитъ напередъ сочиненіями своими показать, что я столько же силенъ въ немъ, сколько и онъ былъ, иначе сбудется пословица: яицы курицу учать» (т. II, стр. 377); а въ другомъ мѣстѣ находить трагедіи Ломоносова высокопарными и отдаетъ передъ ними преимущество трагедіямъ Сумарокова. Это такъ забавно, что нельзя не выписать. Вотъ монологъ какой-то татарской царевны изъ трагедіи Ломоносова:

Насталъ ужасный день, и солнце на восходѣ
Кровавы пропустивъ сквозь паръ густой лучи,
Даетъ, печальный знакъ къ военной непогодѣ;
Любезна тишина минула въ сей ночи.
Отецъ мой вопиства готовится къ отпору,
И на стѣнахъ стоятъ уже вчера вѣзгъ.
Селимъ полки свои возвелъ на ближню гору,
Чтобъ прямо устремить на городъ тучу стрѣлъ.
На гору какъ орелъ всходя онъ возносился,
Который съ высоты на агнца хочетъ пасть;¹
И быстрый конь подъ нимъ какъ бурной вихрь крутился:
Селимво казалъ проворство тѣмъ и власть.

Шишковъ восклицаетъ выписавъ этотъ удивительный монологъ:

«Стихи сіи гладки, чисты, громки; но свойственны ли они устамъ любовницы? Слыша ее звучащу такимъ величавымъ слогомъ не паче ли она воображается намъ Гомеромъ или Димосееномъ, нежели молодою, страшною царевною?»

Затѣмъ, нашъ критикъ выписываетъ, для сравненія, моно-

логи изъ Сумарокова. Мы ограничимся послѣднимъ; Хоревъ глаголетъ своей полюбивницѣ, Оснельдѣ:

Когда я въ бѣдственныхъ лютѣйшихъ дня часахъ
 Кажуся тигромъ быть въ возлюбленныхъ очахъ,
 Такъ вѣдай, что во градъ меня съ кровава бою
 Внесутъ и мертваго положить предъ тобою:
 Не извлеку меча, хотя иду на брань,
 И раздѣлю животь тебѣ (!) и долгу въ дань.

«Читая сіи стихи (восклицаетъ критикъ), сердце мое наполняется состраданіемъ и жалостію къ состоянію сего любовника. Я не научусь у него ни громкости слога, ни высоты мыслей; но научусь любить и чувствовать». (Т. II, стр. 124—127.)

Вотъ истинно тонкая критика! Да, съ такимъ взглядомъ на искусство и литературу трудно, или лучше сказать, бесполезно было противоборствовать реформѣ Карамзина: бой былъ слишкомъ неравный! Очень забавно видѣть, какъ нашъ критикъ восхищается плоскими и грубыми эклогами и притчами Сумарокова; какъ онъ приводитъ, въ образецъ красоты, вирши Симеона Полоцкого. Чтобъ показать, какова, по мнѣнію Шишкова, должна быть изящная проза, выпишемъ нѣсколько строкъ изъ его перевода «Освобожденнаго Іерусалима» Тасса:

«Тамъ въ несчетномъ числѣ представляются взорамъ смердящія гарпіи и центавры, и сфинксы и блѣдныя горгоны; тамъ тьмами устъ лаютъ прожорливыя скилы, и свистятъ гидры, и шипятъ пифоны, тамъ химеры, черныя пламень рыгающія, и Полифомы, и Геріоны ужасныя и новыя, нигдѣ невиданныя и неслыханныя чудовища, изъ разныхъ видовъ въ одинъ смѣшанныя и сліянные...»

И Шишковъ умеръ съ мыслию, что славянскій языкъ краше паче всѣхъ языковъ; что иностранныя слова сгубили красоту руссійскаго слога; что Сумароковъ былъ великій пѣта и что онъ самъ былъ хранителемъ и стражемъ руссійскаго языка и словесности, хотя и тотъ и другая шли своимъ путемъ мимо своего хранителя и стража, даже и не зная о его существованіи...

И между тѣмъ, изъ 17 огромныхъ томовъ сочиненій Шишкова можно извлечь больше 17 страницъ дѣльныхъ и полезныхъ мыслей о словопроизводствѣ, корнесловіи, силѣ и значеніи многихъ словъ въ русскомъ языкѣ. Это былъ бы огромный, тяжелый, но не бесполезный трудъ...

За статью покойнаго Шишкова слѣдуетъ басня Крылова «Кукушка и Пѣтухъ». Говорить о заслугахъ и значеніи Крылова въ русской поэзіи и литературѣ почитаемъ излишнимъ, тѣмъ болѣе, что наше мнѣніе о великомъ русскомъ баснописцѣ, извѣстно. Что до новой басни—пусть судятъ о ней сами читатели. Къ баснѣ Крылова приложена хорошенькая картинка г. Дезарно; на ней изображены три человѣческія фигуры въ библіотекѣ: одна съ головою пѣтуха, другая — съ головою кукушки, третья — съ головою воробья; двѣ изъ нихъ тоненькія и съ очками на носу; а третья толстая и безъ очковъ, ротъ ея разинутъ по пѣтушьи и, кажется, слышно, какъ дереть она свое пѣтушье горло.

За баснею Крылова слѣдуютъ повѣсти гг. Загоскина и Булгарина. Намъ кажется, что не случай, а сама судьба помѣстила рядомъ повѣсти этихъ знаменитыхъ романистовъ, — и въ этомъ распоряженіи мы видимъ глубокое и таинственное значеніе. Постараемся раскрыть его.

Мы не безъ намѣренія распространились о литературномъ поприщѣ покойнаго Шишкова; мы смотримъ на книгу «Сто Литераторовъ» какъ на выѣску русской литературы, заключающую въ себѣ статьи и портреты только представителей русской литературы. Слѣдовательно, цѣль и обязанность нашей статьи состоятъ въ томъ, чтобъ показать, почему г. Смирдинъ почитаетъ того или другаго писателя представителемъ русской литературы. Литературная смѣтливость и критическій тактъ издателя такъ тонки и вѣрны, что мы разборомъ его книги смѣло надѣемся сдѣлать нашу статью занимательною. Посему,

бросимъ взглядъ на литературное поприще гг. Загоскина и Булгарина.

Не безъ основанія сказали мы, что гг. Загоскинъ и Булгаринъ явились рядышкомъ, и что это случилось не по произволу г. Смирдина, но по многозначительному предначертанію судьбы; г. Смирдинъ сдѣлался здѣсь, впрочемъ совершенно безсознательно, истолкователемъ таинственной и непреложной воли судьбы. Объяснимся.

Въ литературной судьбѣ гг. Загоскина и Булгарина очень много общаго. Просимъ не забывать, что мы это сходство видимъ только въ литературномъ поприщѣ обоихъ этихъ писателей, а не въ чемъ-нибудь другомъ, и подѣ «литературою» разумѣемъ только книгу, а не то, для чего и какъ сочинена, и пущена она въ свѣтъ. Во всемъ нелитературномъ мы не видимъ ни малѣйшаго сходства между г. Загоскинымъ и г. Булгаринымъ, какъ между бѣлымъ и чернымъ, майскимъ днемъ и октябрьскою ночью. Но за то, въ направленіи и дѣятельности ихъ талантовъ какое сходство! Вопервыхъ, литературное направление г. Загоскина чисто-моральное и нравственно-сатирическое; г. Загоскинъ никогда не забывалъ благородной обязанности писателя — забавлять поучая, поучать забавляя, наставляя осмѣивая пороки и осмѣивать пороки наставляя. Литературное поприще г. Булгарина тоже чисто исправительное и эпитетъ «нравственно-сатирическій» столько же сросся съ именемъ г. Булгарина, сколько «божественный» съ именемъ Гомера, и титулъ «царь поэтовъ» съ именемъ Шекспира. — Правда, первые труды г. Загоскина были комедіи, а не нравственно-сатирическія статейки, какъ у г. Булгарина; но, во-первыхъ, здѣсь разница только въ формѣ, а не въ дѣлѣ, не въ цѣли, не въ талантѣ и не въ достоинствѣ; во-вторыхъ, нѣсколько нравоучительныхъ статейекъ было напечатано и г. Загоскинымъ. — Г. Булгаринъ прославилъ Архипа Овдѣича и

Выжигина; г. Загоскинъ прославилъ Богатого и Доброго Малаго. — Не оставляя нравоописательныхъ и нравственно-сатирическихъ статей, г. Булгаринъ принялся за романъ, и, послѣ Нарѣжнаго, дѣйствительно первый написалъ русскій, хоть по названію и по именамъ дѣйствующихъ лицъ, романъ. Не оставляя комедій, г. Загоскинъ, написалъ первый русскій историческій романъ. «Иванъ Выжигинъ» и «Юрій Милославскій» возбудили въ публикѣ, какъ говорится, фуроръ и подняли своихъ авторовъ на вершину извѣстности, славы, и даже доставили имъ большія вещественныя выгоды. Обстоятельство очень сходное! Пріятели г. Булгарина превозносили его романъ до седьмага неба; непріятели ставили его ниже извѣстнаго романа «Похожденія Совѣтсдраа Большаго Носа»; пріятели г. Загоскина объявили его романъ геніальнымъ созданіемъ; за то г. Булгаринъ въ «Сѣверной Пчелѣ» поставилъ его ниже даже своихъ собственныхъ романовъ. Опять сходство! Разница состояла только въ томъ, что при равномъ художественномъ достоинствѣ, романъ г. Булгарина отличался отсутствіемъ вѣроятности, естественности, теплоты, былъ холодно-исправителенъ, ледяно-безпошаденъ къ своимъ героямъ, которые все окончили свои похожденія — кто въ собачей канурѣ, кто на висѣлицѣ, кто въ ссылкѣ; романъ же г. Загоскина при отсутствіи идеи, при поверхности взгляда на жизнь, отличался какою-то задушевною теплотою, какимъ-то добродушіемъ, которыя сначала приняты были публикою за силу, глубину и обширность таланта. Разница, очевидно происходившая не отъ литературныхъ причинъ, почему мы ихъ и оставляемъ безъ объясненія. Впрочемъ, г. Загоскинъ и въ «Юрія Милославскомъ», лучшимъ своемъ произведеніи, остался вѣренъ своему моральному направленію, почему теперь его съ большою пользою могутъ читать дѣти. Кстаті: опять разница: «Юрій Милославскій» пережилъ «Ивана Выжигина»; онъ до сихъ поръ

еще годится для дѣтей и простаго народа, тогда какъ «Выжигинъ» ужъ ни для кого не годится, и не читается даже простымъ народомъ, хотя и дешево продается на Апраксинскомъ дворѣ, вмѣстѣ съ «Россією» того же автора. «Дмитрій Самозванецъ» г. Булгарина былъ неудачною попыткою выйти изъ нравственно-сатирической и правоописательной сферы; сначала романъ возбудилъ, своимъ заглавіемъ, вниманіе публики, но по прочтеніи, былъ тотчасъ же забытъ ею. Родился онъ довольно шумливо, благодаря журнальнымъ пріятелямъ и непріятелямъ г. Булгарина, но скончался вмалѣ, и житія его было безъ малаго годъ. Въ сочиненіяхъ г. Загоскина не находимъ параллели съ «Дмитріемъ Самозванцемъ» г. Булгарина; но прерванное этимъ романомъ сходство тотчасъ же возобновляется «Рославлевымъ», который дѣлаетъ собою параллель «Петру Выжигину», ибо «Рославлевъ» точно такъ же относится къ «Юрію Милославскому», какъ «Петръ Выжигинъ» относится къ «Ивану Выжигину»: «Петръ Выжигинъ» есть повтореніе «Ивана Выжигина»; «Рославлевъ» есть повтореніе «Юрія Милославскаго». О томъ и другомъ романѣ обоихъ романистовъ можно сказать: старыя погудки на новый ладъ! Сходство между ими увеличивается и содержаніемъ: великая война 1812 года съ равнымъ успѣхомъ представлена въ каррикатурѣ обоими сочинителями. Но въ судьбѣ романовъ есть разница; въ томъ и другомъ романѣ трудно рѣшить, кто забавнѣе, смѣшнѣе и ничтожнѣе: герой или Наполеонъ. «Петръ Выжигинъ» былъ уже третьимъ романомъ г. Булгарина, котораго романическая слава была уже подорвана вторымъ его романомъ «Дмитрій Самозванецъ», жестоко обманувшимъ блестящія надежды публики; а «Рославлевъ» былъ вторымъ романомъ, слѣдовательно «Дмитріемъ Самозванцемъ» г. Загоскина; подавъ великія надежды до своего появленія, онъ уничтожилъ ихъ своимъ появленіемъ. Отсюда сходство литературной участи

обоихъ романистовъ нѣсколько нарушается: г. Булгаринъ написалъ четвертый романъ, «Мазепу», который былъ слабѣе и ничтожнѣе первыхъ трехъ; но въ это время г. Булгарина поддерживала «Библіотека для Чтенія», въ свою очередь обязанная своимъ успѣхомъ краснорѣчивымъ объявленіямъ г. Булгарина въ «Сѣверной Пчелѣ». Статья «Библіотеки для Чтенія» была ловка: съ ожесточеніемъ нападая на неистовство юной французской литературы, рецензентъ дѣлаетъ намеки, что и «Мазепа» г. Булгарина очень нечуждъ этого недостатка, для чего и выписываетъ изъ него описаніе пытки. Цѣль пріятельской статейки была вполнѣ достигнута: если романъ никѣмъ не былъ похваленъ, за то многими былъ купленъ. — Г. Загоскинъ издалъ третій свой романъ «Аскольдову Могилу», котораго даже и пріятели автора не хвалили и враги не бранили, и публика не читала. Въ это время, для обоихъ романистовъ явился опасный соперникъ — г. Гречъ, котораго «Черная Женищина», благодаря еще болѣе ловкой статьѣ «Библіотеки для Чтенія», пошла шибко, какъ выражаются наши книгопродавцы. Сверхъ того романическая слава г. Булгарина еще прежде была сильно поколеблена болѣе опаснымъ, чѣмъ г. Гречъ соперникомъ: мы разумѣемъ покойнаго А. А. Орлова, до безконечности размножившаго поколѣніе Выжигинныхъ. Г. Булгаринъ уже сознавалъ свое паденіе, и «Записки Чухина» были его послѣднею попыткою на романъ; онъ тихо и незамѣтно прошли на Апраксинъ дворъ и въ мѣшки букинистовъ — иначе хоббшиковъ или воряговъ. Тогда г. Булгаринъ, подобно Вальтеръ-Скотту, принялся за исторію. Всѣмъ извѣстенъ блестящій успѣхъ его «Россія»; если же кто не знаетъ о немъ, тому советуемъ справиться на Щукинномъ дворѣ. Но истинный геній всегда найдется; обманываясь большую половину жизни въ своемъ призваніи, онъ сознаетъ его хоть въ старости; г. Булгаринъ теперь понялъ, что нашъ вѣкъ не поэтический и не романичес-

кій, а гастрономическій, и что онъ, г. Булгаринъ, не поэтъ, не романистъ, не историкъ даже, а экономъ—понялъ, и принялся за изданіе повареннаго листка, который, говорятъ, «пошелъ шибко», по крайней мѣрѣ, шибче всѣхъ нашихъ моральныхъ журналовъ, начиная отъ того, который утверждаетъ, что желѣзныя дороги ведутъ прямо въ адъ до того, который провозгласилъ Пушкина и Лермонтова искусителями и врагами человѣческаго рода. — Г. Загоскинъ остался вѣренъ своему романическому призванію, и только разъ измѣнилъ ему, написавъ комедію «Недовольные», въ которой съ большимъ успѣхомъ изобразилъ нравы русскаго общества временъ «Богатоновыхъ» и «Добрыхъ малыхъ», и въ которой очень зло осмѣялъ глупое обыкновеніе пользоваться водами, заставивъ героиню комедіи сказать о водопійцахъ: «Ну, батюшки, пошли на водопой!» Комедія имѣла блестящій успѣхъ, хотя дана всего два раза: сперва въ бенефисъ артиста, а послѣ для повторенія (кажется, такъ?). Потомъ, или, можетъ-быть, немного прежде, г. Загоскинъ передѣлалъ свой неудавшійся романъ «Аскольдъ-ву Могилу» въ либретто оперы, на которое г. Верстовскій написалъ музыку, особенно любимую московскимъ простонародьемъ. Затѣмъ последовали два романа, «Искуситель» и «Тоска по Родинѣ»; изъ нихъ послѣдній опять передѣланъ г. Загоскинымъ въ либретто, на которое г. Верстовскій опять написалъ музыку, непонравившуюся ни порядочному обществу въ Москвѣ, ни простонародью, хотя герой оперы и свой братъ просто-народью, и «откалываетъ такія штуки, что уморюшкада и только». О самыхъ романахъ мы не говоримъ: *de mortuis aut bene, aut nihil*. Что же касается до вѣрности параллели, которую проводимъ мы между обоими романистами со стороны литературной ихъ участи, — она очевидна: «Искуситель» и «Тоска по Родинѣ» были для г. Загоскина «Записками Чухина», то-есть девятымъ валомъ для его славы, какъ романиста. Но сходст-

во и этимъ не оканчивается: г. Булгаринъ прежде сочинялъ свои романы все въ четырехъ частяхъ, а послѣ «Петра Выжигина» сталъ сочинять уже только въ двухъ частяхъ, — и его двухчастные романы стали походить на повѣсти, впрочемъ довольно плотно сбитыя. Г. Загоскинъ издалъ первый романъ свой въ трехъ частяхъ, хотя и маленькихъ; второй составилъ въ четырехъ по больше; третій — опять въ трехъ, но уже большихъ частяхъ, которыя въ теченіи могутъ показаться за двѣнадцать; послѣ же «Аскольдовой Могилы» онъ сталъ сочинять романы уже только въ двухъ частяхъ, — и его двухчастные романы стали походить на повѣсти, разгонисто, съ большими пробѣлами напечатанныя. И это было не даромъ: оба романиста, поддаваясь духу времени, очевидно начали сбиваться на повѣсть. И въ самомъ дѣлѣ, въ журналахъ и альманахахъ начали появляться ихъ повѣсти, какъ-то: «Похожденія Квартальнаго Надзирателя», «Кузьма Рощинъ», «Три Жениха» и пр. Наконецъ, оба они явились съ повѣстями въ толстомъ альманахѣ г. Смирдина, словно Ока и Кама, слившіяся въ Волгѣ.

Но прежде, нежели будемъ говорить объ этихъ двухъ повѣстяхъ, должно дополнить нашу параллель, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ требуетъ добросовѣтность, показать и несходства, чтобъ параллель не вышла натянутою. Говоря объ «Иванѣ Выжигинѣ» и «Юріи Милославскомъ», мы только слегка упомянули о похвалахъ и порицаніяхъ, которыми былъ встрѣченъ тотъ и другой романъ, — а это преинтересная исторія, особенно въ отношеніи къ «Ивану Выжигину». Что касается до «Юрія Милославскаго», онъ былъ принятъ съ общими и безусловными похвалами, которыя были преувеличены, но которыхъ частію романъ былъ и достоинъ, ибо въ немъ есть оригинальность, свѣжесть, теплота и даже нѣкоторая степень таланта. Брань встрѣтилъ «Юрій Милославскій» только въ «Сѣверной Пчелѣ»; но это потому, что въ «Сѣверной Пчелѣ» постоянно преслѣдова-

лись всѣ романы, не г. Булгаринимъ и г. Гречемъ сочиненные; исключеніе оставалось только за плохенькими, неопасными для романической монополіи и еще за «Фантастическими Путешествіями» барона Брамбеуса, который былъ самъ акціонеромъ въ монополіи. Что же касается до «Выжигина», то едва ли какая-нибудь книга удостоивалась такихъ похвалъ отъ «Сѣверной Пчелы» и такихъ нападокъ со стороны всѣхъ другихъ изданій. Особенно примѣчательно, что «Выжигина» съ ожесточеніемъ преслѣдовали даже тѣ изданія и люди, которые потомъ съ восторгомъ превозносили его, какъ-то: «Московскій Телеграфъ», расхваливавшій его по заключеніи мира съ «Пчелою», передъ выходомъ перваго тома доселѣ еще неконченной «Исторіи Русскаго народа»; г. Сомоу, имѣвшій странное обыкновеніе передаваться отъ одной литературной партіи къ другой, — и наконецъ въ наши дни, одинъ фельетонистъ, нѣкто г. А. Л., писавшій противъ г. Булгарина въ четырехъ изданіяхъ — въ «Телескопѣ», «Молвѣ», «Газетѣ», и, еще недавно, въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», а теперь прославляющій г. Булгарина, сдѣлавшись фельетонистомъ «Пчелы». Но г. Булгаринъ, какъ истинный талантъ, имѣлъ и имѣетъ такихъ враговъ, которые неизмѣнны отъ колыбели до гроба въ своей къ нему зависти. Вотъ какъ одинъ изъ нихъ характеризовалъ нѣкогда его «Ивана Выжигина»:

«Менѣ таланта, но болѣе литературной опытности, языкъ болѣе гладкій, хотя безцвѣтный и вялый, находимъ мы въ «Выжигинѣ», нравственно-сатирическомъ романѣ г-на Булгарина. Пустота, безвкусіе, бездушность; нравственными сентенціи, выбранныя изъ дѣтскихъ прописей, невѣрность описаній, приторность шутокъ, вотъ качества сего сочиненія, качества, которыя составляютъ его достоинство, ибо они дѣлаютъ его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая отъ азбуки приступаетъ къ повѣстямъ и путешествіямъ. Что есть люди, которые читаютъ Выжигина съ удовольствіемъ и слѣдовательно съ пользою, это доказывается тѣмъ, что Выжигинъ расходится. Но гдѣ же эти люди? спросать меня. Мы не видимъ ихъ, точно такъ же, какъ

и тѣхъ, которые наслаждаются *сонникомъ* и книгою *о клопахъ*; но они есть, ибо и *сонникъ*, и *Выжигинъ* и *о клопахъ* раскупаются во всѣхъ лавкахъ. («Денница», изд. М. Максимовичемъ, 1830 года, Обзоріе Русской Словесности 1829 года, стр. LXXIII, LXXIV).

Мы, съ своей стороны, не скажемъ, чтобъ были совершенно согласны съ такимъ жестокимъ приговоромъ, явно внушеннымъ завистію къ великому таланту сочинителя «Выжигина». Правда, дѣйствующія лица въ этомъ романѣ, если читатели не забыли его, не суть живые образы или дѣйствительные характеры, но аллегорическія олицетворенія пороковъ, слабостей и мнимыхъ добродѣтелей; моральныя мысли довольно обыкновенны и похожи на потертую ходячую монету, которой не принимаютъ за настоящую цѣну, или и вовсе не берутъ по сомнительной ея цѣнности; но слогъ, хотя лишенъ движенія, жизни и цвѣта, однакожъ гладокъ, грамматически правиленъ. Это важное обстоятельство, потому что въ тѣ времена (увы, уже давно прошедшія), какъ и теперь, русскіе писатели, даже пользовавшіеся извѣстностію, не отличались въ родномъ языкѣ такою чистотою и правильностію, какъ г. Булгаринъ въ языкѣ ему чуждомъ. Сверхъ того, кому бы ни нравился тогда романъ г. Булгарина, но онъ пріучалъ къ грамотѣ и возбуждалъ охоту къ чтенію въ такой части общества, которая безъ него еще, можетъ-быть, долго бы пробавлялась «Милордомъ Англійскимъ», «Похожденіями Совѣтскаго Бѣлаго Носа», «Гуакомъ или Непокоримую Вѣрностію» и тому подобными произведеніями фризовой фантазіи. Слѣдовательно, заслуга «Ивана Выжигина» г. Булгарина несомнѣнна, и намъ тѣмъ пріятнѣе признать ее публично и печатно, что почтенный сей сочинитель не разъ обвинялъ насъ въ зависти къ его таланту. Достоинство произведенія г. Булгарина доказывается еще и необыкновеннымъ успѣхомъ, а всякій успѣхъ есть доказательство какого-нибудь, даже хотъ отрицательнаго достоинства.

Толпа увлекается или чѣмъ-нибудь истинно великимъ, что никогда не теряетъ своей цѣны, что неизмѣнно выше ея, или чѣмъ-нибудь такимъ, что совершенно по плечу ей, что вполне удовлетворяетъ ея незатѣйливыя потребности. Въ первомъ случаѣ, она увлекается мнѣніемъ людей, которые выше ея цѣлою головою, которые, безъ ея, и даже безъ собственнаго вѣдома и сознанія, непосредственно управляютъ ею силою своего превосходства; такъ увлеклась она Пушкинымъ и съ жадностію раскупила его созданія. Во второмъ случаѣ, толпа руководствуется сама собою, ибо и она тоже претендуетъ на самостоятельность и крѣпко отстаиваетъ свои права отъ умныхъ людей, невольно увлекаясь превосходствомъ надъ нею тѣхъ сочинителей, которые удовлетворяютъ ея вкусу и потребностямъ. Тогда-то видите вы, какъ расходится тысячами экземпляровъ иное довольно дюжинное произведеніе. Но есть разница въ обоихъ этихъ случаяхъ: успѣхъ перваго рода бываетъ проченъ и всегда продолжителенъ, если не всегда вѣченъ; успѣхъ втораго рода всегда бываетъ минутный, эфемерный и, начинаясь магазиномъ Смирдина, оканчивается Апраксинымъ дворомъ.

И такъ, «Иванъ Выжигинъ», получивъ успѣхъ равный съ «Юріемъ Милославскимъ», испыталъ нѣсколько различную отъ «Юрія Милославскаго» судьбу въ отзывахъ журналистовъ; но конецъ ихъ одинъ и тотъ же: они мирно встрѣтились и дружелюбно сошлись тамъ, гдѣ книги оставляютъ свою аристократическую гордость, и продаются, промѣниваются вмѣстѣ съ плебейми литературнаго міра. *Sic transit gloria mundi!* Примѣръ грустно-поучительный!...

Но есть еще сходство между господами Булгаринымъ и Загоскинымъ, какъ писателями. Оба они отличаются однимъ достохвальнымъ направленіемъ, оба имѣютъ одну почтенную цѣль—исправлять пороки и недостатки общества сатирою и

моралью. Каждое произведение этих авторовъ есть ни что иное, какъ развитие какой-нибудь моральной сентенціи — у г. Булгарина въ формѣ юмористической статейки, повѣсти и романа, у г. Загоскина—въ формѣ комедіи, діалога, и также повѣсти и романа. Сверхъ того оба они равно пламенные патриоты, оба любятъ до безумія все русское. Но любовь ихъ различна. У г. Булгарина она выражается преимущественно въ увѣреніяхъ въ любви, въ анафемахъ противъ равнодушныхъ ко всему русскому, въ громкихъ, хотя не всегда увлекательныхъ провозглашеніяхъ о его драгомъ отечествѣ (т. е. Россіи). При томъ г. Булгаринъ часто противорѣчитъ себѣ въ своей любви ко всему русскому, ибо зло критикуетъ въ «своей литературѣ» почти все русское: злодѣевъ и чудаковъ представляетъ,—черезчуръ увлекаясь чувствомъ благороднаго негодованія, — такими гнусными и такъ непохожими на дѣйствительно-возможныхъ, что читать нельзя; а добродѣтельныхъ такими холодными и безцвѣтными, такъ неправдоподобно, что ихъ нисколько не любишь и существованію ихъ нисколько не вѣришь. — Г. Загоскинъ, напротивъ, искреннѣе въ своей любви ко всему русскому, которое онъ часто смѣшиваетъ съ простонароднымъ. Злодѣи г. Загоскина всегда неестественны и гадки, по причинѣ излишней густоты красокъ, происходящей отъ энергическаго негодованія противъ всего злодѣйскаго; добродѣтельные и здравомыслящіе его—тоже довольно ничтожны, безцвѣтны и скучны; но чудаки у г. Загоскина почти всегда милы, оригинальны, потому что онъ рисуетъ ихъ съ особенною любовью, и нельзя не подивиться энергическому одушевленію съ какимъ онъ отстаиваетъ ихъ превосходство надъ чужеземными героями и умниками. Вотъ истинная любовь къ отечеству! Хотя Кирша—дикарь, получеловѣкъ и полувѣдь, но онъ его невольно любитъ и предпочитаетъ всякому паладину западной Европы; хотя Зарядьевъ—человѣкъ ограниченный, педантъ и

пѣшка въ военной службѣ, но въ романѣ г. Загоскина онъ заслоняетъ собою самого Наполеона. Русскіе купцы, мѣщане и извозчики въ «Рославлевѣ» нисколько не заставляютъ жалѣть, что они носятъ бороды, не знаютъ грамоты и не имѣютъ ничего общаго съ Европою. Что касается до русскаго простонародья—г. Загоскинъ истинный Гомеръ его. Правда, его изображенія иного лакея, явившагося къ барину съ разбитою харею, или мечтающаго въ Испаніи о кислой капустѣ, соленыхъ огурцахъ и сивухѣ, — въ иномъ, слишкомъ опрятномъ читателѣ могутъ возбудить не совсѣмъ пріятное чувство, но и причина этого—достоинство, а не порокъ: излишняя вѣрность природѣ. Въ повѣстяхъ гг. Булгарина и Загоскина тоже сходство, какъ и въ романахъ; главная разница въ томъ, что мѣсто дѣйствія у г. Булгарина почти всегда Петербургъ, а у г. Загоскина почти всегда провинція. Это происходитъ оттого, что г. Булгаринъ совершенно не знаетъ ни Москвы, ни провинціи русской (исключая Литовскихъ и Остѣ-Зейскихъ губерній), а г. Загоскинъ по любви своей къ Москвѣ можетъ назваться ея рыцаремъ, и отъ всего сердца, отъ всей души знаетъ и любитъ провинцію, особенно низовый край, заключающій въ себѣ самыя хлѣбородныя губерніи. Все это хорошо: пусть всякій сочинитель описываетъ извѣстную ему сферу жизни и не берется за незнакомыя сферы, то есть пусть г. Булгаринъ не берется за Москву и коренныя русскія губерніи, а г. Загоскинъ за Петербургъ, Бѣлоруссію и Лифляндію.

Разсматривая повѣсти гг. Булгарина и Загоскина, помѣщенные во второмъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ», мы по долгу критической добросовѣстности, обязаны отдать преимущество повѣсти г. Булгарина. Повѣсть г. Загоскина называется «Официальный обѣдъ», а г. Булгарина—«Побѣда отъ Обѣда» видите ли, и въ названіи повѣстей есть сходство: обѣ основаны на обѣдѣ!

Въ городѣ Бобковѣ ждутъ ревизора, Максима Петровича Зорина. Городничій не слишкомъ хлопочетъ о его приѣмѣ: городничій человекъ честный—ему нечего бояться. Онъ, изволите видѣть, былъ безсребренникъ, и, занимая мѣсто градоначальника въ богатомъ и торговомъ городѣ, «покупалъ на чистыя деньги все,—все безъ исключенія, даже чай и сахаръ, даже пѣнное вино, которое пилъ передъ обѣдомъ, вмѣсто сладкой водки». Главнымъ доказательствомъ «безсребренности» Костоломова (фамилія городничаго) сочинитель полагаетъ его храбрость въ сраженіи: онъ съ боя взялъ георгіевскій крестъ, вскочивъ первый на непріятельскую батарею. «Воля ваша (восклицаетъ почтенный сочинитель), взяточникъ на пушку не полѣзеть!» Мысль моральная, но согласиться съ нею никакъ невозможно. Дѣйствительность любитъ противорѣчить самой себѣ: въ ней иногда безсребренникъ бываетъ плохимъ воиномъ, а иногда и просто трусомъ, а отъявленный взяточникъ и грабитель—образцомъ храбрости. «Безсребренность» городничаго очень оподозрѣвается однимъ обстоятельствомъ: сочинитель не говоритъ, чтобъ у него были деревня или капиталъ въ Банкѣ, а между тѣмъ заставляетъ его жить, какъ будто бы онъ получалъ губернаторское жалованье. Но это не важное обстоятельство: сочинителю нуженъ былъ городничій безсребренникъ,—и, по сочинительскому праву, онъ приказалъ ему быть такимъ;—вотъ и все. Главное же заключается въ томъ, что жена городничаго вертѣла имъ какъ хотѣла, пользуясь слабостію своихъ нервъ и частыми обмороками. Дочь ихъ любитъ прелестнаго, но бѣднаго молодого человека Холина, а имъ хочется выдать ее за Кочку — богатаго скрягу и негодая. Между тѣмъ, пріѣзжаетъ ревизоръ, и останавливается не у князя Чухолова, своего родственника, а у Холина; чиновничество хочетъ дать обѣдъ ревизору—городничихъ хочется, чтобъ это было въ ея домѣ, но Кочка пе-

ребиваетъ у нея эту честь. Однако Кочкѣ дорого обошлась его «интрига»: онъ лишился невѣсты, а обѣдъ все-таки былъ у городничихи. Ревизоръ берется быть сватомъ у Холмина; влюбленная чета соединяется, и повѣсти конецъ. Вотъ содержаніе новаго произведенія г. Загоскина. Она немножко избита и рѣшительно не въ нравахъ нашего общества: мы хотимъ сказать, что все это можетъ быть въ повѣсти, но ничего этого и притомъ такимъ образомъ, не бываетъ въ дѣйствительности. Правда, мы опустили множество подробностей, — но вѣдь нельзя же было все пересказывать! Если читатели прочтутъ до конца повѣсть г. Загоскина — мы увѣрены, они сами увидятъ, что она есть не что иное, какъ сто первое повтореніе всѣхъ комедій, повѣстей и романовъ г. Загоскина, что въ ней все старо, все уже извѣстно публикѣ — и лица, и характеры, и провинціальныя оригинальности, и злодѣи, и резонёры, и чудачки. Съ первой страницы тотчасъ же видите, въ чемъ дѣло, что будетъ дальше, и чѣмъ все кончится. А согласитесь, вѣдь главный интересъ повѣсти въ томъ и состоитъ, что, читая ее, вы видите, что все въ ней естественно, правдоподобно, а между тѣмъ, вы никакъ не можете угадать, что будетъ впередъ и чѣмъ все кончится. Впрочемъ, къ повѣсти г. Загоскина приложена хорошенькая картинка г. Тима. Оно — видите ли, не то, чтобъ въ ней все было хорошо: напротивъ, въ ней не хорошъ городничій, потому что похожъ не на пожилаго служаку, а на молодого водевильнаго любовника; супруга же его похожа не на разбитную и пожилую бабу-бой, а на хорошенькую и молоденькую дѣвочку; за то предводитель дворянства, толстый глупый обжора, сладострастно пожирающій глазами и ртомъ поданнаго ему на завтракъ фаршированнаго поросенка — очень недурень; а стоящій подлѣ его стола частный приставъ въ мундирѣ — руки по швамъ — съ офиціальною физиономіею, съ благоговѣніемъ,

какъ на таинство взирающій на обжорство высокой персоны, — просто превосходень.

Повѣсть г. Булгарина — повѣсть историческая, изъ «временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма». Она изображаетъ бюрократію той эпохи, которая впрочемъ очень мало измѣнилась въ своемъ духѣ съ того времени. Бѣдные, но честные и талантливые чиновники живутъ дружно между собою. Не имѣя никакой надежды выйти въ люди, не протекціею и не подлостію, а заслугою, одинъ изъ нихъ дѣлается съ горя пьяницею — всегдашняя исторія многихъ чиновниковъ; другой остается твердъ въ добродѣтели: и неудивительно онъ изъ Нѣмцевъ, по крайней мѣрѣ мать его была Швейцарка, и ей обязанъ онъ былъ человѣческимъ воспитаніемъ и человѣческимъ образомъ мыслей. Искринъ (фамилія этого чиновника) любитъ дочь Карла Ѳедоровича Циттербейна, экзекутора канцеляріи князя Камышенскаго. Сей Циттербейнъ — злодѣй, скряга, низкопоклонникъ, канцелярская гадина. Чины и деньги — его богъ, а честь обѣдать за столомъ «свѣтлѣйшаго», идеалъ высочайшаго блаженства. Онъ достаетъ за огромные проценты деньги своему начальнику (т. е. даетъ свои), и потому дѣлается для него необходимымъ человѣкомъ, пользуется его милостію и покровительствомъ. Разумѣется, экзекутору и въ голову не входитъ мысль, чтобъ бѣдный чиновникъ осмѣлился имѣть виды на его дочь, и потому онъ позволяетъ ему видѣться съ нею; но когда узнаетъ о тайнѣ любовниковъ, то приходитъ въ ярость, и прогоняетъ Искрина. Искринъ рѣшается, во что бы то ни стало, добиться чести — обѣдать у «свѣтлѣйшаго». Онъ кропаетъ плохіе стишонки — торжественную оду «свѣтлѣйшему», которая начиналась такъ:

Востани, муза! пѣть достоинъ
Вожда возлюбленна тебѣ,
Кой тысячамъ блаженство строить,
Живъ поздно роду, не себѣ.

Искринъ отправляется къ Попову, который опредѣлилъ его на службу, и просить его превосходительство «быть ему отцомъ, благодѣтелемъ, заступникомъ» — представить оду «свѣтлѣйшему». Ода представлена — и поэтъ награжденъ сотнею рублей... Но Искринъ отказывается, прося, въ награду, чести быть приглашеннымъ къ обѣду его свѣтлости. Къ счастью, во время разговора Искрина съ Поповымъ, подошла къ нимъ графиня Уральская, пріятельница Потемкина; ей понравилась наружность молодого человѣка — и на другой день онъ получилъ вожделѣнное приглашеніе. Доставъ, при помощи пріятеля, денегъ отъ одного ростовщика, который не могъ отказать человѣку, приглашенному къ обѣду «свѣтлѣйшаго» — Искринъ покупаетъ себѣ приличное платье. За обѣдомъ «свѣтлѣйшій» ничего не ѣлъ, и изъявилъ желаніе отвѣдать севрюжины. Искринъ вызвался сейчасъ же достать ее, побѣжалъ въ трактиръ и прінесъ ¹⁾. Свѣтлѣйшему понравились его смѣлость и проворство; онъ спросилъ о немъ — ему сказали, что это тотъ поэтъ, который поднесъ оду. Послѣ обѣда, явился къ Потемкину съ пакетомъ отъ князя Камышенскаго Циттербейнъ; Потемкинъ велѣлъ ему распечатать пакетъ и прочесть; но Циттербейнъ, увидѣвъ Искрина въ числѣ гостей, до того сробѣлъ, что уронилъ и разбилъ свои очки. «Свѣтлѣйшій» велѣлъ читать Искрину. Окончаніе повѣсти нетрудно понять: Искринъ женился на своей возлюбленной, сдѣлался знатымъ баринномъ, владѣльцемъ капитала больше, чѣмъ въ милліонъ, вывелъ въ люди всѣхъ своихъ пріятелей, изъ

¹⁾ Забавная пародія на дѣйствительный анекдотъ о Потемкинѣ, котораго разъ угощалъ какой-то вельможа, и который на просьбы хазина покушать, отвѣчалъ, что ему хотѣлось бы соленой севрюжины; когда же севрюжина была привезена изъ-за сорока верстъ и изготовлена, пока еще столъ продолжался, то Потемкинъ не сталъ ее ѣсть, говоря: «я потому только спросилъ ее, что не думалъ, что ее можно было достать».

которыхъ Глазовъ, какъ водится въ моральныхъ повѣстяхъ, исправился, и изъ пьяницы сдѣлался трезвымъ человѣкомъ.

Повѣстца, какъ можете видѣть сами изъ этого изложенія, очень незавидная, впрочемъ не въ ущербъ книгѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ», въ отношеніи къ которой она по Сенькѣ шапка, какъ говорить пословица. Содержаніе этой повѣсти избито и старо, какъ мудрая истина, что добродѣтель награждается, а порокъ наказуется; пружины ея не стальные, а мочальные — и тѣ истертыя и истрепанныя. Въ самомъ дѣлѣ, что это такое: любовникъ, молодой идеальный человѣкъ, безъ роду и племени, безъ денегъ въ карманѣ, но съ возможными добродѣтелями въ душѣ; любовница, идеальная дѣвица, прекрасная и добродѣтельная, но дочь отца столь скарднаго, что ему представлена скучная роль разлучника; счастливый случай, всегда готовый къ услугамъ плохой повѣсти, дѣлаетъ возжелѣнную разлуку, и къ концу — герои совокупляются законнымъ бракомъ, злодѣи исправляются, пьяницы просыпаются и — всѣ счастливы... Повторяемъ, что это такое, какъ не повѣсть въ родѣ г. Загоскина?... Но тѣмъ не менѣе, повѣсть г. Булгарина все-таки неизмѣримо выше повѣсти г. Загоскина. Всякое сочиненіе должно быть результатомъ какой-нибудь причины, такъ же точно, какъ всякое намѣреніе должно имѣть какую-нибудь цѣль. Разумѣется, причина или цѣль сочиненія можетъ быть и внѣшняя и внутренняя; первой критика не должна брать въ расчетъ: критика беретъ въ уваженіе только внутреннія причины или цѣли, которыя могутъ состоять только въ мысли. Пусть мысль будетъ выполнена неудачно, но все-таки пріятнѣе прочесть даже и посредственное произведеніе, написанное съ мыслию, чѣмъ такое же посредственное произведеніе, написанное безъ всякой мысли, но такъ — чтобы только подъ чѣмъ-нибудь подписать свое сочинительское имя. У г. Булгарина явно была предметомъ мысль — изоб-

разить быть времени Екатерины Великой, — и это, несмотря на топорную отдалку его повѣсти, придавало ей интересъ. Побасенками забавляютъ дѣтей; людей мыслящихъ можно занимать только мыслию, — иначе они могутъ оскорбиться претензіею сочинителя на ихъ вниманіе. Г. Булгаринъ не можетъ опасаться, чтобъ читатели его оскорбились: его повѣсть можетъ ихъ не удовлетворить, но цѣль ея всегда будетъ достойною ихъ вниманія. Правда, тутъ много мыслей или разсужденій, какъ напр., о дворянствѣ будто бы облагораживающемъ человѣка, о Вольтерѣ и энциклопедистахъ, какъ врагахъ человеческого рода, и тому подобныя, которыя ужъ слишкомъ напоминаютъ лучшія, самыя блестящія страницы этого рода въ сочиненіяхъ Р. М. Зотова. Но тутъ есть мысли и взгляды по истинѣ дѣльные, въ доказательство чего довольно выписать слѣдующее мѣсто:

«Звѣзды носили тогда не только на кафтанѣхъ и на курткахъ, но и на плащахъ, на шубахъ, а весьма многіе носили даже на халатахъ. Это вовсе не почиталось странностію; напротивъ, считали неприличіемъ и дерзостію не носить орденовъ. Въ наше время высшіе государственные сановники принимаютъ подчиненныхъ и просителей не иначе, какъ уже по окончаніи своего туалета, рѣдко заставляютъ себя дожидаться и даже отказываютъ въ просьбѣ и дѣлаютъ выговоры вѣжливе, чѣмъ встарину миловали и хвалили. Въ блаженное Екатерининское время, вельможа, или вообще начальникъ принималъ просителей или подчиненныхъ въ халатѣ, въ туфляхъ, иногда сидѣлъ передъ зеркаломъ, брѣясь или пудрясь или лежа на софѣ, говорилъ ты каждому, кто ниже чинамъ и не принадлежитъ къ знатной роднѣ, и позволялъ себѣ всевозможныя вольности въ рѣчахъ. Не весьма женировались даже передъ дамами-просительницами, хотя бы онѣ принадлежали къ дворянскому сословію, основываясь на томъ, что порядочная женщина должна непременно найти покровителя, который хлопоталъ бы за нее. Вѣжливость, утонченность нравовъ, любезность, остроуміе имѣли убѣжище только при дворѣ и въ гостиницахъ древнихъ родовыхъ русскихъ бояръ, такъ называемыхъ столповыхъ дворянъ, превращенныхъ европейскою образованностію въ вельможъ, по образу и по подобию придворныхъ Лудовика XV. Но въ пріемныхъ, въ канцеляріяхъ и въ домашнемъ быту еще крѣпко припахивало дичью и татарщиною. Даже Державинъ гордился еще предкомъ своимъ, татарскимъ муззою, и искалъ без-

смертных красоть для портрета Фелицы въ стенахъ киргизскихъ! Въ то время между Русскими еще можно было найти подлинники мурзъ и баскаковъ!... Теперь это перешло въ преданіе!...

Все это очень умно и очень вѣрно; но намъ кажется, что авторъ простираетъ свое нерасположеніе къ Екатерининскому времени далѣе, нежели сколько позволяетъ истина и безпристрастіе. Несмотря на все худое, которое можно, не кривя истинною, сказать объ этомъ вѣкѣ — онъ все-таки былъ великій вѣкъ. Достоинство исторической эпохи состоитъ не въ томъ, чтобъ быть безусловно разумною, но въ томъ, чтобъ быть разумною въ отношеніи къ самой себѣ, сообразно съ законами исторической возможности. Всякая эпоха велика, лишь бы она была эпохою движенія и развитія. Если бояре того времени принимали просителей въ халатѣ, а Потемкинъ и бояръ принималъ иногда даже безъ халата, то ни просители, ни бояре не думали этимъ оскорбляться: первые цѣловали ручки своихъ «милостивцевъ», а вторые низко кланялись передъ «свѣтлѣйшимъ» и гордились его улыбкою или брошеннымъ словомъ; какъ звѣздою на своемъ халатѣ. Тогда не было не только народа, не только средняго сословія, но даже и средняго дворянства; но было только вельможество и толпа безотвѣтная; сама бюрократія—солнце толпы, была сальною свѣчею передъ вельможествомъ. Вѣку Александра Благословеннаго суждено было создать въ Россіи нѣчто среднее между высшими ступенями государственной лѣтвицы и ея основаніемъ. Но безъ вѣка Екатерины великой былъ бы невозможенъ вѣкъ Александра Благословеннаго. Петръ разбудилъ Россію отъ апатическаго сна, но вдохнула въ нее жизнь Екаторина. Пламенникомъ генія была озарена царственная глава этой великой жены — и этой головою жила Русь. Жизнь государства заключается въ живой, движущейся идеѣ, которая непосредственно окриляетъ дѣятельность всѣхъ его членовъ: блескъ цар-

ствования Екатерины, громъ побѣдъ, пиры и роскошь, начало просвѣщенія, искусствъ, цивилизаціи, великія пріобрѣтенія, множество мужей, могучихъ волею, великихъ умами и талантомъ—все это было созданіемъ живой, зиждательной мысли, озарившей царственную главу великой жены...

За повѣстью г. Булгарина слѣдуетъ повѣсть г. Масальскаго «Осада Углича». Мы не будемъ ничего говорить о литературномъ поприщѣ г. Масальскаго, потому что ровно ничего о немъ не помнимъ, а наводить справокъ не имѣемъ ни времени, ни охоты. Что касается до «Осады Углича» — это, во первыхъ, повѣсть безъ всякаго содержанія, безъ всякой правдоподобности, безъ всякаго интереса; во вторыхъ, рассказана она крайне нелѣпо и потому вяла, длинна и скучна. Сочинитель увѣряетъ, что будто-бы онъ заимствовалъ содержаніе своей повѣсти изъ какой-то старинной рукописи «О разореніи града Углича, нарицающагося древле городъ Угло», будто бы доставленной ему однимъ старожиломъ угличскимъ; но мы крѣпко сомнѣваемся въ существованіи этой рукописи, если только фантазія г. Масальскаго въ самомъ дѣлѣ изъ нея заимствовалась. Въ повѣсти русскаго духа слыхомъ не слышать, видомъ не видать; изображенные въ ней нравы—родъ пародіи на нынѣшніе нравы, изображенные плохими романистами.—За повѣстью г. Масальскаго слѣдуютъ стихи г. Масальскаго «Дерево Смерти». О нихъ можно сказать только, что въ нихъ гений г. Масальскаго вѣренъ самому себѣ: въ нихъ та же риторика, только съ рифмами.

Утомленный повѣстью и стихами г. Масальскаго, читатель съ жадностію развертываетъ въ «Ста Русскихъ Литераторахъ» повѣсть Вельтмана «Урсулъ». Но... кто бы могъ этого ожидать?... утомленіе читателя все возрастаетъ, возрастаетъ, силы слабѣютъ, терпѣніе истощается... Вотъ ужъ и послѣдняя страница... вотъ и конецъ... Да что же это та-

кое?... въ чемъ дѣло?... Гульпешти, Мынчешти, Градешти, Малаешти, Албинешти, Горешти, Гальбинешти, домне Ферешти, домне Іоане... ничего не понимаемъ... Люди разговариваютъ, ходятъ, спятъ, ѣдятъ, бѣгаютъ, скачутъ, дерутся, но кто съ кѣмъ, изъ чего, какъ, когда, почему—самъ Эдипъ не разрѣшилъ бы этой сфинксовой загадки, которую г. Вельтманъ назвалъ повѣстью. Рѣшительно, мы ничего не поняли въ «Урсулѣ». Что это такое? неужели ослабленіе таланта—последній, предсмертный и, потому, невнятный лепетъ его?... Правда, въ «Урсулѣ» г. Вельтмана есть страницы понятныя, есть мѣста живыя, увлекательныя, но безъ всякаго отношенія къ цѣлому. И притомъ, къ чему это испещреніе разсказа молдаванскими словами: «кафэ, ши люле, чи гында, ватава, одубешти, домнешти, логофетъ ди вистіарія, гата»? Къ чему этотъ натянутый à la Marlinsky, напыщенный риторическій языкъ? Изысканность, вычурность, напыщенность, туманность, безсвязность, пестрота, и къ довершенію всего—совершенная непонятность... Прочтите «Кирджали» Пушкина: содержаніе сходно съ повѣстью г. Вельтмана; но какая простота, безыскусственность, какая непринужденная сжатость и энергія, какая поэзія, и какъ все понятно уму и сердцу!...

Да не подумаютъ читатели, чтобъ нашимъ сужденіемъ о повѣсти г. Вельтмана управляло пристрастіе къ ея автору: нѣтъ, мы признаемъ въ г. Вельтманѣ не только поэтическій, но даже большой поэтическій талантъ. Въ его «Кощей Безсмертномъ», «Свѣтославичѣ» и другихъ романахъ и повѣстяхъ часто проблескиваютъ искры высокой поэзіи, встрѣчаются картины и очерки, набросанные художническою рукою; но нигдѣ нѣтъ цѣлаго, полнаго, оконченнаго; — тамъ рука, тутъ нога, иногда цѣлая голова удивительной работы, волшебнаго рѣзца, но никогда полной статуи, запечатлѣнной единствомъ мысли, гармоніею цѣлаго. И вотъ причина, почему г. Вельт-

манъ, будучи поэтомъ съ большимъ дарованіемъ, не пользуется на Руси тѣмъ авторитетомъ, котораго заслуживалъ бы его талантъ, и заслоняется въ глазахъ публики разными народными и нравоописательными писателями. Къ этому надо присовокупить еще какую-то странность въ направленіи, какіе-то капризы фантазіи, непонятную наклонность къ филологіи въ области поэзіи. И удивительно ли, что литературное поприще, такъ блистательно начатое «Кощеемъ», заключается теперь «Каломеросомъ» и «Урсоломъ»? Г. Вельтману ужъ не разъ, и притомъ не безъ основанія, замѣчали, что для поэта мало быть обогащену сокровищами поэзіи, но надо еще и умѣть ими распоряжаться: иначе богатство съѣдетъ на нищету... Оно такъ и дѣлается...

Переворачиваемъ страницу и видимъ... о удивленіе!... повѣсть г. Надеждина — «Сила Воли»... Итакъ, и г. Надеждинъ сталъ повѣствователемъ?... Странно!... А все виноватъ г. Смирдинъ: онъ своими «Стами Литераторами» всѣхъ литераторовъ нашихъ превратилъ въ нувеллистовъ. Можетъ-быть, это выгодно для его книги, но едва ли выгодно для литераторовъ. Вотъ хоть бы г. Надеждинъ: онъ литераторъ умный, ученый; онъ журналистъ, профессоръ эстетики, критикъ, фельетонистъ; онъ хорошій сотрудникъ «Энциклопедическаго Лексикона»: но какой же онъ поэтъ, какой же повѣствователь?...

Г. Надеждинъ началъ свое литературное поприще въ «Вѣстникѣ Европы», и началъ борьбою противъ романтизма. Въ первыхъ статьяхъ своихъ, онъ явился псевдонимомъ Надоумкою; но когда были напечатаны отрывки изъ его диссертаций, писанной для полученія степени доктора, всѣ узнали, что Надоумко и г. Надеждинъ — одно лице. Статьи Надоумки отличались особенною журнальною формою, оригинальностью, но еще чаще странностію языка, бойкостію и рѣзкостію сужденій. Какъ въ нихъ, такъ и въ диссертаций, можно было замѣтить,

что противникъ романтизма понималъ романтизмъ лучше его защитниковъ, и былъ не совѣтъ искреннимъ поборникомъ классицизма такъ же, какъ и не совѣтъ искреннимъ врагомъ романтизма. Г. Надеждинъ первый сказалъ и развилъ истину, что поэзія нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не Греки и не Римляне), ни романтической (ибо мы не паладины среднихъ вѣковъ); но что въ поэзіи нашего времени должны примириться обѣ эти стороны и произвести новую поэзію. Мысль справедливая и глубокая; — г. Надеждинъ даже хорошо и развилъ ее. Но тѣмъ не менѣе, она немногихъ убѣдила и не вошла въ общее сознаніе. Много причинъ было этому, а главныя изъ нихъ: какая-то неискренность и непрямота въ доказательствахъ, свойственная докторанту, а не доктору, и явное противорѣчіе между воззрѣніями г. Надеждина и ихъ приложеніемъ. Г. Надеждинъ, понимая, что классическое искусство было только у Грековъ и Римлянъ, называя французскую поэзію псевдоклассическою, неестественною и надутою, въ то же время съ благоговѣніемъ произносилъ имена Корнеля, Расина и Мольера и смѣло цитовалъ риторическіе стихи Ломоносова, Петрова, Державина и Мерзлякова, увѣряя, что въ нихъ-то и заключается всяческая поэзія. Далѣе, очень хорошо понимая, что Шекспиръ, Байронъ, Гёте, Шиллеръ, Пушкинъ совѣтъ не романтики, но представители новѣйшей поэзіи, онъ съ ожесточеніемъ глумился надъ ними, какъ надъ неистовыми романтиками, и смѣшивалъ ихъ съ героями юной французской литературы. Это противорѣчіе едва ли не было умышленно, во уваженіе невѣрныхъ отношеній докторанта, желающаго быть докторомъ, и потому, по мѣрѣ возможности, не желающаго противорѣчить закоренѣлымъ предубѣжденіямъ докторовъ. По этой уважительной причинѣ, г. Надеждинъ вооружился противъ Пушкина всѣми аргументами своей учености, всѣмъ остроуміемъ своихъ «надоумочныхъ»

или — какъ говорили тогда его противники — «недоумочныхъ» статей. Время и мѣсто не позволяютъ намъ распространиться о его подвигахъ въ ратованіи противъ Пушкина, ибо это длинная и притомъ забавная и занимательная исторія, которую мы представляемъ себѣ рассказать въ другое время, какъ скоро представится удобный случай. Теперь же скажемъ только, что, сдѣлавшись докторомъ и получивъ кафедру, г. Надеждинъ сдѣлался журналистомъ — и совершенно измѣнилъ свои литературные взгляды и даже орфографію: вмѣсто «эстетическій» и «энтузіазмъ» сталъ писать «эстетическій» и «энтузіазмъ»; разбирая «Бориса Годунова», заговорилъ о Пушкинѣ уже другимъ тономъ, хотя и осторожно, чтобъ не слишкомъ рѣзко противорѣчить своимъ «надоумочнымъ» и «эстетическимъ» статьямъ. Во всякомъ случаѣ, г. Надеждинъ — примѣчательное лицо въ нашей литературѣ и заслуживаетъ подробной и основательной оцѣнки, которую мы и предоставляемъ себѣ сдѣлать при случаѣ.

Но тѣмъ не менѣе, повѣсть совсѣмъ не дѣло г. Надеждина. «Сила Воли» рассказана умно, но холодно и безцвѣтно, тогда какъ, по ея содержанію, почерпнутому изъ кипучей жизни католической Италіи, — фантазіи и чувству было бы гдѣ разгуляться.

Далѣе слѣдуетъ повѣсть г. Каменскаго «Іаковъ Моле». Она особенно замѣчательна цвѣтистымъ и театральнымъ рассказомъ и картинкою, которая къ ней приложена; не знаешь, чему удивиться — тому ли, что повѣсть удивительно выражаетъ картинку, или тому, что картинка удивительно выражаетъ повѣсть; не знаешь, чему отдать преимущество — повѣсти, или картинкѣ. Мы думаемъ, что то и другое хорошо. Г. Каменскій — извѣстенъ, какъ авторъ сатирическаго романа «Искатель Сильныхъ Ощущеній», нѣсколькихъ повѣстей и драмы «Розы и Маска».

Г. Панаевъ (В. И.), извѣстный нашъ идиллистъ, написалъ для альманаха г. Смирдина не повѣсть, а рассказъ объ истинномъ происшествіи, который и названъ имъ просто «Присшествіе 1812 года». Рассказъ отличается занимательностію содержанія, правильнымъ, гладкимъ и пріятнымъ слогомъ.

«Любовь Петербургской Барышни», предсмертный рассказъ г. Веревкина, или Рахманнаго, заключаетъ собою второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Въ этомъ предсмертномъ рассказѣ нѣтъ никакого рассказа, потому что нѣтъ никакого содержанія. Это просто—дурно набросанная на бумагу болтовня о томъ, какъ одна петѣрбургская барышня сперва «влюбилась» въ одного господина офицера, а потомъ, когда ей представилась выгодная партія, разлюбила его. Интереснѣе всего въ этомъ рассказѣ литературныя признанія г. неизвѣстнаго въ русской литературѣ сочинителя, — признанія въ родѣ «Confessions» Руссо, или Жаненовыхъ признаній. Послушайте:

«Около того же времени, въ первый разъ выступилъ я на литературное поле. Есть на Руси таинственный человѣкъ, которому всѣ невольно удивляются, хотя многіе злословятъ его. Не зная этого человѣка лично, я былъ влюбленъ въ него, быть-можетъ, столько же, какъ въ Ольгу: не я одинъ, изъ нашего молодого поколѣнія, питалъ и питаю къ нему эту романическую привязанность. По моимъ понятіямъ, такая сила дарованія должна была опираться въ немъ на душу теплую и благородную, и я не ошибся. Точно такъ же, какъ невинная Ольга довѣрчиво вручила свою судьбу мнѣ, почти незнакомому себѣ (ей?) человѣку, я вручилъ ему свою, безпредѣльно, неограниченно (*вручить судьбу безпредѣльно, неограниченно*—какъ это хорошо сказано!). *Любовное письмо*, которое я написалъ къ нему, исторглось у меня также изъ глубины души: онъ такъ и понималъ его, и съ тѣхъ поръ его участіе, совѣтъ, руководство, содѣйствіе, помощь, дружба не оставляли меня. Радость и весьма основательная гордость моя, по поводу пріобрѣтенія такого друга, служила нѣкоторымъ *противовѣсіемъ* горести, которую начинала причинять любовь. Дѣло въ томъ, что въ то самое время, какъ пріобрѣталъ друга, я очевидно терпалъ любовницу: отвѣтъ, объясненіе не являлись...

«Благодаря содѣйствію этого достойнаго друга, маленькіе, довольно-блестящіе успѣхи начали загромождать путь мой къ будущей литературной славѣ (вотъ какъ!..), которая съ тѣхъ поръ и самому мнѣ показалась воз-

можно къ достиженію при дальнѣйшихъ усиліяхъ и болѣе важныхъ начинаніяхъ (?). *Мое имя было произнесено въ гостиницѣ.* Литературные интриганы стали штурмовать меня письмами, стараясь привлечь новое перо мое въ журналы своихъ безсильныхъ партій. Эти бездарные шакалы много чуютъ поживу за семьсотъ-семьдесятъ-семь верстъ, и ихъ мелочные происки, внушая мнѣ отвращеніе, очень польстили моему самолюбію: они заставляли меня вѣрить въ мой собственный талантъ, и я уже, нѣкоторымъ образомъ, начиналъ разыгрывать роль «писателя». Предчувствія, предсказанія Ольги сбывались. Эти первые лучи славы были, безспорно, твореніе рукъ ея. Съ какими восторгомъ украсилъ бы я ими прелестную ея головку...

Вотъ геній-то, такъ ужъ геній! Онъ не дожидается суда современниковъ и потомковъ, но, написавъ двѣ-три посредственныя повѣстцы для пріятельскаго журнала, самъ провозглашаетъ себя геніемъ, и, собираясь въ дальній путь, смѣло сочиняетъ апотеозъ своей небывалой славы, выдумываетъ себѣ почитателей и враговъ, увѣряетъ, что его на перебой звали къ себѣ въ журналисты, крича: «къ намъ Иванъ Александровичъ, пожалуйста къ намъ управлять департаментомъ»... Впрочемъ, все это такъ смѣло и странно, что надо помочь недоразумѣнію читателей — сказать имъ, кто такой этотъ г. Веревкинъ или Рахманный, т. е. что такое сдѣлалъ и чѣмъ прославилъ онъ себя въ русской литературѣ. Онъ написалъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» одну или двѣ изъ тѣхъ повѣстей, которыя кажутся столь остроумными извѣстному кругу провинціальной публики. Вотъ и всѣ его права на литературную славу, которой онъ почиталъ себя достигшимъ. Что же до таинственнаго человѣка, которому будто бы удивляется вся Россія, его не трудно угадать по слогу повѣсти г. Веревкина, которая начинается фразою: «Есть разнаго роду любви»; далѣе можно въ ней найти слова «враждъ», «мечтъ» и т. п.

И вотъ передъ вами весь второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»! Плохъ былъ и первый, но передъ вторымъ онъ какъ солнце передъ гнилушкой. Лучшею статьею въ этомъ второмъ томѣ можетъ похвастаться повѣсть г. Булгарина: этого

довольно для оцѣнки книги. Вотъ что значитъ терпѣніе и долготѣнная служба —

То старшихъ исключать вникъ,
Другіе, смотришь, перебиты —
Ваканціи какъ разъ открыты,

какъ говоритъ одно изъ почтеннѣйшихъ лицъ комедіи Грибоедова. А вѣдь правда: еще лѣтъ пять-десять, и если наша литература пойдетъ все такъ же, какъ теперь, то г. Булгаринъ будетъ играть въ ней первую роль и сдѣлается ея истиннымъ и достойнымъ представителемъ. Дай-то Богъ!...

РИМСКІЯ ЭЛЕГІИ. Соч. Гёте. Переводъ Струговщикова.
Спб. 1840.

При выходѣ въ свѣтъ «Римскихъ Элегій» Гёте, переведенныхъ г. Струговщиковымъ, мы ничего не сказали ни о самомъ этомъ произведеніи германскаго поэта, ни о его переводѣ, и ограничились общаніемъ полного разбора. Хотя этому прошло уже болѣе года, мы тѣмъ не менѣе увѣрены, что никто изъ читателей не назоветъ предлагаемой статьи запоздалою и неумѣстною. Отчетъ о произведеніи легкомъ, ничтожномъ, эфемерномъ, имѣющемъ достоинства и интересъ относительные, временные, долженъ немедленно слѣдовать за появленіемъ этого произведенія: запоздай онъ нѣсколькими днями, — интересъ и самое значеніе статьи уже потеряны. Вотъ почему мы поспѣшили разборомъ втораго тома «Ста Русскихъ Литераторовъ». Но литература состоитъ не изъ однихъ случайныхъ и обыкновенныхъ явленій: въ ней бываютъ произведенія основныя, безотносительно важныя, безусловно прекрасныя, — капитальныя. Такія произведенія не проигрываютъ, но выигрываютъ отъ времени и, часто не понимаемыя и незамѣчае-

мыя толпою и современностію, въ новой красотѣ воскресаютъ для потомства. Иногда бываетъ о нихъ рано говорить, но никогда не поздно о нихъ говорить: они всегда новы, всегда свѣжи, всегда юны, всегда современны. Иногда случается, что критика даже обязана говорить о нихъ какъ можно позже — чтобъ дать имъ время предварительно завладѣть вниманіемъ общества, возбудить въ немъ интересъ собою. Еслибы «Римскія Элегіи» и не были вѣчно юнымъ, никогда нестарѣющимъ произведеніемъ искусства, еслибы даже ихъ художественное достоинство было подозрѣваемо, и онѣ проигрывали отъ времени въ общемъ мнѣніи, — и тогда онѣ все-таки останутся навсегда интереснымъ и поучительнымъ фактомъ литературы. Люди, подобные Гёте, не производятъ ничего, чтò не было бы достойно величайшаго вниманія, въ какомъ бы то ни было отношеніи; самыя ошибки ихъ глубоко знаменательны и поучительны.

«Римскія Элегіи», сверхъ высокаго поэтического своего достоинства, важны для насъ еще и какъ особенный родъ поэзіи, опредѣленіе котораго можетъ составить любопытную главу эстетики. Главная цѣль предлагаемой статьи состоитъ въ томъ, чтобъ взглянуть не только на «Римскія Элегіи» Гёте, какъ на типическія произведенія особеннаго рода поэзіи, но и на тѣ собственно русскія произведенія, которыя относятся къ этому роду поэзіи. Другими словами: главный предметъ нашей статьи не столько «Римскія Элегіи», сколько родъ поэзіи, къ которому принадлежатъ онѣ.

Было время, когда наши критики и сами поэты хлопотали о какой-то такъ называемой легкой поэзіи. Одинъ изъ даровитѣйшихъ и знаменитѣйшихъ представителей литературы того времени — Батюшковъ написалъ даже особую статью «О вліяніи легкой поэзіи на языкъ». Вся эта статья не что иное, какъ апологія легкой поэзіи. Чтò же такое эта «легкая поэ-

зія? Въ то время понятія объ искусствѣ были довольно темны и сбивчивы: съ поэзіею смѣшивали все что писалось размышленными строчками съ рифмами; чувствительная пѣсенка и свѣтскій комплиментъ дамѣ, втиснутый въ четверостишіе, съ названіемъ: «къ Климентѣ», или «къ Темирѣ»,—все это считалось поэзіею, и по преимуществу «легкою», хотя этому явно противорѣчила тяжесть дубоватой версификаціи. Такъ и Батюшковъ не совсѣмъ отчетливо понималъ то, что называлъ «легкою поэзіею». Онъ говорилъ, что на Руси, Ломоносовъ изобрѣлъ ее, и высоко ставилъ заслуги въ «легкой поэзіи» Сумарокова, Богдановича, Державина, Дмитріева, Хемницера, Карамзина, Капниста, Нелединскаго, Мерзлякова, Муравьева, Долгорукаго, Воейкова, В. Пушкина и другихъ. Вообще можно замѣтить, что подъ словомъ «легкая поэзія» онъ разумѣлъ мелкіе роды лирической поэзіи—пѣсню, сонетъ, элегію, эпиграмму, мадригалъ, тріолетъ т. п. Но ближайшее къ истинному воззрѣнію на предметъ видимъ мы въ его указаніи на Симонида, Θεокрита, Сафо, Катулла, Тибулла и Овидія, какъ представителей у древнихъ того, что онъ называлъ «легкою поэзіею». Очевидно, у Батюшкова была мысль, но до того неопредѣленная, что онъ еще не отыскалъ слова для ея выраженія. Ниже увидимъ, по его превосходнымъ переводамъ изъ Антологіи, что онъ на дѣлѣ гораздо лучше понималъ и рѣшалъ вопросъ, нежели въ теоріи.

Слово: «легкая поэзія» далеко не вполне выражаетъ предполагаемое имъ значеніе, хотя легкость и есть одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ той поэзіи, которую разумѣли подъ именемъ «легкой». Мы думаемъ, что ей приличнѣе названіе «античной», потому что она родилась и развивалась у Грековъ; у новѣйшихъ же поэтовъ она—только плодъ проникновенія классическимъ духомъ: у эллинской поэзіи заимствуетъ она и краски, и тѣни, и звуки, и образы, и формы, даже

иногда самое содержаніе. Впрочемъ, ее отнюдь не должно почитать подражаніемъ: всякое преднамѣренное и сознательное подражаніе — мертво и скучно. Когда поэтъ проникаетъ духомъ какого-нибудь чуждаго ему народа, чуждой страны, чуждаго вѣка, — онъ безъ всякаго усилія, легко и свободно творитъ въ духѣ того народа, той страны, или того вѣка. Эта возможность проникновенія чуждымъ духомъ основывается на живомъ, органическомъ единствѣ идеи человѣчества. Несмотря на множество и различіе существовавшихъ и существующихъ народовъ, всѣ они образуютъ собою единое семейство, имѣющихъ однихъ и тѣхъ же предковъ, одну и ту же исторію: это семейство называется человѣчествомъ. Человѣчество выше всякаго народа, отдѣльно взятаго, такъ же, какъ всякій народъ выше всякаго человѣка, взятаго отдѣльно. И потому, какъ всякая личность живетъ въ народѣ и народомъ, но не во всякой личности живетъ народъ, а только въ избранныхъ своихъ представителей, — такъ точно и всѣ народы живутъ въ человѣчествѣ, но не во всякомъ народѣ является человѣчество, а только въ избранныхъ, и въ одномъ больше, въ другомъ меньше. Сущность идеи человѣчества состоитъ въ ея общности, въ ея отчужденіи отъ всего случайнаго, временнаго, переходящаго, частнаго: ея содержаніе — истина, а истина есть общее, необходимое, вѣчное. Очевидно, что чѣмъ одностороннѣе, исключительнѣе, ограниченнѣе идея, выражаемая жизнію народа, чѣмъ больше въ ней условнаго, частнаго, такъ сказать своего домашняго, чисто народнаго, — тѣмъ менѣе можетъ такой народъ назваться представителемъ человѣчества. Исторія такихъ народовъ мало интересна и мало понятна для науки; а народность ихъ почти недоступна для людей, принадлежащихъ другому племени. Напротивъ, чѣмъ многостороннѣе, всеобъемлюще, глубже, общѣ содержаніе народной жизни, чѣмъ больше въ ней истиннаго, разумнаго, дѣйствительнаго, — тѣмъ

человѣчественнѣ такой народъ, тѣмъ онъ болѣе бываетъ представителемъ человѣчества. Исторія такихъ народовъ полна интереса даже въ самыхъ мелочныхъ подробностяхъ; національность ихъ совершенно доступна всякому образованному человеку, хотя бы онъ былъ отдѣленъ отъ нея и своею собственною народностію и цѣлыми вѣками. Почти всѣ народы древности разрабатывали свою жизнію ниву развитія человѣческаго духа, — разумѣется, одинъ больше, другой меньше, и потому исторія, поэзія и цивилизація каждаго изъ нихъ имѣетъ свою относительную важность; но всѣ они какъ бы уничтожаются передъ Греціею и Римомъ. Особенно первой назначена была высокая роль въ человѣчествѣ судьбами міродержавными. Въ племенахъ семитическихъ, въ Ассиріянахъ, Вавилонянахъ, Персахъ, Финикіянахъ, Египтянахъ, человѣчество только какъ-будто силилось проявиться; но въ Грекахъ его усилія уже увѣнчались совершеннымъ успѣхомъ; Греки явились полными и единственными представителями человѣчества, и по праву называли варварами всѣ народы, которые не были греческаго происхожденія. Еслибъ можно было представить океанъ, образовавшійся отъ стеченія ручьевъ и рѣкъ: это было бы лучшимъ риторическимъ подобіемъ для уясненія отношеній всѣхъ народовъ древности къ Греціи — и Греціи ко всѣмъ народамъ древности, исключая Римлянъ. Превосходство Грековъ надъ всѣми другими народами древности состоитъ въ томъ, что у нихъ все свое, все народное, частное, семейное, домашнее, было ознаменовано печатію необходимости и разумности, отличалось характеромъ обще-человѣческимъ. Удивительно ли, послѣ этого, что мы имена Тезеевъ, Солоновъ, Кедровъ, Леонидовъ, Мильтіадовъ,Themistокловъ, Аристидовъ, Кимоновъ, Перикловъ, Алкивіадовъ, Тимолеоновъ, Сократовъ, Платоновъ узнаёмъ въ нашемъ дѣтствѣ, прежде, нежели имена героев отечественной исторіи; что всѣ образованные

народы считаютъ Грецію какъ бы своимъ общимъ отечествомъ? Какъ ни отдѣлены мы отъ Грековъ и нравами, и условіями жизни, и образомъ воззрѣнія на міръ, и вѣками, словомъ, какъ ни противоположна наша жизнь греческой, мы все понимаемъ въ исторіи Греціи такъ же ясно, какъ и въ исторіи своего отечества,—и каждый образованный человѣкъ нашего времени легко можетъ представить себя, въ своей фантазіи, подъ небомъ Эллады, слушающаго на площади ораторовъ, или внимающаго въ садахъ академіи, мудрымъ урокамъ божественнаго Платона. Да, для насъ, при небольшомъ изученіи, Грекъ понятенъ, будто нашъ современникъ, и на площади, и на полѣ брани, и въ совѣтѣ, и въ портикѣ, и на пиру, съ вѣнкомъ на головѣ возлежащій за столомъ, среди благовонныхъ куреній, и въ домашней жизни, жалующійся на прозу брачныхъ узъ и житейскихъ заботъ. Но прошу васъ вообразить себя живо древнимъ Персомъ, который сегодня пресмыкается рабомъ послѣдняго раба своего владыки, а завтра дерзко садится на тронъ властелина и хладнокровно душитъ родныхъ и казнитъ чужихъ; для котораго вся поэзія жизни—власть и богатство, а назначеніе жизни — быть палачомъ или жертвою!... Еще труднѣе вообразить себя австралійскимъ дикаремъ, для котораго верхъ блаженства — дикая, животная воля, кусокъ человѣческаго мяса, осколокъ зеркала, цвѣтной лоскутъ матеріи, какая-нибудь побрякушка; котораго вся жизнь — или остервенѣлая рѣзня съ врагами, или побѣдная пляска вокругъ костра, гдѣ жарятся тѣла плѣнниковъ. Чѣмъ жизнь ниже, тѣмъ менѣе понятна она; чѣмъ выше, тѣмъ понятнѣе. Со всѣмъ тѣмъ, какъ бы ни была тѣсна и ограничена сфера жизни, но если въ ней есть хоть что-нибудь человѣческаго, — это малое человѣческаго намъ понятно. И у дикарей есть чувство любви, хотя въ грубыхъ, животныхъ формахъ; и для дикаря существуютъ и радость и горе; сердце его весело бьется въ присутствіи милаго

ему человѣка, слезами и рыданіями изъясляетъ онъ печаль при невозвратной утратѣ. И когда радость его, или страданіе, отрѣшась отъ минуты и случая, которыми порождены онѣ, переливаются въ звуки и выражаются общечеловѣческимъ языкомъ поэзіи, — мы понимаемъ простые и наивные звуки этой поэзіи, сочувствуемъ ей, потому что находимъ въ ней свое, намъ самимъ принадлежащее, родное, словомъ — человѣческое. Я человѣкъ — и ничто человѣческое не чуждо мнѣ: вотъ законъ, на основаніи котораго мы выучиваемся чужимъ языкамъ, понимаемъ чужіе нравы, интересуемся чужою исторіею, наслаждаемся чужою поэзіею, становимся гражданами уже несуществующихъ народовъ и протекшихъ вѣковъ, дѣлаемся властелинами прошедшаго, настоящаго и будущаго, царствуемъ надъ міромъ и вѣчностію... бѣденъ и нищъ, кто, нося на себѣ образъ человѣческой, чуждъ всему человѣческому, — бѣденъ и нищъ, хотя бы онъ былъ богаче Креза, могущественнѣе Чингисъ-Хана! Богатъ и могущъ, кто все понимаетъ, всему сочувствуетъ, — богатъ и могущъ, хотя бы онъ былъ бѣднѣе Ира и назывался владѣльцемъ только собственной души своей!...

Но эта царственная область мірообладанія, это живое чувство родственности со всѣми формами, въ какихъ когда-либо проявлялась жизнь человѣчества, — по преимуществу достояніе поэта. Никому такъ не легко перенестись въ прошедшіе вѣка, воскресить почившіе народы, населить опустошенные города, посмотреть ихъ обычаи и нравы, подслушать ихъ рѣчь, подстеречь и уловить сокровенную думу цѣлаго ихъ существованія! Подобно Кювѣ, который по одной, вырытой изъ земли кости, безошибочно опредѣлялъ родъ, видъ, величину и наружную форму животнаго, — поэтъ по немногимъ фактамъ, часто нѣмымъ для ученаго и всегда мертвымъ для толпы, составляетъ цѣлое племя существъ, нѣкогда юныхъ, сильныхъ,

полныхъ жизни и красоты; изъ мрака забвенія поднимаетъ чудную исторію, полную страстей, движенія, интереса; волшебнымъ заклинаніемъ поэзіи вызываетъ тѣни изъ гробовъ и заставляетъ ихъ снова и любить и ненавидѣть, и желать и стремиться, и страдать и блаженствовать, словомъ — снова переживать передъ нашими глазами всю жизнь свою. Въ глупо рассказанной сказкѣ «О томъ, какъ хитро датскій король Амлетъ отмстилъ за смерть отца своего Горденвилла, убитаго своимъ братомъ Фенгономъ, и прочихъ похожденія его жизни» — въ этой нелѣпой сказкѣ, онъ проводитъ великую драму и изъ ея скудныхъ матеріаловъ создаетъ «Гамлета». Въ лѣтописи Плутарха, представляющей только вѣшнюю сторону происшествій, онъ видитъ всѣ тайныя пружины, которыя давали ходъ событіямъ и которыя были невидимы для самаго великаго жизнеописателя, — и творческою силою фантазіи вызываетъ изъ гробовъ гигантскія тѣни Коріолана, Брутовъ, Цезаря, Антонія, Августа, милые, граціозныя образы цѣломудренной Лукреціи и обольстительной Клеопатры, одѣваетъ ихъ тѣломъ, вливаетъ въ ихъ жилы теплую кровь, зажигаетъ ихъ глаза блескомъ жизни и страстей, и мы слышимъ ихъ рѣчь, видимъ ихъ дѣла, знаемъ ихъ сокровенныя помыслы — сопresentуемъ жизни давно кончившейся, созерцаемъ краски давно поблекшія, формы давно исчезнувшія, дѣлаемся современными свидѣтелями событій, отъ которыхъ отдѣляются насъ тысячелѣтія и вѣка!... Задача историка — сказать, что было; задача поэта — показать, какъ было: историкъ, зная что было, не знаетъ какъ было; поэту нужно только узнать что было, и онъ уже видитъ самъ и можетъ показать другимъ какъ оно было. И потому, если наука оказываетъ поэзіи услуги, сказывая ей о томъ, что было, то и поэзія, въ свою очередь, расширяетъ предѣлы науки, показывая, какъ было. Мы недавно видѣли доказательство этого въ Вальтеръ-Скоттѣ, который

своимъ романомъ «Иванго» обнаружилъ тайныя пружины англійской исторіи, нашедъ ихъ въ борьбѣ саксонскаго племени съ норманскимъ, и тѣмъ далъ толчокъ и направленіе историческимъ изысканіямъ новѣйшаго времени. Всѣмъ извѣстенъ былъ темный слухъ о смерти Моцарта, будто бы отравленнаго Сальери изъ зависти: но только Пушкинъ могъ провидѣть въ этомъ преданіи психологическое явленіе и общую идею таланта, мучимаго завистію къ генію, — и онъ показалъ не то, какъ дѣйствительно случилась эта исторія, но какъ бы могло она случиться и прежде, и нынче, и всегда. А между тѣмъ, ужасающая вѣрность, съ какою поэтъ представилъ положеніе Сальери къ Моцарту, доказываетъ отнюдь не то, чтобъ подобное положеніе было извѣстно ему самому по горестному опыту, а только то, что чѣмъ глубже духъ художника, тѣмъ доступнѣе его непосредственному сознанію всѣ, и свѣтлыя и мрачныя, стороны человѣческой природы. Отъ этой-то доступности всему, что свойственно природѣ человѣческой, проистекаетъ способность поэта переноситься во всякое положеніе, во всякую страну, во всякій возрастъ, во всякое чувство, въ опыта собственной жизни. Тотъ не поэтъ, кто не могъ бы вѣрно выразить чувство отеческое, потому что самъ не былъ отцомъ. Если допустить, что неиспытаннаго собственнымъ опытомъ поэтъ не можетъ изображать, то ужъ нечего и говорить, что поэтъ, если онъ мужчина, не можетъ изобразить ни дѣвушки, ни матери. Такимъ точно образомъ, поэту отнюдь не должно быть Персіаниномъ, чтобъ, начитавшись Гафиза, писать въ духѣ персидской поэзіи. Въ поэзіи всякаго народа отражается природа (мѣстность) и духъ (національность) страны. Обаяніе персидской поэзіи не только можетъ быть доступно для жителя сѣверныхъ странъ, но еще, по закону противоположности, сильнѣе дѣйствовать на него, чѣмъ на природнаго Персіанина. Нѣга и роскошь непосредственнаго бытія на лонѣ матери

роды также не могут не быть доступнымъ Европейцу, хотя и прямо противорѣчатъ условіямъ его жизни. Чувственная жизнь есть первый моментъ жизни каждаго человѣка въ періодъ его безсознательнаго младенчества; эта же чувственная жизнь была первымъ моментомъ и жизни человѣчества на его родномъ и роскошномъ Востокѣ: слѣдовательно, то, что теперь составляетъ поэзію персидской жизни, — не что-нибудь случайное, но необходимый (а потому и разумный) моментъ историческаго развитія. Если намъ кажется унизительною для человѣческаго достоинства такая нравственная дремота чувственнаго бытія, — это потому что она несвоевременна, и что народъ, погруженный въ нее, представляетъ изъ себя поспѣлаго и дряхлаго младенца; сверхъ того, въ персидской, какъ и во всякой восточной, поэзіи, основной элементъ — пантеистическое міросозерцаніе, которое для современнаго человѣчества — анахронизмъ, но въ свое время было великимъ моментомъ всемірно-историческаго развитія. Пылкость южной фантазіи, любящая выражаться преувеличенными образами, яркими и пестрыми формами, странными и, часто, изысканными оборотами, также имѣетъ для насъ свой интересъ, хотя и внѣшній, предметный, и понятна намъ, такъ сказать, вчужѣ. Слѣдовательно, все, что составляетъ элементы жизни и поэзіи Персіи, не есть что-нибудь чуждое духу человѣческому, но все родственное и присущее ему, хотя и подъ условіемъ прошедшаго историческаго момента. Тѣмъ болѣе возможности для поэта погружаться въ прекрасный міръ Греціи и выносить изъ него чудныя видѣнія, созданныя въ ея духѣ и формѣ. Говорятъ, Пѣмцу нельзя быть Грекомъ? Справедливо: Пѣмецъ не можетъ быть Грекомъ до того, чтобы не быть Пѣмцемъ; но Пѣмецъ, созерцающій міръ греческой жизни и до уподобія принимавшій въ духомъ, можетъ смотрѣть на него глазами Грека и, по-гречески, становится Грекомъ, не переставая быть Пѣмцемъ. И чело-

вѣкъ—и ничто человѣческое не чуждо мнѣ, а Греція была по преимуществу страной человѣчественности (Humanität).

Духъ человѣческій всегда одинъ и тотъ же, въ какихъ бы формахъ ни являлся онъ: форма есть явленіе идеи, а идея всегда одина и вѣчна; слѣдовательно, только случайныя формы, лишенная жизни, чуждая идеѣ, могутъ быть непонятны. Развитіе человѣчества есть непрерывное движеніе впередъ, безъ возврата назадъ. Если мы видимъ теперь просвѣщеннѣйшія страны древняго міра погруженными во мракъ невѣжества и варварства, а мѣста невѣжества и варварства въ древности—просвѣщеннѣйшими странами въ мірѣ,—изъ этого совсѣмъ не слѣдуетъ, чтобъ движеніе человѣчества состояло въ какомъ-то кругѣ, гдѣ крайняя точка впадаетъ въ точку исхода. Человѣчество дѣйствительно движется кругомъ (т. е. идя впередъ, безпрестанно возвращается назадъ), но кругомъ не простымъ, а спиральнымъ, и въ своемъ ходѣ образуетъ множество круговъ, изъ которыхъ послѣдующій всегда обширнѣе предшествующаго. Человѣчество въ своемъ ходѣ подобно путнику, который, за отсутствіемъ прямой дороги, дѣлаетъ обходы мимо лѣсовъ и болотъ,—который въ иной день далеко уйдетъ впередъ, а въ иной возвратится назадъ, но у котораго, въ суммѣ пройденнаго пространства, каждый день является нѣсколько процентовъ, приближающихъ, а не отдаляющихъ его отъ цѣли. Если свѣтъ просвѣщенія погасъ въ Вавилонѣ, Египтѣ, Греціи и Италіи,—это было проигрышемъ для тѣхъ странъ а не для человѣчества. Греція и Римъ погибли для себя, но сохранились для человѣчества: ихъ приняла въ себя варварская, тевтонская Европа съ тѣмъ, чтобъ, обогативъ ими собственную жизнь, возвратитъ ихъ потомъ имъ же самимъ. Законъ развитія человѣчества таковъ, что все пережитое человечествомъ, не возвращаясь назадъ, тѣмъ не менѣе и не исчезаетъ безъ слѣдовъ въ пучинѣ времени. Исчезнувшее въ дѣй-

смысленности, — жизнь не познания. Такъ старецъ съ умилениемъ и восторгомъ воспоминаетъ не только о лѣтахъ своего зрѣлаго юношества, но и о шаловой юности, и о скѣтномъ, безынтересномъ младенцествѣ, и потому снискому не проставаетъ сочувствовать ни юну, ни взрослому, ни младенцу. Человѣку нельзя на всю жизнь оставаться младенцемъ, но онъ долженъ пройти черезъ все возрасты — отъ колыбели до могилы. Последующій возрастъ выше предшествующаго; однако изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ предшествующій, будучи ступенью и средствомъ, не былъ, въ то же время, и самъ собою цѣлью, а слѣдовательно, не заключалъ въ себѣ разумности и поэзіи. Дѣтскій возрастъ безуменъ, но не глупъ. Мы смѣемся, глядя на ребенка въ гусарскомъ мундирѣ и верхомъ на палочкѣ; но смѣемся, въ этомъ случаѣ, только легкости, а не глупости его взгляда на жизнь, и смѣясь, завидуемъ этой легкости, со вздохомъ вспоминая о лѣтахъ своего дѣтства. Дитя, сидя верхомъ на палочкѣ, воображаетъ себя всадникомъ, скачущимъ на борзомъ конѣ: — это глупость, но глупость такъ сказать разумная, ибо выраженіе лица этого ребенка, полные огня глаза его обнаруживаютъ не только умъ, но часто и остроуміе и своего рода хитрость, при невинности и простодушіи, — тогда какъ лице взрослого человѣка, который тѣнится тѣдою на палкѣ, непременно должно выражать глупость и нѣдѣлство. То же бываетъ и съ человѣчествомъ. Герои нашего времени не пасутъ своихъ стадъ, не рѣжутъ своими руками барановъ и не пекутъ ихъ на огнѣ, подобно Агамемнону и Ахиллу, а герои не ходятъ къ свѣтлымъ ключамъ мыть платья своихъ мужей, отцовъ и братій, подобно дщерицъ царственнаго старца Пріама; но это не мѣшаетъ намъ, людямъ новѣйшаго времени, понимать и любить поэзію пасторально-героической Греціи, вослѣпаться неправильными боями, грубыми иррегулярными, цѣлонуременно-чувственнымъ и названо-нагою любовію, и патриар-

хально-семейственными отношеніями этихъ людей-полубоговъ, этихъ героев-дѣтей, такъ божественно воспѣтыхъ безсмертнымъ, вѣчно юнымъ старцемъ Гомеромъ. Да, ни одинъ изъ прожитыхъ человѣчествомъ моментовъ не теряется ни для жизни, ни для сознанія человѣчества. Только дикіе невѣжды, грубыя натуры, чуждыя божественной поэзіи, могутъ думать, что «Иліада», «Одиссея» и греческіе лирики и трагики уже не существуютъ для насъ, не могутъ улаживать нашего эстетическаго чувства. Эти жалкіе крикуны, которые во всемъ видятъ одну внѣшность и со внѣ срываютъ одні верхушки, не проникая внутрь, въ таинственное святилище животворной идеи, — эти сухіе резонёры опираются на измѣнчивость формъ и условій жизни. Но они забываютъ, что въ формахъ и временныхъ условіяхъ выражается вѣчная, неумирающая идея, и что поэзія потому самому и есть высокое, вдохновенное искусство, а не ремесло, что она въ создаваемые ею формы и образы улавляетъ идею, и чрезъ формы и образы овеществляетъ идею, а черезъ идею дѣлаетъ вѣчно-юными и живыми формы и образы. Въ наше время уже невозможны крестовые походы; но кто же, кромѣ невѣждъ, не будетъ видѣть въ крестовыхъ походахъ среднихъ вѣковъ — этой эпохѣ юности человѣчества — великаго событія, или станетъ надъ ними смѣяться, какъ надъ пустымъ и нелѣпымъ предпріятіемъ?... Манчскій витязь, благородный донъ Кихоть, дѣйствительно смѣшонъ — именно потому, что онъ анахронизмъ; явился же онъ въ свое время — онъ былъ бы великъ, возбуждалъ бы удивленіе, а не смѣхъ. Въ этомъ смыслѣ смѣшна и «Энеида» которая во время упадка римской доблести, во время разврата, вздумала прикинуться простодушнымъ эпосомъ пасторально-героическихъ временъ и объявить незаконныя притязанія на родство съ божественною «Иліадою».

Подражать поэзіи извѣстнаго народа, или какого-нибудь поэта — совсѣмъ не то, что писать въ духѣ той или другой

поэзіи, того или другого поэта. Всякимъ подражаніемъ необходимо предполагается сознательное преднамѣреніе и усиліе воли; проникновеніе же въ духъ какой-либо поэзіи есть дѣйствіе свободное, непосредственное. Отъ подражанія происходитъ только мертвый списокъ, рабская копія, которые лишь по наружности сходны съ своимъ образцомъ, но въ сущности не имѣютъ ничего съ нимъ общаго. Трагедіи Корнеля, Расина и Вольтера могутъ еще имѣть какое-нибудь значеніе и какую-нибудь цѣну, какъ отголосокъ современныхъ идей, какъ отраженіе современнаго общества, хотя и въ неестественной формѣ; но какъ подражанія трагедіямъ Софокла и Эврипида, какъ изображенія греческихъ характеровъ и греческой жизни, — онѣ смѣшны, нелѣпы, каррикатурны, лишены даже всякаго признака здраваго смысла, не только поэзіи. Творчество въ духъ извѣстной поэзіи, жизни которой проникнулся поэтъ, есть уже не списокъ, не копія, но свободное воспроизведеніе (*reproduction*), соперничество съ образцомъ. Для доказательства достаточно указать на «Торжество Побѣдителей» и «Жалобы Цереры» — піесы Шиллера, такъ превосходно переданныя по-русски Жуковскимъ. Эллинская рѣчь исполнена въ нихъ эллинскаго духа; пластическіе образы классической поэзіи дышатъ глубиною и простодушіемъ древней мысли; въ окончательныхъ стихахъ первой піесы заключается весь кодексъ вѣрованій, вся мудрость и философія жизни Грековъ:

Смертный, слѣзъ, насъ гнетущей,
 Покоряйся и терпи!
 Мертвый мирно въ гробъ спи,
 Жизнью пользуйся живуцій!

Искусство Грековъ — высочайшее искусство, норма и первообразъ всякаго искусства. Чуждое всѣхъ другихъ элементовъ, покорное только самому себѣ, оно является въ первобытной, типической самостоятельности, чистое, безпримѣс-

ное, исключительно дѣйствующее собственнымъ орудіемъ — формами и образами. Въ прекрасной наготѣ своей оно дышетъ цѣломудріемъ и какою-то святостію и чистотою мысли. Давно уже всѣ согласились, что нагія статуи древнихъ успокаиваютъ и умиряютъ волненія страсти, а не возбуждаютъ ихъ, — что и оскверненный отходитъ отъ нихъ очищеннымъ. Исключеніе остается за людьми, чуждыми эстетическаго чувства, непонимающими красоты. Красота — не истина, не нравственность; но красота родная сестра истинѣ и нравственности. Красота не служитъ чувственности, но освобождаетъ насъ отъ чувственности, возвращая духу нашему права его надъ плотію. Животное не требуетъ отъ своей самки красоты, но требуетъ только, чтобъ она была самкою. Грустно думать, что требованія многихъ людей, въ этомъ отношеніи нисколько не разнятся отъ такихъ требованій; но еще грустнѣе думать, что на многихъ людей-самцовъ и людей-самокъ красота производитъ дѣйствіе возбуждательнаго настоя. Кто же виноватъ въ этомъ — красота или люди? Конечно послѣдніе, потому что человѣкъ долженъ быть мужчиною, а не самцомъ, женщиною, а не самкою. Варваръ-Турокъ покупаетъ на базарѣ женщину, и чѣмъ прекраснѣе она, тѣмъ болѣе готовъ онъ купить ее; въ средніе же вѣка, не рѣдкость были рыцари, подобные Тогенборгу, воспѣтому Шиллеромъ, рыцари, которые, не встрѣтивъ отвѣта на свое чувство, сражались на отдаленномъ Востокѣ за Святой Гробъ, и остатокъ жизни проводили въ шалашѣ, не спуская взора съ окна жестокой красавицы... Торжество духа (ибо красота есть явленіе духа) особенно поразительно въ благородныхъ натурахъ при взаимной любви. Гордая сила мужчины робко смиряется при кроткомъ и ясномъ взглядѣ слабой красоты. Забывая обаянія наслажденія, онъ ищетъ блаженства въ одномъ присутствіи красоты, которое вѣетъ миромъ и прохладою на бурю чувствъ его. Чувство его полно религіознаго

благоговѣнія; любовь его похожа на обожаніе; самое наслажденіе кротко, цѣломудренно и чисто. Не правда ли, что здѣсь красота производитъ, повидимому, обратное и неестественное дѣйствіе?—Нѣтъ; только такое дѣйствіе красоты истинно и естественно... Здѣсь мы не можемъ не вспомнить этихъ словъ божественнаго Платона, полныхъ такой глубокой мудрости въ смыслѣ и такой силы и поэзіи въ выраженіи: «Красота одна получила здѣсь жребій—быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполне посвященный, развратный, стремится къ самой красотѣ, несмотря на то, что носить ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а подобно четвероногому ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лице, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога онъ обожаетъ, и если бы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесть бы жертву предмету любимому?...»¹⁾.

Конечно, понятія Грековъ и понятія рыцарскія о красотѣ—не одно и то же, хотя тѣ и другія выходятъ изъ одного источника. Разница заключается въ возрастѣ человѣчества, выраженномъ Греціею и западною Европою среднихъ вѣковъ: первая выразила, такъ сказать, младенчество одухотвореннаго человѣчества²⁾, а вторая — юношескій періодъ его жизни. Грекъ боготворилъ природу, прозрѣвая вѣяніе духа въ ея пре-

¹⁾ Эти слова Платона, какъ и всѣ приведенныя въ статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова, выписаны изъ «Теоріи Поэзіи въ ист. разв. у др. и нов. народовъ» С. Шевырева, книги весьма примѣчательной своими выписками изъ Геродота, Платона, Аристотеля, Лессинга, Шиллера, Гёте, Шлегеля и другихъ.

²⁾ Младенчество человѣчества въ естественномъ состояніи выражено азіатскими народами и Египтянами; въ Греціи, человѣчество является уже вышедшемъ изъ пеленъ природы и оковъ естественнаго закона.

красныхъ формахъ; средніе вѣка были царствомъ духа, объявившаго войну природѣ. Кромѣ климатическихъ причинъ, строгость въ одеждѣ была въ средніе вѣка первымъ условіемъ цѣломудрія: нагота оскорбляла его. Грекъ въ наготѣ видѣлъ только изящную природу, а идея красоты уже сама собою отстраняла въ его глазахъ идею о низкомъ и постыдномъ. Въ этомъ видѣнъ взглядъ младенца: дѣти не стыдятся наготы, и потому самому уже невинны въ ней. Но въ извѣстный возрастъ и въ нихъ пробуждается чувство безсознательной стыдливости. Грекъ боготворилъ эту стыдливость, какъ грацію; она была, въ его глазахъ, необходимою спутницею красоты, — и его прекрасныя статуи какъ-бы стыдятся своей собственной наготы. Понятія Грека объ отношеніяхъ обоихъ половъ выходили изъ понятія о красотѣ, созданной для наслажденія, но наслажденія цѣломудреннаго. Стыдливость подруги возвышала для него прелесть и цѣну наслажденія. Тайна жизни Грека заключалась въ естественности, просвѣтленной эстетическимъ чувствомъ, живымъ созерцаніемъ красоты. И потому, онъ съ дѣтскимъ простодушіемъ называлъ всѣ вещи, всѣ предметы ихъ настоящимъ именемъ. Батюшковъ называетъ это грубостію, но справедливо замѣчаетъ, что «эта грубость можетъ даже соединиться съ нѣкоторымъ простодушіемъ, совершенно противнымъ нашему искусству выражать все полусловами и развращать сердце, не оскорбляя слуха и вкуса». Вотъ отъ чего Гомеръ могъ рисовать такія картины, на которыя художникъ нашего времени никогда не осмѣлится; вотъ почему эти картины не только не безнравственны, но даже въ высшей степени нравственны, — и тѣ ошибаются, которые думаютъ, что онѣ могутъ имѣть вредное вліяніе на фантазію и чувство юноши, недавно вышедшаго изъ отрочества, или молодой дѣвушки. Грѣхъ состоитъ въ сознаніи грѣха: дитя можетъ очень невинно говорить о самыхъ виновныхъ предметахъ; а взрослый

человѣкъ съ испорченною нравственностью и о самыхъ навинныхъ предметахъ можетъ говорить очень виновно. Грѣхъ состоитъ не въ томъ, чтобъ знать, но въ томъ, чтобъ ложно, криво, дурно знать. Для людей молодыхъ нѣтъ ничего вреднѣе знанія, тайкомъ пріобрѣтеннаго. Это своего рода контрбанда. Въ извѣстныя лѣта сама природа непосредственно открываетъ людямъ тайны, которыхъ они и не подозрѣвали въ своемъ дѣтствѣ. Въ это время не только не должно скрывать отъ молодыхъ людей извѣстныя тайны природы, но напротивъ открывать ихъ: это единственное средство спасти ихъ отъ сѣтей пагубной чувственности. Только это должно дѣлать умѣючи, и тайны природы просвѣтлять чувствомъ красоты и цѣломудрія, передавать ихъ не какъ смѣшныя предметы, годные только для кошуинства, но какъ великое таинство творящаго духа. У насъ обыкновенно думаютъ, что дѣвственная чистота состоитъ въ младенческомъ невѣдѣніи: ложная мысль! Если добродѣтель есть невѣдѣніе, то всѣ животныя—предобродѣтельныя особы. Добродѣтель дѣвушки не въ томъ, чтобъ она младенчески не знала, но въ томъ, чтобъ она младенчески знала и, въ знаніи, оставалась чистою и дѣвственною. Поэтому, чтеніе Гомера не только не вредно, но положительно полезно молодымъ людямъ обоего пола. Только надобно, чтобъ этому чтенію не придавалось никакой тайны, чтобъ оно было законно, явно, и не прерывалось при входѣ посторонняго человѣка. Что же касается въ особенности до юношей—Гомеръ преимущественно долженъ быть предметомъ ихъ школьныхъ изученій, классныхъ занятій.

Что можетъ быть прекраснѣе, граціознѣе и невиннѣе картины изъ «Иліады», какъ волоокая Гера, желая отвлечь вниманіе Зевеса отъ боя Троянъ и Грековъ, чтобъ онъ не вздумалъ подать помощь ненавистнымъ Ахейнамъ, обаяетъ его чарами любви и наслажденія; хотя предметъ этотъ самъ

по себѣ, или изображенный не эстетически, могъ быть и не совѣтъмъ невиненъ.

Еслибъ эта картина, вмѣсто глубокаго, но спокойнаго восторга, тихаго и свѣтлаго созерцанія, произвела въ комъ-нибудь нечистое и буйное упоеніе,—повторяемъ: въ этомъ былъ бы виноватъ не Гомеръ. Пьяный мужикъ будетъ плясать и подь «Requiem» Моцарта, и подь симфонію Бетховена, которыми посвященные внимаютъ съ благоговѣйнымъ восторгомъ. Посему мы думаемъ, что строгіе моралисты, указывающіе на подобныя мѣста въ поэзіи съ воплями на безнравственность, этимъ самымъ обнаруживаютъ только грубую, животное-чувственную натуру, на которую всякая нагота дѣйствуетъ раздражительно. И потому, понимая какъ слѣдуетъ понимать этихъ почтенныхъ господъ, оставимъ ихъ въ покоѣ ворчать на опаснаго для нихъ демона соблазна, — а сами, подь эгидою мудрой русской поговорки: «къ чистому нечистое не пристанетъ», воскликнемъ вмѣстѣ съ великимъ Гёте, къ которому намъ уже давно бы пора обратиться:

Любящимъ намъ подобаетъ смиреніе; каждому богу
Мы въ тишинѣ поклоняемся, свято всегда исполняя
Заповѣдь римскихъ владыкъ. Намъ доступны кумиры
Всѣхъ народовъ, хотя бъ изъ базальта грубо и рѣзко
Ихъ изваялъ Египтянинъ, или Грекъ утонченный изящно,
Мягко и нѣжно изъ бѣлаго мрамора создалъ; обители
Наши отверсты всегда и для всѣхъ. Одну лишь особенно
Чествуемъ, любимъ, одной предпочтительно служимъ богинѣ:
Ей наши заветныя жертвы, нашъ ладанъ и миро!
Съ нею что встрѣча—то праздникъ, гдѣ гости—веселье и шалость!

Послѣ всего сказаннаго, надѣемся, никто не удивится, что мы не видимъ ничего страннаго въ мысли молодаго нѣмецкаго поэта записывать свои мимолетныя ощущенія гекзаметрами, на манеръ древнихъ, прикидываться въ своихъ элегіяхъ какимъ-то Грекомъ. Всякому возрасту свои радости и свои горести,

свои наслажденія и свои лишенія: это законъ хранительнаго и любящаго Промысла. Отвратителенъ молодящійся старичокъ, но не лучше его и юноша, который корчитъ изъ себя старца: всему свое время и свое мѣсто; все благо, и велико, и разумно—въ свое время и на своемъ мѣстѣ:

Все чередойъ идетъ опредѣленной.

Всему пора, всему свой мигъ;

Смѣшонъ и вѣтренный старикъ,

Смѣшонъ и кнота степенный.

Пока живетъ намъ, живи;

Гуляй въ мое воспоминанье;

Усердствуй Вакху и любви,

И черни презирай роптанье:

Она не вѣдаетъ, что дружно можно жить

Съ Клефрой, съ портникомъ, и съ книгой и съ бокаломъ;

Что умъ высокій можно скрыть

Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ.

Рыцарская платоническая любовь можетъ вспыхнуть и въ душѣ двѣнадцатилѣтняго отрока; и это чувство будетъ въ немъ прекрасно, хотя и не дѣйствительно. Пусть онъ пламенѣтъ священнымъ огнемъ и вздыхаетъ тайкомъ про себя: со временемъ онъ самъ будетъ смѣяться надъ своимъ чувствомъ, но оно все-таки спасетъ его отъ многого дурнаго и разовьетъ въ его душѣ много благихъ сѣмянъ. Но какъ ни прекрасно такое чувство, оно въ богатой натурѣ не погаситъ потребности другаго, болѣе соотвѣтствующаго возрасту чувства. Въ лѣта юности крайности легко сходятся, и молодое сердце нерѣдко въ одно и то же мгновеніе питаетъ противоположныя стремленія: пламенная вѣра идетъ объ руку съ холоднымъ сомнѣніемъ, идеальныя порывы смѣняются увлеченіемъ земныхъ страстей. Въ первой молодости человѣку всего сроднѣе та любовь, которая, не пуская въ сердце глубокихъ корней, любитъ перелетать отъ предмета къ предмету, которая вспыхиваетъ отъ каприза, разгорается отъ пріятствія и погасаетъ отъ удовлетворенія.

Много жизни, много радостей въ золотомъ бокалѣ юности, — и благо тому, кто не осушалъ его до самаго дна, кто не вѣдалъ тоски пресыщенія! Много счастья, много восторговъ въ любви безумной юности, — и лишь бы ея бурныя упоенія, ея младыя шалости не были животны и грубы, но умѣрялись, облагораживались и просвѣтлялись эстетическимъ чувствомъ, напутствовались Харитами, — онѣ будутъ и безгрѣшны и нравственны. Такая любовь, въ натурѣ глубокой, въ душѣ благодатной, не можетъ быть утѣхою цѣлой жизни, но всегда бываетъ необходимою данью возрасту, и — у одного раньше, у другого позже — уступаетъ мѣсто чувству болѣе духовному, болѣе высокому. Но этотъ возрастъ соответствуетъ греческому періоду жизни человѣчества и есть необходимый, великій моментъ развитія, хотя онъ и долженъ уступить мѣсто еще высшему моменту. Юность выше младенчества, возмужалость выше юности; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ человѣкъ не жилъ, а только прозябалъ до возмужалости. И младенчество и юность суть великіе моменты развитія; каждый изъ нихъ — самъ себѣ цѣль и полонъ разумности и поэзіи. Какъ въ эллинской жизни отношенія половъ облагораживались и освящались идеею красоты и граціи, такъ и въ юности человѣка самое мимолетное чувство и всѣ наслажденія любви должны быть эстетичны, чтобъ не быть безнравственными. Развратъ состоитъ въ животной чувственности, въ которой уже не можетъ быть никакой поэзіи, потому что въ поэзію могутъ входить только разумные элементы жизни, а въ томъ нѣтъ разумности, что унижаетъ человѣка до животнаго.

Любовь первой юности, любовь эллинская, артистическая — основной элементъ «Римскихъ Элегій» Гёте. Молодой поэтъ постигъ классическую почву Рима; душа его вольно раскинулась подъ яхонтовымъ небомъ юга, въ тѣни оливъ и лавровъ, среди памятниковъ древняго искусства. Тамъ люди похожи на

изящныя статуи, тамъ женщины напоминають черты Венеры Медичейской. Лѣнивая, сладострастная, созерцательная жизнь, проникнутая чувствомъ изящнаго, тамъ вполне соотвѣтствуетъ идеалу художника. Гёте бросился въ эту жизнь со всѣмъ забвеніемъ, со всѣмъ упоеніемъ поэта; дни свои посвящалъ онъ ученію, ночи — любви, какъ онъ самъ говоритъ въ этой прекрасной элегii:

Весело, славно, живу я здѣсь на классической почвѣ;
Утро проходить въ занятяхъ: читая творенія древнихъ,
Умъ постигаетъ яснѣй вѣкъ и людей современныхъ;
Ночь посвящаю богу любви: пусть вполночь
Буду я только ученъ,—да за это блаженъ я трикраты!
Впрочемъ, учиться могу я и тутъ, какъ вездѣ, созерцая
Формы живыя лучшаго въ мірѣ созданья: въ ту пору
Глазomъ смотрю осязающимъ, зрящей рукой осязаю,
Тайну искусства, мраморъ и краски вполне изучая.

Кто не раздѣлитъ этого пламеннаго одушевленія, этого артистическаго восторга художника, съ какимъ онъ видитъ себя народной ему почвѣ классической страны!

О, какъ мнѣ весело въ Римѣ, если я вспомню, когда
Бремя туманнаго, сѣраго неба на мнѣ тяготѣло,
Вспомню то время, когда пасмурный сѣверный день
Душу томилъ, предо мною блѣдный покровъ разстилая;
Бѣденъ, голъ и безцвѣтенъ міръ мнѣ казался,—и я,
Вѣчно ничѣмъ недовольный, самъ о себѣ размышляя,
Грустно въ путь безотрадный взоры мои устремляя.
Нынѣ счастливица главу окружаетъ эфиръ животворный!
Феба велѣньемъ послушна мнѣ формы и краски; съ небесъ
Нѣгою вѣетъ, и тихо въ ночи свѣтозарный льется
Мягкія, сладкія пѣсни. Лучъ италійской луны
Свѣтитъ мнѣ ярче полярнаго солнца—и бѣдному смертному,
Мнѣ, жребіи достался чудесный!...

Да, обвѣянный геніемъ классической древности, гдѣ и при-
рода и люди, и памятники искусствъ, — все говорило ему о
богахъ Греціи, о ея роскошно поэтической жизни,—Гёте дол-

женъ былъ сдѣлаться на то время если не Грекомъ, то умнымъ Скиномъ Анахарсисомъ, въ чужой землѣ обрѣтшимъ свою родину. Періодъ жизни, который онъ переживалъ, артистическая настроенность духа, — все соответствовало въ немъ духу эллинской жизни. И какъ идетъ гекзаметръ къ его элегіямъ, дышащимъ юностію, спокойствіемъ, наивностію и граціею! Сколько пластицизма въ его стихѣ, какая рельефность и выпуклость въ его образахъ! Забываете, что онъ Нѣмецъ и почти современникъ вашъ, забываете, какъ и онъ забылъ это, принявши капитолійскую гору за Олимпъ и думая видѣть себя приведеннымъ Гебою въ чертоги Зевеса.

Подобно антологическимъ стихотвореніямъ древнихъ, каждая элегія Гёте схватываетъ какое-нибудь мимолетное ощущеніе, идею, случай, и замыкаетъ ихъ въ образъ, полный граціи, плѣняющій неожиданнымъ, остроумнымъ и въ то же время простодушнымъ оборотомъ мысли. Вотъ примѣръ:

Другъ, когда говоришь, что въ дѣтствѣ ты людямъ не нравишься.
Или, что мать не любила тебя, что тихо, одна
Ты выросла, и поздно сама развился,—охотно
Вѣрю тебѣ; пріятно, сладко подумать, что ты
Малымъ ребенкомъ еще отъ другихъ отличалась. Подруга!
Участь твоя, что цвѣтокъ виноградный: чужды ему
Нѣжныя формы и яркія краски; но грозды созрѣли—
Боги и люди мгновенно ими вѣнчаютъ себя.

«Римскія Элегіи» Гёте явно есть то, что у насъ въ прошломъ вѣкѣ называлось легкой поэзіею, а теперь получило названіе антологической поэзіи. Названіе это произошло отъ сборника мелкихъ произведеній греческой поэзіи, или эпиграммъ. Вотъ какъ характеризуетъ Батюшковъ древнюю эпигramму:

«Мы называемъ *эпиграмою* краткіе стихи сатирическаго содержанія, кончающіеся острымъ словомъ, укоризною, или шуткою. Древніе давали сему слову другое значеніе. У нихъ каждая небольшая піеса, размѣромъ элегиче-

скихъ писанная (т. е. гекзаметромъ и пентаметромъ) называлась эпиграммой. Ей все служить предметомъ: она то вѣщаетъ, то шутитъ, и почти всегда дышетъ любовью. Часто она не что иное, какъ мгновенная мысль, или быстрое чувство, рожденное красотою природы или памятниками искусства. Иногда греческая эпиграмма полна и совершенна; иногда небрежна и неокончена—какъ звукъ, вдали исчезающій. Она почти никогда не заключается разительною, острою мыслию, и тѣмъ древнѣе, тѣмъ проще. Этотъ родъ поэзіи украшалъ и пиры и гробницы.—Напоминая о ничтожности мимолетной жизни, эпиграмма твердила: «Смертный, лови мгнѣ улетавшій!», рѣзаясь съ Лансомъ, и, улыбаясь кротко и незлобно, слегка уязвляла невѣжество и глупость. Истинный Протей, она принимаетъ всѣ виды; и когда мы къ ея пѣвательной живости прибавимъ неизъяснимую прелесть совершеннѣйшаго языка въ мірѣ, языка, обработаннаго превосходнѣйшими писателями: тогда только можемъ имѣть понятіе ясное и точное, съ какою восхищеніемъ, съ какою радостію любитель древности перечитываетъ греческую антологию.

Очевидно, что подъ антологическими стихотвореніями древнихъ должно разумѣть то, что мы называемъ мелкими лирическими и піесами. Поэзія древнихъ во всѣхъ родахъ—и въ лирикѣ и въ драмѣ, отличается эпическимъ характеромъ; гимны Гезіода, оды Пиндара похожи на эпическія поэмы даже по своему объему: почти всѣ они очень велики для лирическихъ піесъ. Слѣдовательно, эпиграммы древнихъ соответствуютъ тому, что мы называемъ «пѣнію, элегіею, сонетомъ, канцоною, стансами, надписями, эпитафіями» и т. п. Оды Анакреона и Сафо тоже—эпиграммы. Отличительный характеръ эпиграммы—краткость, единство ощущенія или мысли, спокойствіе, наивность выраженія, пластицизмъ и мраморная рельефность формы. Вотъ для образца одна изъ такихъ эпиграммъ, художественно переведенныхъ пластическимъ Батюшковымъ:

Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ вьется!

Какъ любить мой полустлѣвшій пенъ!

Я нѣкогда ему давалъ отраду тѣнь;

Завялъ: но виноградъ со мной не разстается.

Завеса уложи,

Прохожій, если ты для дружества способенъ,

Чтобъ другъ твой моему былъ нѣкогда подобенъ,
 • И пепелъ твой любилъ, оставшись на земли.

Новѣйшіе поэты европейскихъ литературъ давно уже обратили свое вниманіе на греческую антологию, и то переводили изъ нея, то писали сами въ ея духѣ,—въ обоихъ случаяхъ соперничествуя съ классическимъ гениемъ древности. Этимъ они внесли новый элементъ въ поэзію своего языка—элементъ пластическій, и имъ возвысили ее: ибо идеаль новѣйшей поэзіи—классическій пластицизмъ формы при романтической эфирности, летучести и богатствѣ философскаго содержанія. Гёте, поэтъ пластическій по натурѣ своей, еще болѣе усвоилъ себѣ эту пластическую форму черезъ знакомство съ древними. Пламенный, энергическій Шиллеръ, поэтъ по преимуществу романтическій, любилъ отдыхать и забываться душою въ свѣтломъ мірѣ греческой жизни. Онъ такъ поэтически оплакалъ паденіе прекрасныхъ боговъ Греціи; онъ такъ поэтически воспѣлъ въ «Четырехъ Вѣкахъ» золотой вѣкъ Сатурна! Много вынесъ онъ изъ древняго міра свѣтлыхъ и дивныхъ явленій. Правда, онъ въ греческое содержаніе внесъ какой-то оттѣнокъ новѣйшаго міросозерцанія; но это еще болѣе возвышаетъ цѣну его произведеній въ древнемъ родѣ. Мы уже упоминали о «Торжествѣ Побѣдителей» и «Жалобахъ Цереры», такъ прекрасно переданныхъ по-русски нашимъ Жуковскимъ; но есть у него много піесъ и въ чисто-антологическомъ родѣ.

По сродству съ классическимъ гениемъ древности, итальянскіе поэты должны часто напоминать древнихъ вообще, а слѣдовательно и ихъ антологическую поэзію. Вотъ въ этомъ родѣ піеса Тасса, вольно переведенная Батюшковымъ:

Дѣвица юная подобна розѣ нѣжной
 Взлелѣянной весной подъ сѣнію надежной:
 Ни стадо алчное, ни взоры пастуховъ

Не знаютъ тайнаго сокровища луговъ;
 Но вѣтеръ сладостный, но рои благовоны,
 Земля и небеса прекрасной благосклонны.

Хотя геній французскаго языка и французской литературы, отличающихся характеромъ какого-то прозаизма, и діаметрально противоположенъ генію языка и поэзіи греческой,—однакожь и у Французовъ есть поэтъ, котораго муза родственна музѣ древнихъ, и котораго многія піесы напоминаютъ древнія антологическія стихотворенія. Мы говоримъ объ Андреѣ Шеньё, котораго нашъ Пушкинъ такъ много любилъ, что и переводилъ изъ него, и подражалъ ему, и даже создалъ поэтическую апопеезу всей его славной жизни и славной смерти. Вотъ двѣ піесы Андрея Шеньё, изъ которыхъ первая переведена Пушкинымъ, а вторая Козловымъ:

Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая,
 Одинъ ночной гребецъ, гондолой управляя,
 При свѣтѣ Веспера по взморію плыветъ,
 Ринальда, Годфреда, Эрминію поетъ.
 Онъ любитъ пѣснь свою, поетъ онъ для забавы,
 Безъ дальнихъ умысловъ; не вѣдаетъ ни славы,
 Ни страха, ни надеждъ, и тихой музы полнъ,
 Умѣетъ улаживать свой путь надъ бездной волнъ:
 На морѣ жизненномъ, гдѣ бури такъ жестоко
 Преслѣдуютъ во мглѣ мой парусъ одинокой,
 Какъ онъ, безъ отзыва утѣшно я пою
 И тайные стихи обдумывать люблю.

Стремятся не ко мнѣ съ любовью и хвалами
 И много отъ сестры отстала я годами.
 Душистый ли цвѣтокъ мнѣ юноша дарить—
 Онъ мнѣ его даетъ, а на сестру гладить;
 Любуется ль моею младенческой красою,
 Всегда примолвить онъ: какъ я сходна съ сестрою.
 Увы, двѣнадцать разъ лишь мнѣ весна цвѣла!
 Мнѣ въ пѣсняхъ не поютъ, что я сердцамъ мила,
 Что я плѣненныхъ мной извѣной убиваю!

Но что же—подождетъ: мою красу я знаю!
 Я знаю: у меня во блескъ молодомъ,
 Есть алыя уста съ нѣхъ ровнымъ жемчугомъ,
 И розы на щекахъ, и кудри золотыя,
 Рѣсницы черныя и очи голубыя!

Батюшковъ говоритъ, что у насъ первые начали писать въ антологическомъ родѣ Ломоносовъ и Сумароковъ. Что касается до послѣдняго—мы, не желая говорить о пустякахъ, умолчимъ о его антологическихъ стихотвореніяхъ. Ломоносовъ написалъ въ антологическомъ родѣ піесу «Мокрый Амуръ», которая несказанно восхищала его современниковъ; но мы не видимъ въ ней ни вкуса, ни таланта, ни поэзіи; антологическаго же въ ней еще меньше. Антологическая поэзія требуетъ большаго таланта, ибо требуетъ въ высшей степени художественной формы, недостатка которой не можетъ искупить ни пламенное чувство, ни богатство содержанія. Батюшковъ упоминаетъ еще объ удачныхъ подражаніяхъ антологической поэзіи Вольтера, будто бы мастерски переведенныхъ по-русски Дмитріевымъ. Чтобы не завлечься далеко сличеніями, не скажемъ, до какой степени удачны его подражанія антологіи Вольтера; но можемъ сказать утвердительно, что въ мастерскихъ переводахъ Дмитріева рѣшительно нѣтъ ничего мастерскаго—нѣтъ ни призрака пластичности, ни искры поэзіи или таланта. Это проза въ стихахъ, которые въ свое время дѣйствительно были хороши, а теперь стали очень плохи. Дмитріевъ былъ человѣкъ необыкновенно умный, острый; онъ оказалъ большія услуги русскому языку и литературѣ; но его поэзія—поэзія головы и разсудка, а не сердца и фантазій; въ его духѣ не было ничего родственнаго съ духомъ эллинизма; стихъ его прозаиченъ, образы вялы и отвлеченны. Первый началъ у насъ писать въ антологическомъ родѣ Державинъ. Въ своихъ, такъ называемыхъ, анакреонтическихъ

стихотвореніяхъ, онъ является тѣмъ же, чѣмъ и въ одѣ,—человѣкомъ, одареннымъ большими поэтическими силами, но неумѣвшимъ управляться съ ними по недостатку вкуса и художественнаго такта. Въ цѣломъ, всѣ произведенія Державина—какія-то безобразныя массы грубаго вещества, блещущія драгоценными камнями въ подробностяхъ. Но цѣлаго у него никогда не ищите; превосходнѣйшіе стихи перемѣшаны у него съ самыми прозаическими, плѣнительнѣйшіе образы съ самыми грубыми и уродливыми. Потому-то Державина теперь никто не читаетъ, хотя и всѣ справедливо признаютъ въ немъ огромный талантъ. Напрасно думаютъ многіе, что дурной языкъ и некрасивые стихи ничего не значатъ и могутъ искупаться полнотою чувства, богатствомъ фантазіи и глубокими идеями: сущность поэзіи—красота, и безобразіе въ ней не какой-нибудь частный и простибельный недостатокъ, но смертоносный элементъ, убивающій въ созданіи поэта даже истинно прекрасныя мѣста. Одинъ дурной стихъ, одно прозаическое выраженіе, одно неточное слово иногда уничтожаетъ достоинство цѣлой и притомъ прекрасной піесы. Пушкинъ потому и великій художникъ, что каждая его піеса выдержана отъ начала до конца, ровна въ тонѣ; и въ малѣйшихъ подробностяхъ соответствуетъ своему цѣлому. Для доказательства справедливости нашихъ словъ, нарочно выписываемъ здѣсь большую, поэтическую по мысли и отличающуюся необыкновенными красотами анакреонтическую оду Державина—«Рожденіе Красоты». Чтобъ быть понятными для всѣхъ безъ лишнихъ словъ, слабыя мѣста, безвкусныя выраженія, дурные стихи, неточныя слова — мы означимъ курсивомъ:

Сотворя Зевесъ вселенну,
Звалъ боговъ всѣхъ на объѣдъ.
Въругъ нектара чашу пѣяну
Разносилъ имъ Ганнимедъ.

Медъ, амброзія блистала
 Въ ихъ устахъ, по лицамъ огонь,
 Благовоній мгла летала,
 И Олимпъ былъ свѣта полнъ.
 Раздавались пѣсенъ хоры,
 И звучалъ весельемъ пиръ;
 Но незапно какъ-то взоры
 Опустилъ Зевесъ на міръ,—
 И увидя царства, грады,
Что погибли отъ боевъ;
Что богини мещутъ взгляды
На блднѣйшихъ пастуховъ;
 Распался стѣлько гнѣвомъ,
 Что курчавой головой
 Покачавъ, шатнулъ вѣтъ небомъ,
 Адомъ, моремъ и землей ¹⁾.
 Вмигъ сокрылся блескъ лазури;
 Тьма съ бровей, огонь съ очей,
 Вихоръ съ ризъ его, и буря
 Возшумѣла отъ небесъ;
Разразились всюду громы,
Мракъ во пламени горѣлъ,
Яры волны будто холмы,
Понть стремился и ревѣлъ;
Въ разтворенны безднѣ утробы
Тартаръ искры извергаль,
Въ тучи Фебъ, какъ въ черны гробы,
 Погруженный трепеталъ:
И средь страшной сей тревоги
Коль еще бы грянулъ громъ,
Міръ, Олимпъ, чертогъ и боги
Повернулись бы вверхъ дномъ ²⁾.
 Но Зевесъ вдругъ умилился:
 Стало, знать, красавицъ жаль;

¹⁾ По нашему мнѣнію, эти четыре стиха—торжество Державинской поэзіи,—
 и несмотря на ихъ какъ бы шуточный тонъ, они исполнены антологиче-
 ской граціи и вмѣстѣ классическаго величія.

²⁾ Какая трескотня надутыхъ риторическихъ фразъ! какое безвкусіе въ образахъ
 выраженія!

А какъ съ ними не смирился.
 Новую тотчасъ создалъ:
 Ввилъ въ власы пески златые,
 Пламя—въ очи и уста,
 Небо въ очи голубые,
 Пѣну въ грудь—и красота
 Вмигъ изъ волнъ морскихъ родилась;
 А взглянула лишь она,
 Тотчасъ буря укротилась,
 И настала тишина.
 Сизы, юные дельфины,
 Облегла табуномъ;
 На свои ее взявъ спины,
 Мчали по пучинѣ волнъ.
 Бѣлы голуби станицей,
 Гдѣ откуда ни взялись,
 Подъ жемчужной колесницей
 Съ ней на воздухъ поднялись;
 И летя подъ облаками,
 Вознесли на зѣдный холмъ;
 Зевсъ обнялъ ее лучами
 Съ улыбающимся лицомъ ¹⁾.
 Боги, молча удивлялись,
 На красу, *разина ротъ*,
 И согласно въ томъ признались.
 Миръ и брани—отъ *красотъ*.

Вотъ ужъ подлинно глыба грубой руды съ яркими блестящими чистаго, самороднаго золота! И таковы-то всѣ анакреонтическія стихотворенія Державина: они больше, нежели все прочее, служатъ ручательствомъ его громаднaго таланта, а вѣсть съ тѣмъ и того, что онъ былъ только поэтъ, а отнюдь не художникъ, т. е., обладая великими силами поэзіи, не умѣлъ владѣть ими. Ни одна піеса его не чужда риторикѣ, слабыхъ, растянутыхъ и вялыхъ стиховъ, вставочныхъ мѣстъ, а потому, всѣ онѣ лишены индивидуальной цѣлостности, общности

¹⁾ Какіе превосходные два стиха, полные гомерическаго величія и граціи!

впечатлѣнія, лишены этой виртуозности, которую придаетъ произведенію окончательная отдѣлка художническаго рѣзца поэта.

Тѣмъ не менѣе Державину первому принадлежитъ честь ознакомить Русскихъ съ антологическою поэзіею, — и его анакреонтическія піесы, недостаточныя въ цѣломъ, блещутъ неподражаемыми красотами въ частностяхъ, хотя и нужно имѣть слишкомъ много самоотверженія, свойственнаго пламеннымъ диллетантамъ, чтобъ усмотрѣть въ нихъ красоты, несмотря на восторгъ, безпрестанно охлаждаемый дурными стихами.

Державинъ только началъ; но дѣйствительно познакомили насъ съ духомъ древней классической литературы, и переводами и оригинальными произведеніями два поэта — Гнѣдичъ и Батюшковъ¹⁾: первый, своимъ переводомъ «Иліады» — этимъ гигантскимъ подвигомъ великаго таланта и великаго труда, переводомъ идилліи Теокрита «Сиракузянки», собственною идилліею «Рыбаки» и другими произведеніями. Муза Батюшкова была сродни древней музѣ. Жаль только, что духъ времени и французская эстетика лишили этого поэта свободнаго и самобытнаго развитія. До Пушкина, не было у насъ ни одного поэта съ такимъ классическимъ тактомъ, съ такою пластичною образностію въ выраженіи, съ такою скульптурною музыкальнію если можно такъ выразиться, какъ Батюшковъ. Мы уже приводили въ примѣръ его истинно образцовые, истинно артистическіе переводы изъ Антологіи: самъ Пушкинъ не отрекся бы назвать ихъ своими — такъ хороши нѣкоторые изъ нихъ. И между тѣмъ, всѣ, зная «Умирающаго Тасса» и другія

¹⁾ Имя Мерзлякова также заслуживаетъ упоминанія въ дѣлѣ знакомства нашей литературы съ древнею поэзіею: нѣкоторые его переводы изъ древнихъ весьма примѣчательны; переведенная имъ элегія «Сафо къ Венерѣ» особенно интересна и сама по себѣ и въ сравненіи съ этою самою піескою Державина.

большія произведенія Батюшкова, какъ-будто и не хотятъ знать о его переводахъ изъ Антологіи — лучшимъ произведеніи его музы. И это понятно: произведенія въ древнемъ родѣ, подобно камнямъ и обломкамъ барельефовъ, находимымъ въ Помпеѣ, могутъ усаждать вкусъ только глубокихъ цѣнителей искусства, приводить въ восторгъ только тонкихъ знатоковъ изящнаго; для толпы они недоступны. Толпа обыкновенно зѣваетъ на кумирь, котораго глубокое значеніе извѣстно одному жрецу. Сколько грусти, задумчивости, сладостраснаго упоенія, нѣжнаго чувства и роскоши образовъ въ этомъ антологическомъ стихотвореніи:

Въ Лансѣ нравится улыбка на устахъ,
Ея плѣнительны для сердца разговоры;
Но мнѣ мѣлѣй ея потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очахъ.
Я въ сумерки, вчера, одушевленный страстью,
У ногъ ея любви всѣ клятвы повторялъ,
И съ поцѣлуемъ къ сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекалъ...
Я таялъ, и Ланса мѣла...
Но вдругъ уныла, побѣдѣла, —
И слезы градомъ изъ очей!
Смущенный, я прижалъ ее къ груди моей;
Что сдѣлалось, скажи, что сдѣлалось съ тобой?—
Спокойся, ничего, безсмертными клянусь;
Я мыслію была встревожена одною:
Вы всѣ обманчивы, и я—тебя страшусь...

Сколько роскоши и вакханальнаго упоенія въ этомъ апо-
теозѣ сладострастія:

Тебѣ ль оплакивать утрату юныхъ дней?
Ты въ красотѣ не измѣнилась,
И для любви моей
Отъ времени еще прелестѣе явилась.
Твой другъ не дорожитъ неопытной красой,
Незрѣлой въ таинствахъ любовнаго искусства,
Безъ жизни взоръ ея стыдливый и нѣмой,

И робкій подѣлуй безъ чувства.
 Но ты, владычица любви,
 Ты страсть вдохнешь и въ мертвый камень;
 И въ осень дней твоихъ не погасаетъ пламень,
 Текущій съ жизнію въ крови.

Какая пластическая образность, умѣряющая внутреннее
 клокотаніе страсти и просвѣтляющая его до идеальнаго чув-
 ства, въ этой послѣдней антологической элегіи Батюшкова
 перевода:

Изнемогаетъ жизнь въ груди моей остылой;
 Конецъ боренію; увы, всему конецъ!
 Киприда и Эротъ, мучители сердецъ!
 Услышьте голосъ мой послѣдній и унылой.
 Я вяну, и еще мученія терплю;
 Полмертвый, но сгараю.
 Я вяну: но еще такъ пламенно люблю,
 И безъ надежды умираю!
 Такъ, жертву обхвативъ кругомъ,
 На алтарѣ огонь блѣднѣетъ, умираетъ,
 И, вспыхнувъ ярче предъ концомъ,
 На пепѣ погасаетъ!

Пушкинъ, котораго поэтический геній носилъ въ себѣ всѣ
 элементы жизни, которому доступны и родственны были всѣ
 сферы духа, всѣ моменты всемірно-историческаго развитія че-
 ловѣчества, который былъ столько же поэтъ классическій,
 сколько поэтъ романтический и поэтъ новѣйшаго времени, —
 Пушкинъ съ особенною любовію обращалъ свое вниманіе на
 обаятельный міръ древняго искусства. Его неистощимая и
 многосторонняя художническая дѣятельность обогатила нашу
 литературу множествомъ превосходнѣйшихъ произведеній въ
 антологическомъ родѣ, въ которыхъ дивная гармонія его стиха
 сочеталась съ самымъ роскошнымъ пластицизмомъ образовъ:
 это мраморныя изваянія, которыя дышутъ музыкой... Мы не
 имѣемъ нужды въ большихъ выпискахъ для доказательства на-

шей мысли: всѣ стихотворенія Пушкина извѣстны наизусть каждому сколько-нибудь образованному человѣку на всемъ пространствѣ великой Руси. Потому приведемъ въ примѣръ только три небольшія піесы—и то не въ оправданіе нашего взгляда на нихъ художественное достоинство, а для того, чтобъ яснѣе и очевиднѣе показать, что такое антологическая поэзія, и какъ высказывается эллинскій духъ въ «божественной эллинской рѣчи»—какъ называлъ ее самъ Пушкинъ.

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду,
На утренней зарѣ я видѣлъ Нерешу,
Скрытый межъ деревь, едва я смѣлъ дохнуть:
Надъясной влагою полубогиня грудь
Младую, бѣлую, какъ лебеди воздымала
И пѣну изъ власовъ струею выжимала.

Чистый доснятся полъ; стеклянныя чаши блистаютъ;
Всѣ ужъ увѣчаны гости; иной обоняетъ, зажмурясь,
Ладана сладостный дымъ; другой открываетъ анфору,
Запахъ веселый вина разливая далече; сосуды
Свѣтлой, студеной воды, золотистые хлѣбы, антарный
Медъ и сыръ молодой: все готово; весь убранъ цвѣтами
Жертвенникъ. Хоры поютъ. Но въ началѣ трапезы, о други,
Должно творить возліянья, вѣщать благовѣщія рѣчи,
Должно безсмертныхъ молить, да сподобятъ насъ чистой душою
Правду блюсти: вѣдь оно же и легче. Теперь мы приступимъ:
Каждый въ мѣру свою напивайся. Бѣда не велика
Въ ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей бесѣдуетъ мудро и тихо!

Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила;
Къ ней на плечо преклонясь, юноша вдругъ задремалъ.
Дѣва тотчасъ уюмкла, сонъ его легкій легла,
И улыбалась ему, тихія слезы лѣла.

Эти три піесы могутъ служить высочайшимъ идеаломъ антологической поэзіи. Вотъ перечень другихъ: «Доридѣ», «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда», «Дорида», «Муза», «Дио-

нея», «Дѣва», «Примѣты», «Земля и Море», «Красавица передъ Зеркаломъ», «Ночь», «Ты вянешь и молчишь», «Сафо», «Буря», «Отвѣтъ Ѳ. Т.», «Соловей», «Кобылица молодая», «Городъ пышный, городъ бѣдный», «Птичка», «Къ портрету Жуковскаго», «Лилѣ», «Имянины», «Веселый Пиръ», «Не плѣняйся бранной славой», «Поѣдемъ, я готовъ», «Рифма», «Трудъ», «Каковъ я прежде былъ», «Сѣтованіе», «Художнику», «Три Ключа», «LVII ода Анакреона», «Богъ веселый винограда», «Мальчику», «Изъ Анакреона», «Добрый совѣтъ», «Счастливъ, кто избралъ своенравно», «Подражаніе арабскому», «Леила», «Послѣдніе Цвѣты». «Лукъ звѣнитъ, стрѣла трепещетъ» и пр. Многимъ, можетъ-быть, покажется, странно, что мы относимъ къ числу антологическихъ не только такіа стихотворенія, которыхъ содержаніе принадлежитъ скорѣе новѣйшему міру, нежели древнему, но даже и подражаніе арабской піесѣ, тогда какъ аравійская поэзія не имѣетъ ничего общаго съ греческою. На это мы отвѣтимъ, что сущность антологическихъ стихотвореній состоитъ не столько въ содержаніи, сколько въ формѣ и манерѣ. Простота и единство мысли, способной выразиться въ небольшомъ объемѣ, простодушіе и возвышенность въ тонѣ, пластичность и грація формы—вотъ отличительные признаки антологическаго стихотворенія. Тутъ обыкновенно, въ краткой рѣчи, молніеносномъ и неожиданномъ оборотѣ, въ простыхъ и немногосложныхъ образахъ, схватывается одно изъ тѣхъ ощущеній сердца, одна изъ тѣхъ картинъ жизни, для которыхъ нѣтъ слова на всендневномъ языкѣ человѣческомъ, и которыя находятъ свое выраженіе только на языкѣ боговъ въ поэзіи, въ опроверженіе ложнаго мнѣнія людей добрыхъ, почтенныхъ, но ничего неразумѣющихъ въ дѣлѣ искусства, которые утверждаютъ, въ простотѣ ума и сердца, что слово недостаточно для мысли, какъ-будто слово не есть явленіе мысли... Вотъ, напримѣръ, антологическое стихотво-

реніе одного неизвѣстнаго, но даровитаго поэта, въ которомъ выражено обаяніе сна, лучше сказать, усыпленія, послѣ прогулки фантастическимъ вечеромъ мая: прочтите его,—и вы сами поймете лучше всякихъ объясненій, что поэзія есть выраженіе невыражаемаго, разоблаченіе таинственнаго — ясный и опредѣлительный языкъ чувства нѣмощствующаго и теряющагося въ своей неопредѣленности!

Когда ложится тѣнь прозрачными клубами
 На нивы спѣлыя, покрытыя сквердами,
 На синіе лѣса, на влажный злакъ луговъ,
 Когда надъ озеромъ бѣлѣтъ столпъ паровъ,
 И въ рѣдкомъ тростникѣ медлительно качаясь,
 Сномъ чуткимъ лебедь спитъ на влагѣ отражаясь.
 Иду я подлѣ родной, соложенный мой кровъ,
 Раскинутый въ тѣни акацій и дубовъ,
 И тамъ, съ улыбкой на устахъ своихъ привѣтныхъ,
 Въ вѣнцѣ изъ яркихъ звѣздъ и маковъ темноцвѣтныхъ,
 И съ грудью бѣлою подлѣ черной кисеи,
 Богиня мирная являясь предъ мной,
 Сіяньемъ палевымъ главу мнѣ обливаетъ
 И очи тихою рукою закрываетъ.
 И, кудри подобравъ, главою склоняясь ко мнѣ,
 Лобзаетъ мнѣ уста и очи въ тишинѣ.

Что это такое? — Вздохъ музыки, палевый лучъ луны, играющій на поверхности спящаго пруда, поэтическая апотеоза простаго дѣйствія природы въ фантастическомъ образѣ легкой феи, успокоительной царицы сна? — Что бы ни было — вы его понимаете, оно вамъ знакомо, вы не разъ испытали его, это *что-то* которому поэтъ далъ и образъ и имя... Это — ощущение вѣтмъ знакомое и вѣтмъ общее въ жизни. А вотъ и картина: вспомните: Пушкина «Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила». Глубокъ смыслъ этой прелестной картины: она — одно изъ обычныхъ явленій молодой любви, она выражаетъ общій характеръ любящаго женскаго сердца, которое изливаетъ

ся въ упрекахъ и ненависти отъ полноты оскорбленной любви, и — все отъ той же любви — сторожъ покоя милаго ему оскорбителя, изливается тихими слезами, готовыми уступить мѣсто и тихой радости и бурнымъ восторгамъ...

Содержаніе антологическихъ стихотвореній можетъ браться изъ всѣхъ сферъ жизни, а не изъ одной греческой: только тонъ и форма ихъ должны быть запечатлѣны эллинскимъ духомъ. Изъ приведенныхъ нами примѣровъ ясно можно видѣть, въ чемъ состоитъ эллинизмъ формы. Посему, къ антологическимъ же стихотвореніямъ Пушкина должно причислить и піесу: «Въ крови горитъ огонь желанья», хотя она взята и совершенно изъ другаго міра поэзіи.

Мало этого: поэтъ можетъ вносить въ антологическую поэзію содержаніе совершенно новаго и, слѣдовательно, чуждаго классицизму міра, лишь бы только могъ выразить его въ рельефномъ и замкнутомъ образѣ, этимиволнистыми, какъ струи мрамора, стихами, съ этою печатью виртуозности, которая была принадлежностію только древняго рѣзца. Къ такимъ піесамъ причисляемъ мы Пушкина: «Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Я васъ любилъ» и «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье». Но «Воспоминаніе» и «Подъ небомъ голубымъ страны своей родной» уже не могутъ быть отнесены къ разряду антологическихъ стихотвореній, сколько по содержанію, слишкомъ полному думы и вниманія, и притомъ такъ грустныхъ и печальныхъ, — столько и по формѣ поэтической, но непластической. Антологическая поэзія допускаетъ въ себя и элементъ грусти, но грусти легкой и свѣтлой, какъ таинственный сумракъ жилища тѣней, какъ тихое безмолвіе сада, уставленнаго урнами съ пепломъ почившихъ. Грусть въ антологической поэзіи — это улыбка красавицы сквозь слезы.

Что же касается до пластицизма антологической поэзіи, — этотъ пластицизмъ отнюдь не долженъ быть какимъ-нибудь

внѣшнимъ нарядомъ, искусственною отдѣлкою, или извѣстною манерою, но выраженіемъ внутренняго и сокровеннаго духа жизни, которымъ дышетъ всякое художественное произведение — творческой, живоначальной идеи. Переводчикъ «Римскихъ Элегій» Гёте говоритъ о нихъ въ своемъ краткомъ предисловіи такъ: «Способность великаго создателя «Фауста» подчинять самые пылкіе порывы одушевленія законамъ изящнаго, дала этимъ отрывкамъ всю прелѣсть художественной отдѣлки, накинула на обольстительные образы завѣсу граціи и вкуса: причуды гениальнаго воображенія, игривыя движенія души поэта не оскорбляютъ ни чувства, ни теоріи». — Мысль не совѣтъ, вѣрная, или, по крайней мѣрѣ, не совѣтъ вѣрно выраженная! Ея значеніе таково, какъ-будто Гёте подкрасилъ само по себѣ не совѣтъ красивое, соблазнительное сдѣлалъ только обольстительнымъ, тогда какъ онъ въ самомъ дѣлѣ прекрасное по идѣ и сущности выразилъ въ прекрасной формѣ. Художественна только та форма, которая рождается изъ идеи, есть откровеніе духа жизни, свѣжо и здорово вѣющаго. Въ противномъ случаѣ, — она поддѣльна, въ родѣ вставныхъ зубовъ, румянъ и бѣлизъ, и принадлежитъ не къ сферѣ искусства, а къ сферѣ магазиновъ съ галантерейными вещами. Есть большая разница между пластическою художественностію Гомера и пластическою художественностію Virgilia: первая — выраженіе внутренней жизненности, и потому — изящество; вторая — внѣшнее украшеніе, и потому — щегольство. Гомеръ изящный художникъ; Virgilій — ловкій, нарядный щеголь. Мало того, чтобъ хорошо владѣть гекзаметромъ и часто употреблять выраженія въ древнемъ духѣ: надо, чтобъ этотъ гекзаметръ и эти выраженія въ древнемъ духѣ были плодомъ вдохновенія, проявленіемъ внутренней жизненности идеи стихотворенія. Въ дополненіе къ сказанному, присовокупимъ нѣсколько словъ о размѣрѣ, свойственномъ антологическимъ сти-

хотвореніямъ. Въ наше время смѣшно и нелѣпо указывать поэту, какой именно и непременно размѣръ долженъ онъ употреблять въ томъ или другомъ родѣ поэзіи; но тѣмъ не менѣе, общее согласіе мастеровъ поэзіи, руководимыхъ своимъ художническимъ инстинктомъ, установило на это что то въ родѣ постоянныхъ правилъ, хотя и допускающихъ исключенія. Такъ, на примѣръ, для новѣйшей драмы преимущественно употребляется пятистопный ямбъ безъ рифмъ; въ мелкихъ поэмахъ и лирическихъ произведеніяхъ — четырехстопный ямбъ, и т. д. Для антологическихъ стихотвореній преимущественно употребляется гекзаметръ и шестистопный ямбъ. О гекзаметрѣ нечего и говорить: онъ сынъ эллинскаго генія. Но удивительно хорошо идетъ къ антологическимъ стихотвореніямъ шестистопный ямбъ: онъ былъ такъ опрозраченъ прежними стихотворцами и пѣнниками, что его считали уже ни на что не годнымъ, кромѣ эпическихъ пѣнъ въ родѣ «Россіады» и надутыхъ трагедій въ родѣ «Димитрія Донскаго». Пушкинъ освятилъ его своею музою, возродилъ, пересоздалъ, придалъ ему какую-то особенную гармонію, непостижимую прелесть и грацію. Для значительнаго большаго произведенія, шестистопный ямбъ былъ бы монотоненъ, но къ антологическимъ стихотвореніямъ онъ идетъ неменьше гекзаметра: его плавно-перекатывающіяся, мягко-переливающіяся полустипшія такъ отзываются какою-то живою, упругою выпуклостію, и дѣлаютъ его такъ способнымъ задвинуть и замкнуть піесу, сообщивъ ей характеръ полноты и цѣлости.

Для истиннаго поэта всѣ размѣры одинаково хороши, и онъ каждый изъ нихъ умѣетъ сдѣлать приличнымъ для избраннаго имъ рода стихотвореній. Говоря о гекзаметрѣ и шестистопномъ ямбѣ какъ о приличнѣйшихъ размѣрахъ для антологической поэзіи, мы только замѣтили фактъ, существующій въ нашей литературѣ. Послѣ гекзаметра и шестистопнаго ямба, съ особеннымъ эффектомъ употребляется и четырехстопный хорей.

Изъ новѣйшихъ языковъ, только нѣмецкій и русскій могутъ имѣть гекзаметръ, и уже по одному этому болѣе другихъ способны къ передачѣ дреннихъ произведеній и къ оригинальному созданію въ ихъ духѣ. Гёте избралъ гекзаметръ для своихъ «Римскихъ Элегій»,—нашъ переводчикъ передалъ ихъ также гекзаметромъ. Несмотря на неотъемлемое достоинство стиховъ г. Струговщикова, все же нельзя не замѣтить, что бороться съ гекзаметромъ Гёте могъ бы только развѣ Пушкинъ. Желаніе вѣрнѣе передавать подлинникъ нерѣдко отвлекало переводчика отъ заботливой отдѣлки гекзаметра,—развѣра, по преимуществу гармоническаго и пластическаго,—и потому у него иногда попадаются стихи, подобные слѣдующему:

Гаснеть лампада. О другя! и тутъ, несказанно добрая, и пр.

Но это только недостатокъ отдѣлки, который переводчику всегда легко исправить. Гораздо большаго упрека заслуживаетъ онъ за выпуски и измѣненія противъ подлинника. Такъ въ концѣ второй элегіи переводчикъ выпустилъ самыя характеристическія подробности объ отношеніяхъ героя элегіи къ его прекрасной. Но особенно непріятное впечатлѣніе производитъ передѣлка V-й элегіи, которая и у самаго Гёте болѣе другихъ дышетъ всюю роскошью пластической красоты. Это уже не только не переводъ, но даже и не подражаніе. Впрочемъ, это единственная элегія, совершенно передѣланная переводчикомъ, во всѣхъ прочихъ встрѣчаются только частныя измѣненія и отступленія. Такъ въ III-й элегіи Эндиміонъ названъ сыномъ Юпитера, и вообще мысль оригинала передана темно.

Впрочемъ, что касается до мелкихъ недостатковъ перевода г. Струговщикова, они много выкупаются вѣрностію вѣющаго въ немъ Гётева духа. Конечно, переводъ г. Струговщикова далеко не замѣняетъ подлинника, но даетъ о немъ понятіе не словами, а колоритомъ и благоуханіемъ, словомъ — болѣе

или менѣе удачно схваченною въ немъ жизнію... Незнающіе нѣмецкаго языка, обязаны г. Струговщикову знакомствомъ съ «Римскими Элегіями» Гёте; выучившись языку подлинника, они найдутъ въ нихъ не что-нибудь незнакомое, но сердце ихъ радостно и весело забьется отъ того чистаго, первоначальнаго звука, котораго самое эхо такъ очаровывало ихъ и заставляло съ такимъ упоеніемъ прислушиваться. Это можетъ дѣлать только истинный талантъ: ибо духъ открывается и дается только духу, не повинуюсь мертвому знанію буквы и умѣнью или навыку передавать ее хотя бы и въ гладкихъ, звучныхъ стихахъ. Недостатки перевода г. Струговщикова, послѣ трудности бороться съ такимъ исполномъ поэзіи, какъ Гёте, происходятъ даже едва-ли и отъ поспѣшности и недостатка труда, а скорѣе отъ ложнаго взгляда на искусство переводить. Впрочемъ, многія элегіи, особенно VII и VIII, переданы столько же близко и вѣрно, сколько и поэтически. Пятую элегію г. Струговщикову надо перевести вновь; недостатки въ прочихъ исправить: его таланта на это станетъ! Во всякомъ случаѣ, его переводъ «Римскихъ Элегій» Гёте былъ бы подвигомъ, достойнымъ хвалы и удивленія даже и не при настоящемъ положеніи нашей литературы, представляющей изъ себя зрѣлище мелкихъ, ничтожныхъ явленій и торговыхъ спекуляцій. Честь же и слава человѣку, который гордо сохраняетъ чистую и возвышенную любовь къ истинному искусству, и не гоняясь за эфемерными успѣхами и не обращая вниманія на толпу, жадную только до литературныхъ мелочей, съ замѣчательнымъ успѣхомъ посвящаетъ данный ему Богомъ талантъ на усвоеніе родному языку великихъ созданій великаго поэта Германіи!...



СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ЧЕТВЕРТУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНИЯ.

1840 г. *Отечественныя записки. Кн. 1.* Пѣснь объ ополченіи Игоря, переложеніе М. Деларю.—Сцены въ Москвѣ въ 1812 году, И. Скобелева.—Краткое начертаніе всеобщей исторіи, Кайданова.—Статистика европейскихъ государствъ, Зябловскаго.—Подарокъ на новый годъ.—Дѣтская бібліотека.—Разговоры Эмиліи о нравственныхъ предметахъ.—Миніатюрный альбомъ для дѣтей.—*Кн. 2.* Петербургскіе критики и русскіе писатели. *Кн. 4.* Повѣсть и быль, соч. Я. Озерецковскаго.—Римскія элегіи, соч. Гёте.—Три пѣсни патріота.—Герцогиня Лонгвилль, соч. Феликса.—Словарь русскихъ синонимовъ.—*Кн. 5.* Герой нашего времени, соч. Лермонтова.—Провинціальныя сцены.—Стихотворенія Пянкевича.—Репертуаръ русскаго театра, изд. Песоцкимъ. *Кн. IV.*—Молодая сибирячка, истинное происшествіе.—Разсказъ о томъ, какъ Іафетъ ищетъ отца, соч. Марриета.—*Кн. 6.* Замокъ Сен-Жермень, соч. г-жи Ребо.—Три розы, книжка для дѣтей, изд. Б. Федоровымъ.—*Кн. 7.* Словарь русскихъ синонимовъ, выпускъ второй.—Репертуаръ русскаго театра кн. 6 и 7.—Пантеонъ русскихъ и всѣхъ европейскихъ театровъ кн. 5 и 6.—*Кн. 8.* Любезный молодой человекъ, романъ Поль-де-Кока.—*Кн. 9.* Уголь, соч. Александрова.—Сочиненія Дениса Давыдова.—Котъ Мурръ, соч. Гофмана.—*Кн. 10.* Леонидъ или нѣкоторыя черты изъ жизни Наполеона.—Престарѣлая кокетка.—Репертуаръ русскаго театра кн. 8 и 9.—Пантеонъ русскихъ и всѣхъ европейскихъ театровъ кн. 7 и 8.—*Кн. 11.* Древнія русскія стихотворенія, служащая дополненіемъ къ Киршѣ Данилову.—Кладъ, соч. Дуровой.—Сицкій, капитанъ фрегата, соч. Мышицкаго.—Митя купеческій сыночекъ.—Ханскій чай, водевилъ Алпаянова.—*Кн. 12.* Со-

чиненія Основьяненко. — Репертуаръ русскаго театра, кн. 10 и 11. — Пантеонъ русскихъ и всѣхъ европейскихъ театровъ кн. 9 и 10. — Отрывки изъ прозаическихъ сочиненій лучшихъ русскихъ писателей. — Общая риторика, Н. Кошанскаго. —

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

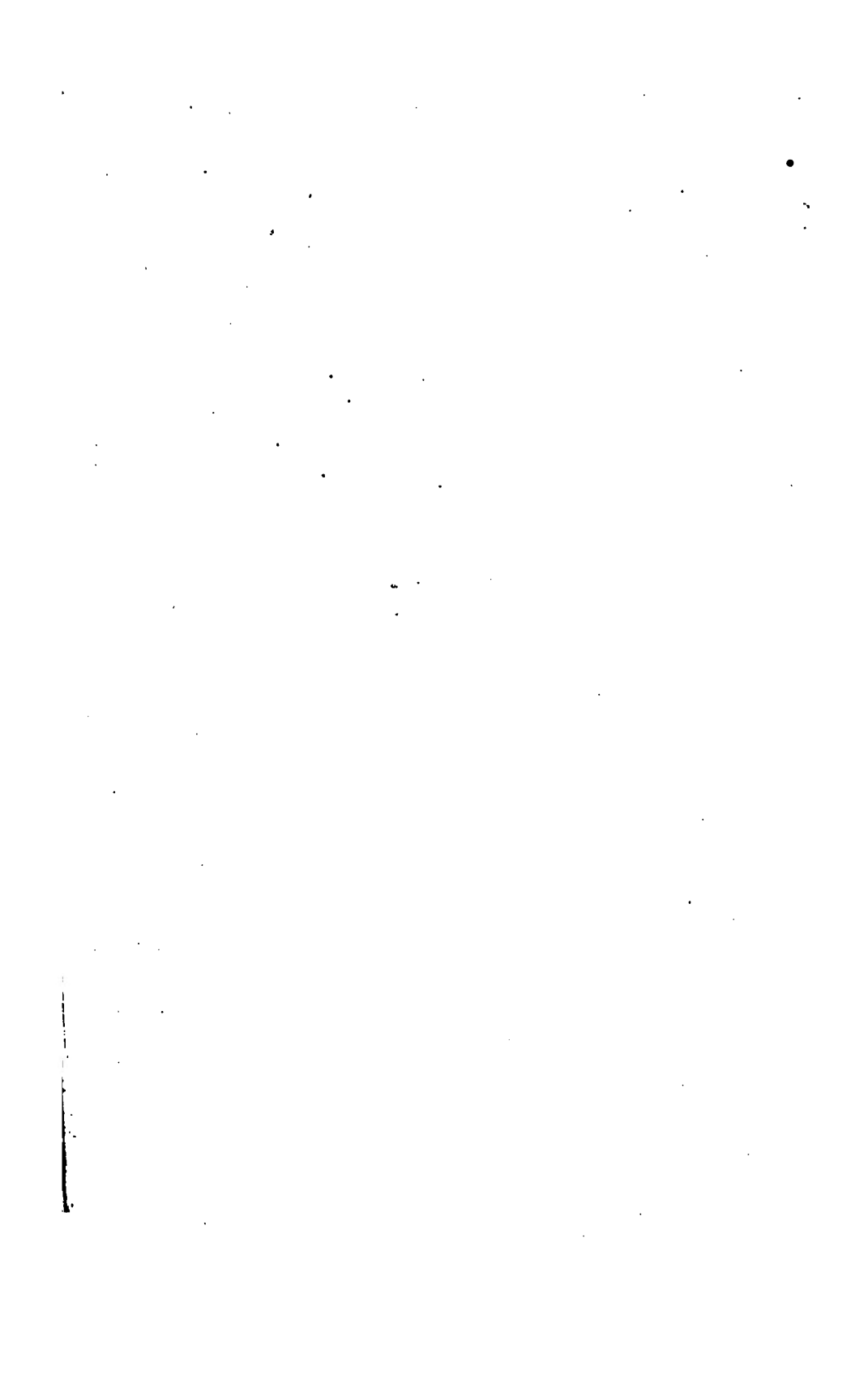
1840.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ.

2.

БИБЛИОГРАФІЯ.

	Стр.
Секретарь въ сундукѣ, водевилъ. — Три оригинальные водевилы Н. А. Коровкина.	7
Призваніе женщины.	9
Очерки русской литературы, соч. Н. Полеваго.	11
Репертуаръ русскаго театра кн. 1 и 2. — Пантеонъ русскаго и всѣхъ европейскіхъ театровъ кн. 1	42
Повѣсти Марьи Жуковой.	53
Мечты и звуки, Н. Н.	65
Одесскій альманахъ на 1840 г.	66
Репертуаръ русскаго театра, кн. 3.	74
Басни И. Крылова.	94
Новые досуги Федора Слѣпушкина.	102
Повѣсти и преданія народовъ славянскаго племени, изд. И. Боричевскимъ.	109
Пантеонъ русскаго и всѣхъ европейскіхъ театровъ кн. 3.	111
Жизнь Вильяма Шекспира. — Репертуаръ русскаго театра кн. 5.	115
Наука любви.	120
Введеніе въ философію, соч. А. Карпова.	121
Ольга, соч. автора «Семейство Холмскихъ».	127
Ярчукъ собака-духовидецъ, соч. Александрова.	132
Стихотворенія М. Лермонтова.	137
Собраніе сочиненій Ломоносова.	146



PG
293
B4
186
v.4

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

